Литературная мастерская

П.Е. Щеголев

# ЛЕРМОНТОВ

Воспоминания
Письма
Дневники

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Лермонтов в жизни, Лермонтов — человек и поэт, как он рисуется в представлении современников и официальных свидетельствах и документах, на фоне подлинных исторических материалов. Восстановить этот образ в воображении современного читателя — задача настоящей книги. Она не является ученым исследованием, но предлагает результаты научного изучения биографических материалов о Лермонтове и будет интересна широкому кругу читателей.


- П. Е. ЩЕГОЛЕВ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ЧАСТЬ 1
    - ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
    - ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ
  - ЧАСТЬ 2
    - ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
    - МОЛОДОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
  - ЧАСТЬ 3
    - ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
    - СТИХИ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА И ПЕРВАЯ ССЫЛКА
  - ЧАСТЬ 4
    - 
      - ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
      - ЛЕРМОНТОВ В СВЕТЕ
  - ЧАСТЬ 5
    - ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
    - НА ЮГЕ
  - ЧАСТЬ 6
    - ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
    - ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА НА СЕВЕР
  - ЧАСТЬ 7
    - ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
    - ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПЯТИГОРСКЕ И ДУЭЛЬ С МАРТЫНОВЫМ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94

- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138

- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182

- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226

- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270

- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314

- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358

- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402

- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446

- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490

- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534

- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578

- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613

# П. Е. ЩЕГОЛЕВ
# ЛЕРМОНТОВ
# Воспоминания, письма, дневники…

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Лермонтов в жизни, Лермонтов — человек и поэт, как он рисуется в представлении современников, в официальных свидетельствах и документах, на фоне подлинных исторических материалов эпохи. Восстановить этот образ в воображении современного читателя — вот задача настоящей книги.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и не является, конечно, ученым исследованием, но предлагает результаты научного изучения биографических материалов о Лермонтове. По принципу построения наша книга расходится с аналогичной по заданию книгой В. В. Вересаева «Пушкин в жизни». Со всей решительностью мы отвергаем принципиальную установку В. В. Вересаева, высказанную им в следующих словах: «Критическое отсеивание материала противоречило бы самой задаче этой книги. Я, напротив, старался быть возможно менее строгим и стремился дать в предлагаемой сводке возможно все дошедшее до нас о Пушкине, кроме лишь явно выдуманного». Вместе с тем Вересаев сознательно отказывается от внесения в книгу поэтических показаний Пушкина, хотя бы носящих явно автобиографический характер. Подход В. В. Вересаева представляется нам абсолютно не научным, и «беспристрастность» Вересаева сильно смахивает на выпуклую беспринципность. Нужно ли еще доказывать, что всякий исторический материал вообще, а биографический в особенности, требует критического к себе отношения? Нужно ли доказывать необходимость чисто исследовательской работы, выражающейся в критике и сопоставлении показаний современников даже для такого рода книги, как наша, которая предназначается только для чтения и не претендует на научную значимость? Нужно ли доказывать, что всякая книга, в том числе и популярная книга для чтения, должна быть сделана из добросовестного и проверенного материала?

Материалами для настоящей книги послужили:

1) воспоминания, письма и дневники современников, встречавших и лично знавших Лермонтова, а также не дошедшие до нас устные рассказы современников, использованные биографами (главным образом П. А. Висковатым);

2) подлинные официальные дела и документы, имеющие непосредственное отношение к Лермонтову;

3) переписка Лермонтова (письма Лермонтова и к Лермонтову);

4) записи Лермонтова, носящие несомненный

автобиографический характер, а также отрывки из его произведений, иллюстрирующие основной текст книги.

Этими записями и поэтическими произведениями мы считали возможным пользоваться в некоторых случаях. Действительно, почему мы должны больше доверять даже очень добросовестной записи какого-нибудь Вульфа, который видел Лермонтова всего один раз в жизни, и совершенно пренебрегать юношескими записями поэта, разбросанными в его ученических тетрадях, или даже отрывками из его произведений, которые, при сопоставлении с другими достоверными историческими материалами, оказываются явно автобиографическими и только ярче раскрывают (не снаружи, а изнутри) литературный и бытовой облик Лермонтова?..

В виде исключения мы цитируем изложение биографов Лермонтова (гл. обр. П. А. Висковатого), всегда выделяя такие цитаты более частым набором.

В тех случаях, когда ввиду отсутствия соответствующих доброкачественных материалов по композиции книги нам приходилось обращаться и к сомнительным источникам, мы всякий раз оговариваем их сомнительность в примечаниях.

Нам казалось уместным введение в книгу целого ряда стихотворных произведений и отрывков, которые нужны по контексту книги, в тех случаях, когда кто-либо из современников цитирует или комментирует то или иное стихотворение и когда его показания остаются непонятными иди скучными без освежения в памяти читателя того стихотворного отрывка, о котором идет речь, а надеяться, что всякий раз читатель обратится непосредственно к сочинениям Лермонтова, вряд ли возможно. Так, например, даже общеизвестные стихи «На смерть поэта» (Пушкина) оказалось нужным дать в той редакции и в том виде, как они фигурировали в судебном деле, значительно повлиявшем на дальнейшую судьбу Лермонтова и его друга С. А. Раевского.

Помимо появившихся в печати, нами использованы и впервые напечатаны материалы, еще не опубликованные. Таковы:

1) «Сообщение отставного полковника Леонида Ангельевича Сúдери о кончине М. Ю. Лермонтова», любезно предоставленное нам для воспроизведения Д. С. Усовым.

2) Письмо Е. А. Арсеньевой к преподавателю Лермонтова Петухову (из собраний Пушкинского дома).

3) Официальные документы в подлинниках или копиях, находящиеся в рукописных собраниях Лермонтовского музея, ныне вошедшего в Пушкинский дом. Среди них упомянем следующие: дословные выписки из приказов по Школе

гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, дословные выписки из высочайших приказов о производстве Лермонтова, два патента: один — на чин поручика, другой — на чин корнета, приказы по отдельному гвардейскому корпусу.

4) Судебное дело 1837 г. (о стихах на смерть Пушкина), 1840 г. (дуэль с Барантом), 1841 г. (последняя дуэль); отсюда извлечен целый ряд неопубликованных документов, а остальные, опубликованные ранее, заново сверены с подлинным текстом и в некоторых случаях, где это требовалось, исправлены.

Наконец, нами пересмотрены все рукописные тетради (и копии с них), хранящиеся в собраниях Пушкинского дома. Все, даже ранее опубликованные, заметки снова сверены и напечатаны нами по тексту этих тетрадей.

Этим не исчерпывается весь список новых материалов. Все вновь опубликованные материалы отмечены в тексте соответственными примечаниями. Датировка всюду дана по старому стилю, орфография — новая, без сохранения пунктуации. Лишь в документах, которые публикуются впервые, сохранены особенности правописания подлинников, что, впрочем, всегда оговорено в соответствующих примечаниях.

Считаю необходимым благодарить сотрудников Пушкинского дома за предоставление рукописных материалов.

Моим помощником в работе над этой книгой был В. А. Мануйлов: он принимал участие в отборе и распределении материала.

*П. Щеголев*

# ЧАСТЬ 1
# ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ 1814–1832

*Москва — моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив.*

*Перевод из французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г.*

*Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын,*
*Как русский, — сильно, пламенно и нежно!*

*«Сашка»*

*Он не имел ни брата, ни сестры,*
*И тайных мук его никто не ведал.*
*До времени отвыкнув от игры,*
*Он жадному сомненью сердце предал,*
*И, презрев детства милые дары,*
*Он начал думать, строить мир воздушный*
*И в нем терялся мыслим послушной.*

*«Сашка»*

# ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

**1814.** *В ночь со 2 на 3 октября* в Москве родился М. Ю. Лермонтов.

**1814–1827.** Жизнь Лермонтова в селе Тарханы (Пензенской губ., Чембарского уезда) вместе с бабушкой.

**1817.** *24 февраля.* Скончалась Марья Михайловна Лермонтова, мать поэта.

**1825.** *Летом.* Поездка Лермонтова на Кавказ, в Пятигорск, с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, кузинами Столыпиными, домашним учителем Иваном Капэ, гувернанткой Христиной Ремер и др. Первая любовь Лермонтова.

**1827.** *Летом.* 12-летний Лермонтов в Ефремовской деревне (Кропотово) гостит у отца и во второй раз влюбляется.

**1827.** *Осенью.* Переезд Елизаветы Алексеевны Арсеньевой с внуком в Москву и подготовка его в пансион.

**1827.** *27 октября* Арсеньевой выдано Московской духовной консисторией свидетельство о рождении и крещении внука Михаила, а также о том, что тот может быть принят к воспитанию в казенные заведения.

**1828.** Лермонтов принят в 4-й класс Благородного пансиона при Московском университете.

**1828.** *13–20 декабря.* Лермонтов держит переходные экзамены в Благородном пансионе.

**1828.** Первые дошедшие до нас стихотворения Лермонтова и три поэмы: «Черкесы», «Кавказский пленник» и «Корсар».

**1829.** В пансионе Лермонтовым написан первый очерк «Демона».

**1829.** *10–21 декабря.* Лермонтов с успехом держит испытания воспитанников Благородного пансиона.

**1830.** В начале года в пансионе Лермонтов пишет второй очерк «Демона».

**1830.** *16 апреля.* Увольнение Лермонтова из Благородного пансиона по прошению.

**1830.** Знакомство Лермонтова (в Москве и летом в Середникове) с Екатериной Сушковой. Цикл стихотворений, посвященных Сушковой.

**1830.** *1 сентября.* Поступление в Московский университет.

**1830.** *Осенью.* Холера в Москве.

**1831.** *28 января.* Духовное завещание Юрия Петровича Лермонтова, отца поэта.

**1831.** *16 марта.* История с проф. Маловым в Московском университете.

**1832 (?).** Смерть Юрия Петровича Лермонтова.

**1832.** *1 июня.* Прошение в правление Московского университета от своекоштного студента Михаила Лермонтова об увольнении его «по домашним обстоятельствам» и о снабжении надлежащим свидетельством для перевода в Петербургский университет.

**1832.** *18 июня.* Свидетельство об увольнении Михаила Лермонтова из Московского университета «по прошению».

**1832.** *Осенью.* Переезд Лермонтова с бабушкой в Петербург.

# ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

## *СВИДЕТЕЛЬСТВО*[1]

из Московской Духовной Консистории вдове гвардии поручице Елизавете Алексеевой Арсеньевой в том, что вы, Арсеньева, просили дать вам свидетельство о рождении и крещении внука вашего родного, капитана Юрия Петровича Лермантова сына Михаила, прижитого им от законного брака, для отдачи его к наукам и воспитанию в казенные заведения, а потом и в службу, где принят быть может, объявя, что родился он в Москве, в приходе церкви Трех Святителей, что у Красных ворот, 1814 года октября 2 дня. По справке в Консистории оказалось, в метрических упоминаемой Трех-Святительской, что у Красных ворот, церкви тысяча восемьсот четырнадцатого года книгах написано так: *«Октября 2-го в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя у живущего капитана Юрия Петровича Лермантова родился сын Михаил. Молитвовал протоиерей Николай Петров, с дьячком Яковым Федоровым, крещен того же октября 11 дня, воспреемником был господин колежский асессор Васильев, Хотяинцов, воспреемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елисавета Алексеевна Арсеньева. Оное крещение исправляли протоиерей Николай Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров.* Почему Московскою Духовною Консисториею определено вам, вдове гвардии поручице Арсеньевой, с прописанием явствующей справки дать (и дано) сие свидетельство для прописанной надобности: октября 25 дня 1827 года.

На подлинном подписали: Николо-Лесновский протоиерей Иоанн Иоаннов, секретарь Савва Смиренов, повытчик Александр Лисицын.

С подлинным верно: колежский регистратор Борисов.

*Подлинное свидетельство получил обратно студент Михаил Лермонтов».*

У сего свидетельства Его Императорского Величества Московской Духовной Консистории печать.

*[Висковатый. Приложения, стр. 2]*

Вероятно, дом Толя впоследствии перешел во владение купца Бурова. По объяснению местного Трехсвятительской церкви, что у Красных Ворот, священника: дом Бурова перешел во владение

иностранца Пенанд, который владел домом лет шесть и продал его коллежскому секретарю Григорию Филипповичу Голикову. Этот и доселе владеет домом. Я был на месте, где дом Голикова. Если ехать от дебаркадера Николаевской железной дороги, то, приближаясь к Красным Воротам, по правой руке, против самых Красных Ворот, на углу вы бы увидели, по-нашему, огромный каменный дом, в три этажа, беловатого цвета. Это — дом Голикова; этим домом начинается Садовая улица, ведущая к Сухаревой Башне… Дом Голикова на своем углу имеет балкон. Замечателен протоиерей Николай Петрович Другов, крестивший поэта Лермонтова. Он, в свое время, пользовался особой славой в духовном мире…[2] Да и церковь, в которой поэт крещен, замечательна — она была патриаршая.

*[Н. П. Розанов. «Русская Старина», 1873 г., VIII, стр. 113–114]*

Малютка и мать его были окружены всевозможными заботами. Из Тархан,[3] уже вперед, до срока, прислали двух крестьянок с грудными младенцами. Врачи выбрали из них Лукерью Алексеевну в кормилицы к новорожденному. Она долго потом жила на хлебах в Тарханах, и Михаил Юрьевич, уже взрослым, не раз навещал ее там, справлялся о житье-бытье и привозил подарки.

Из Москвы Лермонтовы с бабушкой и грудным ребенком своим вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь иногда, по хозяйственным делам, то в Москву, то в Тульское имение.

Супружеская жизнь Лермонтовых не была особенно счастливою; скоро даже, кажется, произошел разрыв, или по крайней мере сильные недоразумения между супругами. Что было причиною их, при существующих данных, определить невозможно. Юрий Петрович охладел к жене. Может быть, как это случается, ревнивая любовь матери к дочке, при недоброжелательстве к мужу ее, усугубила недоразумения между ними. Может быть, распущенность помещичьих нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича очутилась особа, занявшая место, на которое имела право только жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в Тульском их имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в Тарханы, в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ею увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась отвлечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой сожалеть бедную Машу и осыпать упреками ее мужа. Елизавета Алексеевна чернила перед дочерью

зятя своего, и взаимные отношения между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Петровича, поступившего в ополчение, не поправила их.

*[П. Н. Журавлев в передаче Висковатого, стр. 13–14]*

Если сопоставить немногосложные известия о Юрии Петровиче,[4] то это был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый, самодур, и эта вспыльчивость, при легко воспламеняющейся натуре, могла доводить его до суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместным даже с условиями порядочности. Следовавшие затем раскаяние и сожаление о случившемся не всегда были в состоянии выкупать совершившегося, но, конечно, могли возбуждать глубокое сожаление к Юрию Петровичу, а такое сожаление всегда близко к симпатии.

Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «bon vivant», как называет его воспитатель Лермонтова г. Зиновьев. Крепостной люд называл его «добрым, даже очень добрым барином». Все эти качества должны были быть весьма не по нутру Арсеньевой. Род Столыпиных отличался строгим выполнением принятых на себя обязанностей, рыцарским чувством и чрезвычайной выдержкою… В Юрии Петровиче выдержки-то именно и не было. Старожилы рассказывают, как во время одной поездки с женою вспыливший Юрий Петрович поднял на нее руку.

Факт этого грубого обращения был последнею каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая раскрытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкой в Тарханах.

*[Висковатый, стр. 14–15]*

Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием. Передряги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на ее организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, — помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена душою музыкальною.

*[Висковатый, стр. 15]*

*1830.* Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 350. Из VI тетр. автогр. Лерм. муз., л. 32 об. ]*

Внешность альбома М. М. Лермонтовой[5] довольно изящна. Он переплетен в красный сафьян, по краям его золотой бордюр, застегивается он серебряною застежкою, и застежка эта не простая, а имеет форму бабочки, на головку которой падает застежка.

Все содержание альбома состоит более из нежных стихотворений, частью на французском, а большею частью на русском языке. Стихи эти писались с 1811 года подругами и знакомцами Марии Михайловны и в Москве, и на Кавказе, и в Петербурге, и в деревне. Конечно, в них господствуют любовь, благожелания и т. д. Есть стихи, написанные и рукою самой Марьи Михайловны, есть и строки ее мамаши, т. е. бабушки и воспитательницы поэта, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Но дело все в том, что этим альбомом, как оказывается, поэт забавлялся и в младенчестве и в зрелых летах. Быв десяти лет, он, например, нарисовал здесь, разумеется с дозволения бабушки, кавказские горы, и из подписи, сделанной его детскою рукою, видно, что этот альбом мальчик-поэт возил с собою в дорогу. В зрелые годы поэт отсюда брал мысли для своих поэм и сюда торопливою рукою набрасывал картины природы, его вдохновлявшие. По всему видно, что поэт любил книжку, некогда принадлежавшую его покойной матери.

*[Н. Рыбкин. «Исторический Вестник», 1881 г., т. VI, стр. 374–375]*

На обороте 1-й страницы рукой Марьи Михайловны Лермонтовой написано:

«Вы пишете потому, что хотите писать. Для вас это забава, развлечение. Но я, искренно любящая вас, пишу только для того, чтобы сказать вам о своей любви. Я люблю вас. Эти слова стоят поэмы, когда сердце диктует их».

На 13-й странице помещена элегия на русском языке, писанная рукою М. М. Лермонтовой:

О злодей, злодей — чужая сторона,

Разлучила с другом милым ты меня,
Разлучила с сердцем радость и покой,
Помрачила ясный взор моих очей,
Как туманы в осень солнышко мрачат…
Но с любовью ты не можешь разлучить,
Она в сердце глубоко лежит моем,
С ней расстанусь разве только лишь тогда,
Как опустят в мать-сыру землю меня.
Для того ль, мой друг, свыкались мы с тобой,
Для того ль я сердцу радость дал вкусить,
Чтобы бедное изныло от тоски
Так, как былие без дождичка в степи.
Ах, я видел, как ручей катил струи
По долине меж цветущих берегов;
Вдруг повеял ветер буйный с стороны,
Отделилася потоком полоса,
Понесло ее по камням вниз горы,
Раздробилася на мелкие брызги
И иссохла, удаляясь от ручья.
Видно, участь ждет подобная меня,
Так изноет сердце в горести, в тоске,
Живучи без милой в дальней стороне.
**М. Лермонтова**

На стр. 15 надпись бабушки Лермонтова для Марьи Михайловны: «Милой Машеньке. Чего пожелать тебе, мой друг? Здоровья — вот единственная вещь, которой недостает для счастья друзей твоих. Прощай и уверена будь в истинной любви Елизаветы Арсеньевой».

На 17-й странице следующие стихи по-русски:

В разлуке сердце унывает,
Надежда ж бедному твердит:
На время рок нас разлучает,
Навеки дружба съединит.
**М. Лермонтова**

Стр. 90. Эта страница в альбоме последняя. На ней Марья Михайловна Лермонтова собственноручно написала следующее:

«Кто любит тебя более, тот пусть напишет свое имя на следующей странице».

*[Н. Рыбкин (описание альбома М. М. Лермонтовой). «Исторический Вестник», 1881 г., т. VI, стр. 373–377]*

Наконец, злая чахотка, давно стоявшая настороже, охватила слабую грудь молодой женщины. Пока она еще держалась на ногах, люди видели ее бродящею по комнатам господского дома, с заложенными назад руками. Трудно бывало ей напевать обычную песню над колыбелью Миши. Постучалась весна в дверь природы, а смерть — к Марье Михайловне, и она слегла. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать, и он прибыл с доктором накануне рокового дня. Спасти больную нельзя было. Она скончалась на другой день по приезде мужа. Ее схоронили возле отца, и на поставленном матерью мраморном памятнике еще и теперь читается надпись:

Под камнем сим лежит тело
*Марии Михайловны*
*ЛЕРМОНТОВОЙ,*
урожденной Арсеньевой,
скончавшейся 1817 года. февраля 24 дня, в субботу.
Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней

Что произошло между мужем и матерью покойной, неизвестно, но только Юрий Петрович по смерти жены оставался в Тарханах всего 9 дней и затем уехал к себе в Кроптовку.

Убитая горем Елизавета Николаевна приказала снести большой барский дом в Тарханах, свидетеля смерти ее мужа и любимой дочери, и воздвигнула на месте его церковь во имя Марии Египетской. Рядом с церковью она построила небольшое деревянное здание с мезонином, где и поселилась с внуком своим.

*[Висковатый, стр. 15–16]*

Глубоко подавленная смертью дочери, Елизавета Алексеевна перенесла на внука всю свою любовь и приязнь. Она видела в нем средоточие всего, что было отнято судьбой в лице ее мужа и потом дочери. Этот внук носил имя своего деда; умирающая дочь поручила ей беречь его детство. Кроме Миши у ней никого не оставалось на свете. Она с ним старалась не расставаться: он спал в ее комнате, она наблюдала за каждым его шагом, страшилась малейшего нездоровья. Рожденный от слабой матери, ребенок был не из крепких. Если случилось ему занемогать, то в «деловой» дворовые девушки освобождались от работ, и им наказывали молиться Богу об исцелении молодого барина.

*[Висковатый, стр. 16]*

Лермонтов родился в доме у своей бабушки Е. А…

Арсеньевой,[6] урожденной Столыпиной. Мать Лермонтова, Марья Михайловна, была единственная дочь ее от супружества с Михаилом Васильевичем Арсеньевым. Выйдя замуж за Юрия Петровича Лермонтова, она прожила недолго, и после нее будущий поэт остался лет двух от роду. Нежность Елизаветы Алексеевны, лишившейся единственной дочери, перенеслась вся на внука, и Лермонтов до самого вступления в Юнкерскую школу (1832) жил и воспитывался в ее доме. Она так любила внука, что к ней можно применить выражение: «не могла им надышаться», и имела горесть пережить его. Она была женщина чрезвычайно замечательная по уму и любезности. Я знал ее лично и часто видал у матушки, которой она по мужу была родня. Не знаю почти никого, кто бы пользовался таким общим уважением и любовью, как Елизавета Алексеевна. Что это была за веселость, что за снисходительность! Даже молодежь с ней не скучала, несмотря на ее преклонные лета. Как теперь смотрю на ее высокую, прямую фигуру, опирающуюся слегка на трость, и слышу ее неторопливую, внятную речь, в которой заключалось всегда что-нибудь занимательное. У нас в семействе ее все называли бабушкой, и так же называли ее во всем многочисленном ее родстве.

*[М. Н. Лонгинов. Сочинения, 1915 г., т. I, стр. 47–48]*

Пенза, 5 июня 1817

…Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов[7] требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Странный и, говорят, худой человек; таков по крайней мере должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление.[8]

*[Из письма Сперанского к А. А. Столыпину. «Русский Архив», 1870 г., т. VII! стр. 1136]*

Приставленная со дня рождения к Мише бонна немка, Христина Осиповна Ремер, и теперь оставалась при нем неотлучно. Это была женщина строгих правил, религиозная. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближним… Для мальчика же ее влияние было благодетельно. Всеобщее баловство и любовь делали из него баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства, легко, при недосмотре, переходящий в детях в жестокость.

*[Висковатый, стр. 17–18]*

В числе лиц, посещавших изредка наш дом, была Арсеньева,

бабушка поэта Лермонтова (приходившаяся нам сродни), которая всегда привозила к нам своего внука, когда приезжала из деревни на несколько дней в Москву. Приезды эти были весьма редки, но я все-таки помню, как старушка Арсеньева, обожавшая своего внука, жаловалась постоянно на него моей матери. Действительно, судя по рассказам, этот внучек-баловень, пользуясь безграничною любовью своей бабушки, с малых лет уже превращался в домашнего тирана, не хотел никого слушаться, трунил над всеми, даже над своей бабушкой, и пренебрегал наставлениями и советами лиц, заботившихся о его воспитании.

*[И. А. Арсеньев. «Исторический Вестник», 1887 г., п. 11, стр. 353]*

Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Всё ходило кругом да около Миши. Все должны были угождать ему, забавлять его. Зимою устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покой ряженые из дворовых, плясали, пели, играли, кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел», — и ребенок делал ему посильное описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К Пасхе заготовлялись крашеные яйца в громадном количестве. Начиная с Светлого Воскресенья зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большой радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:

— Бабушка, я выиграл!

— Ну, слава Богу, — отвечала Елизавета Алексеевна. — Бери корзинку яиц и играй еще.

«Уж так веселились, — рассказывают тархановские старушки, — так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила!

А летом опять свои удовольствия. На Троицу и Семик ходили в лес со всей дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было страсть, — на всех закуску готовили, всем угощение было».

Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее

баловень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму: «пол — стол» или «кошка — окошко», они ему ужасно нравились, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своею радостью.

Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нем и чертить мелом.

*[Из рассказов С. А. Раевского. Материалы Хохрякова. П. А. Висковатый, стр. 18–19]*

Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому, что няне Саши[9] было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтоб потешать маленького барченка. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие!.. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем, природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь — болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если б он не получил от природы железного телосложения, то верно бы отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не

должно. Но увы! никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессониц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах при звуке песен, под свистом волжской бури. Вероятно, что раннее развитие умственных способностей не мало помешало его выздоровлению…[10]

*[Лермонтов. Отрывок из начатой повести. Акад. изд., т. IV, стр. 299–300]*

*1830.* Я помню один сон; когда я был еще 8 лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один ехал в грозу куда-то; и помню облако, которое, небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу: это так живо предо мною, как будто вижу.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 350. Из VI тетр. автогр. Лерм. муз., лл. 32 об. — 33]*

Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые, в виде рыцарей со шлемами, теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства.

В первом действии моей трагедии[11] Фернандо, говоря с любезной под балконом, говорит про луну и употребляет предыдущее про рыцарей сравнение.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 350. Из VI тетр. автогр. Лерм. муз., лл. 32 об.—33]*

Старуха Арсеньева была хлебосольная, добрая. Помню и как учить его [Лермонтова] начинали. От азбуки отбивался. Вообще был баловень; здоровьем золотушный, жидкий мальчик; нянькам много от капризов его доставалось… Неженка, известно-с.

*[Рассказ неизвестного в передаче Н. Рыбкина «Исторический Вестник», 1881 г., т. VI, стр. 372]*

Отец его, Юрий Петрович, жил в своей деревне Ефремовского уезда[12]1 и приезжал нечасто навещать сына, которого бабушка любила без памяти и взяла на свое попечение, назначая ему принадлежащее ей имение (довольно порядочное, по тогдашнему счету шестьсот душ), так как у ней других детей не было. Слыхал также, что он был с детства очень слаб здоровьем, почему бабушка возила его раза три на Кавказ к минеральным водам.[13]

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 725]*

В детстве на нем постоянно показывалась сыпь, мокрые струпья, так что сорочка прилипала к телу, и мальчика много кормили серным цветом.

[*Висковатый, стр. 22]*

Е. А. Арсеньева, в разговорах с госпожею Гельмерсен… говорила о болезненности Лермонтова в детстве и указала на некоторую кривизну ног как на следствие ее. Эта болезненность побудила бабушку вести внука на серные Кавказские воды.

*[Висковатый, стр. 22]*

У Столыпиных было имение «Столыпиновка», недалеко от Пятигорска, а ближе <?> жила сестра Арсеньевой Хастатова. В 1825 г. поехали туда многочисленным обществом: бабушка, кузины Столыпины, доктор Анзельм Левис, Михаил Пожогин, учитель Иван Капэ и гувернантка Христина Ремер — все это сопровождало Мишу… Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь съехались с Екатериной Александровною Хастатовой, прибывшей из своего имения.

*[Висковатый, стр. 24–25]*

> Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах: облаками меня одевали; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи! Кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею!
>
> Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов: они так сияли в лучах восходящего солнца, в розовый блеск одеваясь; они, между тем как внизу все темно, возвещали прохожему утро, и розовый цвет их подобился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину купаясь, — в таком уж смущенье, что белой одежды накинуть на грудь не успеют.
>
> Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные, громкие бури, которым пещеры, как стражи ночей, отвечают. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое; иль виноградник, шумящий в ущельи; и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, бежит безыменная речка; выстрел нежданный, и страх после выстрела: враг ли коварный

иль просто охотник… Все, все в этом крае прекрасно…

Воздух там чист, как молитва ребенка,
И люди, как вольные птицы, живут беззаботно;
Война их стихия, и в смуглых чертах их душа говорит.
В дымной сакле, землей иль сухим тростником
Покровенной, таятся их жены и девы, и чистят оружье,
И шьют серебром, в тишине увядая
Душою, желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой…

*[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 104–105]*

*Записка 1830 г., 8 июля, ночь.* Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? — Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою она была или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первою беспокойства страстей до могилы будет терзать мои ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату; я не хотел (боялся) говорить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию, — это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза быстрые, непринужденность… нет, с тех нор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. — Горы Кавказские для меня священны… И так рано! в 10 лет! О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию, но чаще — плакать. Говорят

(Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 349–350. Из VI тетр. автогр. Лерм. муз., лл. 30 об. — 31]*

**КАВКАЗ**[14]

Хотя я судьбой, на заре моих дней,
О, южные горы, отторгнут от вас, —
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор.
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз, —
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..

[Лермонтов. Акад. изд., т. 1, стр. 166]

По возвращении с Кавказа бабушка со внуком вновь поселились в Тарханах. Это село в расстоянии 120 верст от Пензы, верстах в 12-ти от Чембар, уездного города в 3000 жителей, в близком расстоянии от большого села Крюковки. Едва выедешь из села этого, как в стороне покажется несколько изб среди густой зелени окружающих деревьев. Над ними высится скромный шпиц сельской колокольни. Это — Тарханы. Барский дом, одноэтажный, с мезонином, окружен был службами и строениями. По другую сторону господского дома раскинулся роскошный сад, расположенный на полугоре. Кусты сирени, жасмина и розанов клумбами окаймляли цветник, от которого в глубь сада шли тенистые аллеи. Одна из них, обсаженная акациями, сросшимися наверху настоящим сводом, вела под гору к пруду, С полугорья открывался вид в село с церковью, а дальше тянулись поля, уходя в синюю глубь тумана.

*[Висковатый, стр. 27]*

**ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ**

В ребячестве моем тоску любови знойной

Уж стал я понимать душою беспокойной;
На мягком ложе сна не раз во тьме ночной,
При свете трепетном лампады образной,
Воображением, предчувствием томимой,
Я предавал свой ум мечте непобедимой:
Я видел женский лик — он хладен был как лед —
И очи… этот взор в груди моей живет;
Как совесть, душу он хранит от преступлений;
Он след единственный младенческих видений…
И деву чудную любил я, как любить
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть!
Когда же улетал мой призрак драгоценный,
Я в одиночестве кидал свой взгляд смущенный
На стены желтые, и, мнилось, тени с них
Сходили медленно до самых ног моих…
И мрачно, как они, воспоминанье было
О том, что лишь мечта, и между тем так мило.

1830 г.
[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 177–178]

Я был в с. Тарханах.[15] Это было большое здание с антресолями; кругом его сад, спускавшийся к оврагу и пруду. По оврагу бежал ключ, в некоторых местах не замерзавший и зимою. За оврагом виднелась огромная гора, и по ней тянулся лес, и лес этот казался без конца, утопая где-то вдали…

В детской спальне поэта красовалась изразцовая лежанка; близ нее стояли кроватка, детский стулик на высоких ножках, образок в углу, диванчик и кресла. Мебель обита шелковой желтой материей с узорами.[16]

*[Н. Рыбкин «Исторический Вестник», 1881 г., т. VI, стр. 372–373]*

[Лермонтова] начинаю… хорошо помнить с осени 1825 года.

Покойная мать моя была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию, и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня, из дружбы к ней, взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича.

Таким образом, все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками, Мишель, в зеленой

курточке и с клоком белокурых волос, резко отличавшихся от прочих, черных как смоль. Учителями были Mr. Capet,[17] высокий и худощавый француз, с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек; но греческий язык оказался Мишелю не но вкусу, уроки его были отложены на неопределенное время, а Кефалонец занялся выделкой шкур палых собак и принялся учить этому искусству крестьян; он, бедный, давно уже умер, но промышленность, созданная им, развивалась и принесла плоды великолепные: много тарханцев от нее разбогатело, и поныне чуть ли не половина села продолжает скорняжничать.

Помнится мне еще, как бы сквозь сон, лицо доброй старушки немки, Кристины Осиповны, няни Мишеля, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 725–726]*

Когда Михаил Юрьевич подрос и вступил в отроческий возраст, — рассказывают старожилы села Тарханы, — были ему набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и делал им Михаил Юрьевич учение, играл в воинские игры, в войну, в разбойников. Товарищами были ему также родственники, жившие по соседству с Тарханами в имении Апалихе, принадлежавшем племяннице Арсеньевой, Марье Акимовне Шан-Гирей. У нее были дети: дочь Екатерина и три сына, старший из коих, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях. Близость места жительства ежедневно сводила детей, учившихся у одних и тех же наставников.

*[Висковатый, стр. 22–23]*

Старожилы в Тарханах помнили, что Миша, побывав на Кавказе, все им был занят: из воску лепил горы и черкесов и «играл в Кавказ».

*[Висковатый, стр. 24]*

Желая создать для Миши вполне подходящую обстановку, было решено обучать его вместе с сверстниками, с коими он делил бы тоже и часы досуга. Кроме Акима Шан-Гирея в Тарханах года два воспитывались и двоюродные его братья со стороны отца: Николай и Михаил Пожогины-Отрашкевичи, два брата

Юрьевых, временно князья Николай и Петр Максютовы и другие. Одно время в Тарханах жило десять мальчиков. Елизавета Алексеевна не щадила средств для воспитания внука. Оно обходилось ей до десяти тысяч рублей ассигнациями. На это-то она и указывала отцу, когда тот заводил речь относительно желания своего воспитывать сына при себе. Бедный человек, конечно, не был в состоянии сделать для Мишеля даже и части того, что делала бабушка.

*[Висковатый, стр. 23]*

Жил с нами сосед из Пачелмы (соседняя деревня) Николай Гаврилович Давыдов, гостили довольно долго дальние родственники бабушки, два брата Юрьевы, двое князей Максютовых, часто наезжали и близкие родные с детьми и внучатами, кроме того, большое соседство — словом, дом был всегда битком набит. У бабушки было три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь. Зимой немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; на плотине с сердечным замиранием смотрели, как православный люд, стена на стену (тогда еще не было запрету) сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий, садовник, выбрался из свалки с губой, рассеченною до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде; вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам: уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Ураник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги. Проявления же поэтического таланта вовсе не было заметно в то время: все сочинения по заказу Capet он писал прозой и нисколько не лучше своих товарищей.

Когда собирались соседки, устраивались танцы, и раза два был домашний спектакль; бабушка сама была очень печальна, ходила всегда в черном платье и белом старинном чепчике без лент, но была ласкова и добра, и любила, чтобы дети играли и веселились, и нам было у нее очень весело.

Так прожили мы два года.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 726–727]*

Лермонтов ребенком бывал в именье отца.

*[Висковатый, стр. 22]*

Напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз любил двенадцати лет — и поныне люблю:

Когда во тьме ночей мой, не смыкаясь, взор
Без цели бродит вкруг; прошедших дней укор
Когда зовет меня невольно к вспоминанью, —
Какому тяжкому я предаюсь мечтанью!..
О, сколько вдруг толпой теснится в грудь мою
И теней и любви свидетелей!.. «Люблю!»
Твержу, забывшись, им. Но, полный весь тоскою,
Неверной девы лик мелькает предо мною…
. . . . .
Но ты забыла, друг! когда порой ночной
Мы на балконе там сидели. Как немой,
Смотрел я на тебя с обычною печалью.
Не помнишь ты тот миг, как я, под длинной шалью
Сокрывши, голову на грудь твою склонял —
И был ответом вздох, твою я руку жал —
И был ответом взгляд и страстный и стыдливый!
И месяц был один свидетель молчаливый
Последних и невинных радостей моих!
Их пламень на груди моей давно затих!..
Но, милая, зачем, как год прошел разлуки,
Как я почти забыл и радости и муки,
Желаешь ты опять привлечь меня к себе?..
Забудь любовь мою! Покорна будь судьбе.
Кляни мой взор, кляни моих восторгов сладость!..
Забудь!.. Пускай другой твою украсит младость!..

[Лермонтов. Из стих. «К Гению», 1829 г. Акад. изд., т. I, стр. 53]

[В сельце Кропотове, бывшем постоянным местом жительства отца и родных теток поэта, еще в конце прошлого века были живы дворовые люди Лермонтовых]. По их рассказам, поэт был резвый, шаловливый мальчик, крепко любивший отца и всегда горько плакавший при отъезде обратно к бабушке.

*[В. М. Цехановский. «Из прошлого». «Исторический Вестник», 1898 г., № 10, стр. 394]*

Не ручаюсь за достоверность рассказанного, но Пожогин-Отрашкевич уверял меня, что он передает только то, что резко

запечатлелось у него в памяти.

По словам его, когда Миша Лермонтов стал подрастать, то Е. А… Арсеньева взяла к себе в дом для совместного с ним воспитания маленького сына одного из своих соседей Д[авыдова], а скоро после того и его, Пожогина. Все три мальчика были одних лет: им было но шестому году. Они вместе росли и вместе начали учиться азбуке. Первым учителем их, а вместе с тем и дядькою, был старик француз Жако.[18] После он был заменен другим учителем, также французом, вызванным из Петербурга, Капэ. Лермонтов в эту пору был ребенком слабого здоровья, что, впрочем, не мешало ему быть бойким, резвым и шаловливым. Учился он прилежно, имел особенную способность и охоту к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки. В нем обнаруживался нрав добрый, чувствительный, с товарищами детства был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами в нем особенно выказывалась настойчивость. Капэ имел странность: он любил жаркое из молодых галчат и старался приучить к этому лакомству своих воспитанников. Несмотря на уверения Капэ, что галчата вещь превкусная, Лермонтов, назвав этот новый род дичи падалью, остался непоколебим в своем отказе попробовать жаркое, и никакие силы не могли победить его решения. Другой пример его настойчивости обнаружился в словах, сказанных им товарищу своему Д[авыдову]. Поссорившись с ним как-то в играх, Лермонтов принуждал Д[авыдова] что-то сделать. Д[авыдов] отказывался исполнить его требование и услыхал он Лермонтова слова: «Хоть умри, но ты должен это сделать…»

В свободные от уроков часы дети проводили время в играх, между которыми Лермонтову особенно нравились будто бы те, которые имели военный характер. Так, в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля. Охота с ружьем, верховая езда на маленькой лошадке с черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и гимнастика были также любимыми упражнениями Лермонтова. Так проводили они время в Тарханах. В 1824 году Е. А… Арсеньева отправилась лечиться на Кавказ и взяла с собою внука и его двоюродного брата. Лермонтову было десять лет, когда он увидел Кавказ. Проведя лето в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске, Арсеньева в октябре возвратилась в Тарханы.

В это время Пожогин-Отрашкевич должен был оставить дом Арсеньевой. В Тарханах ожидал его дядя, который и увез его в Москву для определения в тамошний кадетский корпус.

Лермонтов два года еще после того жил в Тарханах, но потом

Арсеньева увезла его в Москву. Место Капэ заступил Винсон. Через несколько времени Лермонтов поступил в Университетский пансион.

*[А. Корсаков. «Русский Архив», 1881 г., кн. 3, стр. 457–458]*

[Осенью 1827 г. ] Е. А. Арсеньева переселилась в Москву с целью дать воспитание знаменитому своему внуку. Мещериновы и Арсеньевы жили почти одним домом…

Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым — Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е. А… Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион. Мне хорошо известно, что Володя (старший) Мещеринов и Миша Лермонтов вместе поступили в 4-й класс пансиона.

Невольно приходит мне на ум параллель между вышеупомянутыми замечательными женщинами, которых я близко знал и в обществе которых, под их влиянием, вырос поэт Лермонтов. Е. А… Арсеньева была женщина деспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать; она отличалась замечательной красотой, происходила из старинного дворянского рода и представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей притом высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую. Е.П. Мещеринова, будучи столь же типичной личностью, в противоположность Арсеньевой, выделялась своей доступностью, снисходительностью и деликатностью души.

*[Меликов. «Заметки и воспоминания художника-живописца». «Русская Старина», 1896 г., т. LXXXVI, кн. 6, стр. 647–648]*

[1827 г.]

Милая тетенька! Наконец настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лености, но от того, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвальбы,[19] но собственно оттого, что вам это будет приятно. В географии я учу математическую по небесному глобусу, градусы, планеты, ход их и пр. Прежнее учение истории мне очень помогло. Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры; мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше,[20] в знак благодарности за подвязку, посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в

каких садах не бывал, но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку»,[21] ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски); я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не забыли, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы приписал к братцам[22] здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю за подвязку.

Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки и остаюсь ваш покорный племянник.

М. Лермонтов

*[Письмо Лермонтова к М. А. Шан-Гирей. Акад. изд., т. IV, стр. 303]*

Помню, что, когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска: он вылепил, например, охотника с собакой и сцены сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми; пьесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов. В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти с умными, черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюлов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз).

В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе, как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно-самолюбивым, экзальтированным ребенком.

*[М. Е. Меликов, «Заметки и воспоминания художника-живописца». «Русская Старина», 1896 г., т. XXXVI, кн. 6, стр. 648]*

Капэ… не долго после переселения в Москву оставался руководителем Мишеля, — он простудился и умер от чахотки. Мальчик не скоро утешился. Теперь был взят в дом весьма рекомендованный, давно проживавший в России, еще со времени великой французской революции, эмигрант Жандро, сменивший недолго пробывшего при Лермонтове ученого еврея Леви. Жандро

сумел понравиться избалованному своему питомцу, а особенно бабушке и московским родственницам, каких он пленял безукоризненностью манер и любезностью обращения, отзывавшихся старой школой галантного французского двора. Этот изящный, в свое время избалованный русскими дамами, француз пробыл, кажется, около двух лет и, желая овладеть Мишей, стал мало-помалу открывать ему «науку жизни».

*[Висковатый, стр. 36]*

В 1827 году она [бабушка] поехала с Мишелем в Москву для его воспитания, а через год и меня привезли к ним. В Мишеле нашел я большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло 14 лет; он учился прилежно. Mr. Gindrot, гувернер, почтенный и добрый старик, был однако строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учители, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля, Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К***, меня ужасно интриговало, что значит слово стансы и зачем три звездочки? Однако ж промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма «Индианка»[23] и начал издаваться рукописный журнал «Утренняя заря»,[24] на манер «Наблюдатель» или «Телеграф» как следует, с стихотворениями и изящною словесностью, под редакцией Николая Гавриловича; журнала этого вышло несколько нумеров, по счастию, пред отъездом в Петербург, все это было сожжено, и многое другое, при разборе старых бумаг.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 727]*

Полагаю, что мы не ошибемся, если скажем, что Лермонтов в наставнике Саши в поэме «Сашка» описывает своего гувернера Жандро.

*[Висковатый, стр. 36–37]*

Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess. Педант полузабавный,
Имел он длинный нос и тонкий вкус
И потому брал деньги преисправно.
Покорный раб губернских дам и муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою
По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах он,
И, быв уверен в дамской благодати,

Не размышлял, что́ кстати, что́ не кстати.

* * *

Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного волненья:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украшенья.
Приятель наш, парижский Адонис,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и народ,
И натощак отправился в поход,
И наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять науки.

[Лермонтов. «Сашка». Строфы LXXV–LXXVI]

Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ

Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца… Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображенье… и т. д.

Из рассказов этих молодой Лермонтов почерпнул нелюбовь свою к парижской черни и особенную симпатию к неповинным жертвам, из среды коих особенно выдвигался дорогой ему образ поэта Андрэ Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило Арсеньеву ему отказать, а в дом был принят семейный гувернер, англичанин Виндсон. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалование — 3000 р. — и поместили с семьею (жена его была русская) в особом флигеле. Однако же и к нему Мишель не привязался, хотя от него приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром.

*[Висковатый, стр. 37]*

Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его; читал Мура и поэтические произведения Вальтер Скотта (кроме этих трех, других поэтов Англии я у него никогда не видал), но свободно объясняться по-английски никогда не мог, французским же и немецким языком владел, как собственным. Изучение английского языка замечательно тем, что с этого времени он начал передразнивать Байрона.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 727–728]*

Между тем шло приготовление к экзамену для поступления в Благородный университетский пансион. Занятиями Мишеля руководил Алексей Зиновьевич Зиновьев1, занимавший в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Он пользовался репутацией отличного педагога, и родители особенно охотно доверяли детей своих его руководству. В Благородном пансионе считалось полезным, чтобы каждый ученик отдавался на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся самим родителям. Родственники приехавшей в Москву Арсеньевой, Мещериновы, рекомендовали Зиновьева, и таким образом Лермонтов стал, по принятому выражению, «клиентом» г. Зиновьева и оставался им во всю бытность свою в пансионе.

Пансион помещался тогда на Тверской (дом Базилевского); он состоял из шести классов, в коих обучалось до 300 воспитанников. Лермонтов поступил в него в 1828 году, но расстаться со своим любимцем бабушка не захотела, и потому решили, чтобы Мишель был зачислен полупансионером, следовательно, каждый вечер возвращался бы домой.

*[А. З. Зиновьев в передаче Висковатого, стр. 37–38]*

—

1 Об А. З. Зиновьеве (4/II 1801 — 14/II 1884) см. статью Д. Д. Языкова в «Обзоре жизни и трудов покойных русских писателей». СПб., 1888 г., вып. IV; а также его же «Учитель Лермонтова — А. З. Зиновьев», «Исторический Вестник», 1884 г., кн. 6., стр. 606–608. Здесь дана подробная биография и исчерпывающая библиография.

Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон, —
Двусмысленная вещь; что добрый малый —

Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Что умный — и забавней и сносней,
Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)
Он нажил в месяц сто врагов забавных.
И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилично,
С стальным замком и розовой каймой.
Любил он разговоры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань насмешкой отвечать,
Иль, притворясь рассеянным невеждой,
Ласкать их долго тщетною надеждой.

[Лермонтов. «Сашка», строфы CXVI–CXVII]

Мишель поступил полупансионером в университетский Благородный пансион,[25] и мы переехали с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 727]*

Когда я спросил у А. З. Зиновьева, знал ли Лермонтов классические языки, он отвечал мне: «Лермонтов знал порядочно латинский язык, не хуже других, а пансионеры знали классические языки очень порядочно. Происходило это оттого, что у нас изучали не язык, а авторов. Языку можно научиться в полгода настолько, чтобы читать на нем, а хорошо познакомясь с авторами, узнаешь хорошо и язык. Если же все напирать на грамматику, то и будешь изучать ее, а язык-то все же не узнаешь, не зная и не любя авторов».

*[Висковатый, стр. 39]*

[Москва. Декабрь 1828 г.]

Милая тетенька![26]

Зная вашу любовь ко мне, я не могу медлить, чтобы обрадовать вас: экзамен кончился, и вакация началась до 8 января; следственно, она будет продолжаться 3 недели. Испытание наше продолжалось от 13-го до 20-го числа. Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что г-н Дубенской поставил 4 *русск.* и 3 *лат.*; но он продолжал мне ставить 3 и 2 до самого

экзамена, вдруг как-то сжалился и накануне переправил, что произвело меня вторым учеником.

Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего portefeuille, слава Богу, что такими любезными мне руками!.. Скоро я начну рисовать с (buste) бюстов… Какое удовольствие!.. К тому ж Александр Степанович[27] мне показывает также, как должно рисовать пейзажи.

Я продолжал подавать сочинения мои Дубенскому,[28] а Геркулеса и Прометея взял инспектор, который хочет издавать журнал «Каллиопу» (подражая мне?!), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется? Павлов[29] мне подражает, перенимает у… меня!.. — стало быть… стало быть… но выводите заключения, какие вам угодно.

Бабушка была немного нездорова зубами, однако же теперь гораздо лучше, а я — o! je me porte comme a l'ordinaire… — bien![30] Прощайте, милая тетенька, желаю, чтобы вы были внутренно покойны, след. здоровы, ибо: les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme.[31] Остаюсь ваш покорный племянник.

Я прилагаю вам, милая тетенька, стихи, кои прошу поместить к себе в альбом, а картинку я еще не нарисовал. На вакацию надеюсь исполнить свое обещание.

Вот стихи:

**ПОЭТ**

Когда Рафаэль вдохновенный
Пречистой Девы лик священный
Живою кистью окончал:
Своим искусством восхищенный,
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И, утомленный и немой,
Он забывал огонь небесный.
Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поёт, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Все тише, и призрак бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.

Не зная, что дяденька в Апалихе,[32] я не писал к нему, но прошу извинения и свидетельствую ему мое почтение.

*[Письмо Лермонтова к М. А. Шан-Гирей. Акад. изд., т. IV, стр. 303–304]*

## *ВЕДОМОСТЬ О ПОВЕДЕНИИ И УСПЕХАХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА ВОСПИТАННИКА 4-го КЛАССА*

## *М. ЛЕРМОНТОВА[33]*

Поведение — Весьма похвально
Прилежание — Весьма похвально
Успехи:
Закон Божий — 3
Математика — 4
Русский язык -4
Латинский язык -3
История — 4
География — 4
Немецкий язык -4
Французский язык -4
Заключение — 30
За 24 балла перевод в 5-й класс
Инспектор *Павлов.*
*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 390]*

[Москва, 1829]

<…> Вакации приближаются и… прости! достопочтенный пансион! Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому что учение прекратится; нет! дома я заниматься буду еще более, нежели там. Вы спрашивали о баллах, милая тетенька, увы! — у нас в пятом классе с самого нового года еще не все учителя поставили сии *вывески нашей премудрости!* (выражение одного ученика). Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видели здесь «Игрока»,[34] трагедию «Разбойники». Вы бы иначе думали. Многие из петербургских *господ* соглашаются, что эти пьесы лучше идут, нежели там, и что Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина. Бабушка, я и Еким, все, слава Богу, здоровы, но М-г G. Gendroz[35] был болен, однако теперь почти совсем поправился. Постараюсь следовать советам вашим, ибо я

уверен, что они служат к моей пользе. Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник

*М. Лермонтов*.

*P.S.* Прошу вас дяденьке засвидетельствовать мое почтение и у тетеньки Анны Акимовны целую ручки. Также прошу поцеловать за меня Алешу, двух Катюш и Машу.[36]

*М. Л.*

*[Из письма Лермонтова к М. А. Шан-Гирей. Акад. изд., т. IV, стр. 305]*

В соседстве с нами[37] жило семейство Лопухиных, старик отец, три дочери девицы и сын; они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. Были также у нас родственницы со взрослыми дочерьми, часто навещавшие нас, так что первое общество, в которое попал Мишель, было преимущественно женское, и оно непременно должно было иметь влияние на его впечатлительную натуру.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 727–728]*

У Сашеньки[38] встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, [39] со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Он учился в Университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах; все его называли просто Мишель, и я так же, как и все, не заботясь нимало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности.

Один раз мы сидели вдвоем с Сашенькой в ее кабинете, как вдруг она сказала мне: «Как Лермонтов влюблен в тебя!»

— Лермонтов! да я не знаю его и, что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию.

— Перестань притворяться, перестань скрытничать, ты не знаешь Лермонтова? Ты не догадалась, что он любит тебя?

— Право, Сашенька, ничего не знаю и в глаза никогда не видала его, ни наяву, ни во сне.

— Мишель, — закричала она, — поди сюда, покажись. Catherine утверждает, что она тебя еще не рассмотрела, иди же скорее к нам.

— Вас я знаю, Мишель, и знаю довольно, чтоб долго помнить вас, — сказала я вспыхнувшему от досады Лермонтову, — но мне

ни разу не случилось слышать вашу фамилию, вот моя единственная вина, я считала вас, по бабушке, Арсеньевым.

— А его вина, — подхватила немилосердно Сашенька, — это красть перчатки петербургских модниц, вздыхать по них, а они даже и не позаботятся осведомиться об его имени.

Мишель рассердился и на нее и на меня и опрометью побежал домой (он жил почти против Сашеньки); как мы его ни звали, как ни кричали ему в окно:

Revenez donc tantôt,
Vous aurez du bonbon, — [40]

но он не возвращался. Прошло несколько дней, а о Мишеле ни слуху, ни духу; я о нем не спрашивала, мне о нем ничего не говорила Сашенька, да я и не любопытствовала разузнавать, дуется ли он на меня или нет.

*[Сушкова, стр. 108–110]*

*1830* (мне теперь 15 лет). Я однажды (3 года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится.

Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп!..[41]

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 350. Из VI тетр. автогр. Лерм. муз., л. 33, об. ]*

Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не мог я извлечь из скрипки, на фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 349. Из V тетради автогр. Лерм. муз., л. 13, об. ]*

*1830. Замечание.* Когда я начал марать стихи в 1828 г. (в пансионе), я, как бы по инстинкту, переписывал и прибирал их. Они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же — это сходство меня поразило.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 349. Из V тетради автограф. Лерм. муз., л. 13]*

Лучшие профессора того времени преподавали у нас в пансионе, и я еще живо помню, как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя, и проч.

и как он, древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мерзлякову; но чрез несколько дней, возвращая все наши сочинения на заданные им темы, он, возвращая стихи Лермонтову, хотя и похвалил их, но прибавил только: «молодо, зелено», какой, впрочем, аттестации почти все наши сочинения удостаивались. Все это было в 1829 или 1830 году, за давностью хорошо не помню.[42] Нашими соучениками в то время были, блистательно кончившие курс, братья Д. А. и Н. А. Милютины и много бывших потом государственных деятелей.

*[А. М. Миклашевский. «Русская Старина», 1884 г., т. XII, стр. 589]*

В последнем 6-м классе пансиона сосредоточивались почти все университетские факультеты, за исключением, конечно, медицинского. Там преподавали все науки, и потому у многих, во время экзамена, выходил какой-то хаос в голове. Нужно было приготовиться, кажется, из 36 различных предметов. Директором был у нас Курбатов. Инспектором, он же и читал физику в 6-м классе, М. Г. Павлов. Судопроизводство — старик Сандунов. Римское право — Малов, с которым потом была какая-то история в университете. Фортификацию читал Мягков. Тактику, механику и проч. и проч. я уже не помню кто читал. Французский язык — Бальтус, с которым ученики проделывали разные шалости, подкладывали ему под стул хлопушки и проч.

*[А. М. Миклашевский. «Русская Старина», 1884 г., т. XII, стр. 590]*

Сабуров[43]… не понимал моего пылкого сердца.

*[Надпись над стихотворением 1829 г. — «Пир», во II тетради Лерм. муз., л. 3]*

…Пьесу («Русская мелодия»)[44] подавал за свою Раичу[45] Дурнов — друг, которого поныне люблю и уважаю за его открытую и добрую душу. Он мой первый и последний.

*[Заметка Лермонтова во II тетради Лерм. муз., л. 18]*

Наша дружба [с Сабуровым] смешана с столькими разрывами

и сплетнями, что воспоминания об ней совсем не веселы. Этот человек имеет женский характер. Я сам не знаю, отчего так дорожил им.[46]

*[Запись Лермонтова во II тетради Лерм. муз., л. 24]*

Всем нам товарищи давали разные прозвища. В памяти у меня сохранилось, что Лермонтова, не знаю почему, — прозвали лягушкою. Вообще, как помнится, его товарищи не любили, и он ко многим приставал. Не могу припомнить, пробыл ли он в пансионе один год или менее, но в 6-м классе к концу курса он не был. Все мы, воспитанники Благородного пансиона, жили там и отпускались к родным по субботам, а Лермонтова бабушка ежедневно привозила и отвозила домой.

*[А. М. Миклашевский. «Русская Старина» 1884 г., т. XII, стр. 590]*

Как теперь смотрю я на милого моего питомца, отличившегося на пансионском акте… Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского «К морю» и заслужил громкие рукоплескания. Он прекрасно рисовал, любил фехтование, верховую езду, танцы, и ничего в нем не было неуклюжего: это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых летах.

*[В. З. Зиновьев в передаче А. Н. Пыпина. Сочинения Лермонтова под ред. П. А. Ефремова, 1873 г., стр. XIX]*

Пансионская жизнь Мишеля была мне мало известна, знаю только, что там с ним не было никаких историй; изо всех служащих при пансионе видел только одного надзирателя, Алексея Зиновьевича Зиновьева, бывавшего часто у бабушки, а сам в пансионе был один только раз, на выпускном акте, где Мишель декламировал стихи Жуковского: «Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей». Впрочем, он не был мастер декламировать и даже впоследствии читал свои прекрасные стихи довольно плохо.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 727]*

В то время был публичный экзамен в университетском пансионе. Мишель за сочинения и успехи в истории получил первый приз: весело было смотреть, как он был счастлив, как торжествовал. Зная его чрезмерное самолюбие, я ликовала за него. Смолоду его грызла мысль, что он дурен, не складен, не знатного происхождения, и в минуты увлечения он признавался мне не раз, как бы хотелось ему попасть в люди, а главное,

никому в этом не быть обязану, кроме самого себя. Мечты его уже начали сбываться, долго, очень долго будет его имя жить в русской литературе — и до гроба в сердцах многих из его поклонниц.

*[Сушкова, стр. 129]*

Пошел наконец внуку и роковой для бабушки 16-й год. Подходил срок условию. Отец мог потребовать выполнения условий — отдачи ему сына обратно. Начались переговоры. Как раз в этом 1830 году император Николай Павлович приказал (29 марта) закрыть «Благородный университетский пансион» и переименовал заведение в гимназию. Лермонтов находился тогда в старшем отделении высшего класса. Он, как и многие другие, подал прошение об увольнении и получил его 16 апреля.

*[Висковатый, стр. 66]*

***СВИДЕТЕЛЬСТВО***[47]

из Благородного Пансиона Императорского Московского Университета пансионеру Михаилу Лермантову в том, что он в 1828 году был принят в Пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с *отличным* прилежанием, с *похвальным* поведением и с *весьма хорошими успехами*; ныне же по прошению его от Пансиона с сим уволен.

Дано в Москве за подписанием директора оного Пансиона, статского советника и кавалера, с приложением пансионской печати.

*Петр Курбатов*
Апреля 16-го дня 1830 года.
Печать Московского Университетского
Благородного Пансиона

День ото дня Москва пустела, все разъезжались по деревням, и мы, следуя за общим полетом, тоже собирались в подмосковную, куда я стремилась с нетерпением, — так прискучили мне однообразные веселости Белокаменной. Сашенька уехала уже в деревню, которая находилась в полутора верстах от нашего Большакова, а тетка ее Столыпина жила от нас в трех верстах, в прекрасном своем Средникове,[48] у нее гостила Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком своим Лермонтовым.

Такое приятное соседство сулило мне много удовольствия, и на этот раз я не ошиблась. В деревне я наслаждалась полной свободой. Сашенька и я по нескольку раз в день ездили и ходили друг к другу, каждый день выдумывали разные parties de plaisir: катанья, кавалькады, богомолья; то-то было мне раздолье!..

…По воскресеньям мы езжали к обедне в Средниково и оставались на целый день у Столыпиной. Вчуже отрадно было видеть, как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова; бедная, она пережила всех своих, и один Мишель остался ей утешением и подпорою на старость; она жила им одним и для исполнения его прихотей; не нахвалится, бывало им, не налюбуется на него; бабушка (мы все ее так звали) любила очень меня, я предсказывала ей великого человека в косолапом и умном мальчике.

Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сантиментальные суждения, а мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятным и неоцененным снимком с первейших поэтов.

*[Сушкова, стр. 110–111]*

*[1830]*. Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет *великий человек* и будет два раза женат. Про меня (Мне) на Кавказе предсказала *то же самое* (повивальная) старуха моей Бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось, хотя б я был так же несчастлив, как Байрон.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 351. Из VII тетр. автогр. Лерм. муз., л. 2]*

**К*****
**(Прочитав жизнь Байрона, написанную Муром)**
Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны, — нет,
Нет! все мои жестокие мученья —
Одно предчувствие гораздо больших бед.
Я молод, но кипят на сердце звуки,

И Байрона достигнуть я б хотел:
У нас одна душа, одни и те же муки;
О, если б одинаков был удел!..
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.
Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно,
Гляжу вперед — там нет души родной!

[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 141]

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

*1831 г.*
*[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 300]*

*[1830]*. Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. Однако же если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях.

Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская, — я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности.

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 350–351. Из VI тетр. автогр. Лерм. муз., л. 34]*

С этими песнями знакомил Михаила Юрьевича учитель русской словесности семинарист Орлов. Он давал уроки Аркадию

Столыпину, сыну владетельницы Середникова, Екатерины Апраксеевны. Орлов имел слабость придерживаться чарочки. Его держали в черном теле и не любили, чтобы дети вне уроков были в его обществе. Лермонтов, который был на несколько лет старше своего родственника, беседовал с семинаристом, и этот поправлял ему ошибки и объяснял ему правила русской версификации, в которой молодой поэт был слаб. Часто беседы оканчивались спорами. Миша никак, конечно, не мог увлечься красотами поэтических произведений, которыми угощал его Орлов из запаса своей семинарской мудрости, но охотно слушал он народные песни, с которыми тот знакомил его.

В рано созревшем уме Миши было, однако, много детского: будучи в старших классах Университетского пансиона и много и серьезно читая, он в то же время находил забаву в том, чтобы клеить с Аркадием из папки латы и, вооружаясь самодельными мечами и копьями, ходить с ним в глухие места воевать с воображаемыми духами. Особенно привлекали их воображение развалины старой бани, кладбище и так называемый «Чортов мост». Товарищем ночных посещений кладбищ или уединенного, страх возбуждающего, места бывал некто Лаптев, сын семьи, жившей поблизости в имении своем.

*[Рассказы А. Д. Столыпина в передаче Висковатого, стр. 90–91]*

*(Середниково. В мыльне, ночью, когда мы ходили попа пугать.)*

Сижу я в комнате старинной
Один с товарищем моим.
Фонарь горит, и тенью длинной
Пол омрачен. Как легкий дым,
Туман окрестность одевает,
И хладный ветер по листам
Высоких лип перебегает.
Я у окна. Опасно нам
Заснуть. А как узнать? — быть может,
Приход нежданный нас встревожит!
Готов мой верный пистолет,
В стволе свинец, на полке порох.
У двери слушаю… Чу!.. шорох
В развалинах… и крик!.. Но нет!
То мышь летучая промчалась,
То птица ночи испугалась!
На темной синеве небес
Луна меж тучками ныряет.

Спокоен я. Душа пылает
Отвагой: ни мертвец, ни бес,
Ничто меня не испугает,
Ничто… Волшебный талисман
Я на груди ношу с тоскою;
Хоть не твоей любовью дан,
Он освящен твоей рукою.

1831 г.
[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 264–265]

Еще очень подсмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал что́ ел: телятину или свинину, дичь или барашка; мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения, он споривал с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напечь к чаю булочек с опилками. И что же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроном Мишель, не поморшась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе третью, но Сашенька и я — мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобосваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным.[49]

Между тем его каникулы приходили к концу, и Елизавета Алексеевна собиралась уехать в Москву, не решаясь расставаться со своим Веньямином. Вся молодежь, и я в том же числе, отправились провожать бабушку с тем, чтоб из Москвы отправиться пешком в Сергиевскую лавру.

Накануне отъезда я сидела с Сашенькой в саду; к нам подошел Мишель. Хотя он все еще продолжал дуться на нас, но предстоящая разлука смягчила гнев его; обменявшись несколькими словами, он вдруг опрометью убежал от нас. Сашенька пустилась за ним, я тоже встала и тут увидела у ног своих не очень щегольскую бумажку, подняла ее, развернула, движимая наследственным любопытством прародительницы. Это были первые стихи Лермонтова, поднесенные мне таким оригинальным образом.

**ЧЕРНООКОЙ**

**Твои пленительные очи**
**Яснее дня, чернее ночи.**
Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой волшебный взор —
Не билось сердце у меня.
И пламень звездочных очей,
Который вечно, может быть,
Останется в груди моей,
Не мог меня воспламенить.
К чему ж разлуки первый звук
Меня заставил трепетать?
Он не предвестник долгих мук,
Я не люблю! Зачем страдать?
Однако же хоть день, хоть час
Желал бы дольше здесь пробыть,
Чтоб блеском ваших чудных глаз
Тревогу мыслей усмирить.[50]

Средниково,
12 августа (1830)

Я показала стихи возвратившейся Сашеньке и умоляла ее не трунить над отроком-поэтом.

На другой день мы все вместе поехали в Москву. Лермонтов ни разу не взглянул на меня, не говорил со мною, как будто меня не было между ними, но не успела я войти в Сашенькину комнату, как мне подали другое стихотворение от него. Насмешкам Сашеньки не было конца за то, что мне дано свыше вдохновлять и образовывать поэтов.

**БЛАГОДАРЮ!**

Благодарю!.. вчера мое признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
Благодарю!

В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
Благодарю!

Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:
Благодарю!

О, пусть холодность мне твой взор укажет,[51]
Пусть он убьет надежды и мечты
И все, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
Благодарю!

Средниково,
12 августа [1830]

На следующий день, до восхождения солнца, мы встали и бодро отправились пешком на богомолье; путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали, еще более смеялись, а чему? Бог знает! Бабушка ехала впереди шагом, верст за пять до ночлега или до обеденной станции отправляли передового приготовлять заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чудная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием.

На четвертый день мы пришли в Лавру изнуренные и голодные. В трактире мы переменили запыленные платья, умылись и поспешили в монастырь отслужить молебен. На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звуки монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам Бог счастие, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!»

Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья,
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою,
Так чувства лучшие мои
Навек обмануты тобою![52]

«Благодарю вас, Monsieur Michel, за ваше посвящение и поздравляю вас, с какой скоростью из самых ничтожных слов вы извлекаете милые экспромты, но не рассердитесь за совет: обдумывайте и обрабатывайте ваши стихи, и со временем те, которых вы воспоете, будут гордиться вами».

— И сами собой, — подхватила Сашенька, — особливо первые, которые внушили тебе такие поэтические сравнения. Браво, Мишель!

Лермонтов как будто не слышал ее и обратился ко мне:

— А вы будете ли гордиться тем, что вам первой я посвятил свои вдохновения?

— Может быть, более других, но только со временем, когда из вас выйдет настоящий поэт, и тогда я с наслаждением буду вспоминать, что ваши первые вдохновения были посвящены мне, а теперь, Monsieur Michel, пишите, но пока для себя одного; я знаю, как вы самолюбивы, и потому даю вам этот совет, за него вы со временем будете меня благодарить.

— А теперь еще вы не гордитесь моими стихами?

— Конечно нет, — сказала я смеясь, — а то я была бы похожа на тех матерей, которые в первом лепете своих птенцов находят и ум, и сметливость, и характер, а согласитесь, что и вы, и стихи ваши еще в совершенном младенчестве.

— Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас более ничего, как ребенок.

— Да ведь это правда; мне восемнадцать лет, я уже две зимы выезжаю в свет, а вы еще стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнете.

— Но когда перешагну, подадите ли вы мне руку помощи?

— Помощь моя будет вам лишняя, и мне сдается, что ваш ум и талант проложат вам широкую дорогу, и тогда вы, может быть, отречетесь не только от теперешних слов ваших, но даже и от мысли, чтоб я могла протянуть вам руку помощи.

— Отрекусь! Как может это быть! Ведь я знаю, я чувствую, я горжусь тем, что вы внушили мне, любовью вашей к поэзии, желание писать стихи, желание их вам посвящать и этим обратить на себя ваше внимание; позвольте мне доверить вам все, что выльется из-под пера моего?

— Пожалуй, но и вы разрешите мне говорить вам неприятное для вас слово: благодарю?

— Вот вы и опять надо мной смеетесь; по вашему тону я вижу, что стихи мои глупы, нелепы, — их надо переделать, особливо в последнем куплете, я должен бы был молить вас совсем о другом, переделайте же его сами не на словах, а на деле, и тогда я пойму всю прелесть благодарности.

Он так на меня посмотрел, что я вспыхнула и, не находя, что отвечать ему, обратилась к бабушке с вопросом: какую карьеру изберет она для Михаила Юрьевича?

— А какую он хочет, матушка, лишь бы не был военным.

После этого разговора я переменила тон с Лермонтовым, часто называла его Михаилом Юрьевичем, чему он очень радовался, слушала его рассказы, просила его читать мне вслух и лишь тогда только подсмеивалась над ним, когда он, бывало, увлекшись разговором, с жаром говорил, как сладостно любить в первый раз, и что ничто в мире не может изгнать из сердца образ первой страсти, первых вдохновений. Тогда я очень серьезно спрашивала у Лермонтова, есть ли этому предмету лет десять и умеет ли предмет его вздохов читать хотя по складам его стихи?

После возвращения нашего в деревню из Москвы прогулки, катанья, посещения в Средниково снова возобновились, все пошло по-старому, но нельзя не сознаться, что Мишель оживлял все эти удовольствия и что без него не жилось так весело, как при нем.

Он писал Сашеньке длинные письма, обращался часто ко мне с вопросами и с суждениями и забавлял нас анекдотами о двух братьях Фее, и для отличия называл одного Fè-nez-long, Fè-nez-court;[53] бедный Фенелон был чем-то в Университетском пансионе и служил целью эпиграмм, сарказмов и карикатур Мишеля.

В одном из своих писем он переслал мне следующие стихи, достойные даже и теперь его имени:[54]

По небу полуночи ангел летел

И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

О, как я обрадовалась этим стихам, какая разница с тремя первыми его произведениями, в этом уже просвечивал гений.

Сашенька и я, мы первые преклонились перед его талантом и пророчили ему, что он станет выше всех его современников; с этих пор я стала много думать о нем и об его грядущей славе.

*[Сушкова, стр. 111–119]*

В четырнадцать или пятнадцать лет он уже стал писать стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта.

Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего, и таким образом теория повредила практике. Ему не достались в удел ни прелести, ни радости юношества; одно обстоятельство, уже с той поры, повлияло на его характер и продолжало иметь печальное и значительное влияние на всю его будущность. Он был дурен собою, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юношеские годы. Она-то и порешила образ мыслей, вкусы и направление молодого человека, с пылким умом и неограниченным честолюбием. Не признавая возможным нравиться, он решил соблазнять или пугать и драпировался в байронизм, который был тогда в моде. Дон Жуан сделался его

героем, мало того — его образцом; он стал бить на таинственность, на мрачное и на колкости. Эта детская игра оставила неизгладимые следы в подвижном и впечатлительном воображении; вследствие того, что он представлял из себя Лара и Манфреда, он привык быть таким. В то время я его два раза видела на детских балах, на которых я прыгала и скакала, как настоящая девочка, которою я и была, между тем как он, одних со мною лет, даже несколько моложе, занимался тем, что старался свернуть голову одной моей кузине,[55] очень кокетливой; с ней, как говорится, шла у него двойная игра; я до сей поры помню странное впечатление, произведенное на меня этим бедным ребенком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием. Кузина поверяла мне свои тайны; она показывала мне стихи, которые Лермонтов писал ей в альбом; я находила их дурными, особенно потому, что они не были правдивы. В то время я была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина; я сама пробовала заняться поэзией и написала оду на Шарлотту Корде, и была настолько разумна, что впоследствии ее сожгла.[56] Наконец, я даже не имела желания познакомиться с Лермонтовым, — столь он казался мне мало симпатичным.

Он тогда был в Благородном пансионе, служившем приготовительным пансионом при Московском университете.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к А. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas.» Leipzig, 1859, pp. 252–253[57] ]*

Речь зашла о том, где продолжать воспитание Мишеля. Думали везти молодого человека за границу: бабушка мечтала о Франции, а отец о Германии.

Чем более приближалось время окончательной перемены судьбы Михаила Юрьевича, тем более обострялось взаимное нерасположение тещи и зятя. В Юрии Петровиче прорывалась накипевшая годами злоба и желание вознаградить себя за долгую разлуку с сыном; в Елизавете Алексевне проснулся весь страх за потерю самого дорогого в жизни. Вся борьба между ними сосредоточилась теперь на 16-летнем мальчике. К кому он прильнет? Кто одержит верх?.. Крепко ухватились обе стороны за ревниво любимого юношу. Добром это не могло кончиться. Кажется, каждый готовился выпустить его только с жизнью, но трагизм положения всею тяжестью давил молодого поэта.[58] Конечно, он давно, как только стал мыслить, — а мысли зашевелились в нем рано, — понял, что между отцом и бабушкой что-то неладно. Он давно это чуял, давно страдал под этим

сознанием. Положение высокоодаренного мальчика между аристократической бабушкой и каким-то, редко видаемым, бедно обставленным отцом было тяжелое. Там где-то есть отец, которого появление в доме неприятно бабушке, но который ему мил и дорог, а здесь вокруг сына его — богатая обстановка, и любовь и уход… Но почему же не любят того, кто ему так дорог? Почему он исключен из круга родных, почему он не может пользоваться тем же, чем пользуется сын?.. Эта мысль, может быть, еще более привязывала мальчика к отцу. Он его жалел, а кто жалеет любя, тот вдвойне любит…

Весь ужас положения ему не представлялся еще. Вероятно, и бабушка, и отец, оба любя его, берегли его. И вдруг все от него скрываемое открылось, страсти разнуздались, пошли взаимные обвинения, уличения и вечная апелляция к его чувству, к любви его, к долгу, к благодарности. Мальчик изведал страшную пытку, — тем более страшную, что все его воспитание, любовь и баловство увеличили и без того в высшей степени сильную впечатлительность.

*[Висковатый, стр. 66–67]*

Наконец вопрос для Михаила Юрьевича был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом, но тут-то и началась самая тонкая интрига приближенных, с одной стороны, бабушки, с другой — отца. Бабушка упрекала внука в неблагодарности, угрожала лишить наследства, описывала отца самыми черными красками и, наконец, сама, под бременем горя, сломилась. Ее слезы и скорбь сделали то, что не могли сделать упреки и угрозы, — они вызвали глубокое сострадание внука. Его стала терзать мысль, что, решившись ехать с отцом, покидая старуху, он отнимает у нее опору последних дней ее. Она дала ему воспитание, ей он обязан уходом в детстве, воспитанием, богатством, всем, кроме жизни, правда, но жизнь-то на что же?.. Ему казалось, что в несколько дней он приблизил бабушку к могиле, что он неблагодарен к ней… Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу за ее непонимание его, за нанесенные оскорбления, да, может быть, и под влиянием интриги, подозревает сына в желании покинуть его, остаться у бабушки. Семейная драма дошла до высшего своего развития. Что тут произошло опять, мы знать не можем, но только отец уехал, а сын по-прежнему оставался у бабушки. Они больше не виделись, — кажется, вскоре Юрий Петрович скончался.[59]

*[Висковатый, стр. 68–69]*

Надо полагать, что Лермонтов перенес в это время страшные мучения, что катастрофа, разыгравшаяся в семье, действительно чуть не довела его до самоубийства.

*[Висковатый, стр. 69]*

«Во имя Отца, Сына и Св. Духа. Аминь.

По благости Милосердного Бога, находясь в совершенном здравии души и тела, нашел я за нужное написать сие мое родительское наставление и, вместе, завещание тебе, дражайший сын мой Михаил, и, как наследнику небольшого моего имущества, объявить мою непременную волю, которую выполнить в точности прошу и заклинаю тебя, как отец и христианин, будучи твердо уверен, что за невыполнение оной ты будешь судиться со мною перед лицом Праведного Бога.

Итак, благословляю тебя, любезнейший сын мой, Именем Господа нашего Иисуса Христа, Которого молю со всею теплою верою нежного отца, да будет Он милосерд к тебе, да осенит тебя Духом Своим Святым и наставит тебя на путь правый: шествуя им, ты найдешь возможное блаженство для человека. Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные за что-либо вредное или бесполезное: это *талант,* в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, — не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностию людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средства жить и умереть покойно.

Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою.

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял.

Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия.

Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов

любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины!.. Но Бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю.

Наконец, тебе, любезнейший сын мой, известно, какие нежные узы родства и дружбы связывали меня с моим семейством, и сколько сия дружба услаждала горестные дни моей жизни, и так за сию-то любовь и за сии жертвы в праве я требовать от тебя, как преемника сердца и души моей, продлить и за гробом мою любовь и нежное о них попечение, которые я имел во всю жизнь мою. А потому, для законного и справедливого дележа, не разделенного еще между мною и тремя сестрами моими, имения, долгом почитаю объяснить теперь тебе мою волю, а именно: сельцо Любашевка (Кропотово тож[60]) составляет все наше недвижимое имение, в коем считается по 7-й ревизии 159 мужск. пола душ: из числа сих душ по 4 мужск. пола дворовых людей отделены еще покойной матерью моею каждой сестре и числятся за ними по ревизии, следовательно, остается 147 душ. Сие число должно быть разделено пополам между тобою, любезнейший сын мой, и тремя сестрами моими Александрою, Натальею и Еленою, которые между собою разделят по равной части: движимость, находящаяся в доме, должна быть отдана трем упомянутым сестрам. Предоставить им право жить по смерть их в сем доме и быть опекуншами или попечительницами.

Имение сие заложено в опекунском совете, и потому долг ляжет на число доставшихся каждому душ. Кроме сего, еще имеется на мне партикулярного долга три тысячи пятьсот рублей, а именно капитанше Дарье Васильевне Скерлетовой — две тысячи рублей и надворной советнице Демидовой — тысяча пятьсот рублей, которые и прошу заплатить из имеющихся двенадцати тысяч рублей в долгах по заемным письмам, на господине чиновнике 7-го класса Луке Алексеевиче Левшине — пять тысяч рублей, на тайной советнице Авдотье Евгениевне Боборыкиной — пять тысяч рублей и на девицах Екатерине и Елизавете Кошкиных — две тысячи рублей. [Зачеркнуто: инженер-капитанше Марии Васильевне Боборыкиной шести тысяч рублей. ] Из остальных же, за уплатою моего долга восьми тысяч пятисот рублей, определяю четырем сестрам моим, полагая в том числе и замужнюю Авдотью Петровну Пожогину-Отрашкевичеву, каждой по две тысячи рублей ассигнациями, а остальные [слово зачеркнуто] пятьсот рублей, отпущенному на волю сестрою моею Александрою малолетнему Александру, по крестном отце Петрову.

Если же до смерти моей в сем капитале произойдет убавок, то, оставя последний пункт в полторы тысячи в своем виде, остальные деньги разделить по равной части между упомянутыми

четырьмя моими сестрами, а сему младенцу Александру испрашиваю твоего покровительства.

Выполнением в точности сего завещания моего, дражайший сын мой, ты успокоишь дух отца твоего, который, в вечности, благословлять и молить за тебя у Престола Всевышнего *будет*.

Сего 1831 года генваря 28-го дня.

Отец твой Юрий Петров Лермонтов.

P.S. Поправка и вычерк сделаны собственною моею рукою, по случаю перемены в капитале.

Сего июня 29-го дня 1831 г. Юрий Лермонтов».

*[Завещание Юрия Петровича Лермонтова. В. М. Цехановский. «Исторический Вестник», 1898 г., № 10, стр. 395–397]*

Что сразило его [Юрия Петровича] — болезнь или нравственное страдание? Может быть, то и другое, может быть, только болезнь. А. З. Зиновьев будто помнил, что он скончался от холеры (?). Верных данных о смерти Юрия Петровича и о месте его погребения собрать не удалось. Надо думать, что скончался отец Лермонтова вдали от сына, и не им были закрыты дорогие глаза. Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Юрий Петрович скончался в Москве и что его сын был на похоронах. Возможно, что стихотворение «Эпитафия», находящееся в черновых тетрадях 1830 года, относится к отцу.[61] Из него можно понять, что Михаил Юрьевич был на похоронах или у гроба отца.

*[Висковатый, стр. 69]*

**ЭПИТАФИЯ**

Прости! Увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного?
Как знать! Итак, прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал, —
Но понимаем был одним.
И тот один, когда рыдая
Толпа склонялась над тобой,
Стоял очей не обтирая,
Небрежный, хладный и немой,
И все, не ведая причины,
Винили дерзостно его,
Как будто миг твоей кончины
Был мигом счастья для него.
Но что ему их восклицанья?

Безумцы! не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья!

[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 106]

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай Бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный Творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
Не мне судить, виновен ты иль нет.
Ты светом осужден… Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И столько же насмешливых клевет.
Далеко от него, дух ада или рая,
Ты о земле забыл, как был забыт землей;
Ты счастливей меня: перед тобой,
Как море жизни, — вечность роковая
Неизмеримою открылась глубиной.
Ужели вовсе ты не сожалеешь ныне
О днях, потерянных в тревоге и слезах,
О сумрачных, но вместе милых днях,
Когда в душе искал ты, как в пустыне,
Остатки прежних чувств и прежние мечты?
Ужель теперь совсем меня не любишь ты?
О, если так, — то небо не сравняю
Я с этою землей, где жизнь влачу мою;
Пускай на ней блаженства я не знаю,
По крайней мере я люблю!

1831 г.

[Лермонтов. Акад. изд. т. I, стр. 284–285]

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец;
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом;
В ней соку нет, хоть зелена,
Дочь смерти, — смерть ей суждена!

1831 [?] г.
[Лермонтов. Из стих. «Стансы». Акад. изд., т. I, стр. 285–286]

Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом.

Я говорю о Московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток. Впрочем, всякий из восьми наших университетов, если пристально и тонко вглядываться в их питомцев, сообщает последним некоторое местное своеобразие.

Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе — впрочем, редкие — слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях, вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев, или задорных пререканий с полициею и т. д. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиями общества.[62]

*[И. А. Гончаров. Полн. собр. соч. СПб., изд. Маркса, 1899 г., т. XI, стр. 7–8]*

***В ПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА***

№ 221

От пансионера Университетского Благородного Пансиона Михаила Лермантова

## *ПРОШЕНИЕ*

Родом я из дворян, сын капитана Юрия Петровича Лермантова; имею от роду 16 лет; обучался в Университетском Благородном Пансионе разным языкам и наукам в старшем отделении высшего класса; — ныне же желаю продолжать учение мое в Императорском Московском университете, почему Правление оного покорнейше прошу, включив меня в число своекоштных студентов Нравственно-Политического Отделения, допустить к слушанию профессорских лекций. — Свидетельства о роде и учении моем при сем прилагаю. К сему прошению Михаил Лермантов руку приложил.[63]

Слуш. 21 августа
1830 года.

В назначенный день вечером мы явились на экзамен, происходивший, помнится, в зале конференции. В смежной, плохо освещенной комнате мы тесно, довольно многочисленной кучкой, жались у стен, ожидая, как осужденные на казнь, своей очереди…

Нас вызывали по нескольку человек вдруг, потому что экзамен кончался за раз. В зале заседал ареопаг профессоров-экзаменаторов, под председательством ректора. Их было человек семь или восемь. Вызываемые по списку подходили к каждому экзаменатору по очереди.

Профессор задавал несколько вопросов или задачу, например, из алгебры или геометрии, которую тут же, под носом у него, приходилось решать. Профессор латинского языка молча развертывал книгу, указывая строки, которые надо было перевести, останавливал на какой-нибудь фразе, требуя объяснения. Француз и этого не делал: он просто поговорил по-французски, и кто отвечал свободно на том же языке, он ставил балл и любезным поклоном увольнял экзаменующегося. Немец давал прочитать две-три строки и перевести и, если студент не затруднялся, он поступал, как француз. Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован.[64]

*[И. А. Гончаров. Полн. собр. соч., СПб., изд. Маркса, 1899, т. XII, стр. 11–12]*

Меня экзаменовали более нежели легко. Сами профессора вполголоса подсказывали ответы на заданные вопросы. Ответы по билетам тогда еще не были введены. Я был принят в студенты по

словесному факультету. С восторгом поздравляли меня родные, мечтали о будущей карьере, строили различные воздушные замки. Я был тоже доволен судьбой своей. Новая обстановка, будущие товарищи, положение в обществе — все это поощряло, тянуло к университетскому зданию, возбуждало чувство собственного достоинства.

*[П. Ф. Вистенгоф.[65] «Из моих воспоминаний», «Историч. Вестник». 1884 г., т. XVI, стр. 332]*

## *В ПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА*

№ 3579

От ординарных профессоров Снегирева, Ивашковского, экстра ординарного Победоносцева, адъюнктов: Погодина, Кацаурова, лекторов: Кистера и Декампа.

## *ДОНЕСЕНИЕ*[66]

По назначению господина ректора Университета мы испытывали Михаила Лермантова, сына капитана Юрия Лермантова, в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании. О чем и имеем честь донести правлению Университета.

*Семен Ивашковский. Иван Снегирев. Петр Победоносцев. Михаил Погодин. Николай Кацауров. Федор Кистер. Amèdèe Decampe.*

Августа «…» дня

1830 года.

Слуш. 1 сентября.

Журнал под № 46.

Наконец, все трудности преодолены: мы вступили в университет, облекшись в форменные сюртуки с малиновым воротником, и стали посещать лекции. Вне университета разрешалось желающим ходить в партикулярном платье.

Первый курс был чем-то вроде повторения высшего гимназического класса. Молодые профессора, адъюнкты — заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например — француз Куртенер, немецкий лектор Геринг, профессор

латинского языка Кубарев и греческого — Оболенский. Они много помогли нам хорошо приготовиться к слушанию лекций высшего курса и, кроме того, своим добрым и любезным отношением к нам сделали первые шаги вступления в университет чрезвычайно приятными. Между ними, как патриарх, красовался убеленный сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века — П. В. Победоносцев.

*[И. А. Гончаров. Полн. собр. соч. СПб., изд. Маркса, 1899 г., т. XII, стр. 16]*

По выпуске из пансиона Мишель поступил в Московский университет, кажется, в 1831 году.[67] К этому времени относится начало его поэмы «Демон»,[68] которую так много и долго он впоследствии переделывал: в первоначальном виде ее действие происходило в Испании и героиней была монахиня; также большая часть его произведений с байроническим направлением и очень много мелких, написанных по разным случаям, так как он с поступлением в университет стал посещать московский grand-monde.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 730]*

В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре, также играли мы часто в шахматы и в военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов. Все это неоспоримо убеждает меня в мысли, что байронизм был не больше, как драпировка; что никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзанья в действительности не было; что все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают; почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведет к неверному заключению, к тому же кроме двух или трех они не выдерживают снисходительнейшей критики, никогда автором их не назначались к печати, а сохранились от auto-da-fe[69] случайно, не прибавляя ничего к литературной славе Лермонтова, напротив, могут только навести скуку на читателя, и всем, кому дорога память покойного поэта, надо очень жалеть, что творения эти появились в печати.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 729–730]*

Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча все твердить азы да буки,

И наконец в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры;
Твоих сынов заносчивые споры:
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить — ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут… Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят;
Уходит, — втрое хуже. Сущий ад!..

[Лермонтов. «Сашка», строфы CXVIII — CXIX]

Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти человек. Молодость скоро сближается. В продолжение нескольких недель мы сделались своими людьми, более или менее друг с другом сошлись, а некоторые даже и подружились, смотря по роду состояния, средствам к жизни, взглядом на вещи. Выделялись между нами и люди, горячо принявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Ефремов, Лермонтов. Оказались и такие, как и я сам, то есть мечтавшие как-нибудь три года промаячить в стенах университетских и затем, схватив степень действительного студента, броситься в омут жизни.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884 г., т. XVI, стр. 332]*

В то время полный университетский курс был трехлетний. Первый курс считался подготовительным и был отделен от двух последних. Университет разделялся, до введения нового устава в 1836 году, на четыре факультета или отделения: нравственно-политическое, физико-математическое, врачебное и словесное. Нравственно- или этико-политическое отделение считалось между студентами наименее серьезным. Лермонтов, впрочем,

долго на нем не оставался, а перешел в словесное отделение, более соответствовавшее его вкусам и направлению.

*[Висковатый, стр. 104]*

В то время, о котором я говорю, все студенты разделялись на две категории: своекоштных и казеннокоштных.

Казеннокоштные студенты помещались в самом здании университета, в особо отведенных для них нумерах, по нескольку человек в каждом, и были на полном казенном содержании, начиная с пищи, одежды и кончая всеми необходимыми учебными пособиями. Взамен этого, по окончании курса наук, они обязаны были отслужить правительству известное число лет в местах, им назначенных, большею частью отдаленных. Студенты юридического факультета казенными быть не могли. Всем студентам была присвоена форменная одежда, наподобие военной: однобортный мундир с фалдами темно-зеленого сукна, с малиновым стоячим воротником и двумя золотыми петлицами, трехугольная шляпа и гражданская шпага без темляка; сюртук двухбортный, также с металлическими желтыми пуговицами, и фуражка темно-зеленая с малиновым околышком. Посещать лекции обязательно было не иначе как в форменных сюртуках. Вне университета, также на балах и в театрах, дозволялось надевать штатское платье. Студенты вообще не любили форменной одежды и, относясь индифферентно к этой формальности, позволяли себе ходить по улицам Москвы в форменном студенческом сюртуке, с высоким штатским цилиндром на голове.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884, т. XVI, стр. 334]*

Городская полиция над студентами, как своекоштными, так и казеннокоштными, не имела никакой власти, а также и прав карать их. Провинившийся студент отсылался полициею к инспектору студентов или в университетское правление. Смотря по роду его проступка, он судился или инспектором, или правлением университета.

Инспектора казеннокоштных и своекоштных студентов, а равно и помощники их (субинспектора), имели в императорских театрах во время представления казенные бесплатные места в креслах для наблюдения за нравственностью и поведением студентов во время сценических представлений и для ограждения прав их от произвольных действий полиции и других враждовавших против них ведомств. Студенческий карцер заменял тогда нынешнюю полицейскую кутузку, и эта кара для

студентов была гораздо целесообразнее и достойнее.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884, т. XVI, стр. 335–336]*

В 1830 году я поступил вольным слушателем в Московский университет. Студентом я быть не мог, потому что не выходили еще года — мне было всего только пятнадцать лет. Но неожиданные обстоятельства помешали мне в этом году посещать и слушать лекции.

В первых числах сентября над Москвой разразилась губительная холера. Паника была всеобщая. Массы жертв гибли мгновенно. Зараза приняла чудовищные размеры. Университет, все учебные заведения, присутственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась. Москва была оцеплена строгим военным кордоном, и учрежден карантин. Кто мог и успел, бежал из города. С болью в душе вспоминаешь теперь тогдашнее грустное и тягостное существование наше. Из шумной веселой столицы Москва внезапно превратилась в пустынный, безлюдный город. Полиция силой вытаскивала из лавок и лабазов арбузы, дыни, ягоды, фрукты и валила их в нарочно вырытые (за городом) глубокие наполненные известью ямы. Оставшиеся жители заперлись в своих домах. Никто без крайней необходимости не выходил на улицу, избегая сообщения между собой. Это могильное, удручающее безмолвие московских улиц по временам нарушалось тяжелым, глухим стуком колес больших четырехместных карет, запряженных парою тощих лошадей, тянувшихся небольшой рысью по направлению к одному из временно устроенных холерных лазаретов. Внутри карет или мучился умирающий, или уже лежал обезображенный труп. На запятках этих злополучных экипажей для видимости ставили двух полицейских солдат-будочников, как их тогда называли. Мрачную картину изображали эти движущиеся рыдваны, заставляя робкого, напуганного прохожего бросаться опрометью в ворота или калитку первого попавшегося дома, во избежание встречи с этими вместилищами ужасной смерти.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», т. XVI, стр. 330]*

Арсеньева с Лермонтовым оставались в Москве.

*[Висковатый, стр. 115]*

Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет

холеру единственной верной союзницей Николая, — раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «холера в Москве!» разнеслась по городу.

Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены; возле него лежал сторож, занемогший в ночь.

Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казенокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна, без хлора и холеры, могла свести человека в постель.

*[А. И. Герцен. «Былое и думы». Собр. соч., т. XII, стр. 120–121]*

Страшное было это время! Все заперлись в домах и никуда не выходили. Я тоже недели две сидел на квартире, не выходя даже и на улицу. Толки ходили, что по улицам разъезжают огромные фуры, которые увозят из города мертвых, куда попадаются иногда и живые, если они не откупятся от служителей холеры.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 2, стр. 328]*

В Москве тогда в первый раз появилась холера, все перепутались, принимая ее за что-то вроде чумы. Страх заразителен, вот и мы, и соседи наши побоялись оставаться долее в деревне и всем караваном перебрались в город, следуя, вероятно, пословице: на людях смерть красна.

Бабушку Арсеньеву нашли в горе: ей только что объявили о смерти брата ее, Столыпина, который служил в персидском посольстве и был убит вместе с Грибоедовым.[70]

Прасковья Васильевна[71] была сострадательна и охотно навещала больных и тех, которые горевали и плакали. Я всегда

была готова ее сопровождать к бедной Елизавете Алексеевне, поговорить с Лермонтовым и повидаться с Сашенькой и Дашенькой С., только что вышедшей замуж.

. . . . .

Один раз, при ней, Лермонтов читал вслух «Кавказского пленника»; Дашенька слушала его с напряженным вниманием; когда же он произнес:

К ее постели одинокой
Черкес младой и черноокой,
Не крался в тишине ночной, —

она вскричала со слезами на глазах: «Чудесно, превосходно! ах, зачем я не могу более этого сказать!» Мы все расхохотались и, как ни были мы невинны, мы понимали чутьем, что Даша клеветала на себя, бедная. Всякий вечер после чтения затевали игры, но не шумные, чтобы не обеспокоить бабушку. Тут-то отличался Лермонтов. Один раз он предложил нам сказать всякому из присутствующих, в стихах или в прозе, что-нибудь такое, что бы приходилось кстати. У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык, и мы, хотя с трепетом, но согласились выслушать его приговоры. Он начал с Сашеньки:

«Что можем наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже,
Подумать не успев, скажу: ты всех милей;
Подумав, я скажу все то же».[72]

Мы все одобрили à propos и были одного мнения с Мишелем.

Потом дошла очередь до меня. У меня чудные волосы, и я до сих пор люблю их выказывать; тогда я их носила просто заплетенные в одну огромную косу, которая два раза обвивала голову.

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.[73]

Мишель, почтительно поклонясь Дашеньке, сказал:

Уж ты, чего ни говори,

Моя почтенная Darie,
К твоей постели одинокой
Черкес младой и черноокой
Не крался в тишине ночной.

К обыкновенному нашему обществу присоединился в этот вечер необыкновенный родственник Лермонтова. Его звали Иваном Яковлевичем; он был и глуп, и рыж, и на свою же голову обиделся тем, что Лермонтов ничего ему не сказал. Не ходя в карман за острым словцом, Мишель скороговоркой проговорил ему:

«Vous êtes Jean, vous êtes Jacques, vous êtes roux, vous êtes sot et cependant vous n'êtes point Jean Jacques Rousseau».[74]

Еще была тут одна барышня,[75] соседка Лермонтова по Чембарской деревне, и упрашивала его не терять слов для нее и для воспоминания написать ей хоть строчку правды для ее альбома. Он ненавидел попрошаек и, чтоб отделаться от ее настойчивости, сказал: «Ну хорошо, дайте лист бумаги, я вам выскажу правду». Соседка поспешно принесла бумагу и перо, он начал:

Три грации…

Барышня смотрела через плечо на рождающиеся слова и воскликнула: «Михаил Юрьевич, без комплиментов, я правды хочу».

— Не тревожьтесь, будет правда, — отвечал он и продолжал:

Три грации считались в древнем мире,
Родились вы… всё три, а не четыре.

За такую сцену можно было бы платить деньги; злое торжество Мишеля, душивший нас смех, слезы воспетой и утешения Jean Jacques, все представляло комическую картину…

Я до сих пор не дозналась, Лермонтова ли эта эпиграмма или нет.[76]

Я упрекнула его, что для того случая он не потрудился выдумать ничего для меня, а заимствовался у Пушкина.

— И вы напрашиваетесь на правду? — спросил он.

— И я, потому что люблю правду.

— Подождите до завтрашнего дня.

Рано утром мне подали обыкновенную серенькую бумажку,

сложенную запиской, запечатанную и с надписью: «Ей, правда».

**ВЕСНА**
Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полу-юные поля, —
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей.
Гляжу: природа молодеет,
Не молодеть лишь только ей.
Ланит спокойных пламень алый
С годами время унесет,
И тот, кто так страдал бывало,
Любви к ней в сердце не найдет![77]

Внизу очень мелко было написано карандашом, как будто противуядие этой едкой, по его мнению, правде:

Зови надежду — сновиденьем,
Неправду — истиной зови.
Не верь хвалам и увереньям,
Лишь верь одной моей любви!
Такой любви нельзя не верить,
Мой взор не скроет ничего,
С тобою грех мне лицемерить,
Ты слишком ангел для того![78]

Он непременно добивался моего сознания, что правда его была мне неприятна.

— Отчего же, — сказала я, — это неоспоримая правда, в ней нет ничего ни неприятного, ни обидного, ни непредвиденного; и вы, и я, все мы состаримся, сморщимся, — это неминуемо, если еще доживем; да, право, я и не буду жалеть о прекрасных ланитах, но, вероятно, пожалею о вальсе, мазурке, да еще как пожалею!

— А о стихах?

— У меня старые останутся, как воспоминание о лучших днях. Но мазурка — как жаль, что ее не танцуют старушки!

— Кстати о мазурке, будете ли вы ее танцевать завтра со мной у тетушки Хитровой?

— С вами? Боже меня сохрани, я слишком стара для вас, да к тому же на все длинные танцы у меня есть петербургский кавалер.

— Он должен быть умен и мил.

— Ну, точно смертный грех.

— Разговорчив?

— Да, имеет большой навык извиняться, в каждом туре оборвет мне платье шпорами или наступит на ноги.

— Не умеет ни говорить, ни танцевать; стало быть, он тронул вас своими вздохами, страстными взглядами?

— Он так кос, что не знаешь, куда он глядит, и пыхтит на всю залу.

— За что же ваше предпочтение? Он богат?

— Я об этом не справлялась, я его давно знаю, но в Петербурге я с ним ни разу не танцевала, здесь другое дело, он конногвардеец, а не студент и не архивец.

И в самом деле, я имела неимоверную глупость прозевать с этим конногвардейцем десять мазурок сряду для того только, чтобы мне позавидовали московские барышни. Известно, как они дорожат нашими гвардейцами; но на бале, данном в собрании по случаю приезда в. к. Михаила Павловича, он чуть меня не уронил, и я так на него рассердилась, что отказала наотрез мазурку и заменила его возвратившимся из деревни А[лексеевым]…

Его высочество меня узнал, танцовал со мною, в мазурке тоже выбирал два раза и смеясь спросил: не забыла ли я Пестеля?[79]

Когда Лермонтову Сашенька сообщила о моих триумфах в собрании, о шутках великого князя насчет Пестеля, я принуждена была рассказать им для пояснения о прежнем моем знакомстве с Пестелем и его ухаживаниях. Мишель то бледнел, то багровел от ревности, и вот как он выразился:

Взгляни, как мой спокоен взор,
Хотя звезда судьбы моей
Померкнула с давнишних пор,
А с ней и думы лучших дней.
Слеза, которая не раз
Рвалась блеснуть перед тобой,
Уж не придет — как прошлый час
На смех, подосланный судьбой.
Над мною посмеялась ты
И я с презреньем отвечал;
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,

Ничто мне не отдаст покой,
И сердце шепчет мне подчас:
«Я не могу любить другой!»
[Я жертвовал другим страстям,]
Но если первые мечты
Служить не могут больше нам,
То чем же их заменишь ты?
Чем ты украсишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю —
А может быть, и в небесах![80]

Я не видала Лермонтова с неделю, он накопил множество причин дуться на меня, он дулся за Пестеля, дулся, кажется, даже и за великого князя, дулся за отказ мазурки, а более всего за то, что я без малейшей совести хвасталась своими волосами. За ужином у тетки Хитровой я побилась об заклад с добрым старичком, князем Лобановым-Ростовским, о пуде конфект за то, что у меня нет ни одного фальшивого волоска на голове, и вот после ужина все барышни, в надежде уличить меня, принялись трепать мои волосы, дергать, мучить, колоть; я со спартанской твердостью вынесла всю эту пытку и предстала обществу покрытая с головы до ног моей чудной косой. Все ахали, все удивлялись, один Мишель пробормотал сквозь зубы: «Какое кокетство!»

— Скажите лучше: какая жадность! Ведь дело идет о пуде конфект; утешьтесь, я поделюсь с вами. Насущные стихи на другой день грозно предвещали мне будущее:

Когда к тебе молвы рассказ
Мое названье принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет;
Когда мне пищей станет кровь
И буду жить среди людей,
Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей, —
Тогда раскаянья кинжал
Пронзит тебя; и вспомнишь ты,
Что при прощанье я сказал.
Увы! то были не мечты!
И если только наконец
Моя лишь грудь поражена,
То верно прежде знал Творец,

Что ты страдать не рождена.[81]

Вечером я получила записку от Сашеньки: она приглашала меня к себе и умоляла меня простить раскаивающегося грешника и, в доказательство истинного раскаяния, присылала новые стихи.

У ног других не забывал
Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней.
Так грусть — мой мрачный властелин —
Все будит старину,
И я твержу везде один:
«Люблю тебя, люблю!»

И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
Минувшим я гоним.
И где б ни вздумал я искать
Под небом тишину,
Все сердце будет мне шептать:
«Люблю ее одну».[82]

Я отвечала Сашеньке, что записка ее для меня загадочна, что передо мной никто не виноват, ни в чем не провинился и, следовательно, мне некого прощать.

На другой день я сидела у окошка, как вдруг к ногам моим упал букет из желтого шиповника, а в середине торчала знакомая серая бумажка, даже и шиповник-то был нарван у нас в саду.[83]

Передо мной лежит листок,
Совсем ничтожный для других,
Но в нем сковал случайно рок
Толпу надежд и дум моих.
Исписан он твоей рукой,
И я вчера его украл,
И для добычи дорогой
Готов страдать — как уж страдал![84]

Изо всех поступков Лермонтова видно, как голова его была набита романическими идеями, и как рано было развито в нем

желание попасть в герои и губители сердец. Да и я, нечего лукавить, стала его бояться, стала скрывать от Сашеньки его стихи и блаженствовала, когда мне удавалось ее обмануть.

*[Сушкова, 119–129]*

В конце сентября холера еще более свирепствовала в Москве; тут окончательно ее приняли за чуму или вообще отравление; страх овладел всеми; балы, увеселения прекратились, половина города была в трауре, лица вытянулись, все были в ожидании горя или смерти, Лермонтов от этой тревоги вовсе не похорошел.

Отец мой прискакал за мною, чтоб увезти меня из зачумленного города в Петербург. Более всего мне было грустно расставаться с Сашенькой, а главное, я привыкла к золотой волюшке, привыкла располагать своим временем…

С неимоверною тоскою простилась я с бабушкой Прасковьей Петровной, с Сашенькой, с Мишелем; грустно, тяжело было мне. Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что было поводом к следующим стихам:

Свершилось! Полно ожидать
Последней встречи и прощанья!
Разлуки час и час страданья
Придут — зачем их отклонять!
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной,
Что час прощанья, час ужасный
Ко мне внезапно подлетел.
Свершилось! Голосом бесценным
Мне больше сердца не питать,
Запрусь в углу уединенном
И буду плакать… вспоминать![85]

1-го октября[86]
1830 г.

Когда я уже уселась в карету и дверцы захлопнулись, Сашенька бросила мне в окно вместе с цветами и конфектами исписанный клочок бумаги, — не помню я стихов вполне:

Итак, прощай! Впервые этот звук
Тревожит так жестоко грудь мою.
Прощай! Шесть букв приносят столько мук,
Уносят все, что я теперь люблю!
Я встречу взор ее прекрасных глаз,

И может быть… как знать… в последний раз![87]

[Сушкова, стр. 130–131]

11 сентября 1830 г.

У нас большой переполох: разошелся слух, что в разных частях города мрут от холеры…

Все принимают предосторожности. Чесноку нельзя больше найти в Москве; последние гарнцы продавались по 40 р. Деготь, хлористая известь, камфора и мускус, от палат до хижин, распространяют свой запах по всей Москве.

Как предохранение, предписывают умеренность, трезвость, поменьше есть зелени и вовсе не есть плодов…

Многие уезжают в Смоленск и Петербург, и Москва пустеет, как в 1812 г. Не одни только богатые люди покидают ее; вот уже четвертый день, как рабочие бросают дело и тысячами уходят назад в деревни…

Теперь изо всех застав тянутся экипажи и толпы рабочего люда. Другие заперлись у себя в домах, обеспечив себя закупкою съестных припасов, и живут как в осажденной крепости…

В понедельник и вторник трусость достигла высшей степени. Купцы и даже простолюдины не выходили из дому иначе как держа платок под носом. Каждый спешил закупить себе припасов на случай запечатания домов, так как распространился слух, что все частные дома будут запираться от полиции, подобно домам казенным. Народ собирался у икон, в особенности у иконы, что у Варварских ворот, той самой, из-за которой погиб Амвросий в 1771 г. Два дня сряду видел я, как спускали лампаду, которая горит перед этой иконою; как люди, и больше всего женщины, обмокали в лампадное масло свои тряпочки с тем, чтоб потом класть их себе на живот. Этого средства не значится в списке предохранительных мер, который привезен министром.

*[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской. «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 137–140]*

Октября 2-го 1830 г.

Со вчерашнего дня Москва заперта; в течение 12 дней ее покинуло 60 тысяч человек. Теперь никто не выедет и не въедет без нового распоряжения…

*[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской. «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 141]*

**СМЕРТЬ**

Закат горит огнистой полосою.

Любуюсь им безмолвно под окном,
Быть может, завтра он заблещет надо мною —
Безжизненным, холодным мертвецом.

Одна лишь дума в сердце опустелом —
То мысль о ней… О, далеко она,
И над моим недвижным, бледным телом
Не упадет слеза ее одна!

Ни друг, ни брат прощальными устами
Не поцелуют здесь моих ланит,
И сожаленью чуждыми руками
В сырую землю буду я зарыт.

Мой дух утонет в бездне бесконечной!..
Но ты… О! пожалей о мне, краса моя!
Никто не мог тебя любить, как я,
Так пламенно и так чистосердечно.

1830 г., октября 9.
Москва.
[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 158]

1.
Чума явилась в наш предел.
Хоть страхом сердце стеснено,
Из миллиона мертвых тел
Мне будет дорого одно.
Его земле не отдадут,
И крест его не осенит,
И пламень, где его сожгут,
Навек мне сердце охладит.

2.
Никто не прикоснется к ней,
Чтоб облегчить последний миг.
Уста волшебницы очей
Не приманит к себе других.
Лобзая их, я б был счастлив,
Когда б в себя яд смерти впил,
Затем, что, сладость их испив,
Я деву некогда забыл.

1830 г.
[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 151–152]

Нет, графиня, пяти студентов университета не умирало, Умер всего один жертвою своей невоздержности, пьянства и разврата. Из-за этого поднялась тревога, и лекции прекращены.

*[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской. «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 142]*

Если у вас целы все «Ведомости», попробуйте подвести итог, что не совсем легко, благодаря их путанице. Во всяком случае насчитается от четырех до пятисот умерших; из них, может быть, только десятая часть померли от холеры, остальные внесены для умножения числа. К концу наберутся тысячи, потому что непременно нужно показать усердие.

*[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской, «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 143]*

Арсеньева получила известие о погибели брата своего, Николая Алексеевича Столыпина, растерзанного в Севастополе рассвирепевшею толпой, собственно толпою женщин.

*[Висковатый, стр. 115–116]*

Скоро, однако ж, москвичи соскучились, попривыкли к холере и мало-помалу начали убеждаться, что она незаразительна, что от нее еще скорее можно умереть, сидя в комнате и беспрестанно о ней думая, нежели выходя и развлекаясь, и Москва опять высыпала на улицы и зашумела.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 2, стр. 329]*

Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше; мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы; страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью, что тот-то занемог, что такой-то умер…

*[А. И. Герцен. «Былое и думы». Собр. соч., т. XП, стр. 121]*

В конце декабря месяца холера, унеся более пяти тысяч

жертв, совершенно прекратилась в Москве, и после Рождественских праздников, после двухмесячного закрытия, открыт университет, и студенты стали ходить на лекции.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. 2, стр. 332–333]*

Когда болезнь в Москве уменьшилась, а в университете прекратилась совсем, 12 января 1831 года, перед открытием учения, совершена литургия… в университетской церкви.

*[С. П. Шевырев. «История Московского университета», стр. 378]*

Ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было и все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян.

*[Висковатый, стр. 121]*

Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, протоиерея Терновского. В два часа пополудни мы расходились по домам.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884, т. XVI, стр. 336]*

Когда уже я был на третьем курсе, в 1831 году,[88] поступил в университет, по политическому же факультету, Лермонтов: неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет шестнадцати юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы исподлобья смотревшими. Вообще студенты последнего курса не очень-то сходились с первокурсниками, и потому я был мало знаком с Лермонтовым, хотя он и часто подле меня садился на лекциях; тогда еще никто и не подозревал в нем никакого поэтического таланта.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. I, кн. 1, стр. 112]*

Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочим, тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я

не успел познакомиться с ним.

*[И. А. Гончаров. Полн. собр. соч. СПб., изд. Маркса, 1899, т. XII, стр. 16–17]*

Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что в свою очередь и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания.

Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темно-карие большие глаза пронзительно впирались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение.

Так прошло около двух месяцев. Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться.

Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение.

— Вы подойдите к Лермонтову и спросите его, какую он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием. Это предлог для начатия разговора самый основательный.

Недолго думая, я отправился.

— Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? — обратился я к нему не без некоторого волнения.

Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд.

— Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание ее, — ответил он

мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать.

Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу, — она была английская.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884 г., т. XVI, стр. 333]*

Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал! Говоривший невольно конфузился, умалял свой экстаз или совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884 г., т. XVI, стр. 334]*

Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Непохоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества, и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884, XVI, стр. 334]*

[На одном маскараде в Благородном собрании] Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой; в этой книге должность кабалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице; под буквами вписаны были стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятие встретить в маскараде.[89]

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 730]*

**БУХАРИНОЙ**[90]

Не чудно ль, что зовут вас Вера?
Ужели можно верить вам?

Нет, я не дам своим друзьям
Такого страшного примера!..

Поверить стоит раз… но что ж?
Ведь сам раскаиваться будешь:
Закона веры не забудешь,
И старовером прослывешь!

**АЛЯБЬЕВОЙ**[91]
Вам красота, чтобы блеснуть,
Дана.
В глазах душа, чтоб обмануть,
Видна!..
Но звал ли вас хоть кто-нибудь:
**Она?**

**ТОЛСТОЙ**
Недаром она, недаром
С отставным гусаром!

**МАРТЫНОВОЙ**[92]
Когда поспорить вам придется,
Не спорьте никогда о том,
Что не возможно быть с умом
Тому, кто в этом признается.
Кто с вами раз поговорил,
Тот с вами вечно спорить будет,
Что ум ваш вечно не забудет
И что другое все забыл!

**ДОДО**[93]
Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить.
Умеешь ты польстить случайно
С холодной важностью лица,
И умника унизить тайно,
Взяв пылко сторону глупца!
Как в талисмане стих небрежный,
Как над пучиною мятежной

Свободный парус челнока —
Ты беззаботна и легка.
Тебя не понял север хладный:
В наш круг ты брошена судьбой,
Как божество страны чужой,
Как в день печали миг отрадный!

**БАШИЛОВУ**[94]

Вы старшина собранья, верно,
Так я прошу вас объявить,
Могу ль я здесь нелицемерно
В глаза всем правду говорить?
Авось авось займет нас делом
Иль хоть забавит новый год,
Когда один в собранье целом
Ему навстречу не солжет.
Итак, я вас не поздравляю.
Что год сей даст вам — знает Бог.
Зато минувший, уверяю,
Отметил за вас, как только мог!

Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене.

Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос.

Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.

Мы все переглянулись.

Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику.

Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Истор. Вестник»,*

*1884 г., т. XVI, стр. 334]*

[1831 г.]

Ma chère tante! Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в Гамлете; если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердца человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, — то это в Гамлете. Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить притворному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменил ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен; эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре.[95]

. . . . .

Теперь следуют мои извинения, что я к вам, любезная тетенька, не писал; клянусь, некогда было; ваше письмо меня воспламенило: как обижать Шекспира! — Мне здесь довольно весело: почти каждый вечер на бале. — Но великим постом я уж совсем засяду. В университете все идет хорошо.

*[Из письма Лермонтова к М. А. Шан-Гирей. Акад. изд., т. IV, стр. 306–307]*

*2-го [4?] декабря, св. Варвары. Вечером, возвратясь.* Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья! Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страданья?[96]

*[Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 351. Из XI тетр. автогр. Лерм. муз., л. 21 об. ]*

Вообще большая часть произведений Лермонтова этой эпохи, т. е. с 1829 по 1833 год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостью своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений и неудач; бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц? Маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке…

Будучи студентом, он был страстно влюблен в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15–16; мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У В[ареньки] родинка, В[аренька] уродинка», — но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения; но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование; напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы; по вступлении в свет — новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 728–729]*

В это время [весна 1831 г. ] Сашенька прислала мне в подарок альбом, в который все мои московские подруги написали уверения в дружбе и любви. Конечно, дело не обошлось без Лермонтова. Вот эти три стихотворения:

Вверху одна
Горит звезда,
Мой взор она
Манит всегда,
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Меня зовет.
Таков же был
Тот нежный взор,

Что я любил
Судьбе в укор,
Мук никогда
Он зреть не мог,
Как та звезда,
Он был высок.

Усталых вежд
Я не смыкал
И без надежд
К нему взывал.[97]

Я тогда имела привычку все смотреть вверх, и Лермонтов смеялся надо мной и часто повторял, что стоит быть у моих ног, чтоб никогда не быть мной замечену.

Вот вторая его пьеса:

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон,
Но образ твой в душе моей
Живет, хотя бессилен он.
Другим предавшися мечтам,
Я всё забыть тебя не мог,
Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог![98]

На самом последнем листке альбома было написано подражание Байрону:

Нет! Я не требую вниманья
На грустный бред души моей,
Таить от всех мои желанья
Привык уж я с давнишних дней.
Пишу, пишу рукой небрежной,
Чтоб здесь чрез много скучных лет
От жизни краткой, но мятежной,
Какой-нибудь остался след.
Быть может, некогда случится,
Что, все страницы пробежав,
На эту взор ваш устремится
И вы промолвите: он прав!
Быть может, долго стих унылый
Ваш взгляд удержит над собой,
Как близ дороги столбовой
Пришельца — памятник могильный.[99]

*1831 г.*
*[Сушкова, стр. 134–135]*

Профессор Малов… был олицетворенная глупость и ничтожество; но как он был всегда деликатен с нами даже до унижения, то мы терпеливо переносили его глупость. В это время он из экстраординарных профессоров был сделан ординарным, и как у глупых людей honores mutant mores,[100] то и Малов возгордился новым своим званием и из кроткого и деликатного вдруг сделался строгим и грубым… Однажды, когда мы, по обыкновению, начали шуметь на его лекции и не унимались от его строгих требований тишины, он вышел из терпения и забылся до того, что обругал нас мальчишками и ушел с лекции. Негодование студентов за такое оскорбление было страшное. Такая брань от кого бы то ни было показалась бы нам очень обидною, тем более от такого осла, которого мы только и терпели за его снисходительность. Все студенты ходили взволнованные по аудитории, кричали, как смел такой дурак, как Малов, так оскорблять студентов, и ругали его всячески. Но весь этот шум и гам, вероятно, кончился бы ничем, если бы не нашелся коновод, который дал бы желанное направление этому движению, и этим коноводом явился я… Слух о нашем намерении сделать скандал Малову распространился и между студентами других факультетов, особливо в словесном факультете, где у нас было много хороших товарищей, которые нам очень сочувствовали и обещали свою помощь; и ненависть к Малову вообще всех студентов, а в особенности необыкновенность такого единодушного действия студентов политического факультета, никогда до сих пор небывалого между ними, возбудили всеобщий интерес и любопытство.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 2. стр. 336–338]*

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в [этико]-политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним. «Сколько у вас профессоров в отделении?» — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории. «Без Малова девять», — отвечал студент… Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтобы осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории.

*[А. И. Герцен. «Былое и думы». Собр. соч., т. XII, стр. 114]*

Настал желанный день.[101] Мы все, сговорившиеся… расселись по отделениям скамеек. Является Малов; все встали… Он важно сел на кафедру, то есть на небольшое возвышение со столом и креслом, и начал читать лекцию. Тишина царствовала глубокая, как на море перед бурей, только входная в аудиторию

дверь часто отворялась, и в нее беспрестанно потихоньку входили студенты других отделений, которые и садились на скамейках моего фланга, как ближайших к двери. Из словесного факультета пришли, сколько помню, Антонович, Почека, Оболенский, князь Оболенский, князь Гагарин, Закревский, Огарев; из математического Герцен, Диомид, Пассек, Носков и проч. Не помню теперь, о чем была лекция, но я слушал ее внимательно. Через полчаса или более по содержанию лекции мне казалось, что вот-вот Малов скоро ее кончит, между тем как до часу много еще оставалось времени, и мне вдруг пришло на мысль: ну что, ежели Малов кончит лекцию раньше, нежели за пять минут до своего часа, когда мы условились начинать шум, и уйдет из аудитории?.. ведь наше предприятие тогда не удастся. Будучи поражен этою мыслию, я тотчас же посылаю адъютанта своего Михаила Розенгейма к начальникам боевой армии Топорнину и Каменскому с предложением, что хотя еще далеко до условленных пяти минут, но надобно непременно начинать уже. Розенгейм, пробираясь сзади скамеек, возвратился ко мне и передал, что Топорнин ни за что не соглашается и что нужно так делать, как условились. Боясь, чтобы Малов не ушел с лекции прежде нашей демонстрации, и увидевши, что от подошедших словесников армия моя значительно увеличилась, я решился действовать сам со своими собственными силами, хотя бы другие отряды меня и не поддерживали…

Я сидел на передней скамейке. Сначала, желая только сделать как бы пробу, я потихоньку шаркнул ногой по полу; но едва я это сделал, как сзади у меня за скамейками поднялось такое шарканье ногами, какого я уже не ожидал. Малов изумился. Он перестал читать лекцию и прислушивался к шарканью; но как оно не ослабевало и продолжалось сильнее, то он обратился к нашему отделению и начал нам что-то говорить. Мы тотчас перестали, но за этим последовало шарканье на левом фланге, где, вероятно, добрые товарищи не выдержали и не послушались Топорнина. Малов обращается направо к студентам и начинает им говорить; но там мгновенно все умолкает, и начинается шум в центре, Малов обращается к центру; там перестают шаркать, и начинает опять шуметь правый фланг. Все это делалось как по команде. Малов видимо струсил. Сначала он грозил нам, а то вдруг смирился и начал петь перед нами Лазаря: «Ну что я вам, милостивые государи, сделал? — говорил он. — За что вы на меня сердитесь? Помилуйте меня! Извините меня, если я вас чем оскорбил… оставьте все это!» Что мы не имели никакого другого намерения, как только пошуметь, и этим заставить Малова перед нами смириться и извиниться, это доказывается тем, что мягкие

его слова и извиняющаяся и униженная его физиономия сильно на нас подействовали, и мы мгновенно перестали шуметь.

Если бы Малов после этого ушел с лекции, то без сомнения и конец был бы нашей демонстрации. Но его, как говорится, лукавый попутал. Видя нашу покорность, он возгордился своею над нами победой и вдруг, как бы какой чорт подучил его, он, обращаясь к нам с насмешкою, сказал: «Ну что ж вы, милостивые государи, перестали? Что же вы не продолжаете? Продолжайте!..» Эти слова его были искрой в порох. Едва он выговорил их, как все студенты вскочили с мест своих, начали ногами уже не шаркать, а колотить о передние доски скамеек, закричали на него: «Вон, вон!..» — и пустили уже в него кто шапкой, а кто книжкой. Он стремглав бросился из аудитории, едва успел схватить свою шубу и шапку и побежал через двор на улицу. Тут вслед ему студенты кричали, атукали как на зайца, ругали его, и когда он выбежал на улицу, то полетели в него и камешки, и толпа далеко по Тверской улице провожала его с гиканьем, бранью и атуканьем, как дикого зверя…

Следствием этого было то, что Малова удалили из университета, с чем вместе он лишился преподавания уроков и в других учебных заведениях, за что он получал, как говорили, до двадцати тысяч ежегодного жалованья, а виновников беспорядка велено открыть и наказать.[102]

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 2. стр. 338–340, 344]*

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора.

*[А. И. Герцен. «Былое и думы». Собр. соч., т. XII]*

В старое доброе время любили повеселиться. Процветали всевозможные удовольствия: балы, собрания, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывали и лекции, и премудрых профессоров наших. Наступило лето, а с ним вместе и роковые публичные экзамены, на которых следовало дать отчет в познаниях своих.

Рассеянная светская жизнь в продолжение года не осталась бесследною. Многие из нас не были подготовлены для сдачи

экзаменов. Нравственное и догматическое богословие, а также греческий и латинский языки подкосили нас. Панин и Голохвастов,[103] присутствуя на экзаменах, злорадствовали нашей неудаче.

Последствием этого было то, что нас оставили на первом курсе на другой год; в этом числе был и студент Лермонтов.

Самолюбие Лермонтова было уязвлено. С негодованием покинул он Московский университет навсегда, отзываясь о профессорах как о людях отсталых, глупых, бездарных, устарелых, как ровно и о тогдашней университетской нелепой администрации. Впоследствии мы узнали, что он, как человек богатый, поступил на службу юнкером в лейб-гвардии Гусарский полк.

*[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний» «Историч. Вестник», 1884 г., т. XVI, стр. 337]*

***В ПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА***

№ 1370

От своекоштного студента Михаила Лермантова

***ПРОШЕНИЕ***

В прошлом 1830 году, при вступлении моем в Университет, представлено было мною свидетельство о рождении и крещении, в коем я ныне имею нужду; почему и покорнейше прошу Правление Университета оное свидетельство мне возвратить. *Императорского Московского Университета своекоштный студент Михаил Лермантов.*

Апреля «…» дня

1832 года.

Слуш. апреля 22.

(Порешено было свидетельство о рождении выдать, сняв с него копию.)

***В ПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА***

№ 1916

От своекоштного студента Михаила Лермантова

## *ПРОШЕНИЕ*

Прошлого 1830 года, в августе месяце принят я был в сей Университет по экзамену студентов и слушал лекции по словесному отделению. Ныне же по домашним обстоятельствам более продолжать учения в здешнем Университете не могу и потому правление Императорского Московского Университета покорнейше прошу, уволив меня из оного, снабдить надлежащим свидетельством, для перевода в Императорский Санктпетербургский Университет.

*К сему прошению Михаил Лермантов руку приложил.* [104]

Июня 1-го дня

1832-го года.

Слуш. июня 6.

[На оборотной стороне помечено:]

Приказали означенного студента Лермантова, уволив из Университета, снабдить надлежащим о учении его свидетельством.

Верно: Тит. Сов. *Щеглов.*

## *СВИДЕТЕЛЬСТВО*

№ 2480

По указу Его Императорского Величества, из Правления Императорского Московского Университета своекоштному студенту Михаилу Лермантову, сыну капитана Юрия Лермантова, в том, что он в прошлом 1828 году был принят в бывший Университетский Благородный Пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами, а 1830 года, сентября 1-го дня, принят в сей Университет по экзамену студентом и слушал лекции по словесному отделению, ныне же по прошению его от Университета сим уволен; и как он Лермантов полного курса учения не окончил, то и не распространяется на него сила Указа 1809 года, августа 6-го дня и 26-го сентября предварительных правил Народного Просвещения. Дано в Москве июня 18-го дня 1832 года. Подлинное подписано: Ректор Двигубский, непременный заседатель Иван Давыдов, декан Михаил Каченовский, секретарь Щеглов [?].

[Тут же рукой Лермонтова написано:]

*Подлинный аттестат получил своекоштный студент*

*Михайло Лермантов.*

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь? Могли ли научиться? Полагаю, что да. Преподавание было скудное, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание;… его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений… Московский университет свое дело делал: профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать в земле.

*[А. И. Герцен. «Былое и думы». Соч. под ред. Лемке, т. XII, стр. 114].*

—

1

# ЧАСТЬ 2
# МОЛОДОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
# 1832–1836

*Сердце у Лермонтова было доброе, первые порывы всегда благородны, но непонятная страсть казаться хуже, чем он был, старание изо всякого слова, изо всякого движения извлечь сюжет для описания, а главное, необузданное стремление прослыть «героем, которого было бы трудно забыть», почти всегда заставляли его пожертвовать эффекту лучшими сторонами своего сердца.*

*[Сушкова, стр. 24]*

# ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

**1832.** *Осенью.* Переезд Лермонтова с бабушкой в Петербург.

**1832.** *Октябрь и ноябрь.* Лермонтов готовится к поступлению в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

**1832.** *10 ноября.* Зачисление Лермонтова в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

**1833.** *Начало года.* Лермонтов упал в манеже с лошади, сломал ногу и пролежал больным (в доме бабушки) больше двух месяцев.

**1834.** *Начало года.* Лермонтов принимает участие в издании рукописного журнала «Школьная заря».

**1834.** *22 ноября.* Окончание Лермонтовым военной школы и производство в корнеты л. — гв. Гусарского полка.

**1834.** *4 декабря.* Встреча Лермонтова с Е. А. Сушковой на балу у г-жи К.

**1834.** *6 декабря.* Лермонтов на танцевальном вечере у Сушковых.

**1834.** *26 декабря.* Бал у петербургского генерал-губернатора, на котором Сушкова признается Лермонтову в любви.

**1835.** *5 января.* Лермонтов посылает анонимное письмо Е. А. Сушковой.

**1835.** *Август.* В «Библиотеке для Чтения» напечатана поэма Лермонтова «Хаджи Абрек» (первое печатное произведение).

**1835.** *20 декабря* Лермонтов отправляется в отпуск по домашним обстоятельствам в Тульскую и Пензенскую губернии.

**1835.** Выход замуж (за Бахметева) Вареньки Лопухиной.

**1835.** Из крупных произведении написаны: «Боярин Орша» и «Маскарад».

**1836.** *Январь — 14 марта.* Лермонтов в отпуске, сначала по домашним обстоятельствам, а потом по болезни.

**1836.** *С конца марта* Лермонтов снова числится налицо в полку.

**1836.** *24 декабря.* Лермонтов простудился и слег в постель.

# МОЛОДОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Развлекаемый светскими удовольствиями, Лермонтов однако же занимался лекциями, но недолго пробыл в университете; вследствие какой-то истории с одним из профессоров, в которую он случайно и против воли был замешан, ему надо было оставить Московский университет, и в конце 1832 года[105] он отправился с бабушкой в Петербург, чтобы поступить в тамошний, но вместо университета он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в лейб-гвардии гусарский полк.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 732–733]*

Лермонтов был на 2-м или на 3-м курсе, когда ему захотелось перейти в Петербург. Снеслись с тамошним университетом, который дозволил перевод не иначе как с условием, чтобы проситель начал сызнова, то есть выдержал вступительный экзамен. Такое требование рассердило Лермонтова; он с досады вступил в Юнкерскую школу. Шум, произведенный этим делом, совершенно извратившим карьеру молодого человека, который преимущественно отличался умственными способностями, вызвал начальство установить с той поры, что студенты могут переходить из одного университета в другой, ничего не теряя из своих учебных годов.

Так рассказывала мне, по смерти поэта, его родственница, Ек. Лук. С[иманская], урожденная Б[оборыкина].

*[Ладыженская. «Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 660]*

[Тверь. 1832 г. ][106]

Ваше Атмосфераторство![107]

Милостивейшая государыня, София, дочь Александрова!.. Ваш раб всепокорнейший Михайло, сын Юрьев, бьет челом вам.

Дело в том, что я обретаюсь в ужасной тоске; извозчик едет тихо, дорога пряма, как палка, на квартире вонь, и перо скверное!.. Кажется, довольно, чтобы истощить ангельское терпение, подобное моему.

Что вы делаете? Приехала ли Александра, Михайлова дочь, [108] и какие ее речи? Все пишите, а моего писания никому не являйте.

Растрясло меня и потому к благоверной кузине не пишу, а вам мало; извините моей немощи…

До Петербурга с обеими прощаюсь.

Раб ваш *M. Lerma.*

Прошу засвидетельствовать мое нижайшее почтение тетеньке

и всем домочадцам.

*[Письмо Лермонтова к С. А. Бахметевой. Акад. изд., т. IV. стр. 307]*

[С.-Петербург, август, 1832 г.]

Любезная Софья Александровна!

До самого нынешнего дня я был в ужасных хлопотах, ездил туда-сюда, к Вере Николаевне на дачу, и проч.; рассматривал город по частям и на лодке ездил в море. Короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений… Преглупое состояние человека то, когда он принужден занимать себя, чтоб жить, как занимали некогда придворные старых королей; быть своим шутом!.. Как после этого не презирать себя, не потерять доверенность, которую имел к душе своей?.. Одну добрую вещь скажу вам: наконец я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь. Вчера я был в одном доме N.N., где, просидев четыре часа, я не сказал ни одного путного слова. У меня нет ключа от их умов — быть может, слава Богу!

Вашей комиссии я еще не исполнил, ибо мы только вчера перебрались на квартиру. Прекрасный дом, и со всем тем душа моя к нему не лежит, мне кажется, что отныне я сам буду пуст, как был он, когда мы въехали.

Пишите мне, что делается в странах вашего царства. Как свадьба? Всё ли вы в Средникове или в Москве? Чай, Александра Михайловна да Елизавета Александровна покою не знают, всё хлопочут![109]

Странная вещь! Только месяц тому назад написал:

Я жить хочу! хочу печали,
Любви и счастию назло:
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман:
Что без страданий жизнь поэта,
И что без бури океан?

И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами, храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь…

Надоел я вам своими диссертациями! Я короче сошелся с Павлом Евреиновым[110] — у него есть душа в душе.

Одна вещь меня беспокоит: я почти совсем лишился сна, Бог знает, надолго ли; не скажу, чтоб от горести: было у меня и

больше горести, а я спал крепко и хорошо. Нет, я не знаю: тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит.

Дорогой я еще был туда-сюда; приехавши, не гожусь ни на что. Право, мне необходимо путешествовать: я — цыган.

Прощайте, пишите мне, чем поминаете вы меня? Обещаю вам, что не все мои письма будут такие; теперь я болтаю вздор, потому что натощак. Прощайте… Член вашей bande joyeuse.[111]

*M. Lerma.*

*[Из письма Лермонтова к С. А. Бахметевой. Акад. изд., т. IV, стр. 307–308]*

[С.-Петербург. Август 1832 г.]

Примите дивное **посланье**
Из края дальнего сего;
Оно не **Павлово** писанье,
Но Павел вам отдаст его.[112]
Увы! как скучен этот город
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот
Как шиш торчит перед тобой;
Нет милых сплетен — все сурово,
Закон сидит на лбу людей;
Все удивительно и ново,
А нет не пошлых новостей!
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..
И наконец я видел море,
Но кто поэта обманул?..
Я в роковом его просторе
Великих дум не почерпнул;
Нет! как оно, я не был волен;
Болезнью жизни — скукой болен
(Назло былым и новым дням),
Я не завидовал, как прежде,
Его серебряной одежде,
Его бунтующим волнам.

Экспромтом написал я вам эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имею духу продолжать таким образом. В самом деле, не знаю отчего, поэзия души моей погасла.

По произволу дивной власти
Я выкинут из царства страсти,
Как после бури на песок
Волной расшибленный челнок.
Пускай прилив его ласкает, —
Не слышит ласки инвалид:
Свое бессилие он знает
И притворяется, что спит.
Никто ему не вверит боле
Себя иль ноши дорогой;
Он не годится и на воле,
Погиб — и дан ему покой!

Мне кажется, что это недурно вышло. Пожалуйста, не рвите этого письма на нужные вещи. Впрочем, если б я начал писать к вам за час прежде, то, быть может, писал бы вовсе другое; каждый миг у меня новые фантазии…

Прощайте, дрожайшая. Я к вам писал из Твери и отсюда, а до сих пор не получил ответа. Стыдно — однако я прощаю. И прощаюсь.

*M. Lerma.*

*[Из письма Лермонтова к С. А. Бахметевой. Акад. изд., т. IV, стр. 309–310]*

[С.-Петербург. 28 августа 1832]

В ту минуту, как пишу вам, я сильно встревожен: бабушка очень больна и два дня в постели. Отведу душу ответом на второе письмо ваше. Назвать вам всех, у кого я бываю? Я сам та особа, у которой я бываю с наибольшим удовольствием. Правда, по приезде я навещал довольно часто родных, с которыми мне следовало познакомиться; но в конце концов нашел, что лучший мой родственник — это я сам. Видел я образчики здешнего общества: дам очень любезных, молодых людей очень вежливых; все они вместе производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором в первый раз можно заблудиться, потому что ножницы хозяина уничтожили всякое различие между деревьями.

Пишу мало, читаю не более; мой роман — сплошное отчаяние:[113] я перерыл всю свою душу, чтобы добыть из нее все, что только способно обратиться в ненависть, и в беспорядке излил все это на бумагу. Читая, вы бы пожалели меня! Что касается вашего брака, милый друг, то вы угадали мой восторг при вести, что он расстроился;[114] я уж писал кузине, que ce nez

en l'air n'était bon que pour flairer les alouettes[115] — это выражение мне самому очень понравилось. Слава Богу, что это кончилось так, а не иначе. Впрочем, не будем больше говорить об этом — и без того уж много говорили.

У меня есть свойство, которого нет у вас: когда мне говорят, что меня любят, я больше не сомневаюсь, или (что хуже) я не показываю вида, что сомневаюсь. У вас есть этот недостаток. Пожалуйста, исправьтесь от него, по крайней мере в ваших милых письмах.

Вчера, в 10 часов вечера, было небольшое наводнение, и даже трижды сделано было по два пушечных выстрела, по мере того как вода опускалась и подымалась. Ночь была лунная, я был у своего окна, которое выходит на канал. Вот что я написал:

Для чего я не родился
Этой синею волной?
Как бы шумно я катился
Под серебряной луной;
О, как страстно я лобзал бы
Золотистый мой песок,
Как надменно презирал бы
Недоверчивый челнок;
Все, чем так гордятся люди,
Мой набег бы разрушал,
И к моей студеной груди
Я б страдальцев прижимал;
Не страшился б муки ада,
Раем не был бы прельщен;
Беспокойство и прохлада
Были б вечный мой закон;
Не искал бы я забвенья
В дальнем северном краю,
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою!

Вот еще стихи. Эти два стихотворения лучше покажут вам мое душевное состояние, чем бы я мог это сделать в прозе:

Конец! как звучно это слово!
Как много-мало мыслей в нем!
Последний стон — и все готово,
Без дальних справок… а потом?
Потом вас чинно в гроб положут,
И черви ваш скелет обгложут;

А там наследник в добрый час
Придавит монументом вас;
Простив вам каждую обиду,
Отслужит в церкви панихиду,
Которой — я боюсь сказать —
Не суждено вам услыхать;
И если вы скончались в вере,
Как христианин, то гранит
На сорок лет по крайней мере
Названье ваше сохранит
С двумя плачевными стихами,
Которых, к счастию, вы сами
Не прочитаете вовек.
Когда ж чиновный человек
Захочет места на кладбище,
То ваше тесное жилище
Разроет заступ похорон
И грубо выкинет вас вон;
И, может быть, из вашей кости,
Подлив воды, подсыпав круп,
Кухмейстер изготовит суп —
(Все это дружески, без злости.)
А там голодный аппетит
Хвалить вас будет с восхищеньем,
А там желудок вас сварит,
А там… Но, с вашим позволеньем,
Я здесь окончу мой рассказ,
И этого довольно с вас.[116]

Прощайте, не могу больше писать вам. Голова кружится от глупостей. Мне кажется, что по той же причине и Земля вертится вот уже 7000 лет. Моисей не солгал. Всем мой поклон. Ваш искреннейший друг.

*M. Lerma.*

*[Перевод с французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 310–312]*

2 сентября [1832]

Сейчас я начал кое-что рисовать для вас и, может быть, пошлю с этим же письмом. Знаете ли, милый друг, как я стану писать к вам? Исподволь. Иной раз письмо продлится несколько дней: придет ли мне в голову какая мысль, я внесу ее в письмо; если что примечательное займет мой ум, тотчас поделюсь с вами.

Довольны ли вы этим?

Вот уже несколько недель, как мы расстались и, может быть, надолго, потому что впереди я не вижу ничего особенно утешительного. Однако я все тот же, вопреки лукавым предположениям некоторых людей, которых не назову. Можете себе представить мой восторг, когда я увидал Наталью Алексеевну,[117] она ведь приехала из наших стран, ибо Москва моя родина, и такою будет для меня всегда: там я *родился*, там много *страдал* и там же был *слишком счастлив*! Пожалуй, лучше бы не быть ни тому, ни другому, ни третьему, но что делать. M-lle Annette[118] сказала мне, что еще не стерли со стены знаменитую голову…[119] Несчастное самолюбие! Это меня обрадовало, да еще как!.. Что за глупая страсть: оставлять везде следы своего пребывания! Мысль человека, хотя бы самую возвышенную, стоит ли отпечатлевать в предмете вещественном из-за того только, чтоб сделать ее понятною душе немногих. Надо полагать, что люди вовсе не созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная — такая для них редкость.

Я намерен засыпать вас своими письмами и стихами, это конечно не по-дружески и даже не гуманно, но каждый должен следовать своему предназначению.

Вот еще стихи, которые сочинил я на берегу моря:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом…
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит…
Увы! он счастия не ищет,
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Прощайте же, прощайте! Я чувствуя себя не совсем хорошо: сон счастливый, божественный сон, расстроил меня на весь день… Не могу ни говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! Отражение жизни, часто более приятное, чем сама действительность. Ведь я вовсе не разделяю мнения, будто жизнь есть сон; я вполне осязательно чувствую ее действительность, ее

манящую пустоту! Я никогда не смогу отрешиться от нее настолько, чтобы от всего сердца презирать ее; потому что жизнь моя — я сам, я, говорящий теперь с вами и могущий вмиг обратиться в ничто, в одно имя, т. е. опять-таки в ничто. Бог знает, будет ли существовать это *я* после жизни! Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: *я*! При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи.

Прощайте, не забудьте напомнить обо мне своему брату и сестрам, кузина[120]4 же, я полагаю, еще не возвратилась.

Скажите, милая Miss Mary, передал ли вам мой кузен Евреинов мои письма, и как он вам показался? потому что в этом случае я вас выбираю своим термометром. Прощайте.

Ваш преданный *Лерма.*

*[Перевод из французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 212–313]*

Существовало предание о том, что фамилия Лермонтовых происходила от испанского владетельного герцога Лермы, который, во время борьбы с маврами, должен был бежать из Испании в Шотландию. Это предание было известно Михаилу Юрьевичу и долго ласкало его воображение. Оно как бы утешало его и вознаграждало за обиды отцу. Знатная родня бабушки поэта не любила отца его. Воспоминание о том, что дочь Арсеньевой вышла замуж за бедного, незнатного армейского офицера, многих коробило. Не мудрено, что мальчик наслушался, хотя бы и от многочисленной дворни, о захудалости своего рода. Тем сильнее и болезненнее хватался он за призрачные сказания о бывшем величии рода своего. Долгое время Михаил Юрьевич и подписывался под письмами и стихотворениями: «Лерма». Недаром и в сильно влиявшем на него Шиллере он встречался с именем графа Лермы в драме «Дон Карлос». В 1830 или 31 году Лермонтов в доме Лопухиных, на углу Поварской и Молчановки, начертил на стене углем голову (поясной портрет), вероятно, воображаемого предка. Он был изображен в средневековом испанском костюме, с испанскою бородкой, широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого Руна вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица не трудно заметить фамильное сходство с самим нашим поэтом. Голова эта, нарисованная al fresco, была затерта при поправлении штукатурки, и приятель поэта Алексей Александрович Лопухин был этим очень опечален, потому что с рисунком связывалось много воспоминаний о дружеских беседах и мечтаниях. Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и выслал ее Лопухину из Петербурга.[121]

*[Ел. Дм. Лопухина, в передаче П. А. Висковатого, стр. 56–57]*

Лермонтов, приезжая в Москву, часто останавливался в доме отца Александра Алексеевича Лопухина, на Молчановке, где гостил подолгу. Как известно, Лермонтов постоянно искал новой деятельности и никогда не отдавался весь тому высокому поэтическому творчеству, которое обессмертило его имя и которое, казалось, должно было поглотить его всецело. Постоянно меняя занятия, он с свойственною ему страстностью, с полным увлечением отдавался новому делу.

Таким образом, он одно время исключительно занимался математикою и вот, приехавши однажды в Москву к Лопухину, он заперся в комнату и до поздней ночи сидел над разрешением какой-то математической задачи. Не решив ее, Лермонтов, измученный, заснул. Тогда ему приснился человек, который указал ему искомое решение; проснувшись, он тотчас же написал на доске решение мелом, а углем нарисовал на штукатурной стене комнаты портрет приснившегося ему человека. Когда на другой день Лопухин пришел будить Лермонтова и увидел на стене изображение фантастического лица и рядом исписанную формулами доску, то Лермонтов рассказал ему все вышеприведенное.

Желая сохранить это на память, Лопухин призвал мастера, который должен был обделать рисунок на стене рамкой и покрыть его стеклом. Но мастер оказался настолько неумелым, что при первом приступе к работе штукатурка с рисунком рассыпалась. Лопухин был в отчаянии, но Лермонтов успокоил его словами: «Ничего, мне эта рожа так врезалась в голову, что я тебе намалюю ее на полотне». Через несколько времени Лермонтов прислал Лопухину писанный масляными красками, в натуральную величину, поясной портрет того самого ученого, в старинном костюме, с фрезой и цепью на шее, который приснился ему для решения математической задачи, которая, к сожалению, не уцелела. Портрет этот хотя и грешит в рисунке и в особенности в колорите, но по экспрессии весьма талантливый и, по заявлению Лопухина, сходство с рисунком, сделанным на стене, вышло поразительное.

Портрет этот, в старинной дубовой раме, постоянно висел в кабинете Лопухина[122] и по наследству перешел к его сыну, Александру Алексеевичу, который любезно предложил его в дар Лермонтовскому музею.

*[А. Бильдерлинг. «Русская Старина», 1887 г., т. 53, кн. 2, стр. 508.]*

12 октября. Москва [1832]

Только что получила ваше письмо от 3-го сего месяца,[123] я не знала, что это день вашего рождения, с которым, мой дорогой, хотя немного поздно, поздравляю вас. Не могу вам выразить то огорчение, которое причинила мне сообщенная вами неприятная новость. Как, после стольких страданий и трудов, лишиться надежды воспользоваться их плодами и быть вынужденным вести совершенно новый образ жизни? Это поистине неприятно. Я не знаю, но все же думаю, что действовали с излишней стремительностью, и, если я не ошибаюсь, это решение было вам внушено Алексеем Столыпиным, не правда ли?

Я вполне понимаю, как вы должны были быть смущены этой переменой, так как вас никогда не приучали к военной службе, но в данном случае, как всегда, человек предполагает, а Бог располагает, и будьте совершенно уверены, что все, что Он располагает в своей бесконечной мудрости, служит, конечно, к нашему благу. И на военном поприще у вас будет возможность отличиться. С умом и способностями можно быть счастливым повсюду. К тому же вы столько раз говорили мне, что если война загорится, вы не захотите остаться праздным. Вот теперь сама судьба бросает вас на путь, который даст вам все возможности отличиться и стать знаменитым воином. Это не помешает вам заниматься и поэзией: отчего же? Одно не мешает другому, напротив, это сделает вас только более интересным военным.

Итак, милый мой, сейчас для вас настал самый критический момент, ради Бога помните, насколько возможно, обещание, которое вы мне дали перед отъездом. Остерегайтесь сходиться слишком быстро с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь. Особенно избегайте молодежь, которая изощряется во всякого рода выходках и ставит себе в заслугу глупые шалости. Умный человек должен стоять выше этих мелочей, это не делает чести, наоборот, это хорошо только для мелких умов, оставьте им это и идите своим путем.

Простите, дорогой друг, за то, что я решаюсь давать вам эти советы, мне подсказывает их самое искреннее расположение, а привязанность к вам заставляет меня желать вам всевозможные блага. Надеюсь, что вы не рассердитесь на проповедницу нравственности, а наоборот, будете признательны ей, я достаточно знаю вас, чтобы в этом не сомневаться.

Вы хорошо сделаете, прислав, как вы говорили, все написанное вами до сих пор. Вы знаете, что я честно сохраню присланное, и когда-нибудь вы с удовольствием все прочтете. Если вы продолжаете писать, не делайте этого никогда в школе и

ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь причиняет нам гибель. Я не понимаю, почему вы так редко получаете мои письма. Уверяю вас, что я не ленюсь и пишу вас часто и много. Ваша служба не помешает мне писать вам, как обыкновенно, письма мои я буду направлять по старому адресу; скажите, однако, не посылать ли мне их на имя бабушки?

Надеюсь, что пребывание в школе не помешает в свою очередь и вам писать мне; если у вас не будет времени делать это каждую неделю, ну что же, тогда раз в две недели. Только, пожалуйста, не лишайте меня этого утешения. Мужайтесь, мой милый, мужайтесь, не давайте недовольству сломить вас, не отчаивайтесь, поверьте, все пойдет хорошо. Я вовсе не стараюсь вас утешить, но какой-то тайный голос говорит мне, что все будет хорошо. Правда, теперь мы увидимся не раньше, чем через два года; меня это, конечно, огорчает, для вас же, может быть, так будет лучше. Два года достаточный срок для того, чтобы выздороветь и стать вполне благоразумным.

Поверьте, я не утратила способности вас понимать, но что же вам сказать? Она[124] хорошо себя чувствует, выглядит довольно веселой, вообще же ее жизнь так однообразна, что многого о ней не скажешь: сегодня, как вчера. Я полагаю, что вы не огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни — ведь это охраняет ее от всякого искушения; что же касается меня, я пожелала бы ей не много рассеяться; как это можно, чтобы молодая особа слонялась из комнаты в комнату, к чему приведет такая жизнь? Только к тому, чтоб стать ничтожным созданием. Ну что? Разгадала ли я вас? Этого ли удовольствия вы от меня ждали?

. . . . .

Мне остается ровно столько места, чтобы попрощаться с моим милым гусаром. Как бы я хотела видеть вас в форме, с усами. Прощайте, сестра и брат кланяются вам. Засвидетельствуйте мое почтение бабушке.

*[Письмо старшей Верещагиной к Лермонтову. Перевод с французского.*[125] *Сушкова, стр. 370–373]*

Александра Михайловна Верещагина, кузина его, принимала в нем большое участие; она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтоб овладеть этой беспокойной натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному; все письма Александры Михайловны к Лермонтову доказывают ее дружбу к нему.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 731]*

Женщина несправедливая и легковерная! (заметьте, что я имею полное право так называть вас, милая кузина!). Вы поверили словам и письму молодой девушки, не подвергнув их критике. Annette[126] говорит, что она никогда не писала, что у меня была история, а что мне не зачли годы пребывания в Москве, как это сделали многим другим, потому что ввели реформу во все университеты, и я опасаюсь, что Алексису[127] тоже придется пострадать, ибо прибавляют еще год к трем невыносимым годам.[128]

Вы, конечно, уже знаете, сударыня, что я поступаю в Школу гвардейских подпрапорщиков. Это меня лишит, к сожалению, удовольствия вас скоро увидеть. Если бы вы могли ощутить все горе, которое мне это причиняет, — вы бы пожалели обо мне. Не браните же, а утешьте меня, если у вас есть сердце.

Не понимаю, что вы хотите сказать, говоря о взвешивании слов: я не помню, чтобы я написал вам что-либо подобное. Во всяком случае, благодарю за то, что выбранили меня, это мне в будущем пригодится, и, если вы приедете в Петербург, я надеюсь вполне отомстить за себя — да и вдобавок сабельными ударами и без пощады, — слышите ли! Но, да не пугает это вас; приезжайте все-таки и приводите за собою многочисленную свиту и m-lle Sophie,[129] которой я не пишу, потому что сердит на нее. Она обещала мне написать по возвращении из Воронежа длинное письмо, я же замечаю только длинноту времени, заменяющую письмо.

А вы, дорогая кузина, обвиняете меня в том же, что я написал два письма после г-на Павла Евреинова; однако же, так как они были адресованы в дом Столыпина в Москве, я уверен, что их поглотила Лета или что жена одного из слуг обернула моими нежными посланиями свечи.

Итак, я вас ожидаю эту зиму… без уклончивых ответов! Вы должны приехать! Прекрасный проект не должен быть покинут, цветок не должен увядать на стебле своем и т. д.

Пока говорю вам, прощайте! ничего не имею более интересного сообщить вам. Я готовлюсь к экзамену и через неделю, с Божьею помощью, я буду военным. Еще — вы слишком придаете значения невской воде, она отличное слабительное, других же качеств я за нею не знаю. По-видимому, вы забыли мои былые любезности и только доступны для настоящего и будущего, которое не преминет предстать перед вами. Прощайте, милый друг, приложите все старания, чтобы отыскать для меня суженую. Надо, чтобы она походила на Дашеньку,[130] но чтобы не имела такого же, как она, большого живота, ибо тогда не было бы симметрии со мною, потому что, как вам известно, или, скорее,

неизвестно, я стал тонок, как спичка.

Целую ваши руки.

*M. Lerma.*

*[Перевод с французского письма Лермонтова к А. М. Верещагиной. Акад. изд., т. IV, стр. 314–315]*

[1832]

Меня очень огорчает, что мое письмо к кузине затерялось, так же как и ваше к бабушке. Кузина,[131] должно быть, думает, что я поленился или лгу, говоря, что писал; но думать то или другое было бы несправедливо с ее стороны, так как я слишком люблю ее, чтобы прибегать ко лжи, а вы можете ее уверить, что я вовсе не ленив писать; я оправдаюсь, может быть, даже с этою почтой; а если нет, то прошу вас сделать это за меня; послезавтра я держу экзамен и весь углублен в математику. Попросите ее писать иногда ко мне: ее письма так милы.

Не могу представить себе, какое впечатление произведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вот теперь я — воин. Быть может, это особенная воля Провидения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, не приведет ли он меня к последней цели всего существующего: умереть с пулей в груди нисколько не хуже, чем умереть от медленной агонии старости. Итак, если начнется война, клянусь вам Богом, что всегда буду впереди. Скажите, пожалуйста, Алексею,[132] что я пришлю ему подарок, какого он не ожидает. Ему давно хотелось чего-нибудь в таком роде; он и получит, только вдесятеро лучше. Не пишу к нему теперь, потому что нет времени: через несколько дней экзамен. Как только определюсь, закидаю вас письмами, на которые заклинаю вас всех, и мужчин и женщин, отвечать мне. M-lle Sophie[133] обещалась писать тотчас по приезде, — уж не воронежский ли угодник посоветовал ей забыть меня? Скажите ей, что мне хотелось бы иметь весточку от нее. Чего стоит письмо? Получаса! Она же не поступает в Гвардейскую школу. Право, у меня в распоряжении только ночь. Вы — другое дело. Мне кажется, что если бы я не сообщил вам чего-нибудь важного, меня касающегося, то наполовину бы пропала моя решимость. Верьте, не верьте, а это так; не знаю почему, но, получив от вас письмо, я не могу удержаться, чтоб не отвечать тотчас же, как будто я с вами разговариваю.

Прощайте же, милый друг; не говорю до свиданья, потому что не надеюсь увидеть вас здесь; а между мною и милою Москвой стоят непреодолимые преграды, и, кажется, судьба с каждым

днем увеличивает их. Прощайте, пишите по-прежнему, и я буду доволен вами. Теперь я более, чем когда-либо, буду нуждаться в ваших письмах они доставят величайшее наслаждение в моем будущем заключении, они одни могут связать мое прошлое с моим будущим, которые уже и теперь расходятся в разные стороны, а между ними барьер из двух печальных, тяжелых лет. Возьмите на себя этот скучный подвиг человеколюбия — и вы спасете мне жизнь. Вам одной я могу говорить все, что думаю, и хорошее, и дурное, я уж доказал это моею исповедью, и вы не должны отставать, не должны, потому что я требую от вас не любезности, а благодеяния. Несколько дней я был в тревоге, теперь этого уже нет; все кончилось: я жил, я слишком скоро созрел, и будущее мое пусто…

Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных! Но безумный
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной;
И мир не пощадил — и Бог не спас!
Так сочный плод, до времени созрелый,
Между цветов висит осиротелый,
Ни вкуса он не радует, ни глаз;
И час их красоты — его паденья час!

И жадный червь его грызет, грызет,
И между тем как нежные подруги
Колеблются на ветках, — ранний плод
Лишь тяготит свою… до первой вьюги!
Ужасно стариком быть без седин!
Он равных не находит; за толпою
Идет, хоть с ней не делится душою;
Он меж людьми не раб, ни властелин,
И все, что чувствует, — он чувствует один![134]

Прощайте, поклонитесь от меня всем: не забывайте меня.
*М. Лермонтов.*
*[Перевод из французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 315–316]*

Ноября 10 дня [1832]
Заведывающий Школою гвардейских подпрапорщиков и юнкеров г. адьютант Нейдгарт… дал мне знать:… дабы недорослей из дворян просящихся на службу в полки лейб-гвардии….. Михаила Столыпина… в Конный, Михаила

Лермантова в Гусарский зачислить во вверенную мне школу кандидатами коих и числить на лицо.

2-е

Заведывающий Школою гвардейских подпрапорщиков и юнкеров с генерал-адъютант Нейдгарт предписанием своим от 13 числа ноября за № 238 предписать изволил дабы недорослей из дворян просящихся на службу в полки лейб-гвардии Михаила Столыпина… в Конный, Михаила Лермонтова в Гусарский… зачислить в оные полки на праве вольно определяющихся унтер-офицерами коих и числить в сем звании.

Генерал-майор барон Шлиппенбах.[135]

В 1832 году я снова встретился с Лермонтовым в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Известно, что в школе он был юнкером л. — гв. Гусарского полка и вышел в тот же полк корнетом. Гвардейская школа помещалась тогда у Синего моста, в огромном доме, бывшем потом дворце в. кн. Марии Николаевны.[136] Мы, пехотинцы, помещались в верхнем этаже, кавалерия и классы — в среднем. Пехотные подпрапорщики мало и редко сближались с юнкерами, которые называли нас «крупою». Иногда, в свободное время, юнкера заходили к нам в рекреационную небольшую залу, где у нас находился старый разбитый рояль.

*[А. М. Миклашевский.[137] «Русская Старина», 1884, кн. 12. стр. 590]*

В конце 1820-х и в самом начале 1830-х годов для молодых людей, окончивших воспитание, предстояла одна карьера — военная служба. Тогда не было еще училища правоведения, и всех гражданских чиновников называли подьячими. Я хорошо помню, когда мой отец, представляя нас, трех братьев, великому князю Михаилу Павловичу, просил двух из нас принять в гвардию, и как его высочество, взглянув на третьего, небольшого роста, сказал: «А этот в подьячие пойдет». Вот как тогда величали всех гражданских чиновников, и Лермонтов, оставив университет, поневоле должен был вступить в военную службу и просидеть два года в школе.

Обращение с нами в школе было самое гуманное, никакого особенно гнета, как пишет Висковатов, мы не чувствовали. Директором был у нас барон Шлиппенбах.[138] Ротой пехоты командовал один из добрейших и милых людей, полковник Гельмерсен,[139] кавалериею — полковник Стунеев,[140] он был женат на сестре жены М. И. Глинки. Инспектором классов — добрейшая личность, инженер полковник Павловский.[141] Дежурные офицеры обращались с нами по-товарищески. Дежурные, в пехоте и кавалерии, спали в особых комнатах около

дортуаров. Утром будили нас проходя по спальням, и никогда барабанный бой нас не тревожил, а потому, как пишет Висковатов, нервы Лермонтова от барабанного боя не могли расстраиваться. Дежурные офицеры были у нас: А. Ф. Гольтгоф, впоследствии генерал, князь Химшеев, Нагель, Андрей Федорович Лишен, впоследствии директор какого-то корпуса. Кавалеристов не помню, за исключением ротмистра л. — гв. Уланского полка Клерона, лихого француза, и все эти господа обращались с юнкерами совершенно по-товарищески, и может быть, это обращение с нами начальства было причиною, что, не желая огорчить кого-нибудь из любимых нами дежурных, в двухлетнее пребывание мое в школе я не помню, чтобы кто-нибудь подвергался взысканию. По субботам мы, бывало, отправлялись по очереди, по два, от пехоты и кавалерии, во дворец к великому князю Михаилу Павловичу и обедали за одним с его высочеством столом.

*[А. М. Миклашевский. «Русская Старина», 1884 г., кн. 12, стр. 591]*

Декабря 18 дня [1832]

2-е

На основании предписания заведывающего Школою гвардейских подпрапорщиков и юнкеров г. генерал-адьютанта Нейдгарта от 17 числа сего декабря за № 273-м определенные на службу, на праве вольноопределяющихся в полки лейб-гвардии недоросли Михаила Лермантов в Гусарский, Александр Головин в Конный, а Николай Вырабов в Измайловский, переименовываются первые двое в юнкера, а последний в подпрапорщики с показанием по спискам из дворян, о чем, объявляя по вверенной мне школе, предписываю г.г. эскадронному и ротному командирам с означенных юнкеров Лермантова и Головина и подпрапорщика Вырабова взыскать за употребленную при рассмотрении их документов вместо гербовой простую бумагу с каждого за один лист по два рубли и доставить ко мне для отсылки в Уездное Казначейство.

Генерал-майор барон Шлиппенбах.[142]

Лермонтов был брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с черными, как уголь, глазами, взгляд которых, как он сам выразился о Печорине, был иногда тяжел.[143] Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого, и не знавшего, кто он, невольно на нем останавливалось.

В 1831[144] году, переехав из Москвы в Петербург, он начал приготовляться к экзамену для вступления в Школу гвардейских

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, куда и поступил в начале 1832 года (кажется, в марте,[145] в лейб-гвардии Гусарский полк[146]). Годом позднее Лермонтова, определясь в гвардейские уланы, я поступил в ту же школу и познакомился с ним, как с товарищем. Вступление его в юнкера не совсем было счастливо. Сильный душой, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, *новичком*, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев, находясь в доме у своей бабушки, Е. А. Арсеньевой, которая любила его до обожания. Добрая старушка, как она тогда была огорчена и сколько впоследствии перестрадала за нашего поэта! Все юнкера, его товарищи, знали ее, все ее уважали и любили. Во всех она принимала участие, и многие из нас часто бывали обязаны ее ловкому ходатайству перед строгим начальством. Живя каждое лето в Петергофе, близ кадетского лагеря, в котором в это время обыкновенно стояли юнкера, она особенно бывала в страхе за своего внука, когда эскадрон наш отправлялся на конные учения. Мы должны были проходить мимо ее дачи, и всегда видели, как почтенная старушка, стоя у окна, издали крестила своего внука и продолжала крестить всех нас, пока длинною вереницей не пройдет перед ее домом весь эскадрон и не скроется из виду.

*[А. Меринский.[147] «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 286–287]*

В Юнкерской школе Лермонтов был хорош со всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за все ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить. Впоследствии и в свете он не оста вил этой привычки, хотя имел за то много неприятностей и врагов.

Между юнкерами он особенно дружен был с А. В. Вонлярлярским1 (известным беллетристом, автором «Большой барыни» и проч.), которого любил за его веселые шутки. Своими забавными рассказами Вонлярлярский привлекал к себе многих. Бывало, в школе, по вечерам, когда некоторые из нас соберутся, как мы тогда выражались, «поболтать», рассказы Вонлярлярского были неистощимы; разумеется, при этом Лермонтов никому не уступал в остротах и веселых шутках.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 287–288]*

—

1 Меринский неверно указывает инициалы: Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852), известный писатель, талантливый музыкант, художник и скульптор. По словам его биографа, К. А. Полевого, «в Школе гвардейских юнкеров самая тесная дружба сблизила его с Лермонтовым, впоследствии автором „Героя нашего времени“. Как жаль, что не сохранилась шутливая переписка, которую вели они между собою в это время! Кто видел ее, те почитают забавные письма двух молодых друзей одним из остроумнейших произведений в своем роде, и этому не трудно поверить, зная, что способны были они создать оригинального в литературе. При выпуске в офицеры [22 ноября 1834 г. ] Вонлярлярский поступил в Гвардейский конно-пионерный эскадрон, где был одним из основателей библиотеки, устроенной при эскадроне» («Все сочинения Василия Александровича Вонлярлярского», ч. I, СПб., 1853 г., стр. III).

В одно время с нами был в школе, в пехоте, известный потом остряк-повеса, Костя Булгаков. Константин Яковлевич Булгаков, сын бывшего московского почтдиректора, бывший наш школьный товарищ, обладал многими талантами. Всегда веселый, остряк, отличный музыкант, он в свободное время действительно группировал около себя всех нас, и к нам наверх приходили Лермонтов и другие юнкера. Во время пения, весьма часто разных скабрезных, куплетов большею частью аккомпанировал Мишель Сабуров, который, кажется, наизусть знал все тогдашние французские шансонетки и в особенности песни Беранже. Костя Булгаков, как мы его обыкновенно называли, был общий любимец и действительно примечательная личность. К сожалению, от слишком сильного разгула он рано кончил жизнь. Шутки и остроты его не ограничивались только кругом товарищей, он часто забавлял ими великого князя Михаила Павловича. В то время много анекдотов передавали о похождениях Булгакова. Вот с этой-то личностью соперничал в остротах Лермонтов.

*[А. М. Миклашевский. «Русская Старина», 1884 г., кн. XII, стр. 592]*

[Лермонтов] перешел в Школу гвардейских подпрапорщиков. Там его жизнь и вкусы приняли другой характер. Насмешливый, едкий, ловкий, — проказы, шалости, шутки всякого рода, сделались его любимым занятием, — вместе с тем полный ума, самого блестящего в разговоре, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был запевалой в беседах, в удовольствиях, в кутежах, словом, во всем

том, что составляет жизнь в эти годы.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Ал. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas». Leipzig. 1859, p. 254]*

В 18[32] г. поступил юнкером в лейб-гусары, в эскадрон гвардейских офицеров, М. Ю. Лермонтов. Наружность его была весьма невзрачна: маленький ростом, кривоногий, с большой головой, с непомерно широким туловищем, но вместе с тем весьма ловкий в физических упражнениях и с сильно развитыми мышцами. Лицо его было довольно приятное. Обыкновенное выражение глаз в покое несколько томное; но как скоро он воодушевлялся какими-нибудь проказами или школьничеством, глаза эти начинали бегать с такой быстротой, что одни белки оставались на месте, зрачки же передвигались справа налево, и эта безостановочная работа с одного человека на другого производилась иногда по нескольку минут сряду. Ничего подобного я у других людей не видал. Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей. Волосы у него были темные, но довольно редкие, с светлой прядью немного повыше лба, виски и лоб весьма открытые, зубы превосходные — белые и ровные, как жемчуг. Как я уже говорил, он был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади, но, как в наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, поэтому он никогда за хорошего ездока в школе не слыл, и на ординарцы его не посылали. Если я вхожу в эти подробности, то единственно потому, чтобы объяснить, как смотрело на него наше ближайшее начальство, то есть эскадронный командир. К числу физических упражнений следует отнести также маршировку, танцы и фехтование (гимнастике у нас тогда не учили). По пешему фронту Лермонтов был очень плох: те же причины, как и в конном строю, но еще усугубленные, потому что пешком его фигура еще менее выносила критику. Эскадронный командир сильно нападал на него за пеший фронт, хотя он тут ни в чем виноват не был.

Странное обстоятельство, которое я припоминаю только теперь.

По пятницам у нас учили фехтованию; класс этот был обязательным для всех юнкеров, и оставлялось на выбор каждому

рапира или эспадрон. Сколько я ни пробовал драться на рапирах, никакого толку из этого не выходило, потому что я был чрезвычайно щекотлив, и в то время как противник меня колет, я хохочу и держусь за живот. Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были г[родненский] гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей, потому что борьба на эспадронах всегда оживленнее, красивее и занимательнее неприметных для глаз эволюций рапиры. Танцевал он ловко и хорошо.

Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно. Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон. Годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей оставлял их за собой. В числе товарищей его был Василий Вонлярлярский, человек тоже поживший, окончивший курс в университете и потом, не знаю, вследствие каких обстоятельств, добровольно променявший полнейшую свободу на затворническую жизнь в Юнкерской школе. В эпоху, мною описываемую, ему было уже 22 года. Эти два человека, как и должно было ожидать, сблизились. В рекреационное время их всегда можно было застать вместе. Лярский, ленивейшее создание в целом мире (как герой «Женитьбы» у Гоголя), большую часть дня лежал с расстегнутой курткой на кровати. Он лежал бы и раздетый, но дисциплина этого не позволяла.

Из наук Лермонтов с особенным рвением занимался русской словесностью и историей. Вообще он имел способности весьма хорошие, но с любовию он относился только к этим двум предметам.

*[Из бумаг Н. С. Мартынова. Отрывки его автобиографических записок. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 587–588]*

Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса. Все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека. Как писатель действительно он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод и как мало окружающая его обстановка способствовала к серьезным занятиям, то становится едва понятным, как он мог достигнуть тех блестящих результатов при столь малом труде и в таких ранних годах. Перейдем к его

характеру. Беспристрастно говоря, я полагаю, что он был добрый человек от природы; но свет его окончательно испортил. Быв с ним в весьма близких отношениях, я имел случай неоднократно замечать, что все хорошие движения сердца, всякий порыв нежного чувства он старался так же тщательно в себе заглушать и скрывать от других, как другие стараются скрывать свои гнусные пороки. Приведу в пример его отношения к женщинам. Он считал постыдным признаться, что любил какую-нибудь женщину, что приносил какие-нибудь жертвы для этой любви, что сохранял уважение к любимой женщине: в его глазах все это был романтизм, напускная экзальтация, которая не выдерживает ни малейшего анализа.

*[Из бумаг Н. С. Мартынова. Отрывки его автобиографических записок. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 589-а]*

Петербург, 19 июня [1833]

…Вчера последнее воскресенье провел я в городе, потому что завтра (во вторник) мы отправляемся на два месяца в лагерь. Пишу к вам, сидя на классной скамейке; кругом меня шум, приготовления и пр… Надеюсь, вам будет приятно узнать, что я, пробыв в школе всего два месяца, выдержал экзамен в первый класс, и теперь один из первых. Это все-таки подает надежду на близкую свободу!

Однако нужно непременно рассказать вам довольно странный случай: в субботу, перед тем как проснуться, я вижу во сне, будто я у вас; вы сидите на большом диване в гостиной; я подхожу и спрашиваю, не хотите ли вы, чтобы я окончательно с вами поссорился; а вы, вместо ответа, протянули мне руку. Вечером нас распустили; прихожу к нашим, и мне подают ваши письма. Это меня поразило! Хотелось бы мне знать, что с вами было в этот день?

Теперь надо объяснить, почему я адресую это письмо в Москву, а не в деревню; я оставил ваше письмо дома вместе с адресом, и так как никто не знает, где я храню ваши письма, то и не могу вытребовать его сюда.

Вы меня спрашиваете, что значит фраза по поводу свадьбы князя:[148] удавится или женится! Честное слово, не помню, чтоб я написал что-нибудь подобное, потому что я слишком хорошего мнения о князе, и уверен, что он не из тех, которые выбирают невест по реестру.

…Уже поздно. Я улучил свободную минуту, чтобы продолжать письмо. С тех пор как я не писал к вам, со мной случилось так много странных вещей, что я сам не знаю, какой путь я изберу себе, путь порока или путь глупости. Правда, они

часто приводят к одинаковому концу. Знаю, что вы станете увещевать, постараетесь утешить меня — этого делать не стоит! Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице! Вас коробит от этих выражений, но — увы! — *скажи, с кем ты водишься, — и я скажу, кто ты!* Я верю вам, что m-lle C[ушкова] лгунья, потому что я знаю — вы никогда не скажете неправды, тем более если это что-нибудь дурное! Бог с нею!..

*[Перевод из французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд. т. IV, стр. 317–318]*

С.-Петербург. 4 августа [1833]

Я не писал вам с тех пор, как мы перешли в лагерь, да и не мог решительно, при всем желании. Представьте себе палатку, которая имеет по 3 аршина в длину и ширину и 2 1/2 аршина в вышину; в ней живут трое, и тут же вся поклажа и доспехи, как то: сабли, карабины, кивера и проч., и проч. Погода была ужасная: дождь лил без конца, так что часто дня два подряд нам не удавалось просушить платье. Тем не менее эта жизнь не была мне совершенно противна. Вы знаете, милый друг, что во мне всегда было явное влечение к дождю и грязи — и тут, по милости Божией, я насладился ими вдоволь.

Мы возвратились в город и скоро опять начнем наши занятия. Одно меня ободряет — мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда… Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Я знаю, что вы возопиете; но увы! пора моих мечтаний миновала; нет больше веры; мне нужны чувственные наслаждения, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотом, чтобы я мог носить его с собою в кармане, как табакерку, чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя в покое и бездействии мою душу!.. Вот что мне теперь необходимо, и вы увидите, милый друг, что с тех пор как мы расстались, я таки несколько переменился. Как скоро я заметил, что прекрасные грезы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые; гораздо лучше, подумал я, приучить себя обходиться без них. Попробовал — и походил в это время на пьяницу, старающегося понемногу отвыкать от вина; труды мои не были бесполезны, и вскоре прошлое представилось мне просто перечнем незначительных и весьма обыкновенных похождений…

Может быть, через год я навещу вас. Сколько перемен я найду! Узнаете ли вы меня и захотите ли узнать? А я, какую роль буду играть? Приятно ли будет это свидание для вас, или оно

смутит нас обоих? Потому что, предупреждаю вас, я не тот, каким был прежде: и чувствую, и говорю иначе, и Бог весть, что из меня еще выйдет через год. Моя жизнь до сих пор была рядом разочарований, теперь они смешны мне, я смеюсь над собою и над другими. Я только вкусил удовольствий жизни и, не насладившись ими, пресытился.

Но это очень грустный предмет; постараюсь в другой раз к нему не возвращаться. Когда приедете в Москву, известите меня, милый друг… Рассчитываю на ваше постоянство. Прощайте.

*М. Лер…*

*P.S.* Мой поклон кузине, если будете писать ей, сам же я слишком ленив.

*[Перевод из французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 318–319]*

Нравственно Мишель в школе переменился не менее, как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа, бамбошерства; по счастию Мишель поступил туда не ранее девятнадцати лет и пробыл там не более двух; по выпуске в офицеры все это пропало, как с гуся вода. Faut que jeunesse jette sa gourme,[149] говорят французы.

Способности свои к рисованию и поэтический талант он обратил на карикатуры, эпиграммы и другие неудобные к печати произведения, помещавшиеся в издаваемом в школе рукописном иллюстрированном журнале; некоторые из них ходили по рукам отдельными выпусками.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 735]*

Школа была тогда на том месте у Синего Моста, где теперь дворец ее высочества Марии Николаевны. Бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, в доме Ланского, и я каждый почти день ходил к Мишелю с контрабандой, то есть с разными pâtés froids, pâtés de Strasbourg, [150] конфетами и прочим, и таким образом имел случай видеть и знать многих из его товарищей, между которыми был приятель его Вонлярлярский, впоследствии известный беллетрист, и два брата Мартыновы, из коих меньшой, красивый и статный молодой человек, получил такую печальную (по крайней мере для нас) известность.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 733]*

Я стал знать Лермонтова с Юнкерской школы, куда мы поступили почти в одно время. Предыдущая его жизнь мне была

вовсе не известна, и только из печатных о нем биографий узнал я, что он воспитывался прежде в Московском Университетском пансионе; но, припоминая теперь личность, характер, привычки этого человека, мне многое становится понятным нынче из того, что прежде я никак не мог себе уяснить.

По существовавшему положению, в Юнкерскую школу поступали молодые люди не моложе 16 лет и 8 месяцев и в большей части случаев прямо из дому. Исключения бывали, но редко. По крайней мере, сколько я помню, большинство юнкеров не воспитывались прежде в других заведениях. По этой причине школьничество и детские шалости не могли быть в большом ходу между нами. У нас держали себя более серьезно. Молодые люди в семнадцать лет и старше этого возраста, поступая в юнкера, уже понимали, что они не дети. В свободное от занятий время составлялись кружки; предметом обыкновенных разговоров бывали различные кутежи, женщины, служба, светская жизнь. Все это, положим, было очень незрело; суждения все отличались увлечением, порывами, недостатком опытности; не менее того, уже зародыши тех страстей, которые присущи были отдельным личностям, проявлялись и тут и наглядно показывали склонности молодых людей.

Лермонтов, поступив в Юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова. В общественных заведениях для детей существует почти везде обычай подвергать различным испытаниям или, лучше сказать, истязаниям вновь поступающих новичков. В Юнкерской школе эти испытания ограничивались одним: новичку не дозволялось в первый год поступления курить, ибо взыскания за употребление этого зелья были весьма строги, и отвечали вместе с виноватыми и начальники их, т. е. отделенные унтер-офицеры и вахмистры. Понятно, что эти господа не желали подвергать себя ответственности за людей, которых вовсе не знали и которые ничем не заслужили имя хороших товарищей. Тем и ограничивалась разница в социальном положении юнкеров; но Лермонтов, как истый школьник, не довольствовался этим, любил помучить их способами, более чувствительными и выходящими из ряда обыкновенно налагаемых испытаний. Проделки эти производились обыкновенно ночью. Легко-кавалерийская камера была отдельная комната, в которой мы, кирасиры, не спали (у нас были свои две комнаты), а потому, как он распоряжался с новичками легко-кавалеристами, мне неизвестно; но расскажу один случай, который происходил у меня на глазах, я нашей камере, с двумя вновь поступившими юнкерами в кавалергарды. Это были Эммануил Нарышкин (сын известной красавицы Марьи Антоновны) и Уваров. Оба были

воспитаны за границей: Нарышкин по-русски почти вовсе не умел говорить, Уваров тоже весьма плохо изъяснялся. Нарышкина Лермонтов прозвал «французом» и не давал ему житья, Уварову также была дана какая-то особенная кличка, которой не припомню. Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов собирал товарищей в свой номер; один на другого садились верхом, сидящий кавалерист покрывал и себя, и лошадь свою простыней, а в руке каждый всадник держал по стакану воды (эту конницу Лермонтов называл «Нумидийским эскадроном»). Выжидали время, когда обреченные жертвы заснут; по данному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окружал постель несчастного и, внезапно сорвав с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды. Вслед за этим действием кавалерия трогалась с правой ноги в галоп обратно в свою камеру. Можно себе представить испуг и неприятное положение страдальца, вымоченного с головы.

*[Из бумаг Н. С. Мартынова. Отрывки его автобиографических записок. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 590–591]*

Лермонтов, Лярский,[151] Тизенгаузен,[152] братья Череповы,[153] как выпускные, с присоединением к ним проворного В. В. Энгельгардта,[154] составляли по вечерам так называемый ими «Нумидийский эскадрон», в котором, плотно взявши друг друга за руки, быстро скользили по паркету легкокавалерийской камеры, сбивая с ног попадавшихся им навстречу новичков. Ничего об этом не знавши и обеспокоенный стоячим воротником куртки и штрипками, я, ни с кем не будучи еще знаком, длинными шагами ходил по продолговатой, не принадлежавшей моему кирасирскому отделению легкокавалерийской камеры, с недоумением поглядывая на быстро скользящий мимо меня «Нумидийский эскадрон», на фланге которого, примыкающем к той стороне, где я прогуливался, был великан кавалергард Тизенгаузен. Эскадрон все ближе и ближе налетал на меня; я сторонился, но когда меня приперли к стоявшим железным кроватям и сперва задели слегка, а потом, с явно понятым мною умыслом, порядочно толкнули плечом Тизенгаузена, то я, ни говоря ни слова, наотмашь здорово ударил его кулаком в спину, после чего «Нумидийский эскадрон» тотчас рассыпался по своим местам, так же не говоря ни слова, и мы в 2 шеренги пошли ужинать. Строились по ранжиру, тяжелая кавалерия впереди, и я по росту был в первой фланговой паре. За ужином был между прочим вареный картофель, и когда мы, возвращаясь в камеры, проходили неосвещенную небольшую конференц-залу, то я получил в затылок залп вареного картофеля и, также не говоря ни

слова, разделся и лег на свое место спать. Этот мой стоицизм, вероятно, выпускным понравился, так что я с этого первого дня был оставлен в покое, тогда как другим новичкам, почему-либо заслужившим особенное внимание, месяца по два или по три, всякий вечер, засыпающим, вставляли в нос гусара, т. е. свернутую бумажку, намоченную и усыпанную крепким нюхательным табаком. Этим преимущественно занимался шалун Энгельгардт, которому старшие не препятствовали.

Вот моя первая встреча с Лермонтовым.[155]

*[В. В. Боборыкин. «Три встречи с М. Ю. Лермонтовым». «Русский Библиофил», 1915 г., № 5, стр. 72–73]*

У нас был юнкер кн. Шаховской, отличный товарищ; его все любили, но он имел слабость сердиться, когда товарищи трунили над ним. Он имел пребольшой нос, который шалуны юнкера находили похожим на ружейный курок. Шаховской этот получил прозвище «курка» и «князя-носа». В стихотворении «Уланша» Лермонтов о нем говорит:

Князь-нос, сопя, к седлу прилег —
Никто рукою онемелой
Его не ловит за курок.

Этот же Шаховской был влюбчивого характера: бывая у своих знакомых, он часто влюблялся в молодых девиц и, поверяя свои сердечные тайны товарищам, всегда называл предмет своей страсти богинею. Это дало повод Лермонтову сказать по адресу Шаховского экспромт, о котором позднее я слышал от многих, что будто экспромт этот сказан был поэтом нашим по поводу ухаживания молодого француза де-Баранта за одною из великосветских дам.[156] В Юнкерской школе, кроме командира эскадрона и пехотной роты, находились при означенных частях еще несколько офицеров из разных гвардейских, кавалерийских и пехотных полков, которые заведывали отделениями в эскадроне и роте, и притом по очереди дежурили: кавалерийские — по эскадрону, пехотные — по роте. Между кавалерийскими офицерами находился штаб-ротмистр Клерон, Уланского полка, родом француз, уроженец Страсбурга; его более всех из офицеров любили юнкера. Он был очень приветлив, обходился с нами как с товарищами, часто метко острил и говорил каламбуры, что нас очень забавляло. Клерон посещал одно семейство, где бывал и Шаховской, и там-то юнкер этот вздумал влюбиться в гувернантку. Клерон, заметив это, подшутил над ним, проведя целый вечер в разговорах с гувернанткой, которая была в

восхищении от острот и любезностей нашего француза и не отходила от него все время, пока он не уехал. Шаховской был очень взволнован этим. Некоторые из товарищей, бывших там вместе с ними, возвратясь в школу, передали другим об этой шутке Клерона. На другой день многие из шалунов по этому случаю начали приставать с своими насмешками к Шаховскому, Лермонтов, разумеется, тоже, и тогда-то появился его следующий экспромт (надо сказать, что гувернантка, обожаемая Шаховским, была недурна собой, но довольно толста):

О как мила твоя богиня.
За ней волочится француз. —
У нее лицо как дыня,
Зато…… как арбуз.

*[А. Меринский. «Русский Мир», 1872 г., № 205]*

Через год, т. е. в начале 1834 г., я прибыл в Петербург для поступления в Артиллерийское училище и опять поселился у бабушки. В Мишеле я нашел опять большую перемену. Он сформировался физически; был мал ростом, но стал шире в плечах и плотнее, лицом по-прежнему смугл и нехорош собой; но у него был умный взгляд, хорошо очерченные губы, черные и мягкие волосы, очень красивые и нежные руки; ноги кривые (правую, ниже колена, он переломил в школе в манеже, и ее дурно срастили).

Я привез ему поклон от Вареньки.[157] В его отсутствие мы с ней часто о нем говорили; он нам обоим, хотя и неодинаково, но равно был дорог. При прощанье, протягивая руку, с влажными глазами, но с улыбкой, она сказала мне:

— Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива.

Мне очень было досадно на него, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать; я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:

— Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!

— А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь ее мизинца! — возразил я, рассердившись не на шутку.

Это была первая и единственная наша ссора; но мы скоро помирились.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 733]*

Домой он приходил только по праздникам и воскресеньям и ровно ничего не писал. В школе он носил прозванье Маешки от

«Mr. Mayeux», горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 737]*

Маешка — это прозвище, приданное Лермонтовым самому себе, есть переделка на русский лад имени фантастического урода «Monsieur Mayeux», похождения которого изображены в целых сериях карикатур, появлявшихся после 1830 года в парижских карикатурных листках, особенно в «Charivari». Лермонтов сам посмеялся тут над своею некрасивою наружностию.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 390]*

Зимой, в начале 1834 года, кто-то из нас предложил издавать в школе журнал, конечно, рукописный. Все согласились, и вот как это было. Журнал должен был выходить один раз в неделю, по середам; в продолжение семи дней накоплялись статьи. Кто писал и хотел помещать свои сочинения, тот клал рукопись в назначенный для того ящик одного из столиков, находившихся при кроватях в наших каморах. Желавший мог оставаться неизвестным. По середам вынимались из ящика статьи и сшивались, составляя довольно толстую тетрадь, которая вечером в тот же день, при сборе всех нас, громко прочитывалась. При этом смех и шутки не умолкали. Таких нумеров журнала набралось несколько. Не знаю, что с ними сталось, но в них много было помещено стихотворений Лермонтова, правда, большей частью не совсем скромных и не подлежащих печати, как, например, «Уланша», «Праздник в Петергофе» и другие. «Уланша» была любимым стихотворением юнкеров; вероятно, и теперь, в нынешней школе, заветная тетрадка тайком переходит из рук в руки. Надо сказать, что юнкерский эскадрон, в котором мы находились, был разделен на четыре отделения: два тяжелой кавалерии, то есть кирасирские, и два легкой — уланское и гусарское. Уланское отделение, в котором состоял и я, было самое шумное и самое шаловливое. Этих-то улан Лермонтов воспел, описав их ночлег в деревне Ижорке, близ Стрельны, при переходе их из Петербурга в Петергофский лагерь.

В одной из тетрадей того же журнала было помещено следующее шутливое стихотворение Лермонтова: «Юнкерская молитва»:

Царю Небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,

Как от огня.

От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.

Пускай в манеже
Алехин глаз[158]
Как можно реже
Там видит нас.[159]

Еще моленье
Позволь послать[160] —
Дай в воскресенье
Мне опоздать![161] —

то есть прийти из отпуска после зори, позже 9-ти часов, и, разумеется, безнаказанно.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 289]*

Никто из нас тогда, конечно, не подозревал и не разгадывал великого таланта в Лермонтове. Да были ли тогда досуг и охота нам что-нибудь разгадывать, нам — юношам в семнадцать лет, смело и горячо начинавшим жизнь, что называется, без оглядки и разгадки. В то время Лермонтов писал не одни шаловливые стихотворения; но только немногим и немногое показывал из написанного. Раз, в откровенном разговоре со мной, он мне рассказал план романа,[162] который задумал писать прозой и три главы которого были тогда уже им написаны. Роман этот был из времен Екатерины II, основанный на истинном происшествии, по рассказам его бабушки. Не помню хорошо всего сюжета, помню только, что какой-то нищий играл значительную роль в этом романе; в нем также описывалась первая любовь, не вполне разделенная, и встреча одного из лиц романа с женщиной с сильным характером, что раз случилось и с самим поэтом в его ранней юности, как он мне сам о том рассказывал и о чем, кажется, намекает в одном месте записок Печорина.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 289-300[163] ]*

Милостивой Государь
Анисифор Михайлович!
Прошу вас принять моей работы портфель на память и в знак

душевного моего к вам уважения надеюсь что вы меня не огорчите и не откажетесь иметь у себя работы шестидесятилетней старухи с моим почтением пребываю ваша

Покорная ко услугам

Елизавета Арсеньева.

*[Письмо Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки М. Ю. Лермонтова, к преподавателю военной топографии Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Онисифору Михайловичу Петухову[164] ]*

В то время в Юнкерской школе нам не позволялось читать книг чисто литературного содержания, хотя мы не всегда исполняли это; те, которые любили чтение, занимались им большей частью по праздникам, когда нас распускали из школы. Всякий раз, как я заходил в дом к Лермонтову, почти всегда находил его с книгой в руках, и книга эта была: «Сочинения Байрона» и иногда Вальтер Скотт на английском языке, — Лермонтов знал этот язык. Какое имело влияние на поэзию Лермонтова чтение Байрона, всем известно; но не одно это, — и характер его, отчасти схожий с Байроновым, был причиной, что Лермонтов, несмотря на свою самобытность, невольно иногда подражал британскому поэту.

*[А. Меринский. «Атеней». 1858 г., № 48, стр. 301]*

Поэма «Демон» [задолго до появления в печати], всем известная в рукописи, была написана Лермонтовым еще в 1830 и 31-м годах, когда ему было не более семнадцати лет. Я имею первоначальную рукопись этой поэмы, впоследствии переделанной и увеличенной. В некоторых монологах «Демона» поэт уничтожил несколько стихов прекрасных, но слишком смелых.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 300–301]*

Не много уже времени оставалось Пушкину украшать отечественную словесность зрелыми плодами своего гения, когда появился другой необычайный талант, обещавший наследовать его славу, если бы и ему не предназначен был еще более краткий срок на литературном поприще и не ожидала его такая же роковая судьба, как и нашего великого поэта. Я хочу говорить о Лермонтове; он еще был тогда лейб-гусарским юнкером в гвардейской школе, и никто о нем не слыхал. Однажды его товарищ по школе, гусар Цейдлер, приносит мне тетрадку стихов неизвестного поэта и, не называя его по имени, просит только сказать мое мнение о самих стихах. Это была первая поэма

Лермонтова «Демон». Я был изумлен живостью рассказа и звучностью стихов и просил передать это неизвестному поэту. Тогда лишь, с его дозволения, решился он мне назвать Лермонтова, и когда гусарский юнкер надел эполеты, он не замедлил ко мне явиться. Таково было начало нашего знакомства.

*[А. Н. Муравьев. «Знакомство с русскими поэтами». Киев, 1871 г., стр. 21–22]*

Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам; живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкий и пронзительный его смех был неприятен для слуха, как бывало и у Хомякова, с которым во многом имел он сходство; не один раз просил я и того и другого «смеяться проще». Часто читал мне молодой гусар свои стихи, в которых отзывались пылкие страсти юношеского возраста, и я говорил ему: «отчего не изберет более высокого предмета для столь блистательного таланта?»

*[А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871 г., стр. 22]*

Его императорское величество, в присутствии своем в Риге, ноября 22-го дня 1834 года, соизволил отдать следующий приказ.

. . . . .

По кавалерии

Производятся по экзамену из юнкеров в корнеты:

Кавалергардского ее величества полка Тизенгаузен 2-й, в тот же полк, и Мартынов в лейб-Кирасирский его высочества наследника…..

. . . . .

лейб-гвардии Гусарского полка: Лермантов.

Подписал: за отсутствием военного министра, генерал-адъютант Адлерберг.[165]

Декабря 4 дня.

3-е

Состоящие при Школе нижепоименованные юнкера и подпрапорщики высочайшим приказом, последовавшим в 22-й день минувшего ноября, произведены:

эскадрона кавалерийских юнкеров из юнкеров в корнеты:…

л. — гв. Гусарского: Лермантов…

. . . . .

Объявляя о сем по вверенной мне Школе предписываю исключить их из списочного состояния, а казначею Школы г-ну майору Бруну сделать помянутым офицерам расчет в артельной сумме и каждого из них удовлетворить причитающимися деньгами с распискою в книгах.

Командир Школы генерал-майор барон Шлиппенбах.[166]

Два злополучные года пребывания в школе прошли скоро, и в начале 1835[167] его произвели в офицеры, в лейб-Гусарский полк.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 737]*

По выходе из школы он поступил в гвардейский Гусарский полк, один из самых блестящих полков и отлично составленный; там опять живость, ум и жажда удовольствий поставили Лермонтова в голове его товарищей: он импровизировал для них целые поэмы на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, говорят, отличаются жаром и блестящей пылкостью автора. Он давал всем различные прозвища в насмешку; справедливость требовала, чтобы и он получил свое; к нам дошел из Парижа, откуда к нам приходит все, особый тип, с которым он имел много сходства, — горбатого Майе (Mayeux), [168] и Лермонтову дали это прозвище, вследствие его малого роста и большой головы, которые придавали ему некоторым образом фамильное сходство с этим уродцем,

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Ал. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», II, 1859, pp. 234–255]*

Он жил постоянно в Петербурге, а в Царское Село, где стояли гусары, езжал на ученья и дежурства. В том же полку служил родственник его Алексей Аркадьевич Столыпин, известный в школе, а потом и в свете, под именем Мунго.[169]

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 738]*

Ближайшие начальники Лермонтова в лейб-гусарском полку были не только отличные служаки, в лучшем смысле слова, но и благороднейшие люди, умевшие и вести прекрасно свое дело, и ценить в подчиненных качества ума и души, независимо от служебных достоинств.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 388]*

Во время служения Лермонтова в лейб-гвардии Гусарском полку командирами полка были: с 1834 по 1839 год — генерал-майор Михаил Григорьевич Хомутов,[170] а в 1839 и 1840 годах — генерал-майор Павел Александрович Плаутин. Эскадронами командовали: 1-м — флигель-адъютант, ротмистр Михаил Васильевич Пашков; 2-м — ротмистр Орест Федорович фон-Герздорф; 3-м — ротмистр граф Александр Осипович Витт, а потом — штаб-ротмистр Алексей Григорьевич Столыпин: 4-м —

полковник Федор Васильевич Ильин, а затем — ротмистр Егор Иванович Шевич; 5-м — ротмистр князь Дмитрий Алексеевич Щербатов 1-й; 6-м — ротмистр Иван Иванович Ершов и 7-м — полковник Николай Иванович Бухаров.

*[А. В. Васильев в передаче П. К. Мартьянова. «Дела и люди века», т. II, 1893 г., стр. 149]*

В 1834 или 1835 году, раз вечером, у кн. Т. было довольно большое собрание молодых офицеров, кавалергардов и из других полков. В числе их были Александр Ив. Барятинский и Лермонтов, бывшие товарищи по Юнкерской школе. Разговор был оживленный, о разных предметах; между прочим, Лермонтов настаивал на всегдашней его мысли, что человек, имеющий силу для борьбы с душевными недугами, не в состоянии побороть физическую боль. Тогда, не говоря ни слова, Барятинский снял колпак с горящей лампы, взял в руку стекло и, не прибавляя скорости, тихими шагами, бледный, прошел через комнату и поставил ламповое стекло на стол целым; но рука его была сожжена почти до кости, и несколько недель носил он ее на привязи, страдая сильною лихорадкою.

*[А. Л. Зиссерман. «Фельдмаршал князь А. И. Барятинский». «Русский Архив», 1888 г., кн. 1, стр. 113]*

Граф Алексей Владимирович Васильев сообщил мне некоторые из своих воспоминаний о встречах и совместной службе с Лермонтовым в лейб-гвардии Гусарском полку в первые годы по зачислении поэта в полк, то есть в 1834 и 1835 годах. Он знал Михаила Юрьевича еще в Школе гвардейских юнкеров и, по выпуске его в офицеры, очень интересовался им, тем более что слава поэта предшествовала появлению его в полку. Граф Васильев числился в полку старшим корнетом, когда Лермонтов был произведен в офицеры, и поэт, по заведенному порядку, после представления начальству явился и к нему с визитом. Представлял его, как старший и знакомый со всеми в полку, А. А. Столыпин. После обычных приветствий любезный хозяин обратился к своему гостю с вопросом:

— Надеюсь, что вы познакомите нас с вашими литературными произведениями?

Лермонтов нахмурился и, немного подумав, отвечал:

— У меня очень мало такого, что интересно было бы читать.

— Однако мы кое-что читали уже.

— Все пустяки! — засмеялся Лермонтов. — А впрочем, если вас интересует это, заходите ко мне, я покажу вам.

Но когда приходили к нему любопытствовавшие прочитать

что-либо новое, Лермонтов показывал немногое и, как будто опасаясь за неблагоприятное впечатление, очень неохотно. Во всяком случае некоторые товарищи, как, например, Годеин и другие, чтили в нем поэта и гордились им.

*[П. К. Мартьянов. «Дела и люди века», т. 1, 1893(?), стр. 148–149]*

Корнет Лермонтов первоначально был зачислен в 7-й эскадрон, а в 1835 году переведен в 4-й эскадрон. Служба, в полку была нетяжелая, кроме лагерного времени или летних кампаментов по деревням, когда ученье производилось каждый день. На ученьях, смотрах и маневрах должны были находиться все числящиеся налицо офицеры. В остальное время служба обер-офицеров, не командовавших частями, ограничивалась караулом во дворце, дежурством в полку да случайными какими-либо нарядами. Поэтому большинство офицеров, не занятых службою, уезжало в С.-Петербург и оставалось там до наряда на службу. На случай экстренного же требования начальства в полку всегда находилось два-три обер-офицера из менее подвижных, которые и отбывали за товарищей службу, с зачетом очереди наряда в будущем. За Лермонтова отбывал службу большей частью Годеин, любивший его как брата.

В праздничные же дни, а также в случаях каких-либо экстраординарных событий в свете, как то: балов, маскарадов, постановки новой оперы или балета, дебюта приезжей знаменитости, гусарские офицеры не только младших, но и старших чинов уезжали в Петербург и, конечно, не все возвращались в Царское Село своевременно. Граф Васильев помнит даже такой случай. Однажды генерал Хомутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту, назначить на утро полковое ученье, но адъютант доложил ему, что вечером идет «Фенелла»[171] и офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на ученье. Командир полка принял во внимание подобное представление, и ученье было отложено до следующего дня.

Лермонтов жил с товарищами вообще дружно, и офицеры любили его за высоко ценившуюся тогда «гусарскую удаль». Не сходился только он с одними поляками, в особенности он не любил одного из наиболее чванных из них — Понятовского, бывшего впоследствии адъютантом великого князя Михаила Павловича. Взаимные их отношения ограничивались холодными поклонами при встречах. Михаил Юрьевич не раз говаривал: «Жиды гораздо искреннее, чем поляки».

Квартиру Лермонтов имел, по словам Д. А. Столыпина,[172] в

Царском Селе, на углу Большого проспекта и Манежной улицы, но жил в ней не с одним только Алексеем Аркадьевичем Столыпиным, как заявлено П. А. Висковатым в биографии поэта, — вместе с ними жил так же и Алексей Григорьевич Столыпин, и хозяйство у всех троих было общее. Лошадей Лермонтов любил хороших, и ввиду частых поездок в Петербург держал верховых и выездных. Его конь «Парадёр» считался одним из лучших; он купил его у генерала Хомутова и заплатил более 1500 рублей, что, по тогдашнему времени, составляло на ассигновании около 6000 рублей.

О резвости гусарских скакунов можно судить по следующему рассказу Д. А. Столыпина.

Во время известной поездки Лермонтова с А. А. Столыпиным на дачу балерины Пименовой, близ Красного кабачка, воспетой Михаилом Юрьевичем в поэме «Монго» когда друзья на обратном пути только что выдвинулись на Петергофскую дорогу, вдали показался возвращавшийся из Петергофа в Петербург в коляске четверкою великий князь Михаил Петрович. Ехать ему навстречу значило бы сидеть на гауптвахте, так как они уехали из полка без спросу. Недолго думая, они повернули назад и помчались по дороге в Петербург, впереди великого князя. Как ни хороша была четверка великокняжеских коней, друзья ускакали и, свернув под Петербургом в сторону, рано утром вернулись к полку благополучно. Великий князь не узнал их, он видел только двух впереди его ускакавших гусар, но кто именно были эти гусары, рассмотреть не мог, и поэтому, приехав в Петербург, послал спросить полкового командира, все ли офицеры на ученье. «Все», — отвечал генерал Хомутов, и действительно были все, так как друзья прямо с дороги отправились на ученье. Гроза миновала, благодаря резвости гусарских скакунов.

В Гусарском полку, по рассказу графа Васильева, было много любителей большой карточной игры и гомерических попоек с огнями, музыкой, женщинами и пляской. У Герздорфа, Бакаева и Ломоносова велась постоянная игра, проигрывались десятки тысяч, у других — тысячи бросались, на кутежи. Лермонтов бывал везде и везде принимал участие, но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому. Он приходил, ставил несколько карт, брал или давал, смеялся и уходил. О женщинах, приезжавших на кутежи из С.-Петербурга, он говаривал: «бедные, их нужда к нам загоняет», или: «на что они нам? у нас так много достойных любви женщин». Из всех этих шальных удовольствий поэт более всего любил цыган.

В то время цыгане в Петербурге только что появились. Их привез из Москвы знаменитый Илья Соколов, в хоре которого

были первые, по тогдашнему времени, певицы: Любаша, Стеша, Груша и другие, увлекавшие не только молодежь, но и стариков, на безумные с ними траты. Цыгане, по приезде из Москвы, первоначально поселились в Павловске, где они в одной из слободок занимали несколько домов, а затем уже, с течением времени, перебрались и в Петербург. Михаил Юрьевич частенько наезжал с товарищами к цыганам в Павловск, но и здесь, как во всем, его привлекал не кутеж, а их дикие разудалые песни, своеобразный быт, оригинальность типов и характеров, а главное, свобода, которую они воспевали в песнях и которой они были тогда единственными провозвестниками. Все это он наблюдал и изучал, и возвращался домой почти всегда довольный проведенным у них временем.

Д. А. Столыпин рассказывал мне, что он, будучи еще юнкером (в 1835 или 1836 году), приехал однажды к Лермонтову в Царское Село и с ним после обеда отправился к цыганам, где они и провели целый вечер. На вопрос его, какую песню он любит более всего, Лермонтов ответил: «А вот послушай!» — и велел спеть. Начала песни, к сожалению, Дмитрий Аркадьевич припомнить не мог, он вспомнил только несколько слов ее: «а ты слышишь ли, милый друг, понимаешь ли»… и еще «ах, ты, злодей, злодей»… Вот эту песню он особенно любил и за мотивы и за слова.[173]

*[П. К. Мартьянов. «Дела и люди века», т. I, стр. 149–151]*

По производстве его в офицеры бабушка сказала, что Мише нужны деньги, и поехала в Тарханы, это была их первая разлука. И действительно, Мише нужны были деньги; я редко встречал человека беспечнее его относительно материальной жизни; кассиром был его Андрей,[174] действовавший совершенно бесконтрольно. Когда впоследствии он стал печатать свои сочинения, то я часто говорил ему: «Зачем не берешь ты ничего за свои стихи, ведь Пушкин был не беднее тебя, однако платили же ему книгопродавцы по золотому за каждый стих», но он, смеясь, отвечал мне словами Гёте:

Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlig lohnet.[175]

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 738]*

Лермонтов, как сказано, был далеко не красив собой и в первой юности даже неуклюж. Он очень хорошо знал это и знал, что наружность много значит при впечатлении, делаемом на женщин в обществе. С его чрезмерным самолюбием, с его

желанием везде и во всем первенствовать и быть замеченным, не думаю, чтобы он хладнокровно смотрел на этот небольшой свой недостаток. Знанием сердца женского, силою своих речей и чувства он успевал располагать к себе женщин, но видел, как другие, иногда ничтожные, люди легко этого достигали. В обществе Лермонтов был очень злоречив, но душу имел добрую: как его товарищ, знавший его близко, я в том убежден. Многие его недоброжелатели уверяли в противном и называли его *беспокойным человеком*.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 301–302]*

Наступило 4-е декабря.

Живо я помню этот, вместе и роковой и счастливый, вечер; мы одевались на бал к госпоже К. Я была в белом платье, вышитом пунцовыми звездочками, и с пунцовыми гвоздиками в волосах. Я была очень равнодушна к моему туалету.

«Л[опу]хин[176] не увидит меня, — думала я, — а для прочих я уже не существую».

В швейцарской снимали шубы и прямо уходили в танцевальную залу по прекрасной лестнице, убранной цветами, увешанной зеркалами; зеркала были так размещены в зале и на лестнице, что отражали в одно время всех приехавших и приезжающих; в одну минуту можно было разглядеть всех знакомых. По близорукости своей и по равнодушию, я шла, опустив голову, как вдруг Лиза[177] вскричала: «Ах, Мишель Лермонтов здесь».

— Как я рада, — отвечала я, — он нам скажет, когда приедет Л[опу]хин.

Пока мы говорили, Мишель уже подбежал ко мне, восхищенный, обрадованный этой встречей, и сказал мне:

— Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас.

Я обещала ему две кадрили и мазурку, обрадовалась ему, как умному человеку, а еще более как другу Лопухина. Лопухин был моей первенствующей мыслью. Я не видала Лермонтова с [18]30-го года; он почти не переменился в эти четыре года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большею уверенностию, нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью.

— Меня только на днях произвели в офицеры, — сказал он, — я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами; они дают мне право танцовать с вами мазурку; видите ли, как я злопамятен, я не забыл косого

конногвардейца, оттого в юнкерском мундире я избегал случая встречать вас; помню, как жестоко вы обращались со мной, когда я носил студенческую курточку.

— А ваша злопамятность и теперь доказывает, что вы сущий ребенок; но вы ошиблись, теперь и без ваших эполет я бы пошла танцевать с вами.

— По зрелости моего ума?

— Нет, это в сторону, во-первых, я в Петербурге не могу выбирать кавалеров, а во-вторых, я переменилась во многом.

— И этому причина любовь?

— Да я и сама не знаю; скорее, мне кажется, непростительное равнодушие ко всему и ко всем.

— К окружающим — я думаю; к отсутствующим — позвольте не верить вам.

— Браво, monsieur Michel, вы, кажется, заочно меня изучали; смотрите, легко ошибиться.

— Тем лучше; посмотрите, изучил ли я вас или нет, но вы точно переменились; вы как будто находитесь под влиянием чьей-то власти, как будто на вас тяготеет какая-то обязанность, ответственность, не правда ли?

— Нет, пустяки, — оставимте настоящее и будущее, давайте вспоминать.

Тут мы стали болтать о Сашеньке, о Средникове, о Троицкой лавре, много смеялись, но я не могла решиться замолвить первая о Л[опу]хине.

Раздалась мазурка; едва мы уселись, как Лермонтов сказал мне, смотря прямо мне в глаза:

— Знаете ли, на днях сюда приедет Л[опу]хин. Для избежания утвердительного ответа я спросила:

— Так вы скоро его ждете?

Я чувствовала, как краснела от этого имени, от своего непонятного притворства, а главное, от испытующих взоров Мишеля.

— Как хорошо, как звучно называться madame de L[opoukhi]ne, — продолжал Мишель, — не правда ли? Согласились бы вы принять его имя?

— Я соглашусь в том, что есть много имен лучше этого, — отвечала я отрывисто, раздосадованная на Л[опу]хина, которого я упрекала в измене; от меня требовал молчания, а сам, без моего согласия, поверял нашу тайну своим друзьям, а может быть, и хвастается влиянием своим на меня. Не помню теперь слово в слово разговор мой с Лермонтовым, но помню только, что я убедилась в том, что ему все было известно и что он в беспрерывной переписке с Л[опу]хиным; он распространялся о

доброте его сердца, о ничтожности его ума, а более всего напирал, с колкостью, о его богатстве.

Лиза и я, мы сказали Лермонтову, что у нас 6-го будут танцевать, и он нам решительно объявил, что приедет к нам.

— Возможно ли, — вскричали мы в один голос, — вы не знаете ни дядей, ни теток!

— Что за дело? Я приеду к вам.

— Да мы не можем принять вас, мы не принимаем никого.

— Приеду пораньше, велю доложить вам, вы меня и представите.

Мы были и испуганы, и удивлены его удальством, но, зная его коротко, ожидали от него такого необдуманного поступка.

Мы начали ему представлять строгость теток и сколько он нам навлечет неприятных хлопот.

— Во что бы то ни стало, — повторил он, — я непременно буду у вас послезавтра.

Возвратясь домой, мы много рассуждали с сестрой о Лермонтове, о Л[опу]хине и очень беспокоились, как сойдет нам с рук безрассудное посещение Лермонтова.

Наконец, наступил страшный день 6 декабря…

Не позже семи часов лакей пришел доложить сестре и мне, что какой-то маленький офицер просит нас обеих выйти к нему в лакейскую.

— Что за вздор, — вскричали мы в один голос, — как это может быть?

— Право, сударыни, какой-то маленький гусар спрашивает, здесь ли живут Екатерина Александровна и Елизавета Александровна Сушковы.

— Поди, спроси его имя.

Лакей возвратился и объявил, что Михаил Юрьевич Лермонтов приехал к девицам Сушковым.[178]

— А, теперь я понимаю, — сказала я, — он у меня спрашивал адрес брата Дмитрия и, вероятно, отыскивает его.

Брат Дмитрий пригодился нам и мог доставить истинное удовольствие, представив в наш дом умного танцора, острого рассказчика и сверх всего моего милого поэта. Мы с сестрой уверили его, что бывший его товарищ по университетскому пансиону к нему приехал, и дали ему мысль представить его Марье Васильевне. Он так и сделал; все обошлось как нельзя лучше.

Я от души смеялась с Лермонтовым…

Лермонтов сам удивился, как все складно устроилось; а я просто не приходила в себя от удивления к своей находчивости.

— Видите ли, — сказал он мне, — как легко достигнуть того,

что пламенно желаешь?

— Я бы не тратила свои пламенные желания для одного танцевального вечера больше или меньше в зиму.

— Тут не о лишнем вечере идет дело; я сделал первый шаг в ваше общество, и этого много для меня. Помните, я еще в Москве вам говорил об этой мечте, теперь только осуществившейся.

Он позвал меня на два сбереженные для него танца и был очень весел и мил со всеми, даже ни над кем не посмеялся. Во время мазурки он начал мне говорить о скором своем отъезде в Москву.

— И скоро вы едете?

— К праздникам или тотчас после праздников.

— Я вам завидую: вы увидите Сашеньку.

— Я бы вам охотно уступил это счастие, особенно вам, а не другому. Я еду не для удовольствия: меня тоже зависть гонит отсюда; я не хочу, я не могу быть свидетелем счастия другого, видеть, что богатство доставляет все своим избранным, богатому лишнее иметь ум, душу, сердце, его и без этих прилагательных полюбят, оценят; для него не заметят искренней любви бедняка, [179] а если и заметят, то прикинутся недогадливыми; не правда ли, это часто случается?

— Я не знаю, я никогда не была в таком положении; по моему мнению, одно богатство без личных достоинств ничего не значит.

— Поэтому позвольте вас спросить, что же вы нашли в Л[опу]хине?

— Я говорю вообще и не допускаю личностей.

— А я прямо говорю о нем.

— О, если так, — сказала я, стараясь выказать как можно больше одушевления, — так мне кажется, что Л[опу]хин имеет все, чтоб быть истинно любимым и без его богатства: он так добр, так внимателен, так чистосердечен, так бескорыстен, что в любви и в дружбе можно положиться на него.

— А я уверен, что если бы отняли у него принадлежащие ему пять тысяч душ, то вы бы первая и не взглянули на него.

— Могу вас уверить, я не знала, богат или беден он, когда познакомилась с ним в Москве, и долго спустя узнала, как отец его поступил благородно с сестрой своей и, по неотступной просьбе Л[опу]хина, уступил ей половину имения, — а такие примеры редки. Теперь я знаю, что он богат, но это не увеличило ни на волос моего хорошего мнения о нем; для меня богатство для человека все равно, что роскошный переплет для книги: глупой не придаст занимательности, хорошей — не придаст цены и своей мишурной позолотой.

— И вы всегда так думали?

— Всегда, и несколько раз доказывала это на деле.

— Так ваше мнение о Л[опу]хине?

— Самое лестное и непоколебимое.

— Да я знал и прежде, что вы в Москве очень благоволили к нему, а он-то совсем растаял; я знаю все, помните ли вы Нескучное, превратившееся без вас в Скучное, букет из незабудок, страстные стихи в альбоме? Да, я все тогда же знал и теперь знаю, с какими надеждами он сюда едет.

— Вы в самом деле чернокнижник, но истощаете свое дарование на пустяки.

— О, если бы я был точно чернокнижник! Но я просто Друг Л[опу]хина, и у него нет от меня ни одной скрытой мысли, ни одного задушевного желания.

Мне еще досаднее стало на Л[опу]хина, зачем поставил он меня в фальшивое положение перед Мишелем, разболтав ему все эти пустяки и наши планы на будущее.

Между тем мазурка кончилась; в ожидании ужина Яковлев[180] пел разные романсы и восхищал всех своим приятным голосом и чудной методой.

Когда он запел:

> Я вас любил, любовь еще, быть может,
> В душе моей погасла не совсем… — [181]

Мишель шепнул мне, что эти слова выражают ясно его чувства в настоящую минуту.

> Но пусть она вас больше не тревожит,
> Я не хочу печалить вас ничем.

— О, нет, — продолжал Лермонтов вполголоса, — пускай тревожит, это вернейшее средство не быть забыту.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим,

— Я не понимаю робости и безмолвия, — шептал он, — а безнадежность предоставляю женщинам.

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим!

— Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива; я так понимаю любовь, что предпочел бы ее любовь ее счастию; несчастлива через меня, это бы связало ее навек со мною! А ведь такие мелкие, сладкие натуры, как Л[опу]хин, чего доброго, и пожелали бы счастия своим предметам!

А все-таки жаль, что я не написал эти стихи, только я бы их немного изменил. Впрочем, у Баратынского есть пьеса, которая мне еще больше нравится, она еще вернее обрисовывает мое прошедшее и настоящее, — и он начал декламировать:

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему я занят вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца,
Другим молился божествам,
Но с беспокойством староверца!

— Вам, Михаил Юрьевич, нечего завидовать этим стихам, вы еще лучше выразились:

Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все Бог!

— Вы помните мои стихи, вы сохранили их? Ради Бога, отдайте мне их, я некоторые забыл, я переделаю их получше и вам же посвящу.

— Нет, ни за что не отдам, я их предпочитаю, какими они

есть, с их ошибками, но с свежестью чувства; они, точно, неполны, но если вы их переделаете, они утратят свою неподдельность, оттого-то я и дорожу вашими первыми опытами.

Он настаивал, я защищала свое добро — и отстояла. На другой день вечером мы сидели с Лизой в маленькой гостиной, и как обыкновенно случается после двух балов сряду, в неглиже, усталые, полусонные и лениво читали вновь вышедший роман г-жи Деборд-Вальмор «L'atelier d'un Peintre». Марья Васильевна по обыкновению играла в карты в большой приемной, как вдруг раздался шум сабли и шпор.

— Верно, Лермонтов, — проговорила Лиза.

— Что за вздор, — отвечала я, — с какой стати? Тут раздались слова тетки: «Мои племянницы в той комнате», — и перед нами вдруг явился Лермонтов. Я оцепенела от удивления.

— Как это можно! — вскрикнула я, — два дня сряду! И прежде никогда не бывали у нас, как это вам не отказали! Сегодня у нас принимают только самых коротких.

— Да мне и отказывали, но я настойчив.

— Как же вас приняла тетка?

— Как видите, очень хорошо, нельзя лучше, потому что допустила до вас.

— Это просто сумасбродство, monsieur Michel, c'est absurde, вы еще не имеете ни малейшего понятия о светских приличиях.

Недолго я сердилась: он меня заговорил, развеселил, рассмешил разными рассказами. Потом мы пустились рассуждать о новом романе и, по просьбе его, я ему дала его прочитать с уговором, чтоб он написал свои замечания на те места, которые мне больше нравились и которые, по *онегинской* дурной привычке, я отмечала карандашом или ногтем; он обещал исполнить уговор и взял книги.

Он предложил нам гадать в карты и, по праву чернокнижника, предсказать нам будущность. Не мудрено было ему наговорить мне много правды о настоящем; до будущего он не касался, говоря, что для этого нужны разные приготовления.

— Но по руке я еще лучше гадаю, — сказал он, — дайте мне вашу руку и увидите.

Я протянула ее, и он серьезно и внимательно стал рассматривать все черты на ладони, но молчал.

— Ну что же? — спросила я.

— Эта рука обещает много счастья тому, кто будет ею обладать и целовать ее, и потому я первый воспользуюсь. — Тут он с жаром поцеловал и пожал ее.

Я выдернула руку, сконфузилась, раскраснелась и убежала в другую комнату. Что это был за поцелуй! Если я проживу и сто

лет, то и тогда я не позабуду его; лишь только я теперь подумаю о нем, то кажется, так и чувствую прикосновение его жарких губ; это воспоминание и теперь еще волнует меня, но в ту самую минуту со мной сделался мгновенный, непостижимый переворот; сердце забилось, кровь так и переливалась с быстротой, я чувствовала трепетание всякой жилки, душа ликовала. Но вместе с тем мне досадно было на Мишеля; я так была проникнута моими обязанностями к Л[опу]хину, что считала и этот невинный поцелуй изменой с моей стороны и вероломством с его.

Я была серьезна, задумчива, рассеянна в продолжение всего вечера, но непомерно счастлива. Мне все представлялось в радужном сиянии.

Всю ночь я не спала, думала о Л[опу]хине, но еще более о Мишеле; признаться ли, я целовала свою руку, сжимала ее и на другой день чуть не со слезами умыла ее: я боялась сгладить поцелуй. Нет! Он остался в памяти и в сердце, надолго, навсегда! Как хорошо, что воспоминание никто не может похитить у нас; оно одно остается нам верным и всемогуществом своим воскрешает прошедшее с теми же чувствами, с теми же ощущениями, с тем же пылом, как и в молодости. Да я думаю, что и в старости воспоминание остается молодым.

Во время бессонницы своей я стала сравнивать Л[опу]хина с Лермонтовым; к чему говорить, на чьей стороне был перевес? Все нападки Мишеля на ум Л[опу]хина, на его ничтожество в обществе, все, выключая его богатства, было уже для меня доступно и даже казалось довольно основательным; его же доверие к нему непростительно глупым и смешным. Поэтому я уже недалеко была от измены, но еще совершенно не понимала состояния моего сердца.

В среду мы поехали на бал к известному адмиралу Шишкову; [182] у него были положенные дни… Я любила ездить к Шишкову и говорить с ним; меня трогали его доброта и гостеприимство. Он иногда шутил со мною и говорил, что чувствует, как молодеет, глядя на меня.

Мишель взял у меня список всех наших знакомых, чтобы со временем постараться познакомиться с ними. Я не воображала, чтоб он умел так скоро распорядиться, и очень удивилась, найдя его разговаривающим с былой знаменитостью. Я чувствовала, что Мишель приехал для меня; эта уверенность заставила меня улыбнуться и покраснеть.

Но я еще больше раскраснелась, когда Александр Семенович Шишков сказал мне: «Что, птичка, ретивое еще на месте? Смотри, держи обеими руками; посмотри, какие у меня сегодня славные новички». И он стал меня знакомить с Лермонтовым; я так

растерялась, что очень низко присела ему — тут мы оба расхохотались и полетели вальсировать.

Надобно ли говорить, что мы почти все танцы вместе танцевали?

— Вы грустны сегодня, — сказала я ему, — видя, что он беспрестанно задумывается.

— Не грустен, но зол, — отвечал он, — зол на судьбу, зол на людей, а главное, зол на вас.

— На меня? Чем я провинилась?

— Тем, что вы губите себя; тем, что вы не цените себя; вы олицетворенная мечта поэта, с пылкой душой, с возвышенным умом, — и вы заразились светом! И вам необходимы поклонники, блеск, шум, суета, богатство, и для этой мишуры вы затаиваете, заглушаете ваши лучшие чувства, приносите их в жертву человеку, неспособному вас понять, вам сочувствовать, человеку, которого вы не любите и никогда не можете полюбить.

— Я вас не понимаю, Михаил Юрьевич; какое право имеете вы мне все это говорить? Знайте раз навсегда, я не люблю ни проповедей, ни проповедников.

— Нет, вы меня понимаете и очень хорошо. Но извольте, я выражусь просто: послезавтра приезжает Л[опу]хин; принадлежащие ему пять тысяч душ делают его самоуверенным, да в чем же ему и сомневаться? Первый его намек поняли, он едет не побежденным, а победителем; увижу, придаст ли ему хоть эта уверенность ума, а я так думаю и, признаюсь, желаю, чтоб он потерял и то, чего никогда не имел, — то-то я поторжествую!

— Я думаю тоже, что ему нечего терять.

— Как? Что вы сказали?

— Не вы же одни имеете право говорить загадками.

— Нет, я не говорю загадками, но просто спрошу вас, зачем вы идете за него замуж; ведь вы его не любите?

— Я иду за него? — вскричала я почти с ужасом. О, это еще не решено! Я вижу, что вы все знаете, но не знаю, как вам передали это обстоятельство. Так и быть, я сама вам все расскажу. Признаюсь, я сердита на Л[опу]хина: чем он хвастается, в чем так уверен? Сашенька мне писала по его просьбе, что если сердце мое узнает и назовет того, кто беспрестанно думает обо мне, краснеет при одном имени моем; что если я напишу ей, что угадала его имя, то он приедет в Петербург и будет просить моей руки, — вот и весь роман. Кто знает, какая еще будет развязка? Да, я решаюсь выйти за него без сильной любви, но с уверенностью, что буду с ним счастлива, он так добр, благороден, не глуп, любит меня, а дома я так несчастлива. Я так хочу быть любимой!

— Боже мой! Если бы вы только хотели догадаться, как вас

любят! Если бы вы хотели только понять, с какой пылкостью, с какой покорностью, с каким неистовством вас любит один молодой человек моих лет.

— Я знаю, что вы опять говорите о Л[опу]хине; я именно и вверяю ему свою судьбу, потому что уверена в его любви, потому что я первая его страсть.

— Вот прекрасно, вы думаете, что я хлопочу за Л[опу]хина?

— Если не о нем, так о ком же вы говорите?

— Положим, что и о нем. Но отвечайте мне прежде на один мой вопрос: скажите, если бы вас в одно время любили два молодые человека, один — пускай его будет Л[опу]хин, он богат, счастлив, все ему улыбается, все пред ним преклоняется, все ему доступно единственно потому только, что он богат! Другой же молодой человек далеко не богат, не знатен, не хорош собой, но умен, но пылок, восприимчив и глубоко несчастлив; он стоит на краю пропасти, потому что никому и ни во что не верит, не знает, что такое взаимность, что такое ласка матери, дружба сестры, и если бы этот бедняк решился обратиться к вам и сказать вам: спаси меня, я тебя боготворю, ты сделаешь из меня великого человека, полюби меня, и я буду верить в Бога, ты одна можешь спасти мою душу. Скажите, что бы вы сделали?

— Я надеюсь не быть никогда в таком затруднительном положении; судьба моя уже почти решена, я любима и сама буду любить.

— Будете любить! Пошлое выражение, впрочем, доступное женщинам; любовь по приказанию, по долгу! Желаю вам полного успеха, но мне что-то не верится, чтоб вы полюбили Л[опу]хина; да этого и не будет!

Возвратясь домой, я еще больше негодовала на Л[опу]хина; ведь это его необдуманная откровенность навлекла мне такие неловкие разговоры с Лермонтовым, сблизила меня с ним.

Проучу же я его, помучаю, раздумывала я. Понятно, что я, хотя бессознательно, но уже действовала, думала и руководствовалась внушениями Мишеля. А между тем все мои помышления были для Лермонтова. Я вспоминала малейшее его слово, везде видела его жгучие глаза, поцелуй его все еще звучал в ушах и раздавался в сердце, но я не признавалась себе, что люблю его. Приедет Л[опу]хин, рассуждала я сама с собой, и все пойдет иначе; он любит меня, хотя и без волнения, но глубоко; участие его успокоит меня, разгонит мои сомнения, я ему расскажу подробно все, что мне говорил Лермонтов: я не должна ничего от него скрывать. Так думала я, так хотела поступить, но вышло иначе.

*[Сушкова, стр. 168–183]*

С.-Петербург. 23 декабря [1834]

Милый друг! Что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе; это значило бы порвать последние нити, связывающие меня с прошлым, а этого я не хотел бы ни за что на свете, так как моя будущность, блистательная на вид, в сущности пошла и пуста. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет, со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути; мне или не представляется случая, или недостает смелости. Мне говорят, что случай когда-нибудь выпадет, а время и опыт выработают во мне смелость… А кто порукою, что, когда это все будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной, молодой души, которою Бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от выжидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всем том, что в жизни служит двигающим стимулом…

Я теперь бываю в свете, для того чтобы меня узнали, для того чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем *обществе*… Ах!.. Я ухаживаю и, вслед за объяснением в любви, говорю дерзости. Это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, однако же бывает не часто!.. Вы думаете, что меня за то гонят прочь? О, нет! совсем напротив: женщины уж так сотворены. У меня появляется смелость в отношениях с ними. Ничто меня не смущает — ни гнев, ни нежность; я всегда настойчив и горяч, но сердце мое холодно и способно забиться только в исключительных случаях. Не правда ли, я далеко пошел!.. И не думайте, что это фанфаронада: я теперь человек самый скромный и притом знаю, что это нисколько не украсит меня в ваших глазах. Я говорю так, потому что только с вами решаюсь быть искренним; потому что только вы одна сумеете меня пожалеть, не унижая, так как и без того я сам себя унижаю. Если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал. Когда-то вы облегчали мне очень сильную горесть; может быть, и теперь вы пожелаете ласковыми словами разогнать холодную иронию, которая неудержимо прокрадывается мне в душу, как вода просачивается в разбитое судно! О, как желал бы я опять вас увидеть, говорить с вами: мне благотворны были самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами, а то теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни движения; выражение неподвижной мысли, что-то отзывающееся смертью!..

Я был в *Царском Селе*, когда приехал Алексис.[183] Узнав о том, я едва не сошел с ума от радости: разговаривал сам с собою,

смеялся, потирал руки. Вмиг возвратился я к моим прошедшим радостям, двух страшных годов как не бывало…

Я нашел, что брат ваш очень переменился: он так толст, как я тогда был, краснощек, но всегда серьезен и солиден; однако в вечер нашего свидания мы хохотали как сумасшедшие — Бог знает отчего!

Скажите, мне показалось, будто он чувствует нежность к m-lle Cathérine Souchkoff… известно ли это вам?.. Дядьям сей девицы, кажется, очень хотелось бы их повенчать. Сохрани Боже!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья которой зацепляются за все встречное. Было время, когда она мне нравилась. Теперь она почти принуждает меня ухаживать за нею… но, не знаю, есть что-то такое в ее манерах, в ее голосе грубое, отрывистое, надломленное, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компрометировать ее, видеть ее запутавшейся в собственных сетях.

<…> Мне бы очень хотелось с вами повидаться; в сущности, это желание эгоистическое, потому что возле вас я нашел бы себя самого, стал бы опять, каким некогда был, доверчивым, полным любви и преданности, одаренным, наконец, всеми благами, которых люди не могут у нас отнять и которые сам Бог у меня отнял! Прощайте, прощайте, хотел бы еще писать, но не могу.

*М. Лерма.*

*[Перевод из французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 319–321]*

Вечером приехал к нам Мишель, расстроенный, бледный; улучил минуту уведомить меня, что Л[опу]хин приехал, что он ревнует, что встреча их была как встреча двух врагов и что Л[опу]хин намекнул ему, что он знает его ухаживанье за мной и что он не прочь и от дуэли, даже и с родным братом, если бы тот задумал быть его соперником.

— Видите ли, — продолжал Лермонтов, — если любовь его к вам не придала ему ума, то по крайней мере придала ему догадливости; он еще не видал меня с вами, а уже знает, что я вас люблю; да, я вас люблю, — повторил он с каким-то диким выражением, — и нам с Л[опу]хиным тесно вдвоем на земле!

— Мишель, — вскричала я вне себя, — что же мне делать?

— Любить меня.

— Но Л[опу]хин, но письмо мое, оно равняется согласию.

— Если не вы решите, так предоставьте судьбе или правильнее сказать: пистолету.

— Неужели нет исхода? Помогите мне, я все сделаю, но только откажитесь от дуэли, только живите оба, я уеду в Пензу, к

дедушке, и вы оба меня скоро забудете.

— Послушайте: завтра приедет к вам Л[опу]хин, лучше не говорите ему ни слова обо мне, если он сам не начнет этого разговора; примите его непринужденно, ничего не говорите родным о его предложении; увидя вас, он сам догадается, что вы переменились к нему.

— Я не переменилась, я все та же, и все люблю и уважаю его.

— Уважаете! Это не любовь; я люблю вас, да и вы меня любите, или это будет непременно; бойтесь меня, я на все способен и никому вас не уступлю, я хочу вашей любви. Будьте осторожны, две жизни в ваших руках!

Он уехал, я осталась одна с самыми грустными мыслями, с самыми черными предчувствиями. Мне все казалось, что Мишель лежит передо мной в крови, раненый, умирающий; я старалась в воображении моем заменить его труп трупом Л[опу]хина; это мне не удавалось, и, несмотря на мои старания, Л[опу]хин являлся передо мной беленьким, розовым, с светлым взором, с самодовольной улыбкой. Я жмурила глаза, но обе эти картины не изменялись, не исчезали. Совесть уже мучила меня за Л[опу]хина; сердце билось, замирало, жило одним только Лермонтовым.

На другой день, часов в двенадцать, приехал к нам Л[опу]хин; это первое свидание было принужденно, тетка не отходила от нас; она очень холодно и свысока приняла Л[опу]хина, но по просьбе дяди Николая Васильевича пригласила его в тот же день к себе обедать. Дядя желал от души, чтоб я вышла замуж за Л[опу]хина, и лишь только он уехал, он начал мне толковать о всех выгодах такой партии, но и тут я ни в чем не призналась ему, как ни добивался он откровенности, но на этот раз я действовала уже по расчету. С первых моих слов он бы выгнал Лермонтова, все бы высказал Л[опу]хину и устроил бы нашу свадьбу. А мне уже казалось невозможным отказаться от счастия видеть Мишеля, говорить с ним, танцевать с ним.

За обедом Л[опу]хин сидел подле меня; он был веселее, чем утром, говорил только со мною, вспоминал наше московское житье до малейшей подробности, осведомлялся о моих выездах, о моих занятиях, о моих подругах.

Мне было неловко с ним. Я все боялась, что он вот сейчас заговорит о Мишеле; я сознавалась, что очень виновата пред ним, рассудок говорил мне: «с ним ты будешь счастлива», а сердце вступалось за Лермонтова и шептало мне: «тот больше тебя любит». Мы ушли в мой кабинет, Л[опу]хин тотчас же спросил меня:

— Помните ли, что вы писали Сашеньке в ответ на ее письмо?

— Конечно, — отвечала я, — это было так недавно.

— А если бы давно, то вы бы забыли или переменились?

— Не знаю и не понимаю, к чему ведет этот допрос.

— Могу ли я объясниться с вашими родными?

— Ради Бога, подождите, — сказала я с живостью.

— Зачем же ждать, если вы согласны?

— Все лучше; постарайтесь понравиться Марье Васильевне, играйте с ней в вист и потом…

— Неужели она может иметь на вас влияние? Я стараюсь нравиться только вам, я вас люблю более жизни и клянусь все сделать для вашего счастья, лишь бы вы меня немного любили.

Я заплакала и готова была тут же высказать все Л[опу]хину, упрекнуть его в неограниченно-неуместном доверии к Лермонтову, сообщить ему все наши разговоры, все его уверения, просить его совета, его помощи. Едва я вымолвила первые слова, как дядя Николай Сергеевич пришел, предложил ему сигару и увел его в свой кабинет. Четверть часа прошло, а с ним и мое благое намерение, мне опять представился Лермонтов с своими угрозами и вооруженным пистолетом.

Л[опу]хин был очень весел, уселся за вист с Марьей Васильевной, я взяла работу, подсела к карточному столу; он часов до девяти пробыл у нас, уехал, выпросил позволения приехать на другой день посмотреть на мой туалет, — мы собирались на бал к генерал-губернатору.

Лишь только Л[опу]хин от нас уехал, как влетел Лермонтов. Для избежания *задушевного* разговора я осталась у карточного стола; он надулся, гремел саблей, острил без пощады, говорил вообще дурно о светских девушках и в самых язвительных выражениях рассказывал громогласно, относя к давно прошедшему, мои отношения к Л[опу]хину, любовь свою ко мне и мое кокетство с обоими братьями.

Наконец, эта пытка кончилась; взбешенный моим равнодушием и невмешательством моим в разговор, он уехал, но, однако же, при всех пригласил меня на завтрашнюю мазурку.

Я задумала остаться дома, упрашивала об этом, мне не позволяли, называя меня *капризной.* Итак, все было против меня и против моего желания остаться верной Л[опу]хину.

Собираясь на бал, я очень обдумывала свой туалет; никогда я не желала казаться такой хорошенькой, как в этот вечер; на мне было белое платье и ветки репейника на голове, такая же ветка у лифа. Л[опу]хин приехал, я вышла к нему с дядей Николаем Васильевичем, который очень любил выказывать меня. Л[опу]хин пришел в восторг от *моего сияния*, как он выразился, и поцеловал мою руку, — какая разница с поцелуем Лермонтова! Тот решил

судьбу мою, в нем была вся моя жизнь, и я бы отдала все предстоящие мне годы за другой такой же поцелуй!

Мы уселись; он спросил меня, как я окончила вчерашний вечер.

— Скучно!

— Кто был у вас?

— Никого, кроме Лермонтова.

— Лермонтов был! Невозможно!

— Что же тут невозможного? Он и третьего дня был!

— Как! В день моего приезда?

— Да!

— Нет, тысячу раз нет.

— Да, и тысячу раз да, — отвечала я, обидевшись, что он мне не верит.

Мы оба надулись и прохаживались по комнате.

Тут я уже ничего не понимала, отчего так убежден Л[опу]хин в невозможности посещений Мишеля. Я предчувствовала какие-то козни, но я не пыталась отгадывать и даже боялась отгадать, кто их устраивает; я чувствовала себя опутанной, связанной по рукам и по ногам, но кем?..

Вошла Марья Васильевна, и мы поехали на бал.

Лермонтов ждал меня у дверей; протанцовал со мной две первые кадрили и, под предлогом какого-то скучного вечера, уехал, обещаясь возвратиться к мазурке. С его минутным отсутствием как глубоко поняла я значение стиха графа Рессегье:

Le bal continuait — la fâte n'était plus![184]

Он сдержал слово и возвратился на бал, когда усаживались к мазурке. Он был весел, шутлив, говорил с восторгом о своей неизменной любви и довершил тем, что объявил, что он очень счастлив.

— А вы? — спросил он меня.

— Я так себе, по-прежнему.

— Вы продолжаете начатое?

— Лучше сказать, я останавливаю неначатое.

Он улыбнулся и с чувством пожал мне руку в туре.

— Что Л[опу]хин? — спросил он.

— Ждет! — отвечала я. — Но скажите же, monsieur Michel, что мне делать? Я в таком неловком, запутанном положении; ваши угрозы смутили меня, я не могу быть откровенна с Л[опу]хиным, все боюсь не досказать или высказаться, я беспрестанно противоречу себе, своим убеждениям. Признайтесь, его ревность, его намерение стреляться с вами, все это было в

вашем только воображении?

— О, я вижу, — сказал он с живостью, — что уж успели мне повредить в вашем мнении: вы мне больше не верите. Я вам говорил, что у меня есть враги, и вот они и постарались внушить вам подозрения, и успели, кажется; оттого-то вы мне и не верите.

— Верю, божусь, верю, но бедный Л[опу]хин в таком миролюбивом расположении, так уверен во мне, а я, я, мне кажется, его обманываю, поступаю с ним неблагородно, мучу его и сама терзаюсь. Надо же положить всему этому конец!

— Ну что же, выходите за него: он богат, он глуп, вы будете его водить за нос. Что вам до меня, что вам любовь моя?.. я беден! Пользуйтесь вашим положением, будьте счастливы; выходите за него, но на дороге к этому счастью вы перешагнете через мой или его труп, тем лучше! Какая слава для вас: два брата, два друга за вас сделаются непримиримыми врагами, убийцами.[185] Весь Петербург, вся Москва будут с неделю говорить о вас! Довольно ли этого для вашего ненасытного самолюбия, для вашего кокетства?

— Вы меня, Михаил Юрьевич, или не знаете, или презираете. Скажите, что я сделала, чтобы заслужить такие колкие и дерзкие выражения? Я согласилась на предложение Л[опу]хина, прежде чем встретилась с вами, я не звала вас к нам, вы ворвались в наш дом почти силой и с тех пор преследуете меня вашими уверениями, угрозами и даже дерзостью. Я более не допущу этого, я довольно настрадалась в это время и завтра же все покончу. Вот и теперь на бале, в кругу блеска, золота, веселья, меня преследует ваш образ окровавленный, обезображенный, я вижу вас умирающим, я страдаю за вас, готова сейчас заплакать, а вы упрекаете меня в кокетстве!

Мазурка кончилась, все танцующие сделали большой тур по всем комнатам, мы немного отстали, и, пробегая через большую биллиардную, Лермонтов нагнулся, поцеловал мою руку, сжал ее крепко в своей и шепнул мне: «Я счастлив!»

Возвратясь в большую залу, мы прямо уселись за стол. Лермонтов, конечно, ужинал подле меня; никогда не был он так весел, так оживлен.

— Поздравьте меня, — сказал он, — я начал славное дело, оно представляло затруднения, но по началу, по завязке, я надеюсь на блестящее окончание.

— Вы пишете что-нибудь?

— Нет, но я на деле заготовляю материалы для многих сочинений: знаете ли, вы будете почти везде героиней.[186]

— Ах, ради Бога, избавьте меня от такой гласности!

— Невозможно! Первая любовь, первая мечта поэтов везде

вкрадывается в их сочинениях; знаете ли, вы мне сегодня дали мысль для одного стихотворения?

— Мне кажется, что у меня в это время не было ни одной ясной мысли в голове, и вы мне придаете свои.

— Нет, прекрасная мысль! Вы мне с таким увлечением сказали, что в кругу блеска, шума, танцев, вы только видите меня, раненого, умирающего, и в эту минуту вы улыбались для толпы, но ваш голос дрожал от волнения, но на глазах блестели слезы, и со временем я опишу это. Узнаете ли вы себя в моих произведениях?

— Если они не будут раскрашены вашим воображением, то останутся бесцветными и бледными, как я, и не многих заинтересуют.

— А были ли вы сегодня бледны, когда Л[опу]хин, провожая вас на бал, поцеловал вашу руку?

— Вы шпион?

— Нет, я просто поверенный!

— Глуп же Л[опу]хин, что вам доверяется; ваше поведение с ним неблагородно.

— В войне все хитрости допускаются. Да и вы-то, кажется, переходите на неприятельскую сторону: прежде выхваляли его ум, а теперь называете его глупцом.

— А вы забываете, что и умный человек может быть глупо доверчив, и самая эта доверчивость говорит в его пользу: он добр и неспособен к хитрости.

Я провела ужасные две недели между двумя этими страстями. Л[опу]хин трогал меня своею преданностью, покорностью, смирением, но иногда у него проявлялись проблески ревности. Лермонтов же поработил меня совершенно своей взыскательностью, своими капризами, он не *молил, но требовал* любви, он не преклонялся, как Л[опу]хин, перед моей волей, но налагал на меня свои тяжелые оковы, говорил, что не понимает ревности, но беспрестанно терзал меня сомнением и насмешками.

Меня приводило в большое недоумение то, что они никогда не встречались у нас, а лишь только один уедет, другой сейчас войдет. Когда же ни одного из них не было у меня на глазах, я просто не знала, куда деваться от мучительного беспокойства. Дуэль между ними была моей господствующей мыслью. Я высказала свои страдания Лермонтову и упросила его почаще проезжать мимо наших окон: он жил дома за три от нас. Я так привыкла к скрипу его саней, к крику его кучера, что, не глядя в окошко, знала его приближение и иногда, издали завидя развевающийся белый султан и махание батистовым платком, я

успокаивалась на несколько времени. Мне казалось, что я так глубоко сохранила в душе моей предпочтение к нему под личиной равнодушия и насмешливости, что он не имел ни малейшего повода подозревать это предпочтение, а между тем я высказывала ему свою душу без собственного сознания, и он узнал прежде меня самой, что все мои опасения были для него одного.

Мне было также непонятно ослепление всех родных на его счет, особливо же со стороны Марьи Васильевны. Она терпеть не могла Лермонтова, но считала его ничтожным и не опасным мальчишкой, принимала его немножко свысока, но, боясь его эпиграмм, свободно допускала его разговаривать со мною; при Л[опу]хине она сторожила меня, не давала почти случая сказать двух слов друг другу, а с Мишелем оставляла целые вечера вдвоем. Теперь, когда я более узнала жизнь и поняла людей, я еще благодарна Лермонтову, несмотря на то, что он убил во мне сердце, душу, разрушил все мечты, все надежды, но он мог и совершенно погубить меня и не сделал этого.

Впоследствии одна из моих кузин, которой я рассказала всю эту эпоху с малейшими подробностями, спросила один раз Мишеля, зачем он не поступил со мною, как и с Любенькой Б. и с хорошенькой дурочкой Т.,[187] он отвечал: «Потому что я ее любил искренно, хотя и недолго, она мне была жалка, и я уверен, что никто и никогда так не любил и не полюбит меня, как она».

Он всеми возможными, самыми ничтожными средствами тиранил меня: гладко зачесанные волосы не шли ко мне; он требовал, чтоб я всегда так чесалась; мне сшили пунцовое платье с золотой кордельерой, и к нему прибавили зеленый венок с золотыми жолудями; для одного раза в зиму этот наряд был хорош, но Лермонтов настаивал, чтобы я на все балы надевала его — и, несмотря на ворчанье Марьи Васильевны и пересуды моих приятельниц, я постоянно являлась в этом театральном костюме, движимая увериениями Мишеля, который повторял: «Что вам до других, если вы мне так нравитесь?»

Однако же он так начал поступать после 26 декабря — день, в который я в первый раз призналась в любви и дала торжественное обещание отделаться от Л[опу]хина. Это было на бале у генерал-губернатора. Лермонтов приехал к самой мазурке; я не помню ничего из нашего несвязного объяснения, но знаю, что счастье мое началось с этого вечера. Он был так нежен, так откровенен, рассказывал мне о своем детстве, о бабушке, о Чембарской деревне такими радужными красками описывал будущее житье наше в деревне, за границей, всегда вдвоем, всегда любящими и бесконечно счастливыми, молил ответа и решения его участи, так

что я не выдержала, изменила той холодной роли, которая давила меня, и, в свою очередь, сказала ему, что люблю его больше жизни, больше, чем любила мать свою, и поклялась ему в неизменной верности.

Он решил, что прежде всего надо выпроводить Л[опу]хина, потом понемногу уговаривать его бабушку согласиться на нашу свадьбу; о родных моих и помину не было, мне была опорой любовь Мишеля, и с ней я никого не боялась, готова была открыто действовать, даже и — против Марьи Васильевны!

В этот вечер я всю свою душу открыла Мишелю, высказала ему свои задушевные мечты, помышления. Он уверился, что он давно был любим и любим свято, глубоко; он казался вполне счастливым, но как будто боялся чего-то, — я обиделась, предполагая, что он сомневается во мне, и лицо мое омрачилось.

— Я уверен в тебе, — сказал он мне, — но у меня так много врагов, они могут оклеветать меня, очернить, я так не привык к счастию, что и теперь, когда я уверился в твоей любви, я счастлив настоящим, но боюсь за будущее; да, я еще не знал, что и счастье заставляет грустно задумываться!

— Да, и так скоро раздумывать о завтрашнем дне, который уже может сокрушить это счастье!

— Но кто же мне поручится, что завтра кто-нибудь не постарается словесно или письменно перетолковать вам мои чувства и действия?

— Поверьте мне, никто и никогда не повредит в моем мнении о вас, вообще я не руководствуюсь чужими толками.

— И потому ты, вопреки всех и всегда, будешь моей заступницей?

— Конечно. К чему об этих предположениях так долго говорить; кому какое дело до нас, до нашей любви? Посмотрите кругом, никто не занимается нами и кто скажет, сколько радостей и горя скрывается под этими блестящими нарядами; дай Бог, чтоб все они были так счастливы, как я!

— Как мы, — подтвердил Лермонтов, — надо вам привыкать, думая о своем счастии, помнить и обо мне.

Я возвратилась домой совершенно перерожденная.

Наконец-то я любила; мало того, я нашла идола, перед которым не стыдно было преклоняться перед целым светом. Я могла гордиться своей любовью, а еще больше *его* любовью; мне казалось, что я достигла цели всей своей жизни; я бы с радостью умерла, унеся с собой на небо, как венец бессмертия, клятву его любви и веру мою в неизменность этой любви. О! как счастливы те, которые умирают неразочарованными! Измена хуже смерти; что за жизнь, когда никому не веришь и во всем сомневаешься!

На другой день Л[опу]хин был у нас; на обычный его вопрос, с кем я танцевала мазурку, я отвечала, не запинаясь:

— С Лермонтовым.

— Опять! — вскричал он.

— Разве я могла ему отказать?

— Я не об этом говорю; мне бы хотелось наверное знать, с кем вы танцевали?

— Я вам сказала.

— Но если я знаю, что это неправда.

— Так, стало быть, я лгу.

— Я этого не смею утверждать, но полагаю, что вам весело со мной кокетничать, меня помучить, развить мою ревность к бедному Мишелю; все это, может быть, очень мило, но не кстати, перестаньте шутить, мне право тяжело; ну скажите же мне, с кем вы забывали меня в мазурке?

— С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

— Это уж чересчур, — вскричал Л[опу]хин, — как вы хотите, чтобы я вам поверил, когда я до двенадцати почти часов просидел у больного Лермонтова и оставил его в постели крепко заснувшего!

— Ну что же? Он после вашего отъезда проснулся, выздоровел и приехал на бал, прямо к мазурке.

— Пожалуйста, оставьте Лермонтова в покое; я прошу вас назвать мне вашего кавалера; заметьте, я прошу, я бы ведь мог требовать.

— *Требовать!* — вскричала я, вспыхнув, — какое же вы имеете право? Что я вам обещала, уверяла ли вас в чем-нибудь? Слава Богу, вы ничего не можете *требовать,* а ваши беспрестанные вспышки, все эти сцены до того меня истерзали, измучили, истомили, что лучше нам теперь же положить всему конец и врозь искать счастия.

Я не смела взглянуть на Л[опу]хина и поспешила выйти из комнаты. Наедине я предалась отчаянию; я чувствовала себя кругом виноватой перед Л[опу]хиным; я сознавалась, что отталкивала верное счастие быть любимой, богатой, знатной за неверный призрак, за ненадежную любовь!

Притворная болезнь Лермонтова, умолчание со мной об этой проделке черным предчувствием опутали все мои мысли; мне стало страшно за себя, я как будто чувствовала бездну под своими ногами, но я так его любила, что успокоила себя его же парадоксом: «предпочитать страдание и горе от любимого человека — богатству и любви другого». «Будь, что должно быть, сказала я себе, я поступила так, как он хотел, и так неожиданно скоро! Ему это будет приятно, а мне только этого и надобно».

*[Сушкова, стр. 183–198]*

В первый раз, когда я увидела Мишеля после этого разрыва, и когда он мне сказал: «tu es un ange»,[188] — я была вполне вознаграждена; мне казалось, что он преувеличивает то, что называл он моим *жертвоприношением.*

Я нашла почти жестоким с его стороны выставлять и толковать мне, «как я необдуманно поступила, отказав Л[опу]хину, какая была бы это для меня, бедной сироты, блестящая партия, как бы я всегда была облита бриллиантами, окутана шалями, окружена роскошью». Он как будто поддразнивал меня.

— Я поступила по собственному убеждению, а главное, по вашему желанию, и потому ни о чем не жалею.

— Неужели одна моя любовь может все это заменить?

— Решительно все.

— Но у меня дурной характер; я вспыльчив, зол, ревнив; я должен служить, заниматься, вы всю жизнь проведете взаперти с моей бабушкой.

— Мы будем с ней говорить о вас, ожидать вашего возвращения, нам вместе будет даже весело; моя пылкая любовь понимает и ценит ее старческую привязанность.

Он пожал мне руку, сказав:

— С моей стороны это было маленькое испытание; я верю вашей любви и готовности сделать мое счастие, и сам я никогда не был так счастлив, потому что никогда не был так любим. Но, однако же, обдумайте все хорошо, не пожалеете ли вы когда о Л[опу]хине? Он добр — я зол, он богат — я беден; я не прощу вам ни сожаления, ни сравнения, а теперь еще время не ушло, и я еще могу помирить вас с Л[опу]хиным и быть вашим шафером.

— Мишель, неужели вы не понимаете, что вам жестоко подсмеиваться теперь надо мной и уговаривать меня поступить против моего сердца и моей совести? Я вас люблю, и для меня все кончено с Л[опу]хиным. Зачем вы мучите меня и выказываетесь хуже, чем вы есть?

— Чтоб не поступить, как другие: все хотят казаться добряками, и в них скоро разочаровываются, — я, может быть, преувеличиваю свои недостатки, и для вас будет приятный сюрприз найти меня лучше, чем вы ожидаете.

Трудно представить, как любовь Лермонтова возвысила меня в моих собственных глазах; я благоговела перед ним, удивлялась ему; гляжу, бывало, на него и не нагляжусь, слушаю и не наслушаюсь. Я переходила через фазы ревности, когда приезжали к нам молодые девушки (будь они уроды); я каждую из них

ревновала, каждой из них завидовала, каждую ненавидела за один его взгляд, за самое его пошлое слово. Но отрадно мне было при моих поклонниках, перед ними я гордилась его любовью, была с ними почти неучтива, едва отвечала на их фразы, мне так и хотелось сказать им: «Оставьте меня, вам ли тягаться с ним? Вот мой алмаз-регент, он обогатил, он украсил жизнь мою, вот мой кумир, — он вдохнул бессмертную любовь в мою бессмертную душу».

В это время я жила полной, но тревожной жизнью сердца и воображения и была счастлива до бесконечности.

*[Сушкова, стр. 199–201]*

Е. А. втайне от родных связала к именинам Лермонтова кошелек (из белого и голубого шелку — любимого цвета Лермонтова), который отправила к нему incognito. Лермонтов не мог не догадаться, от кого был этот подарок. В тот же вечер он играл в карты с дамами, и одна из них заметила ему, что он очень дорожит приношением поздравительницы. «Я дорожу… — воскликнул Лермонтов, — нисколько! И в доказательство ставлю его на карту…» Названный подарок был проигран одной из собеседниц. Спустя несколько времени эта особа, в присутствии Е. А. и ее родных, доставала из этого кошелька деньги; Е. А. была удивлена и раздосадована.

*[Устные рассказы Е. А. Сушковой в передаче М. И. Семевского. Сушкова, стр. 226]*

[Помню] последний наш бал, на котором мы в последний раз так весело танцевали вместе… Я познакомила [Машу][189] с Лермонтовым и Л[опу]хиным, и… на мои пылкие и страстные рассказы [она] отвечала, покачав головой:

— Ты променяла кукушку на ястреба.

…[Ее] дружба предугадала его измену, [она] проникла своим светлым, спокойным взором и сказала мне: «С Л[опу]хиным ты будешь счастлива, а Лермонтов, кроме горя и слез, ничего не даст тебе». Да, [она] была права; но я, безрассудная, была в чаду, в угаре от его рукопожатий, нежных слов и страстных взглядов.

В мазурке я села рядом с [ней], предупредив Мишеля, что [она все знает] и присутствием [своим] покровительствует нам и что мы можем говорить, не стесняясь ее соседством. [Он] уверял… меня, что дела наши подходят к концу, что недели через две он объявит о нашей свадьбе, что бабушка согласна, — [она] все это слышала и радовалась за меня. А я! О, как слепо я ему верила, когда он клялся, что стал другим человеком, будто перерожденным, верит в Бога, в любовь, в дружбу, что все

благородное, все высокое ему доступно и что это чудо совершила любовь моя; — как было не вскружиться моей бедной голове!

На этом бале Л[опу]хин совершенно распрощался со мной, перед отъездом своим в Москву. Я рада была этому отъезду, мне с ним было так неловко и отчасти совестно перед ним; к тому же я воображала, что присутствие его мешает Лермонтову просить моей руки.

На другой день этого бала Мишель принес мне кольцо, которое я храню, как святыню, хотя слова, вырезанные на этом кольце, теперь можно принять за одну только насмешку.[190]

Мне становится невыносимо тяжело писать; я подхожу к перелому всей моей жизни, а до сих пор я с какой-то ребячливостью отталкивала и заглушала все, что мне напоминало об этом ужасном времени.

Один раз, вечером, у нас были гости, играли в карты, я с Лизой и дядей Николаем Сергеевичем сидела в кабинете; она читала, я вышивала, он по обыкновению раскладывал grand patience.[191] Лакей подал мне письмо, полученное по городской почте; я начала его читать и, вероятно, очень изменилась в лице, потому что дядя вырвал его у меня из рук и стал читать его вслух, не понимая ни слова, ни смысла, ни намеков о Л[опу]хине, о Лермонтове, и удивлялся, с какой стати злой аноним так заботится о моей судьбе. Но для меня каждое слово этого рокового письма было пропитано ядом, и сердце мое обливалось кровью. Но что я была принуждена вытерпеть брани, колкостей, унижения, когда гости разъехались, и Марья Васильевна прочла письмо, врученное ей покорным супругом! Я и теперь еще краснею от негодования, припоминая грубые выражения ее гнева.[192]

*[Сушкова, стр. 201–203]*

Живо сохранился в моем воспоминании пятый акт кратковременного сценического представления самого автора «Маскарада». Частью по его содействию, частью по обстоятельствам, этот пятый акт разыгрался в нашем доме гораздо оригинальнее, чем рассказано в «Воспоминаниях». Лермонтов воспользовался *паникой* честнейшего семейства консерваторов, к которому принадлежали мои добрые родные.

К новому 1835 году правительство вознамерилось учредить городскую почту. У нас старшими гостями и хозяевами подчас выражались порицания этой мере: чего доброго! — С такими нововведениями к молодым девушкам и женщинам полетят любовные признания, посыплются безыменные пасквили на целые семейства!.. То ли дело заведенный порядок! Войдет в переднюю

огромный ливрейный лакей с маленькою записочкой в руках, возгласит четырем-пяти своим собратиям: «От Ольги Николаевны, ответа не нужно», или: «От Глафиры Сергеевны, просят ответа», — и один из заслуженных домочадцев несет писульку к барыне, докладывает ей от кого, часто — и об чем, как будто сам умеет читать, даже по-французски. — Не лучше ли так? Не нравственнее ли? — Вся жизнь барыни и барышень на ладони всякого лакея; каждый из них может присягнуть, что ни за одной из них ни малейшей шероховатой переписки не водится, а почтальон что? Какое ему дело? — Отдал, получил плату — и был таков!

Тревожное раздумье более всего озабочивало тетеньку: это нововведение казалось ей первым насильственным вторжением внешнего мира в свято охраняемый быт семейный. Если Фамусов кряхтел от одной «комиссии», то у Мар[ьи] Вас[ильевны] было их на руках две, и уже стояла на степени кандидатки третья, подрастающая и воспитывающаяся в пансионе упомянутая сиротка. Проведал ли об ее черных думах Михаил Юрьевич или по чутью догадался, что у нас дойти письму в собственные руки барышни так же трудно, как мальчику вскинуть свой мячик до луны?

В первых числах января Л[опухин] уезжал обратно в Москву. В самый день его отъезда, как раз на почине рокового учреждения, не ранее 10-ти часов вечера, зазвенел колокольчик. В те времена он не мог так поздно возвещать посетителей, а разве курьера к одному из дядей, да разве Лермонтова, что-то запавшего в последние дни, — после проводов родственника, он едет мимо, и завидел наши освещенные окна… От самого обеда мы сидели одни-одинехоньки в маленькой гостиной; тетеньке с трудом составилась партия в большой… (Необыкновенная тишина, нелюдность нашего дома в этот день напоминают мне, что то был Крещенский сочельник.) Тоже припоминается теперь, что сестра сильно встрепенулась при звуке колокольчика, проговорила: «Лермонтов!» — и послала меня посмотреть, кто войдет. Дойдя до порога второй гостиной, я увидела, что лакей что-то подал дяде Николаю Сергеевичу, сидевшему возле партнеров, а не с нами, как значится в «Воспоминаниях». (Для вставки его нравоописания и тут переиначена семейная картина.) «Хорошо, зажги свечи в кабинете», — сказал дядя человеку и направился туда. Вскоре партнеры разъехались, мы ждали прихода тетеньки и дядей к нам, как это делалось обыкновенно, но к удивлению нашему слышим, что Ник[олай] Серг[еевич] заперся в своем кабинете с женой и с дядей Н. В. Сушковым. Этого не случалось никогда-никогда, притом так поздно, пора ужинать.

Зовут и нас! — Уж не предложение ли? Мне? Тебе? — Вот правду сказывают: Бог сиротам опекун!..

Мы вошли. На деловом столе дяди лежал мелко исписанный большой почтовый лист бумаги.

Екатерине Александровне подали письмо и конверт, адресованный на ее имя.

— Покорно благодарю! — вымолвила тетенька далеко не умильно и не ласково. — Вот что навлекает на нас ваша ветреность, ваше кокетство!.. Я ли не старалась?.. Вот плоды!!! Стой и ты тут, слушай! И ты туда же пойдешь, — обратилась она ко мне. — Извольте читать и сказать обе, кем и про кого это написано?

Нам стоило бросить взгляд, чтоб узнать руку Лермонтова. Обе мы, в разное время, столько перевидали в Москве лоскутков бумажек с его стихотворными опытами. Мне давала их на прочтение не Александра В[ерещагина], а другая его кузина, Полина В., с которою мы брали танцевальные уроки у Иогеля, в доме ее матери (Екат. Арк. Столыпиной), где я и познакомилась с Лермонтовым, тогда еще московским студентом. Недавние заметки на страницах «L'Atelier d'un Peintre», роман, *подаренный мною* Ек[атерине] Ал[ександровне] в ее именины, снова ознакомили нас с мало изменившимся почерком поэта.

В один миг Екатерина Александровна придавила мне ногу: «Молчи!» дескать. *Я ничего не сказала.*

Длинное, французское, безыменное письмо, руки Лермонтова*, но от лица благородной девушки,* обольщенной, обесчещенной и после жестоко покинутой безжалостным сокрушителем счастия дев, было исполнено нежнейших предостережений и самоотверженного желания предотвратить другую несчастливицу от обаяния бездны, в которую была низвергнута горемычная она. «Я подкараулила, я видела вас, — писала сердобольная падшая барышня в ментике и доломане, — вы прелестны, вы пышете чувством, доверчивостью… и горькие сожаления наполнили мою душу. Увы! и я некогда была чиста и невинна, подобно вам, и я любила, и я мечтала, что любима, но этот коварный, этот змей…» И так далее, на четырех страницах, которые очерняли кого-то, не называя его.

Место злодейских действий происходило в Курской губернии. По-видимому, не то чтобы вчера, ибо «юная дева» успела «под вечер осени ненастной перейти пустынные места»; все раны ее уже закрылись, как вдруг, находясь ненароком в столице, она услышала, что нож занесен на другую жертву, и — вот бросается спасать ее. Само собою разумеется, что пред посылкой письма Лермонтов на одном или двух последних вечерах был мрачен,

рассеян, говорил об угрызениях, о внезапном видении на улице… «Дашенька… Курск…» Когда сестра в первых попыхах той ночи сообщила мне это предисловие, — несмотря на почерк Лермонтова, в котором нам невозможно было сомневаться, — мы едва ли не поверили и существованию Дашеньки, и тому, что сидевший в школе двадцатилетний подпрапорщик натворил столько бед в Курске. Ручаюсь, по крайней мере, за мое легковерие.

*[Ладыженская. «Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 651–654]*

Вот содержание письма, которое никогда мне не было возвращено, но которое огненными словами запечатлелось в моей памяти и в моем сердце:

«Милостивая государыня, Екатерина Александровна!

Позвольте человеку, глубоко вам сочувствующему, уважающему вас и умеющему ценить ваше сердце и благородство, предупредить вас, что вы стоите на краю пропасти, что любовь ваша к *нему* (известная всему Петербургу, кроме родных ваших) погубит вас. Вы и теперь уже много потеряли во мнении света оттого, что не умеете и даже не хотите скрывать вашей страсти к *нему*.

Поверьте, *он* недостоин вас. Для *него* нет ничего святого, *он* никого не любит. *Его* господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия.

Я знал *его* прежде, чем вы, *он* был тогда и моложе и неопытнее, что, однако же, не помешало *ему* погубить девушку, во всем равную вам и по уму и по красоте. *Он* увез ее от семейства и, натешившись ею, бросил.

Опомнитесь, придите в себя, уверьтесь, что и вас ожидает такая же участь. На вас вчуже жаль смотреть. О, зачем, зачем вы *его* так полюбили? Зачем принесли *ему* в жертву сердце, преданное вам и достойное вас.

Одно участие побудило меня писать к вам; авось еще не поздно! Я ничего не имею против *него*, кроме презрения, которое он вполне заслуживает. *Он* не женится на вас, поверьте мне; покажите *ему* это письмо, он прикинется невинным, обиженным, забросает вас страстными уверениями потом объявит вам, что бабушка не дает ему согласия на брак; в заключение прочтет вам длинную проповедь или просто признается, что он притворялся, да еще посмеется над вами и — это лучший исход, которого вы можете надеяться и которого от души желает вам:

Вам неизвестный, но преданный вам друг NN».[193]

Какое волнение произвело это письмо на весь семейный конгресс и как оно убило меня! Но никто из родных и не

подозревал, что дело шло о Лермонтове и о Л[опу]хине; они судили, рядили, но, не догадываясь, стали допрашивать меня. Тут я ожила и стала утверждать, что не понимаю, о ком шла речь в письме, что, вероятно, его написал из мести какой-нибудь отверженный поклонник, чтоб навлечь мне неприятность. Может быть, все это и сошло бы мне с рук; родным мысль моя показалась правдоподобной, если бы сестра моя, Лиза, не сочла нужным сказать им, что в письме намекалось на Лермонтова, которого я люблю, и на Л[опу]хина, за которого не пошла замуж по совету и по воле Мишеля.

Я не могу вспомнить, что я выстрадала от этого неожиданного заявления, тем более что Лиза знала многие мои разговоры с Мишелем и сама старалась воспламенить меня, отдавая предпочтение Мишелю над Л[опу]хиным.

…Открыли мой стол, перешарили все в моей шкатулке, перелистали все мои книги и тетради; конечно, ничего не нашли, мои действия, мои мысли, моя любовь были так чисты, что если я во время этого обыска и краснела, то только от негодования, от стыда за их поступки и их подозрения. Они поочередно допрашивали всех лакеев, всех девушек, не была ли я в переписке с Лермонтовым, не целовалась ли с ним, не имела ли я с ним тайного свидания?

Что за адское чувство страдать от напраслины, а главное, выслушивать, как обвиняют боготворимого человека! Удивительно, как в ту ночь я не выплакала все сердце и осталась в своем уме.

*[Сушкова, стр. 203–206]*

Утром дело усложнилось. Я уже сказала: чувство чести сильно развито в нашем семействе, и тетеньке было очень жутко при мысли, что безыменное письмо — как оно ни благонамеренно — заподозривает, однако, ее приемную дочь в возможности увлечения. Муж ее, встав ранее обыкновенного, разведал от людей, что письмо было принесено даже не почталионом, а — кем бы вы думали? — хозяином… мелочной лавочки… лежащей наискосок!!! Дворецкого отрядили к нему за справками: — Кто дал тебе вчера письмо? — Остановились сани в одну лошадь, кучер дал ему конверт, сказав: «Отнеси-ка, брат, на генеральскую квартиру, да скажи, чтоб отдали старшей барышне». Лавочник-то и поусердствовал, опрометью бросился на генеральскую квартиру, в первый раз ступил в нее ногой, да так и брякнул — devant les domestiques!!! — Это-с для старшей барышни…

Вы только представьте себе весь ужас нашего положения. Ослава сделана: лавочник! люди! Остается предотвратить гибель.

Кто же этот неотразимый соблазнитель? Когда начались допросы, Ек[атерина] Ал[ександровна] не запнулась назвать того, «кто ум и сердце волновал» *мои*. Но мои *бурные чувства* не укрылись от родных, и они единогласно сказали: «Нет, нет, это по части Лизы». Дядя Н. В. Сушков своею решительностью и проницательностью добрался до истины; он потребовал сестрины бумаги: почерк стихотворений 1830 года, и на романе г-жи Деборд Вальмор, и на вчерашнем письме оказался один и тот же. Все трое судей сильно вознегодовали на мальчика, осмелившегося так потешаться над девушкой, и переслать ей подобное письмо.

*[Е. А. Ладыженская, «Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 654–655]*

Я была отвержена всем семейством;[194] со мной не говорили, на меня не смотрели (хотя и зорко караулили), мне даже не позволяли обедать за общим столом, как будто мое присутствие могло осквернить и замарать их! А Бог видел, кто из нас был чище и правее.

Моей единственной отрадой была мысль о любви Мишеля, она поддерживала меня; но как ему дать знать все, что я терплю и как страдаю из любви к нему? Я знала, что он два раза заезжал к нам, но ему отказывали.

*[Сушкова, стр. 206]*

Дня через три после анонимного письма и моей опалы Мишель опять приехал, его не велели принимать; он настаивал, шумел в лакейской, говорил, что не уедет, не повидавшись со мной, и велел доложить об этом. Марья Васильевна, не отличавшаяся храбростью, побаивалась Лермонтова, не решалась выйти к нему и упросила свою невестку А. С. Су[шко]ву принять его. Она не соглашалась выйти к нему без меня, за что я ей несказанно была благодарна. Марья Васильевна ухитрилась надеть на меня шубу, как несомненное доказательство тому, что мы едем в театр, и потому только отказывала ему, чем она ясно доказала Мишелю, что боится не принимать его и прибегает к пошлым обманам. Я в слезах, но с восторгом выскочила к Мишелю; добрая А. С. учтиво извинилась перед ним и дала нам свободу поговорить. На все его расспросы я твердила ему бессвязно: «Анонимное письмо… меня мучат… нас разлучают… мы не едем в театр… я все та же и никогда не изменюсь».

— Как нам видеться? — спросил он.

— На балах, когда выйду из домашнего ареста.

Тут он опять обратился к А. С. и просил передать родным, что

приезжал объясниться с ними обо мне и не понимает, почему они не хотят его видеть, намерения его благородны и обдуманы. И он уехал. В последний раз был он в нашем доме.

Тут началась для меня самая грустная, самая пустая жизнь; мне некого было ждать, не приедет он больше к нам; надежда на будущее становилась все бледнее и неяснее. Мне казалось невероятным и невозможным жить и не видеть его, и давно ли еще мы так часто бывали вместе, просиживали вдвоем длинные вечера; уедет, бывало, и мне останется отрадой припоминать всякое движение его руки, значение улыбки, выражение глаз, повторять всякое его слово, обдумывать его. Провожу, бывало, его и с нетерпением возвращаюсь в комнату, сажусь на то место, на котором он сидел, с упоением допиваю неоконченную им чашку чая, перецелую все, что он держал в руках своих, — и все это я делала с каким-то благоговением.

Долго я не могла понять этой жестокой разлуки; самую смерть его, мне казалось, я перенесла бы с большей покорностью, тут было бы предопределение Божие, но эта разлука, наложенная ненавистными людьми, была мне невыносима, и я роптала на них, даже проклинала их.

Как выдержит он это испытание? — беспрестанно спрашивала я себя. — Устоит ли его постоянство? Преодолеет ли он все препятствия? Что будет со мной, если деспотическое тиранство моих гонителей согласуется с его тайным желанием отвязаться от моей пылкой и ревнивой страсти? Любит ли еще он меня? — вскрикивала я с отчаянием и не знала, что отвечать на все эти вопросы… Иногда я доходила до помешательства: я чувствовала, как мысли мои путались, сталкивались; я тогда много писала и не находила слов для выражения моих мыслей; по четверти часа я задумывалась, чтоб припомнить самые обыкновенные слова. Иногда мне приходило в голову, что жизнь моя может вдруг пресечься, и я обдумывала средство жить без самой жизни.

Да, страшное было то время для меня, но оно прошло, как и все проходит, не оставив следа ни на лице моем, ни на окружающих предметах; но бедное мое сердце! Однако же и в самые эти дни испытания и пытки душевной я нашла истинное утешение, я приобрела верных и надежных друзей: А. С.[195] показывала мне большое участие, хотя и не знала всей грустной драмы моей жизни, а только ободряла и утешала меня, видя недоброе расположение ко мне Марьи Васильевны. Cousin мой, Долгорукий, с грустью тоже смотрел на меня и даже вызвался доставить письмо Мишелю, и я всегда ему буду благодарна за этот добрый порыв, но я не воспользовалась его предложением; моим первым желанием было жить и действовать так, чтобы не

заслужить ни малейшего обвинения, а сердце никто не может упрекнуть, к кому бы оно ни привязалось: любить свято, глубоко, не краснеть за свою любовь, хранить воспоминание этого чувства ясным, светлым, это еще хороший удел и дан немногим.

Горничная моя, Танюша, тоже в эти дни гонения очень привязалась ко мне, она считала себя кругом виноватою передо мной: во время обыска в моих вещах родные так напугали ее обещанием наказания, если она что-нибудь утаит, что она принесла им роман: «L'Atelier d'un Peintre», божась, что больше никогда ничего не видала от Михаила Юрьевича в моих руках, как эти книжки, исписанные на полях его примечаниями, и прибавила, что я их беспрестанно перечитываю и целую. Как после она горько плакала со мной, раскаивалась, что выдала им книжки: «Хоть бы их-то вы теперь читали, — говорила она, — настращали меня, я испугалась, отдала их, думала, что и вас оставят в покое; так уж я им клялась, что больше ничего не было у вас от Михаила Юрьевича».

Мне кажется, что это одно показание Танюши могло бы их убедить, как невинна была моя любовь. Нет, подозрение и караул продолжались.

Они стерли резинкой все его заметки в книжках, но некоторые я еще помню. Там, где говорилось о любви, он подписал:

> Aimer plus que l'on est aimé — Malheur!
> Aimer moins que l'on est aimé — Dégoût!
> Choisir!!![196]

Я подписала внизу: «Mon Dieu, comment donc Vous aimer? Vous ne serez content d'aucun amour. On peut cependant aimer autant que l'on est aimé».[197]

Потом что-то говорилось о мертвой голове: он подчеркнул и написал: «Une tête de mort — la seule qui ne ment pas!».[198]

«Les yeux remplis d'étoiles», — он опять подписал: «Comme les vôtres — je profiterai de cette comparaison».[199]

*[Сушкова, стр. 206–210]*

Через два-три дня мы были, как обыкновенно по пятницам, у Л[онгиновых?]. Считаясь в родстве, Лермонтов постоянно бывал у них. Екатерине Александровне внушили изъявить презрение дерзкому шалуну, танцовать же с ним положительно запретили. Она была заметно расстроена и все искала случая перемолвиться с Лермонтовым, державшим себя как ни в чем не бывало. Он и поклонился развязно и подсел к ней с величайшею

непринужденностью; но дядя Н. В. Сушков, не скрывая строгого неодобрения в лице и в глазах, с явно пренебрежительным видом, то отводил его от племянницы, то не допускал к ней приблизиться. Лермонтову не возбранялся этим путь к честному прямому объяснению честных намерений, если б они у него были, а только доказывалось ему, что Екатерина Александровна не беззащитна, что настал час прекратить затеянную над ней игру, не то шутка может кончиться совсем не шуткой. Такое заверение выразил ему дядя и изустно, сделав ему честь с минуту пройтись с ним где-то по зале и побеседовать о нравственном выводе модного ли романа или театральной пиесы. Впрочем, поэт с первого вечера уже прикинулся обиженным; потом пробовал холодно изумленными, вопросительными взглядами или мимолетными колкостями вымещать на Екатерине Александровне *непостижимое* обращение ее дяди. Но так как этот не изменял ни своего выражения вызывающей насмешливости во всей осанке, ни строгой бдительности за манерами гусара, через неделю с небольшим Михаил Юрьевич почти перестал и кланяться сестре. Внезапный, даже неприличный его налет на наш дом, в 7 часу вечера, вслед за тою первою пятницей, заставил наших покровителей отдать приказание отказывать ему во всякое время дня, и наши слуги отлично выполнили возложенное поручение. Два-три откровенных *«Вас не приказано принимать»* окончательно вразумили г. Лермонтова, что автор анонимного письма узнан и оценен по заслугам. С наступлением великого поста он чуть ли не совсем исчез с нашего горизонта.

*[Ладыженская. «Русский Вестник», 1872 г., т. 2, стр. 655–656]*

На той же неделе меня повезли на вечер к Л[онгиновым], и там я в первый раз встретилась с Мишелем, после отказа ему от нашего дома. Хотя я наперед знала, что непременно увижу его там, и заранее старалась приготовиться к этому счастию, но, войдя в комнату, так смутилась, увидя его после двухнедельной разлуки, что вся задрожала, у меня потемнело в глазах, я чуть не упала. Марья Васильевна ущипнула меня, сказав, что сейчас увезет меня, если я намерена разыгрывать комедию; эта угроза всего более подействовала на меня, обдав меня холодом действительной жизни, и я оправилась. Мазурку мне запрещено было танцевать с Лермонтовым, но мы уселись рядом и могли говорить, сколько душе было угодно. Он мне сказал, что все происшедшее не удивляет его, что он давно предугадывал, что ему повредят во мнении моих родных, но что теперь ему все равно, потому что мое-то мнение о нем осталось непоколебимым. Вероятно, любовь моя была так искренна, что не могла укрыться

под личиной светского равнодушия и тем возбудила почти общее сочувствие; все знакомые, как бы сговорясь, охраняли ее и прикрывали от зорких глаз Марьи Васильевны. Она на вечерах всегда играла в карты; тогда мы танцовали вместе или уходили говорить в другую комнату, но когда она кончала свою партию, многие прибегали объявить мне об этом и толпой сопровождали меня в залу.

Таким образом я прозябала от вечера до вечера и считала жизнию только те минуты, в которые видала Мишеля. Он старался поддержать во мне надежду, обдумывая средство войти опять в наш дом, но больше уговаривал о побеге, о тайном браке. Я восставала против этой мысли, говоря, что у меня достанет твердости объявить родным, что и без их согласия я выйду за него; эти споры все более и более разрушали мою надежду в счастие и терзали мое сердце.

Потом я видела его реже. На страстной неделе я говела; всю душу свою излила я перед почтенным духовником своим, Петром Борисовичем Вигилянским. Он одобрил мой отказ бежать с Лермонтовым, старался доказать мне, что он меня не искренно любит, и советовал выйти за кого другого, которого я бы могла уважать, и тогда, сказал он: «Строгое исполнение ваших обязанностей, забота о счастии человека, вверившего вам свое имя, мало-помалу заглушат вашу любовь, а душевное спокойствие и сознание, что вы свято исполнили обязанности жены и матери, заменят счастие».

*[Сушкова, стр. 212–213]*

Я с особенной радостью и живейшим нетерпением собиралась в следующую среду на бал; так давно не видалась я с Мишелем, и, вопреки всех и вся, решила в уме своем танцевать с ним мазурку.

Приезжаем на бал — его еще там не было…

… Я танцевала, когда Мишель приехал; как стукнуло мне в сердце, когда он прошел мимо меня и… не заметил меня! Я не хотела верить своим глазам и подумала, что он действительно проглядел меня. Кончив танцевать, я села на самое видное место и стала пожирать его глазами, он и не смотрит в мою сторону; глаза наши встретились, я улыбнулась, — он отворотился. Что было со мной, я не знаю и не могу передать всей горечи моих ощущений; голова пошла кругом, сердце замерло, в ушах зашумело, я предчувствовала что-то недоброе, я готова была заплакать, но толпа окружала меня, музыка гремела, зала блистала огнем, нарядами, все казались веселыми, счастливыми… Вот тут-то в первый раз поняла я, как тяжело притворяться и стараться сохранить беспечно-равнодушный вид;

однако же это мне удалось, но, Боже мой, чего мне стоило это притворство! Не всех я успела обмануть; я на несколько минут ушла в уборную, чтоб там свободно вздохнуть; за мной последовали мои милые бальные приятельницы, Лиза Б. и Сашенька Ж.

— Что с тобой? Что с вами обоими сделалось? — приставали они ко мне.

— Не знаю, — отвечала я и зарыдала перед ними.

— Я улажу все дело, — сказала Сашенька.

— И я буду о том же стараться, — подхватила Лиза.

И в самом деле, в мазурке они беспрестанно подводили ко мне Мишеля. Особливо ценила я эту жертву со стороны Лизы. Она сама страстно любила Лермонтова, однако же уступала мне свою очередь протанцевать с ним, не принимала передо мною торжествующего вида, но сочувствовала моему отчаянию и просила прощения за то, что в этот вечер он за ней ухаживал более, чем за другими, — она поневоле сделалась моей соперницей.

Зато теперь, когда бедная Лиза сгубила себя для него, потеряна для родных и для света, как бы я была счастлива, если бы мне привелось случайно ее встретить, пожать ей руку, показать ей мое живейшее участие не в одном разочаровании, но в истинном бедствии. Бедная Лиза! Не было у нее довольно силы характера, чтобы противостоять ему, — и она погибла.[200]

Когда в фигуре названий Лермонтов подошел ко мне с двумя товарищами и, зло улыбаясь и холодно смотря на меня, сказал: «Hainé, mepris et vengeance»,[201] — я, конечно, выбрала vengeance, как благороднейшее из этих ужасных чувств.

— Вы несправедливы и жестоки, — сказала я ему.

— Я теперь такой же, как был всегда.

— Неужели вы всегда меня ненавидели, презирали? За что вам мстить мне?

— Вы ошибаетесь, я не переменился, да и к чему было меняться, напыщенные роли тяжелы и не под силу мне; я действовал откровенно, но вы так охраняемы родными, так недоступны, так изучили теорию любить с *их дозволения,* что мне нечего делать, когда меня не принимают.

— Неужели вы сомневаетесь в моей любви?

— Благодарю за такую любовь!

Он довел меня до места и, кланяясь, шепнул мне:

— Но лишний пленник вам дороже!

В мою очередь я подвела ему двух дам и сказала: «Pardon, dévouement, résignation».[202]

Он выбрал resignation, т. е. меня, и, язвительно улыбаясь,

сказал:

— Как скоро вы покоряетесь судьбе, вы будете очень счастливы!

— Мишель, не мучьте меня, скажите прямо, за что вы сердитесь?

— Имею ли я право сердиться на вас? Я доволен всем и всеми и даже благодарен вам; за все благодарен.

Он уже больше не говорил со мной в этот вечер. Я не могу дать и малейшего понятия о тогдашних моих страданиях; в один миг я утратила все и утратила так неожиданно, так незаслуженно! Он знал, как глубоко, как горячо я его любила; к чему же мучить меня недоверием, упрекать в кокетстве? Не по его ли советам я действовала, поссорясь с Л[опу]хиным? С той самой минуты, как сердце мое отдалось Мишелю, я жила им одним или воспоминанием о нем, все вокруг меня сияло в его присутствии и меркло без него.

В эту грустную ночь я не могла ни на минуту сомкнуть глаз. Я истощила все средства, чтоб найти причины его перемены, его раздражительности, — и не находила.

«Уж не испытание ли это? — мелькнуло у меня в голове, и благодатная эта мысль несколько успокоила меня. — Пускай испытывает меня, сколько хочет, — сказала я себе, — не боюсь; при первом же свидании я расскажу ему, как я страдала, как терзалась, но скоро отгадала его злое намерение испытания и что ни холодность его, ни даже дерзость его не могли ни на минуту изменить моих чувств к нему».

Как я переродилась; куда девалась моя гордость, моя самоуверенность, моя насмешливость! Я готова была стать перед ним на колени, лишь бы он ласково взглянул на меня!

Долго ждала я желаемой встречи и дождалась, но он все не глядел и не смотрел на меня, — не было возможности заговорить с ним. Так прошло несколько скучных вечеров, наконец, выпал удобный случай, и я спросила его:

— Ради Бога, разрешите мое сомнение, скажите, за что вы сердитесь? Я готова просить у вас прощения, но выносить эту пытку и не знать за что, — это невыносимо. Отвечайте, успокойте меня!

— Я ничего не имею против вас; что прошло, того не воротишь, да я ничего уж и не требую, словом, я вас больше не люблю, да, кажется, и никогда не любил.

— Вы жестоки, Михаил Юрьевич; отнимайте у меня настоящее и будущее, но прошедшее мое, оно одно мне осталось, и никому не удастся отнять у меня *воспоминание*: оно моя собственность, — я дорого заплатила за него.

Мы холодно расстались… И вот я опять вступила в грустную, одинокую жизнь, более грустную и холодную, чем была она прежде, — тогда я еще надеялась, жаждала любви а тут уж и надежды не было, и любовь моя, схороненная в глубине сердца, мучила и терзала меня. Всё мне надоело, все, окружающие меня сделались мне несносны, противны, я рада была скорому отъезду в деревню…

*[Сушкова, стр. 214–218]*

Чем больше люблю кого-нибудь и думаю о нем, тем труднее припоминаю его образ. О *его* образе и говорить нечего! Помню только выражение глаз и всегда чувствую пожатие руки, когда в первый раз сказал он мне: «Я люблю вас». Но этот милый взгляд, но эта добрая улыбка сливается в памяти моей с той холодной, жестокой, едкой улыбкой, с которой он сказал мне, низко кланяясь: «Вы преувеличивали любовь мою, да я этого и хотел; не я же вас обманывал, а вы сами преувеличивали мои чувства к себе».

*[Сушкова, стр. 57–58]*

Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещать общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность. Мне случалось слышать признания нескольких из его жертв, и я не могла удерживаться от смеха, даже прямо в лицо, при виде слез моих подруг, не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками, которые он давал своим злодейским донжуанским подвигам. Помню один раз, он, забавы ради, решился заместить богатого жениха,[203] и когда все считали уже Лермонтова готовым занять его место, родные невесты вдруг получили анонимное письмо, в котором их уговаривали изгнать Лермонтова из своего дома и в котором описывались всякие о нем ужасы. Это письмо написал он сам и затем уже более в этот дом не являлся.

*[Перевод из французского письма Е. Л. Ростопчиной к Ал. Дюма. «Le Caucase Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», II, Leipzig, 1859, p. 255]*

[Петербург. 1835]

Дорогая кузина![204]

Я решил уплатить вам долг, который вы имели любезность с меня не требовать, и потому надеюсь, что это великодушие с моей стороны тронет ваше сердце, с некоторого времени ставшее таким жестоким ко мне. В благодарность за это я прошу лишь несколько капель чернил и две или три черточки пера, которые бы известили меня, что я еще не совершенно изгнан из вашей памяти. Иначе мне придется искать утешения у других (ибо и здесь у меня есть кузины), а наименее любящая женщина (это известно) не очень-то любит, чтобы искали утешений вдали от нее. Затем, если вы будете еще упорствовать в своем молчании, я могу вскоре прибыть в Москву — и тогда мщение мое не будет иметь границ. На войне, вы знаете, щадят сдавшийся гарнизон, но город, взятый приступом, без сожаления предается ярости победителей.

После этой гусарской бравады я припадаю к вашим ногам, чтобы испросить себе прощение, в ожидании, что вы мне его дадите.

Окончив прелиминарии, я начинаю рассказ о том, что со мною случилось за это время, как делают это при свидании после долгой разлуки.

Алексис мог рассказать вам кое-что о моем житье-бытье, но ничего интересного, если не считать начала моих амуреток с m-lle Сушковою, конец коих несравненно интереснее и забавнее. Если я начал за нею ухаживать, то это не было отблеском прошлого. Вначале это было просто развлечением, а затем, когда мы поладили, стало расчетом. Вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: хорошее состояние, имя, титул, связи… Я увидал, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Я понял, что m-lle S., желая изловить меня (техническое выражение), легко себя скомпрометирует со мною. Вот я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя.[205] Я публично обращался с нею, как если бы она была мне близка, давал ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня. Когда я заметил, что мне это удалось, но что один дальнейший шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего на глазах света я стал более холодным к ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда). Когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я первый публично ее покинул. Я стал жесток и дерзок, стал ухаживать за другими и под секретом рассказывал им

выгодную для меня сторону истории. *Она* так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, что подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась и друзьям, и недругам уязвленною любовью. Далее она попыталась вновь завлечь меня напускною печалью, рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня; я не вернулся к ней, а искусно всем этим воспользовался…

Не могу сказать вам, как все это пригодилось мне; это было бы слишком долго и притом это касается людей, которых вы не знаете. Но вот смешная сторона истории. Когда я увидал, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел прелестное средство — написал анонимное письмо*: «M-lle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный… и т. д., я вас предупреждаю, берегитесь этого молодого человека М. Л. Он вас погубит* и т. д. *Вот доказательства* (разный вздор) и т. д.*»*. Письмо на четырех страницах… Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки. В доме — гром и молния… На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть принятым. Вечером на балу я выражаю свое удивление Екатерине Александровне. Она сообщает мне страшную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения, я все отношу на счет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что родные запрещают ей говорить и танцевать со мною; я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетушек. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение! Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы делаем другой женщине (*сентенция* Ларошфуко).[206] Теперь я не пишу романов, я их делаю.

Итак, вы видите, я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило проливать 5 лет тому назад кокетство m-lle S. О, мы еще не расквитались. Она мучила сердце ребенка, а я только подверг пытке самолюбие старой кокетки, а может быть, и больше чем кокетки… но во всяком случае я в выигрыше: она мне сослужила службу. О, я ведь очень изменился! Я не знаю, как это происходит, но только каждый день дает новый оттенок моему характеру и взглядам — это и должно было случиться, я это знал… но я не ожидал, что это будет так скоро. О дорогая кузина, надо вам признаться: причиной того, что не писал к вам и m-lle Marie,[207] был страх, что вы по письмам моим заметите, что я почти не достоин более вашей дружбы, ибо от вас обеих я не могу скрывать истину: от вас, наперсниц юношеских моих мечтаний,

таких чудных, особенно в воспоминании. И все-таки, если посмотреть на меня, покажется, что я помолодел года на три, — такой у меня счастливый и беззаботный вид человека, довольного собою и всем миром; не кажется ли вам странным это противоречие между душою и внешним обликом?

Не могу выразить, как меня опечалил отъезд бабушки.[208] Перспектива остаться одиноким в первый раз в жизни меня пугает. Во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы мною интересовалось…

Но довольно говорить о моей скучной особе, побеседуем о вас и о Москве. Мне передавали, что вы очень похорошели, и сказала это г-жа Углицкая, и только в этом случае уверен я, что она не солгала, она слишком женщина для этого. Она говорит также, что жена ее брата прелестна… В этом отношении я ей не вполне доверяю, ибо у ней есть интерес лгать. Что поистине смешно, так это ее желание выказать себя несчастною, чтобы вызвать общее сочувствие, а между тем я уверен, нет в мире женщины, которая была бы менее ее достойна сожаления. В 32 года иметь такой детский характер и воображать, что можешь возбуждать страсти!.. и после этого жаловаться?

Она мне также сообщила, что m-lle Barbe[209] выходит замуж за г. Бахметева. Не знаю, должен ли я верить ей, но, во всяком случае, я желаю m-lle Barbe жить в супружеском согласии до празднования ее серебряной свадьбы и даже долее, если до тех пор она не пресытится.

Теперь вот вам мои новости: Наталья Алексеевна[210] с чады и домочадцы едет в чужие края!!! Ну, и хорошее же она даст там понятие о наших русских дамах!..

Скажите Алексису, что его пассия, m-lle Ладыженская, с каждым днем становится все внушительнее! Я ему тоже советую еще больше пополнеть, чтобы контраст не был столь поразителен. Не знаю: надоедать вам, лучшее ли это средство добиться прощения? Восьмая страница приходит к концу, и я боюсь начать девятую… Итак, дорогая и жестокая кузина, прощайте, и если точно вы возвратили мне свое расположение, дайте мне знать о том письмом от вашего лакея, ибо я не смею рассчитывать на собственноручную вашу записку.

Итак, простите, и имею честь быть тем, что помечаю в конце письма — вашим покорным

*М. Лермонтовым.*

*P.S.* Передайте, пожалуйста, мои поклоны теткам, кузинам, кузенам и знакомым.

*[Перевод с французского письма Лермонтова к А. М. Верещагиной. Акад. изд., т. IV, стр. 321–324]*

Прожив несколько месяцев в Петербурге, часто бывая у своих многочисленных родственников, мать моя[211] ближе всего сошлась с двоюродной сестрою, Кат[ериной] Ал[ександровной] Сушковой.

Во многих ее письмах есть похвалы ей, сожаления о печальной судьбе этой умной, красивой, по-тогдашнему уже не молодой девушки, жизнь которой была разбита неудачною привязанностью к Лермонтову, — человеку, который ею потешался и не затруднился, поиграв, ради особых целей, ее чувствами, равнодушно от нее отвернуться.

*[В. П. Желиховская. «Русская Старина», 1887 г., т. LIII, № 3, стр. 745–746]*

Сначала Катя Сушкова показалась матери моей суетной и слишком светски-пустой девушкой; быть может, мнение это составилось вследствие того, что тетушки ее, из которых одна еще очень молодилась, сами чрезвычайно любили свет и жили открыто. У них была вечная сутолока beau mond'a… В этом хаосе родственных объятий она сначала не могла разобраться, но потом обошлась и повинилась в том, что ошиблась, считая кузину пустой и ветреной девушкой. Та прежде всего уверила ее, что очень несчастна, что отнюдь не по влечению ведет такую суетную жизнь, а из угождения теткам, да отчасти для того, чтоб никто не мог даже подозревать об ее несчастии… Узнав *правду*, в ней увидали бы *жертву*. Это было бы слишком оскорбительно для ее самолюбия!..

*[В. П. Желиховская. «Русская Старина», 1887 г., т. LIII, № 3, стр. 746]*

С Катей я[212] довольно сошлась, она меня полюбила и дала тайную историю своей жизни. Большая тетрадь, а то бы я переписала… Вот участь необыкновенная!.. Редкий в романах случай. Нечего писать о себе, скажу о ней. Четыре года тому она жила в Москве. Там прельстился ею молодой князь, Michel[213] (фамилии не знаю), очень богатый. Но его отец противился их браку как по ее малому состоянию, так и по его молодости: ей было 18 лет, ему — 20 лет. Она не чувствовала к нему ни любви, ни отвращения; но желала выйти за него для его пяти тысяч душ. Но так как он был хорош, умен, то кончилось тем, что и он ей понравился. Она чрезвычайно подружилась с его кузиной Александрой,[214] которая в ней, казалось, души не слышала. Вот, с весной она покидает Москву… Князь Michel клянется ей, что будет столетия ждать, если она обещает ему ту же верность, и они

расстаются.

Не проходит полугода, Александрина пишет ей, что старый князь, отец Мишеля, умер, а сам он просит ее позволения явиться к ней, в Петербург. Катя отвечает согласием, и он приезжает… Первое свидание очень нежно!.. Марья Васильевна (тетка ее) была больна, а потому он сразу не объявляет своих требований…

Вместе с князем приехал его родственник, молодой офицер, лейб-гусар… Его я знаю лично, его зовут — Лермонтов. Умная голова! Поэт, красноречив. Нехорош собою, какое-то азиатское лицо; но южные, пламенные глаза, и ловок как бес!.. Он увивается около Кати, она обходится с ним как с будущим родственником, он бывает часто, ежедневно. Князь бывает реже, и она замечает, что какое-то облако мрачит его душу. Она допрашивает, но он молчит, отговаривается недавней потерей отца…

Так проходит два месяца.

После тяжелой болезни М. В. Беклешова медленно оправляется, князь молчит и с Катей заметно холодней… а Лермонтов окружает ее всеми сетями: грустит, изливает жалобы и в прозе, и в стихах и, наконец, открывает ей, что день ее свадьбы с князем будет его последним днем!..

Она и прежде его предпочитала, но тут ее голова пошла кругом! Она перестала искать причины охлаждения князя, всей душой предалась Лермонтову, и — бедняжка! — как он умел опутать эту невинную душу! Чего не употреблял, чтобы доказать ей, как мало князь достоин ее!.. Как сыпал элегиями и поэмами, — он здесь известный поэт, но по странной прихоти ничего не печатает, — смешил и трогал — успел!.. Она полюбила его со всею страстью первой взаимности.

Князь уехал, не простясь, — она о нем и не тужила.

После его отъезда всю остальную часть зимы Лермонтов был так же страстен. Весна призвала его в лагерь, ее — в деревню. К осени они сошлись: она все та же, он с холодным поклоном вежливости. Она глядела со слезами ему в глаза. Он спрашивал ее о здоровье, бывал у них довольно часто, но о прежнем — ни слова!.. Она терялась в догадках. Мучилась, плакала и решилась спросить о причине его поведения.

Это было на бале. Он отвечал с порывом прежней страсти, что есть причина, по которой он *должен* молчать, но… может ли измениться?!

Она вновь счастлива, но с первым балом он не глядит на нее, берет слово танцовать с ним мазурку, и в начале танца приглашает незнакомую, сидящую подле нее. Не могу описать, как играл он ею, то говоря о любви, то притворяясь холодно ничему не верующим. Наконец, когда она потребовала от него

решительного разрешения загадки, вот что Лермонтов отвечал ей:

«Бог мой, mademoiselle, может быть — я люблю вас, может быть, нет, право, не знаю! И можно ли помнить о всех увлечениях прошедшей зимы? Я влюбляюсь, чтобы убить время, но не рассудок! Поступайте, как я, и будете чувствовать себя хорошо».[215]

Она вздрогнула и посреди тысячи особ слезы ручьем полились из глаз ее, он захохотал…

Месяц не выезжала она, все дяди и тетки вооружились против нее, она выходила только в церковь, которая против их дома, но и там столько плакала, что священник несколько раз подходил спрашивать ее о причине.

В это время тетка ее получает анонимное письмо, образец искусства, будто бы от неизвестного, где Лермонтов описан самыми черными красками, где говорят, что он обольстил одну несчастную, что Катю ожидает та же участь, «потому что он обладает дьявольским искусством очарования, потому что он демон, и его стихия — зло! Зло без всякой личной заинтересованности, зло ради самого зла!..»[216]

Катя узнала в этом письме почерк самого Лермонтова!.. Она смолчала. Но какова была сила любви ее к человеку! так жестоко ею потешавшемуся, можно судить потому, что когда родные ее отказали ему от дома, а ее принудили выезжать, при первой же встрече с ним в свете она не сумела от него отвернуться. Он подошел к ней.

— Dieu, que vous êtes changée! Quel peut être le mal, qui a effacé vos belles couleurs![217]

Он глядел на нее с участием. Искра жизни закралась в ее душу.

— Voulez-vous, — продолжал Лермонтов, — m'accorder la mazurque, j'ai à vous parler![218]

И она все забыла! Она предалась надежде, что, быть может, то было испытание, тяжелый сон, а отныне все пройдет…

Но настала мазурка, с каким волнением села она возле него, а он, после долгих приготовлений, сказал:

— Dites n'êtes vous pas amoureuse, par hasard, de qui donc? est ce de?..[219] — и он начал считать некоторых ее знакомых, с колкими насмешками на ее счет.

Она сидела, молчала, но уже не выезжала более и весной поехала в Москву на свадьбу Ростопчиной.[220] С Александриной, родственницей бывшего жениха своего, князя Мишеля, они там встретились очень дружески. Они всегда были в переписке, так что той был известен весь печальный роман ее; тут же, при личном свидании «с другом», Катя вновь все ей рассказала,

наивно изливая ей все свое сердце… Раз, приехав рано к Александрине, Катя прошла прямо к ней в комнату, пока хозяйки дома были очень заняты в гостиной приемом важной родственницы. На столе была опрокинута открытая шкатулка, с грудой вывалившихся из нее писем… В глаза ей метнулось ее имя в письме, написанном рукой слишком знакомой… Она взяла и прочла:

«Будьте спокойны, милая кузина. Мишель никогда не женится на m-lle Сушковой. Я играл двойную роль, которая удалась мне превосходно.

Кокетство m-lle Сушковой хорошо наказано. Она так очернена в глазах Мишеля, что он к ней чувствует одно презрение; мне же удалось лестью вскружить ей голову и даже внушить ей страсть, которая мне неприятна… Не так-то легко будет мне от нее отделаться! Зато цель наша достигнута, а что касается до m-lle Сушковой, — будь с ней что будет!..».[221]

Тогда только Катя поняла, что бедные родственницы князя, Александрина и мать ее, живя с ним вместе и на его счет, отнюдь не желали, чтоб он женился, да еще на девушке без состояния.[222]

Катя имела власть над собою, и когда Александрина возвратилась, она сказала ей, показывая письмо:

— Ты видишь, я могу обнаружить ваши подлости, я могу завтра же сойтись с князем, объяснить ему ваше поведение, могу восторжествовать над вами! Но я лучше хочу презреть вас и доказать, что есть в мире благородные чувства, о которых вы забыли!

Князь снова ухаживал за ней, но она была с ним холодна.

Этим все кончилось, но не кончилась ее любовь. Она, сознавая вполне все неблагородство поступков Лермонтова, еще любит его. Два года прошло после этой истории, но она не может принудить себя встречаться с ним равнодушно. Он, в редких встречах с нею, говорит с ней, танцует, как ни в чем ни бывало!.. Я видела его несколько раз, и дивилась ей!.. О вкусах, конечно, не спорят, но он по крайней мере правду сказал, что похож на сатану… Точь-в-точь маленький чертенок, с двумя углями вместо глаз, черный, курчавый и вдобавок в красной куртке.

*[Е. А. Ган. Письмо к сестре. «Русская Старина» 1887 г., т. 3, стр. 747–751]*

Такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал

добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже: я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду, — мне не верили: я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние, — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины.

*[Лермонтов. «Княжна Мери». Акад. изд., т. IV, стр. 233–234]*

***БОЖИЕЮ МИЛОСТЬЮ***[223]

***МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ,***

## *ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,*

## *И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ*

Известно и ведомо да будет каждому, что МЫ Михайла Лермантова, который НАМ Юнкером служил, за оказанную его в службе НАШЕЙ ревность и прилежность, в НАШИ Лейб-Гвардии Корнеты тысяща восемьсот тридесять четвертого года Ноября двадесять второго дня Всемилостивейше пожаловали и учредили; якоже МЫ сим жалуем и учреждаем, повелевая всем НАШИМ подданным оного Михаила Лермантова за НАШЕГО Корнета Гвардии надлежащим образом признавать и почитать: и МЫ надеемся, что он в сем ему от НАС Всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму Офицеру надлежит. Во свидетельство чего МЫ сие Военному Министерству подписать и Государственною НАШЕЮ печатаю укрепить повелели. Дан в Санктпетербурге лета 1836 Августа 1 дня.

Военный Министр *Граф Чернышев*.
Дежурный Генерал Главного Штаба
Его Императорского Величества Генерал Адъютант
[*подпись*].
Исправляющий должность Вице-Директора
[*подпись*].
В Инспекторском Департаменте
Военного Министерства записан под № 499.
При запечатании в Министерстве
Иностранных дел под № 19669

Федорово18 августа [1835]
Дорогой кузен!

Только перечтя в третий раз ваше письмо и уверившись, что я не во сне, взялась я за перо, чтобы вам писать. Это не потому, что мне трудно поверить в вашу способность совершить великий и прекрасный поступок, но написать три раза, не получив по крайней мере трех ответов, знаете ли вы, что это чудо великодушия, жест величия, жест, заставляющий бледнеть от волнения. Дорогой Мишель, я спокойна за ваше будущее — вы будете великим человеком.

Я хотела вооружиться всеми моими силами, чувствами и волей, чтобы серьезно на вас рассердиться. Я не хотела вам больше писать и доказать, таким образом, что мои письма не

нуждаются в стекле и рамке, если получение их доставляет удовольствие. — Но довольно об этом: вы раскаялись — я складываю оружие и соглашаюсь все забыть. Вы — офицер, примите мои поздравления. Это для меня тем большая радость, что она была неожиданной, потому что (я говорю это вам одному) я скорее ожидала, что вы будете солдатом. Вы сами согласитесь, что у меня были основания бояться; если вы стали в два раза более благоразумным, чем были, то все же еще не вышли из ряда сорвиголов. Во всяком случае это шаг вперед, и я надеюсь, что вы не повернете назад.

Представляю себе радость бабушки, мне не нужно говорить вам, что я разделяю ее от всего сердца. Я не сравниваю мое расположение с бездонной пропастью, тем скорее вы мне поверите. Я не сильна в сравнениях и не люблю сокровенное обращать в смешную сторону, — предоставляю это другим. Когда приедете вы в Москву?

. . . . .

Что касается числа моих поклонников, предоставляю вам его угадать, а так как ваши предположения всегда дерзки, я слышу, как вы говорите, что их нет совсем.

. . . . .

Кстати, о вашем идеале. Вы мне ничего не говорите о ваших сочинениях. Надеюсь, что вы продолжаете писать, я думаю, что у вас есть друзья, которые их читают и умеют лучше судить, но я уверена, что вы не найдете таких, которые бы их читали с бóльшим удовольствием. Надеюсь, что после такого поощрения вы мне напишите четверостишие ко дню моего рождения. Что касается вашего рисования, говорят, что вы делаете поразительные успехи, и я этому верю. Пожалуйста, Мишель, не забрасывайте этот талант; картина, которую вы прислали Алексису, очаровательна. А ваша музыка? По-прежнему ли вы играете увертюру «Немой из Портичи»,[224] поете ли дуэт Семирамиды, полагаясь на свою удивительную память, поете ли вы его как раньше, во весь голос и до потери дыхания?..

. . . . .

Мы переезжаем 15 сентября. Адресуйте ваши письма на дом Гедеонова, возле Кремлевского сада. Пожалуйста, пишите поскорей, теперь у вас больше свободного времени, если вы не теряете его на рассматривание себя в зеркале; не делайте этого, потому что кончится тем, что ваша офицерская форма наскучит вам, как и все, что вы видите слишком часто, — это у вас в характере.

Если б мне не хотелось спать, я бы с вами обо всем поговорила, но не могу. Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое

почтение бабушке. Целую вас от всего сердца.

Александра В[ерещагина].

*[Перевод с французского письма А. Верещагиной к Лермонтову. Сушкова, стр. 365–367]*

Я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «Вот новость — прочти», — и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 738–739]*

[Еще] в Юнкерской школе он [Лермонтов] написал стихотворную повесть [1833 г. ] «Хаджи Абрек». Осенью 1834 года его родственник и товарищ, тоже наш юнкер, Н. Д. Юрьев, тайком от Лермонтова, отнес эту повесть к Смирдину,[225] в журнал «Библиотека для Чтения», где она и была помещена в следующем 1835 году. Это, если не ошибаюсь, было первое появившееся в печати стихотворение Лермонтова, по крайней мере с подписью его имени.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 301]*

С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе, Николай Дмитриевич Юрьев, который, после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи, передал, тихонько от него, поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро, появилась напечатанною в «Библиотеке для Чтения».[226] Лермонтов был взбешен, по счастью поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 738]*

В это время, т. е. до 1837 года, Лермонтов написал «Казначейшу», «Песню о царе Иоанне и купце Калашникове», начал роман в прозе без заглавия и драму в прозе «Два брата», переделал «Демона», набросал несколько сцен драмы «Арбенин» (впоследствии названной «Маскарад») и несколько мелких стихотворений, все это читалось дома, между короткими.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 738]*

Пришло ему на мысль написать комедию, вроде «Горе от ума»,[227] резкую критику на современные нравы, хотя и далеко

не в уровень с бессмертным творением Грибоедова. Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура III Отделения не могла ее пропустить. Автор с негодованием прибежал ко мне и просил убедить начальника сего Отделения, моего двоюродного брата Мордвинова, быть снисходительным к его творению; но Мордвинов оставался неумолим; даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом.

*[А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871 г., стр. 22]*

У Никиты Васильевича,[228] большого хлебосола и весельчака, всеми любимого, собирались еженедельно по воскресеньям на обед и на вечер многочисленные родные, и там часто видал я Лермонтова, сперва в полуфраке, а потом юнкером. В 1836 году, на святой неделе, я был отпущен в Петербург из Царскосельского лицея, и, разумеется, на второй или третий день праздника я обедал у дедушки Никиты Васильевича (так его все родные называли). Тут обедал и Лермонтов, уже гусарский офицер, с которым я часто видался и в Царском Селе, где стоял его полк. Когда Лермонтов приезжал в Петербург, то занимал в то время комнаты в нижнем этаже обширного дома, принадлежавшего Никите Васильевичу (в Коломне, за Никольским мостом). После обеда Лермонтов позвал меня к себе вниз, угостил запрещенным тогда плодом — трубкой, сел за фортепиано и пел презабавные русские и французские куплеты (он был живописец и немного музыкант). Как-то я подошел к окну и увидел на нем тетрадь in-folio и очень толстую; на заглавном листе крупными буквами было написано: «Маскарад, драма». Я взял ее и спросил у Лермонтова: его ли это сочинения? Он обернулся и сказал: «Оставь, оставь; это секрет». Но потом подошел, взял рукопись и сказал улыбаясь: «Впрочем, я тебе прочту что-нибудь; это сочинение одного молодого человека», и действительно прочел мне несколько стихов, но каких, этого за давностью лет вспомнить не могу.

*[М. Н. Лонгинов. Сочинения, 1915 г., т. I, стр. 292–293]*

Милой любезный друг Мишынька.[229] Конечно мне грустно что долго тебя не увижу, но видя из письма твоего привязанность твою ко мне я плакала от благодарности к Богу после двадьцати пяти лет страданий любовию своею и хорошим поведением ты заживляешь раны моего сердца. Что делать богу так угодно но Бог умелосердится надо мной тебя отпустят,[230] меня беспокоит что ты без денег я с десятого сентября всякой час тебя ждала, 12

октября получила письмо твое что тебя не отпускают целую неделю надо был почти ждать посылаю теперь тебе мой милой друг тысячу четыреста рублей ассигнациями да писала к брату афанасью[231] чтоб он тебе послал две тысячы рублей, надеюсь не милость божию что нонишний год порядочный доход получим но теперь еще ни каких цен нет на хлеб а задаром жалко продать хлеб невеска Марья Александровна была у меня и сама предложила написать к афанасью и ты верно через неделю получишь от него две тысячы, еще мы теперь не устроились Я в Москве была нездорова от того долго там и прожила долго ехала слаба еще была и домой приехала 25 Июля, а в сентябре ждала тебя моего друга и до смерти мне грустно что ты нуждаешься в денгах я к тебе буду посылать всякие три месяца по две тысячы по пятьсот рублей а всякой месяц хуже слишком по малу а может иной месяц мундир надо сшить, я долго к тебе не писала мой друг всякой час ждала тебя но не беспокойся обо мне я здорова, береги свое здоровье мой милой, ты здоров, весел, хорошо себя ведешь, и я щастлива и истинно мой друг забываю все горести и со слезами благодарю бога что он на старости послал в тебе мне утешения, лошадей тройку тебе купила и говорят как птицы летят, они одной породи с буланой и цвет одинакой только черный ремень на спине и черные гривы забыла как их называют дамашних лошадей шесть выбирай любых, пара темно гнедых пара светло гнедых и пара серых, но здесь никто неумеет выезжать лошадей у матюшки силы нет никанорка объезжает купленных лошадей но я боюсь что нехорошо их приездит лучше думаю тебе и митку кучера взять. Можно до Москвы в седейки его отправить дни за четыре до твоего отъезда ежели ты своих вятских продажь и сундучок с мундирами и с бельем с ним можно отправить впрочем как ты сам лучше придумаешь тебе уже 21 год, Катерина Аркадьевна переезжат в Москву то в средниково тебе ненужно заезжать да ты после меня ни разу не писал к афансью алексеичу через письма родство и дружба сохраняется он друг был твоей матери и любит тебя как роднова племянника да к Марьи Акимовни и к Павлу Петровичу[232] хоть бы во моем писме приписал два слова стихи твои[233] мой друг читала бесподобные а всего лучше меня утешыло что тут нет нонышний модной неистовой любви и невеска сказывала что афанасью очень понравились стихи твои и очень их хвалил да как ты не пишешь какую ты пиесу сочинил комедия или трагедия[234] все что до тебя касается я неравнодушна уведомь а коли можно то и пришли через почту. Стихи твои я больше десяти раз читала, скажи Андрею[235] что он так давно к жене неписал она с ума сходит все плачет думает что он болен в своем писме его письмо положи,

acheté quelqux chose pour daria elle me ser avec beaucoup d'attachement,[236] очень благодарна Катерине Александровне что она обо мне помнит но мое присудствие здесь необходимо, Степан очень прилежно смотрит но все как я прикажу то лучше, девки, молодая вдова замуж нешли и беспутничали, я кого уговаривала, ково на работу посылала и от 16 больших девок 4 только осталось и вдова все вышли иную подкупила и все пришло в прежний порядок как Бог даст милость свою и тебя отпустят то хотя Тарханы и Пензенской губернии но на Пензу ехать слишком двести верст крюку то из Москвы должно ехать на Рязань на Козлов и на Тамбов а из Тамбова на Кирсанов в Чембар у Катерины Аркадьевне на дворе тебя дожидается долгуша точно коляска перина и собачье одеяло, может еще зимнего пути не будет здесь у нас о сю пору совершенная весна середи дня ночью морозы только велики, я в твоем писме прикладывала писмо к Катерине Лукъяновни и к емельяну Никитичу уведом отдал ли ты им их, да несколько раз к тебе писала получил ли ты мех черной под сюртук, Прасковья Александровна Крюкова взялась переслать его к Лонгиновой, и с Миткой послала тебе кисет и к Авдотье Емельяновне башмаки напиши привесь ли он это все да уведом часто ли ты бываешь у Лонгиновой, прощай мой друг Христос с тобою будь над тобою милость божия верный друг твой

*Елизавета Арсеньева*

1835 года

18 октября.

Спроси у Емельяна Никитича ответ на мое писмо, не забудь мой друг купить мне металических перьев здесь никто не умеет очинить пера все мне кажется мой друг мало тебе денег нашла еще сто рублей то посылаю тебе тысячу пятьсот рублей.

## ***ПРИКАЗ***[237]

По отдельному Гвардейскому корпусу

В С.Петербурге

9-го Декабря 1835 года

№ 184.

6.

По вступившим по команде представлениям:

. . . . .

б) Увольняются в отпуск, по домашним обстоятельствам: л.-г. Гусарского полка, корнет Лермонтов, в губернии: Тульскую и Пензенскую, на шесть недель.

Подписал: генерал фельдцейхмейстер Михаил.

Тарханы, 16 января [1836 г]

Любезный Святослав! Мне очень жаль, что ты до сих пор ленишься меня уведомить о том, что ты делаешь и что делается в Петербурге. Я теперь живу в Тарханах, в Чембарском уезде (вот тебе адрес на случай, что ты его не знаешь), у бабушки;[238] слушаю, как под окном воет метель (здесь все время ужасное, снег в сажень глубины, лошади вязнут и <…> и соседи оставляют друг друга в покое, что, в скобках, весьма приятно), ем за десятерых, <…> не могу, потому что <…….>, пишу четвертый акт новой драмы,[239] взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве. — О, Москва, Москва, столица наших предков, златоглавая царица России великой, малой, белой, черной, красной всех цветов, Москва, <….. >, преподло со мной поступила! Надо тебе объяснить сначала, что я влюблен. И что ж я этим выиграл? Одни <…….> Правда, сердце мое осталось покорно рассудку, но в другом не менее важном <…….> происходит гибельное восстание. Теперь ты ясно видишь мое несчастное положение и, как друг, верно, пожалеешь, а может быть, и позавидуешь, ибо все то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и <……> нам нравится. Вот самая деревенская философия!

Я опасаюсь, что моего «Арбенина»[240] снова не пропустили, и этой мысли подало повод твое молчание. Но об этом будет!

Также я боюсь, что лошадей моих не продали и что они тебя затрудняют. Если бы ты об этом раньше написал, то я бы прислал денег для прокормления их и людей, и потом если они не продадутся, то я отсюда не возьму столько лошадей, сколько намереваюсь. Пожалуйста, отвечай, как получишь.

Объявляю тебе еще новость: летом бабушка переезжает жить в Петербург, т. е. в июне месяце. Я ее уговорил, потому что она совсем истерзалась, а денег же теперь много, но я тебе объявляю, что мы все-таки не расстанемся.

Я тебе не описываю своего похождения в Москве в наказание за твою излишнюю скромность, — и хорошо, что вспомнил об наказании, — сейчас кончу письмо (ты видишь из этого, как я еще добр и великодушен). *М. Лермонтов.*

*[Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому. Акад. изд., т. IV, стр. 324–325]*

[Весною 1836 г.]

Милая бабушка. На днях Марья Акимовна[241] уехала. Я узнал об ее отъезде в Царском, приехал в город на один вечер, был у нее, но не застал и потому не писал с нею. Вы, верно, получите

мое письмо прежде ее приезда, то и не будете беспокоиться, что я с нею не пишу к вам.

Я на днях купил лошадь у генерала.[242] Прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей; лошадь славная и стоит больше, а цена эта не велика.

Насчет квартиры я еще не решился, но есть несколько на примете, в начале мая они будут дешевле по причине отъезда многих на дачу. Я вам, кажется, писал, что Лизавета Аркадьевна[243] едет нынче весной с Натальей Алексеевной[244] в чужие краи на год; теперь это мода, как было некогда в Англии; в Москве около двадцати семейств собираются на будущий год в чужие краи. Пожалуйста, бабушка, не мешкайте отъездом; вы, я думаю, получили письмо мое, с которым я послал письмо Григория Васильевича, — пожалуйста, объясните мне, что мне лучше ему писать.

Прощайте, милая бабушка, прошу вашего благословения, целую ваши ручки и остаюсь покорный внук

*М. Лермонтов.*

*[Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой. Акад. изд., т. IV, стр. 325]*

В 1836 году бабушка, соскучившись без Миши, вернулась в Петербург. Тогда же жил с нами сын старинной приятельницы ее, С. А. Раевский. Он служил в военном министерстве, учился в университете, получил хорошее образование и имел знакомство в литературном кругу.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 738]*

Что Лермонтов был очень внимателен к бабушке, известно. На слово его старушка всегда могла положиться. Так, меня заверяло лицо, близко знавшее Лермонтова, что когда открылась первая на Руси железная дорога в Царское Село, то, старушка, боявшаяся этого нововведения, как-то раз вырвала у внука, тогда уже давно гусарского офицера, обещание не ездить более по ней. Михаил Юрьевич свято хранил данное слово и ездил в Царское Село, где стоял его полк, на тройках.

*[Висковатый, стр. 72]*

Во время последнего пребывания в С.-Петербурге мне суждено было еще раз с ним [Лермонтовым] неожиданно встретиться в Царскосельском саду. Я был тогда в Академии художеств своекоштным пансионером и во время летних каникул имел обыкновение устраивать себе приятные прогулки по окрестностям Петербурга, а иногда ездить в ближние города и

села неразлучно с портфелем. Меня особенно влекло рисование с натуры, наиболее этюды деревьев. Поэтому Царскосельский сад, замечательный по красоте и грандиозности, привлекал меня к себе с карандашом в руке.

Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым, после 10-летней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла. Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку и сказал последнее прости… Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь. Более мы с ним не виделись…

*[М. Меликов «Заметки и воспоминания художника-живописца». «Русская Старина», 1896 г., кн. 6, стр. 649]*

Наконец, в исходе 1834 года, Лермонтов был произведен в корнеты, в лейб-гвардии Гусарский полк, и оставил Юнкерскую школу. По производстве в офицеры он начал вести рассеянную и веселую жизнь, проводя время: зимой — в высшем кругу петербургского общества и в Царском Селе, в дружеских пирушках гусарских; летом — на учениях и в лагере под Красным Селом, откуда один раз он совершил романическое путешествие верхом, сопровождая ночью своего товарища на одну из дач, лежащих по Петергофской дороге. Путешествие это описано им в стихотворении «Монго» очень игриво.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 301]*

МОНГО
Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом,
И вот, дорогой столбовой,
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника лихим полетом.
Один высок и худощав,
Кобылу серую собрав,
То горячит нетерпеливо,
То сдержит вдруг одной рукой.

Мал и широк в плечах другой;
Храпя, мотает длинной гривой
Под ним саврасый скакунок —
Степей башкирских сын счастливый.
Устали всадники. До ног
От головы покрыты прахом.
Коней приезженных размахом
Они любуются порой
И речь ведут между собой:
«Монго, послушай — тут направо!
Осталось только три версты…»
«Постой! уж эти мне мосты!
Дрожат и смотрят так лукаво».
«Вперед, Маешка! только нас
Измучит это приключенье:
Ведь завтра в шесть часов ученье!» —
«Нет в семь — я сам читал приказ!»

Но прежде нужно вам, читатель,
Героев показать портрет:
Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель,
Был молод сердцем и душой,
Беспечно женским ласкам верил
И на аршин предлинный свой
Людскую честь и совесть мерил.
Породы английской он был —
Флегматик с бурыми усами;
Собак и портер он любил,
Не занимался он чинами,
Ходил немытый целый день,
Носил фуражку набекрень;
Имел он гадкую посадку —
Неловко гнулся наперед,
И не тянул ноги он в пятку,
Как должен каждый патриот.
Но если, милый, вы езжали
Смотреть российский наш балет,
То, верно, в креслах замечали
Его внимательный лорнет.
Одна из дев ему сначала
Дней девять сряду отвечала;
В десятый день он был забыт —
С толпою смешан волокит.

Все жесты, вздохи, объясненья
Не помогали ничего…
И зародился пламень мщенья
В душе озлобленной его.
Маешка был таких же правил —
Он лень в закон себе поставил,
Домой с дежурства уезжал,
Хотя и дома был без дела;
Порою рассуждал он смело,
Но чаще он не рассуждал.
Разгульной жизни отпечаток
Иные замечали в нем;
Печалей будущих задаток
Хранил он в сердце молодом;
Его покоя не смущало,
Что не касалось до него;
Насмешек гибельное жало
Броню железную встречало
Над самолюбием его.
Слова он весил осторожно
И опрометчив был в делах;
Порою, трезвый, врал безбожно,
И молчалив был на пирах.
Характер вовсе бесполезный
И для друзей и для врагов…
Увы! читатель мой любезный,
Что делать мне, — он был таков.

Теперь он следует за другом
На подвиг славный, роковой,
Терзаем пьяницы недугом,
Изжогой мучим огневой.
Приюты неги и прохлады —
Вдоль по дороге в Петергоф
Мелькают в ряд из-за ограды
Разнообразные фасады
И кровли мирные домов
В тени таинственных садов.
Там есть трактир, и он от века
Зовется **Красным Кабачком**,
И там для блага человека
Построен сумасшедших дом.
И там приют себе смиренный
Танцорка юная нашла, —

Краса и честь балетной сцены,
На содержании была:
N.N., помещик из Казани,
Богатый волжский старожил,
Без волокитства, без признаний…
. . . . . .
«Мой друг! — ему я говорил —
Ты не в свои садишься сани:
Танцоркой вздумал управлять!
Ну где тебе?…..»

Но обратимся поскорее
Мы к нашим буйным молодцам.
Они стоят в пустой аллее,
Коней привязывают там.
И вот, тропинкой потаенной
Они к калитке отдаленной
Спешат, подобно двум ворам.
На землю сумрак ниспадает,
Сквозь ветви брезжит лунный свет
И переливами играет
На гладкой меди эполет.
Вперед отправился Маешка,
В кустах прополз он, как черкес,
И осторожно, точно кошка,
Через забор он перелез.
За ним Монго наш долговязый,
Довольный этою проказой,
Перевалился кое-как.
«Ну, лихо! сделан первый шаг!
Теперь душа моя в покое,
Судьба окончит остальное!»

Облокотившись у окна,
Меж тем танцорка молодая
Сидела дома и одна.
Ей было скучно, и зевая
Так тихо думала она:
«Чудна судьба! о том ни слова!
На матушке моей чепец
Фасона самого дурного,
И мой отец, — простой кузнец.
А я — на шелковом диване
Ем мармелад, пью шоколад;

На сцене — знаю уж заране —
Мне будет хлопать третий ряд.
Теперь со мной плохие шутки!
Меня сударыней зовут,
И за меня три раза в сутки
Каналью повара дерут.
Мой Pierre не слишком интересен:
Ревнив, упрям, что ни толкуй,
Не любит смеха он, ни песен,
Зато богат и глуп <…….>.
Теперь не то, что было в школе:
Ем за троих, порой и боле,
И за обедом пью люнель.
А в школе… Боже!.. Вот мученье!
Днем танцы, выправка, ученье,
А ночью жесткая постель.
Встаешь, бывало, утром рано, —
Бренчит уж в зале фортепьяно,
Поют все врозь, трещит в ушах;
А тут сама, поднявши ногу,
Стоишь, как аист на часах.
Флери хлопочет, бьет тревогу…
Но вот одиннадцатый час!
В кареты всех сажают нас.
Тут у подъезда офицеры
Стоят все в ряд, порою в два.
Какие милые манеры!
И все отборные слова!
Иных улыбкой ободряешь,
Других бранишь и отгоняешь,
Зато вернулись лишь домой,
Директор порет на убой:
Ни взгляд не думай кинуть лишний,
Ни слова ты сказать не смей;
А сам, прости ему Всевышний,
Ведь уж какой прелюбодей!..»

Но тут в окно она взглянула
И чуть не брякнулась со стула:
Пред ней, как призрак роковой,
С нагайкой, освещен луной,
Готовый влезть почти в окошко,
Стоит Монго, за ним Маешка.
«Что это значит, господа?

И кто вас звал прийти сюда?
Ворваться к девушке — бесчестно!»
«Нам, право, это очень лестно!»
«Я вас прошу, подите прочь».
«Но где же проведем мы ночь?
Мы мчались, выбились из силы».
«Вы неучи!» — «Вы очень милы».
«Чего хотите вы теперь,
Ей Богу, я не понимаю!»
«Мы просим только чашку чаю».
«Панфишка! отвори им дверь!» —
Поклон отвесивши пренизко,
Монго ей бросил нежный взор,
Потом садится очень близко
И продолжает разговор;
Сначала колкие намеки,
Воспоминания, упреки, —
Ну, словом, весь любовный вздор.
И нежный вздох, прилично томный,
Порхнул из груди молодой…
. . . . . .

Маешка, друг великодушный,
Засел поодаль на диван,
Угрюм, безмолвен, как султан.
Чужое счастие нам скучно,
Как добродетельный роман.
Друзья! Ужасное мученье
Быть на пиру… . .
Иль адъютантом на сраженье
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонёром
Или на бале быть танцором…
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз
И думать: это не для нас!
Меж тем Монго горит и тает…
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж, —
Девятиместная коляска
И в ней пятнадцать седоков.
Увы! печальная развязка!
Неотразимый гнев богов!

То был NN. с своею свитой:
Степаном, Федором, Никитой,
Тарасом, Сидором, Петром,
Идут, гремят, орут — содом!
Все пьяны, прямо из трактира…
. . . . . .
Но нет, постой, умолкни, лира!
Тебе ль, поклоннице мундира,
Поганых фрачных воспевать!
В истерике младая дева:
Как защититься ей от гнева?
Куда гостей своих девать?
Под стол, в комод иль под кровать?
В комоде места нет и платью…
. . . . . .
Им остается лишь одно:
Перекрестясь, прыгнуть в окно.
Но вмиг проснулся дух военный:
Прыг, прыг, — и были таковы!

Уж ночь была, ни зги не видно,
Когда, свершив побег, обидный
Для самолюбья и любви,
Повесы на коней вскочили
И думы мрачные свои
Друг другу вздохом сообщили.
Деля печаль своих господ,
Их кони с рыси не сбивались;
Упрямо убавляя ход,
Они <……..> спотыкались, —
И леность их преодолеть
Ни шпоры не могли, ни плеть.
Когда же в комнате дежурной
Они сошлися поутру,
Воспоминанья ночи бурной
Прогнали краткую хандру,
Тут много шуток, смеху было;
И, право, Пушкин наш не врет,
Сказав, что день беды пройдет,
А что пройдет, то будет мило…
Так повесть кончена моя,
И я прощаюсь со стихами.
А вы не можете ль, друзья,
Нравоученье сделать сами?..

*[Лермонтов. Акад. изд., т. II, стр. 203–210]*

Упоминаемые в пьесе «Монго» лица были: танцовщица — Екатерина Егоровна Пименова; казанский помещик — г. Моисеев.

*[Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 384]*

Алексей Столыпин вышел в офицеры лейб-Гусарского полка из Юнкерской школы в 1835 г. В 1837 г. ездил охотником на Кавказ, где храбро сражался. В конце 1839 года, будучи поручиком, вышел в отставку. В начале 1840 г. поступил на службу на Кавказ капитаном Нижегородского драгунского полка. В 1842 г. вышел опять в отставку… Это был совершеннейший красавец: красота его, мужественная и вместе с тем отличавшаяся какою-то нежностью, была бы названа у французов «proverbiale». Он был одинаково хорош и в лихом гусарском ментике, и под барашковым кивером нижегородского драгуна и, наконец, в одеянии современного льва, которым был вполне, но в самом лучшем значении этого слова. Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать «Монгу-Столыпина» значит для людей нашего времени то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом и делом. Его не избаловали блистательнейшие из светских успехов, и он умер уже немолодым, но тем же добрым, всеми любимым «Монго», и никто из львов не возненавидел его, несмотря на опасность его соперничества. Вымолвить о нем худое слово не могло бы никому притти в голову и принято было бы за нечто чудовищное. Столыпин отлично ездил верхом, стрелял из пистолета и был офицер отличной храбрости.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 382]*

В одно воскресенье, помнится, 15 сентября 1836 года, часу во втором дня, я поднимался по лестнице конногвардейских казарм в квартиру доброго моего приятеля А. И. Синицына… Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням, молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля, шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень веселый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня или скорее мою камлотовую шинель на байке (какие тогда

были в общем употреблении) длинным капюшоном своей распахнутой и почти распущенной серой офицерской шинели с красным воротником, и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, черные как смоль глаза, принадлежавшие однако лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым, именно таким, какой французы называют nez à la cousine: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном», — и продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, непристегнутой на крючок… Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным; да еще, враг всяких фамильярностей, я внутренне нашел странною фамильярность его со мною, которого он в первый раз в жизни видел, как и я его. Под этим впечатлением я вошел к Синицыну и застал моего доброго Афанасия Ивановича, занятого прилежным смахиванием пыли метелкою из петушьих перьев со стола, дивана и кресел и выниманием окурков маисовых пахитосов, самого толстого калибра, из цветочных горшков, за которыми патриархальный мой Афанасий Иванович имел тщательный и старательный личный уход.

— Что это вы так хлопочете, Афанасий Иванович? — спросил я, садясь в одно из вольтеровских кресел, верх которого прикрыт был антимакассаром, чтоб не испортил бы кто жирными волосами яркоцветной штофной покрышки, впрочем и без того всегда покрытой белыми коленкоровыми чехлами.

— Да, как же (отвечал Синицын с несколько недовольным видом), я, вы знаете, люблю, чтоб у меня все было в порядке, сам за всем наблюдаю, а тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к вам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих проклятых трабукосов[245] в мои цветочные горшки, и при всем этом без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишонки, тогда как самого-то Бог наградил замечательным талантом писать истинно прелестные русские стихи. Так небось не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел! Ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорвиголов — гусаров. А ведь стихи-то его, это просто музыка! Да и распречестный малый, превосходный товарищ! Вот

даже сию минуту привез мне какие-то сто рублей, которые еще в школе занял у меня «Курок»…[246] Да, ведь вы «Курка» не знаете: это один из наших школьных товарищей, за которого этот гусарчик, которого вы верно сейчас встретили, расплачивается. Вы знаете, я не люблю деньги жечь; но ей-Богу, я сейчас предлагал этому сумасшедшему: «Майошка, напиши, брат, сотню стихов о чем хочешь: охотно плачу тебе по рублю, по два, по три за стих с обязательством держать их только для себя и для моих друзей, не пуская в печать». Так нет, не хочет, капризный змееныш этакой, не хочет даже «Уланшу»[247] свою мне отдать целиком и в верном оригинале, и теперь даже божился, греховодник, что у него и «Монго» нет, между тем Коля Юрьев давно у него же для меня подтибрил копию с «Монго». Прелесть, я вам скажу, прелесть, а все-таки не без пакостной барковщины. C'est plus fort que lui![248] Еще у этого пострелёнка, косолапого «Майошки», страстишка дразнить меня моею аккуратною обстановкою и приводить у меня мебель в беспорядок, сорить пеплом и, наконец, что уж из рук вон, просто сердце у меня вырывает, это то, что он портит мои цветы, рододендрон вон этот, и как нарочно выбрал же он рододендрон, а не другое что, и забавляется, разбойник этакой, тем, что сует окурки в землю, и не то чтобы только снаружи, а расковыривает землю, да и хоронит. Ну далеко ли до корня? Я ему резон говорю, а он заливается хохотом! Просто отпетый какой-то «Майошка», мой любезный однокашник.

И все это Афанасий Иванович рассказывал, стараясь как можно тщательнее очистить поверхность земли в горшке своего любезного рододендрона, не поднимая на меня глаз и устремив все свое внимание на цветочную землю и на свою работу; но, вдруг, заметив, что и я курю мои соломенки-пахитосы, он быстро взглянул, стоит ли в приличном расстоянии от меня бронзовая пепельница. Вследствие этого не по натуре его быстрого движения, я сказал ему:

— Не опасайтесь, дорогой Афанасий Иванович, я у вас не насорю. Но скажите, пожалуйста, гость ваш так вас огорчивший, ведь это тот молоденький гусар, что сейчас от вас вышел хохоча?

— Да, да, — отвечал Синицын, — тот самый. И вышел, злодей, с хохотом от меня, восхищаясь тем, что доставил мне своим визитом работы на добрый час, чтоб за ним подметать и подчищать. Еще, слава Богу, ежели он мне не испортил в конец моего рододендрона…

Заинтересованный моею встречею с гусарским офицером, я спросил Синицына:

— Кто же этот гусар? Вы называете его «Майошкой»: но это,

вероятно, школьная кличка, nom de guerre?

— Лермонтов, — отвечал Синицын, — мы с ним были вместе в кавалерийском отделении школы; только он и несколько других юнкеров оставались в школе после меня, почему надели эполеты лишь в прошлом году. Я их всех чинами перегнал, потому что на днях ведь меня произвели в поручики…

— Вы говорили давеча, любезнейший Афанасий Иванович, — спросил я, почти не слушая рассуждений моего собеседника, — вы говорили, что этот гусарский офицер, Лермонтов, пишет стихи?

— Да, и какие прелестные, уверяю вас, стихи пишет он! Такие стихи разве только Пушкину удавались. Стихи этого моего однокашника Лермонтова отличаются необыкновенною музыкальностью и певучестью; они сами собою так и входят в память читающего их. Словно ария или соната! Когда я слушаю, как читает эти стихи хоть, например, Коля Юрьев, наш же товарищ, лейб-драгун, двоюродный брат Лермонтова, также недурной стихотворец, но, главное, не дикий мастер читать стихи, — то, ей-Богу, мне кажется что в слух мой так и льются звуки самой высокой гармонии. Я бешусь на Лермонтова, главное, за то, что он не хочет ничего своего давать в печать, и за то, что он повесничает с своим дивным талантом и, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих стихотворений сюжеты совершенно нецензурного характера и вводя в них вечно отвратительную «барковщину». Раз как-то, в последние месяцы своего пребывания в школе, Лермонтов, под влиянием воспоминаний о Кавказе, где он был еще двенадцатилетним мальчишкой, написал целую маленькую поэмку из восточного быта, свободную от проявлений грязного вкуса. И заметьте, что по его нежной природе это вовсе не его жанр; а он себе его напускает, и все из какого-то мальчишеского удальства, без которого эти господа считают, что кавалерист вообще не кавалерист, а уж особенно ежели он гусар. И вот, эту-то поэмку у Лермонтова как-то хитростью удалось утащить его кузену Юрьеву. Завладев этою драгоценностью, Юрьев полетел с нею к Сенковскому и прочел ее ему вслух с тем мастерством, о котором я уже вам говорил сейчас. Сенковский был в восторге, просил Юрьева сказать автору, что его стихотворения, все, сколько бы он их ни давал, будут напечатаны, лишь бы только цензура разрешила. А та-та и беда, что никакая в свете цензура не может допустить в печать хотя и очаровательные стихи, но непременно с множеством грязнейших подробностей, против которых кричит чувство изящного вкуса.

— А, вот что, — заметил я, — так эта прелестная маленькая

поэма «Хаджи Абрек», напечатанная в «Библиотеке для Чтения» прошлого 1835 года, принадлежит этому маленькому гусарику, который сейчас почти закутал меня капишоном своей шинели и уверял меня, личность ему совершенно незнакомую, что его гусарский плащ целуется с моею гражданскою тогою, причем употребил один очень нецензурный глагол, который может быть кстати разве только за жжонкой в компании совершенно разнузданной. Кто бы мог подумать, что такой очаровательный талант — принадлежность такого сорвиголовы!

— Ну эта фарса с шинелью очень похожа на Лермонтова. — засмеялся Синицын. — За тем-то он все хороводится с Константином Булгаковым,[249] проделками которого нынче полон Петербург, почему он, гусь лапчатый, остался лишний год в школе. Однако я с вами не согласен насчет вашего удивления по поводу поэтического таланта, принадлежащего сорвиголове, как вы сказали. После Пушкина, который был в свое время сорвиголовой, кажется, почище всех сорвиголов бывших, сущих и грядущих, нечего удивляться сочетанию талантов в Лермонтове с страстью к повесничанью и молодечеству. А только мне больно то, что ветреность моего товарища-поэта может помешать ему в дальнейшем развитии этого его дивного таланта, который ярко блещет даже в таких его произведениях, как, например, его «Уланша». Маленькую эту шуточную поэмку невозможно печатать целиком; но однако в ней бездна чувства, гармонии, музыкальности, певучести, картинности и чего-то такого, что так и хватает за сердце.

— Не помните ли вы, Афанасий Иванович, — спросил я, — хоть несколько стихов из этой поэмки? Вы бы прекрасно угостили меня, прочитав из нее хоть какой-нибудь отрывок.

— Как не знать, очень знаю, — воскликнул Синицын, — и не только десяток или дюжину стихов, а всю эту поэмку, написанную под впечатлениями лагерных стоянок школы в Красном Селе, где между кавалерийскими нашими юнкерами (из которых всего больше в этот выпуск случилось уланов) славилась своею красотою и бойкостью одна молоденькая красноселька. Главными друзьями этой деревенской Аспазии были уланы наши, почему в нашем кружке она и получила прозвище «Уланши». И вот ее-то, с примесью всякой скарроновщины, воспел в шуточной поэмке наш «Майошка». Слушайте: я начинаю.

— Прежде чем начать, — перебил я, — скажите на милость, почему юнкера́ прозвали Лермонтова «Майошкой»? Что за причина этого собрике?

— Очень простая, — отвечал Синицын. — Дело в том, что Лермонтов маленько кривоног, благодаря удару, полученному им

в манеже от раздразненной им лошади еще в первый год его нахождения в школе; да к тому же и порядком, как вы могли заметить, сутуловат и неуклюж, особенно для гвардейского гусара. Вы знаете, что французы, Бог знает почему, всех горбунов зовут Mayeux и что под названием «Monsieur Mayeux» есть один роман Рикера, вроде Поль-де-Кока; так вот «Майошка» косолапый уменьшительное французского Mayeux.

Дав мне это объяснение, Синицын прочел наизусть вслух, от первой строки до последней, всю поэмку Лермонтова…

Я с большим удовольствием прослушал стихотворение, в котором нельзя не заметить и не почувствовать нескольких очень бойких стихов, преимущественно имеющих цель чисто живописательную. Тогда Синицын вынул из своего письменного стола тетрадку почтовой бумаги, сшитую в осьмушку, и сказал мне:

— По пословице: «Кормил до бороды, надо покормить до усов». Вам, по-видимому, нравятся стишки моего однокашника, так я вам уж не наизусть, а по этой тетрадке прочту другие его стихи, только что вчера доставленные мне Юрьевым, для списка копии. Это маленькое стихотворение Лермонтова называется «Монго».

— Вот странное название! — воскликнул я.

— Да, — отозвался Синицын, — странное и источник которого мне не известен. Знаю только, что это прозвище носит друг и товарищ детства Лермонтова, теперешний его однополчанин, лейб-гусар же, Столыпин, красавец, в которого, как вы знаете, влюблен весь петербургский beau monde и которого, в придачу к прозвищу «Монго», зовут еще le beau Столыпин и la coqueluche des femmes.[250] То стихотворение Лермонтова, которое носит это название и написано им на днях, имело, soit dit entre nous,[251] основанием то, что Столыпин и Лермонтов вдвоем совершили верхами, недель шесть тому назад, поездку из села Копорского близ Царского Села на Петергофскую дорогу, где, в одной из дач близ Красного Кабачка, все лето жила наша кордебалетная прелестнейшая из прелестных нимфа Пименова, та самая, что постоянно привлекает все лорнеты лож и партера, а в знаменитой бенуарной ложе «волокит» производит появлением своим целую революцию. Столыпин был в числе ее поклонников, да и он ей очень нравился; да не мог же девочке со вкусом не нравиться этот писаный красавец, нечего сказать. Но громадное богатство приезжего из Казани некоего, кажется, г-на Моисеева, чуть ли не из иерусалимской аристократии и принадлежащего, кажется, к почтенной плеяде откупщиков, понравилось девочке еще больше черных глаз «Монго», с которым

однако шалунья тайком виделась, и вот на одно-то из этих тайных и неожиданных красоткою свиданий отправились оба друга, то есть Монго с Майошкой. Они застали красавицу дома; она угостила их чаем; Лермонтов скромно уселся в сторонке, думая о том, какое ужасное мученье (тут Синицын опустил глаза в тетрадку и стал читать:)

Быть адъютантом на сраженье
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонёром,
Или на бале быть танцором…
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз
И думать: это не для нас!
Меж тем Монго горит и тает…
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж.
Девятиместная коляска,
И в ней пятнадцать седоков…
Увы! печальная развязка!
Неотразимый гнев богов!..
То был Моисеев с своею свитой, и проч.

— Можете представить смущение посетителей и хозяйки! — продолжал Синицын. — Но молодцы-гусары, недолго думая, убедились, что (он снова прочел по рукописи):

Осталось средство им одно:
Перекрестясь, прыгнуть в окно.
Опасен подвиг дерзновенный,
И не сдержать им головы;
Но в них проснулся дух военный:
Прыг, прыг! — и были таковы.

— Вот вам вся драма этого милого, игривого, прелестного в своем роде стихотворения, которое я целиком сейчас вам прочту; извините, попортил эффект тем, что прочел эти отрывки.

*[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1770–1781].*

Я получил от Афанасия Ивановича [Синицына] дня на два подлинную тетрадку с стихотворением «Монго» для снятия с нее

копии. И вот, благодаря этой-то верной, распреверной копии тщательно списанной мастерски и каллиграфически одним из подчиненных мне тогда писарей (разумеется, за довольно изрядное вознаграждение), — я и могу теперь восстановить те стихи, которые оказываются выпущенными в напечатанных доселе. В это же утро А. И. Синицын дал мне для списания еще одно юнкерское стихотворение Лермонтова под названием: *«Петергофский праздник»*; но это стихотворение, полное скарроновщины, мне было не по сердцу, хотя и в нем есть места истинно превосходные, свидетельствующие о замечательном таланте автора. Достойно внимания, что в этой грязноватой поэмке главным действующим лицом был изображен юнкер Мартынов, вышедший в гатчинские кирасиры, родной и старший брат Мартынова, имевшего несчастие убить на дуэли в 1841 году Лермонтова.

*[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1784–1785]*

[Пушкин], по словам графа Васильева, не был лично знаком с Лермонтовым, но знал о нем и восхищался его стихами.

— Далеко мальчик пойдет, — говорил он.

Между тем некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией. Они находили это несовместимым с достоинством гвардейского офицера.

— Брось ты свои стихи, — сказал однажды Лермонтову любивший его более других полковник Ломоносов, — государь узнает, и наживешь ты себе беды!

— Что я пишу стихи, — отвечал поэт, — государю известно было еще, когда я был в Юнкерской школе, через великого князя Михаила Павловича, и вот, как видите, до сих пор никаких бед я себе не нажил…[252]

*[Н. В. Васильев в передаче П. К. Мартьянова «Дела и люди века», 1893 г., т. II, стр. 152]*

Парады и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря,[253] в Новый год и на Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц в фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры — вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями коего были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины. Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко ее пустоту и — не зная,

куда деться, не находя пищи ни для дела, ни для ума — предавались буйному разгулу, погубившему многих из них. Лучшие из офицеров старались вырваться из Михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров.

*[Васильчиков. «Голос», 1875 г., № 15]*

# ЧАСТЬ 3
# СТИХИ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА И ПЕРВАЯ ССЫЛКА [1837–1838]

*Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта — Лермонтова.*

*В. А. Соллогуб*

*Какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..*

*Лермонтов. «Тамань»*

# ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

**1837.** *27 января.* На дуэли с Дантесом смертельно ранен А. С. Пушкин.

**1837.** *28 января.* Лермонтов пишет стихотворение на кончину Пушкина «Смерть поэта». [?]

**1837.** *30 января.* В. П. Бурнашев в кондитерской Вольфа списывает у С. Н. Глинки стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина.

**1837.** *21 февраля.* Показание С. А. Раевского по делу о «непозволительных стихах, написанных корнетом л. — гв. Гусарского полка Лермонтовым».

**1837.** *Февраль.* Объяснение Лермонтова по тому же делу.

**1837.** *27 февраля.* Высочайший приказ о переводе л. — гв. Гусарского полка корнета Лермонтова в Нижегородский драгунский полк прапорщиком.

**1837.** *Весною.* Лермонтов в Тамани.

**1837.** *Май и июнь.* Лермонтов в Пятигорске. Знакомство с доктором Николаем Васильевичем Майером и Виссарионом Григорьевичем Белинским.

**1837.** *С конца июня по сентябрь.* Два пеших эскадрона Нижегородского драгунского полка находятся в рекогносцировке Кавказского хребта и Лезгинской линии.

**1837.** История с пропажей письма к Н. С. Мартынову, которое со вложением 300 рублей было послано с Лермонтовым.

**1837.** *11 октября.* Высочайший приказ о переводе Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова в л. — гв. Гродненский гусарский полк корнетом.

**1837.** *Осень.* Письмо к С. А. Раевскому, в котором Лермонтов рассказывает о своих скитаниях по Кавказу.

**1837.** *25 ноября.* Лермонтов выключен из списков Нижегородского драгунского полка.

**1837.** *14 декабря.* Лермонтов на станции Прохладная.

**1837.** *Конец года.* В Ставрополе Лермонтов знакомится через Сатина и Майера с декабристами: Вл. Ник. Лихаревым, Ник. Ив. Лорером, Мих. Ал. Назимовым, Мих. Мих. Нарышкиным, кн. А. И. Одоевским, бар. А. Е. Розеном, кн. Вал. Мих. Голицыным, С. И. Кривцовым.

**1837.** Написано много стихотворений, среди которых: «Бородино», «Узник», «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Казначейша».

**1838.** *Начало года.* Лермонтов знакомится с Жуковским;

передает ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу» и получает экземпляр «Ундины» с собственноручною надписью Жуковского.

**1838.** *16 февраля.* Отъезд Лермонтова в Новгород.

**1838.** *25 февраля — 19 апреля.* Лермонтов в л. — гв. Гродненском гусарском полку в Новгороде и два раза в отпуску в Петербурге, каждый раз по восемь дней.

**1838.** *24 марта.* Письмо графа Бенкендорфа к военному министру графу Чернышеву с просьбой простить Лермонтова.

**1838.** *9 апреля.* Высочайший приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гусарский полк.

**1838.** *Май.* Возвращение Лермонтова в Петербург.

# СТИХИ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА И ПЕРВАЯ ССЫЛКА

Через Раевского Мишель познакомился с А. А. Краевским, которому отдавал впоследствии свои стихи для помещения в «Отечественных Записках». Раевский имел верный критический взгляд, его замечания и советы были не без пользы для Мишеля, который однако же все еще не хотел печатать свои произведения, и имя его оставалось неизвестно большинству публики.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 739]*

Лермонтова страшно поразила смерть Пушкина. Он благоговел перед его гением, и весьма незадолго до дуэли познакомился с ним лично.[254] Поэты встречались в литературных кружках. Пушкин интересовался задуманными А. А. Краевским «Литературными Прибавлениями к Русскому Инвалиду», и для первого номера, вышедшего 4 января 1837 года, дал стихотворение свое «Аквилон»,[255] кажется, последнее, которое поэт видел напечатанным незадолго до своей смерти. Влад. Серг. Глинка сообщал, как Пушкин в эту же пору, прочитав некоторые стихотворения Лермонтова, признал их «блестящими признаками высокого таланта».

*[Висковатый. «Лермонтов на смерть А. С. Пушкина» По подлинным документам. «Вестник Европы», 1887 г., т. I, стр. 331]*

Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиною гибели Пушкина была между прочим наклонность его к великосветскости (сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах «На смерть Пушкина»), — несмотря на то, что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей *железный стих,*

облитый горечью и злостью… —

он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно.

Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина».[256]

*[И. И. Панаев, стр. 14–15]*

**Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща… Более говорить о нем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужь ли в самом деле нет у нас Пушкина… К этой мысли нельзя привыкнуть!**

**29 января 2 ч. 45 м. пополудни.**

*[ «Литературные Прибавления к „Русскому Инвалиду“» № 5, 30 янв. 1837]*

**Наталья Николаевна Пушкина, с душевнымъ прискорбіемъ извещая о кончине супруга ея, Двора Е. И. В. Камеръ-Юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавшей в 29-й день сего Января, покорнейше просить пожаловать къ отпеванію Тела его в Исакіевскій Соборъ, состоящій въ Адмиралтействе, 1-го числа Февраля въ 11 часовъ до полудня.**

*[Похоронная карточка. «Альбом московской Пушкинской выставки, 1880 г.». Москва, 1882, стр. 172]*

Случилась несчастная дуэль Пушкина;[257] столица поражена была смертью любимого поэта; народ толпился около его дома, где сторожила полиция, испуганная таким сборищем; впускали только поодиночке поклониться телу усопшего. Два дня сряду в тесной его квартире являлись, как тени, люди всякого рода и звания, один за другим благоговейно подходили к его руке и молча удалялись, чтобы дать место другим почитателям его памяти. Было даже опасение взрыва народной ненависти к убийце Пушкина.[258] Если потеря его произвела такое сильное впечатление на народ, то можно себе представить, каково было раздражение в литературном круге. Лермонтов сделался его эхом и тем приобрел себе громкую известность, написав энергические стихи на смерть Пушкина; но себе навлек он большую беду, так как упрекал в них вельмож, стоявших около трона, за то, что могли допустить столь печальное событие. Ходила молва, что Пушкин пал жертвой тайной интриги, по личной вражде, умышленно возбудившей его ревность; деятелями же были люди высшего слоя общества.[259]

*[А. Н. Муравьев. «Знакомство с русскими поэтами». Киев, 1871 г., стр. 22–23]*

Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии. Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное

движение. На Мойке, у Певческого моста (Пушкин жил тогда в первом этаже старинного дома княгини Волконской),[260] не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: «К Пушкину», — и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта.[261] Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви; стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались всеми.

*[Панаев, стр. 156–157]*

В январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он в один присест написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 739]*

**НА СМЕРТЬ ПОЭТА**[262]

**Отмщенья, государь, отмщенья!**
**Паду к ногам твоим:**
**Будь справедлив и накажи убийцу,**
**Чтоб казнь его в позднейшие века**
**Твой правый суд потомству возвестила,**
**Чтоб видели злодеи в ней пример.**
**(Из трагедии).**[263]

Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде — и убит…
Убит!!!.. к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы решился приговор.
Не вы ль сперва так долго гнали
Его свободный, чудный дар
И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар?..
Что ж? Веселитесь: он мучений
Последних перенесть не мог;
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар: спасенья нет.
Пустое сердце бьется ровно, —
В руке не дрогнул пистолет…
И что за диво? Издалека,
Подобно сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;[264]
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой закон и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что́ он руку поднимал!..
И он погиб и взят могилой,
Как тот певец, неведомый и милой,
Добыча ревности немой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.[265]
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный,
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным, —
Он, с юных лет постигнувший людей?[266]
И, прежний сняв венок, другой венок, терновый,
Увитый лаврами, надели на него;
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом бесчувственных невежд,
И умер он с глубокой жаждой мщенья
С досадой тайною обманутых надежд!
Замолкли звуки дивных песен,

Не раздаваться им опять;
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

* * *

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона:
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью —
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.[267]

*М. Лермонтов*
*28 января 1837.*[268]
*[Висковатый. Лермонтов «На смерть А. С. Пушкина» По подлинным документам. «Вестник Европы», 1887 г., т. I, стр. 345–347]*

[Мы] с Глинкою, оба полные дум о Пушкине… выйдя из-под ворот [дома, в котором скончался Пушкин]… пошли рядом, имея одну дорогу.

— У меня в кармане, — сказал Глинка, любивший тщеславиться тем, что он достает прежде многих различные стихи, пользовавшиеся рукописной славой, — прелестные стихи, которые вчера только ночью написал один лейб-гусар, тот самый Лермонтов, которого маленькая поэмка «Хаджи Абрек» и еще кое-какие стишки были напечатаны в «Библиотеке для Чтения» и которые тот, чьи останки мы сейчас видели, признавал блестящими признаками высокого таланта. Судьбе угодно было, чтобы этот Лермонтов оправдал слова бессмертного поэта и

написал на его кончину стихи высокого совершенства. Хотите, я вам их прочту?

— Сделайте одолжение, прочтите, Владимир Сергеевич, — сказал я, — да только как же читать-то на морозе? А вот ведь мы в двух шагах от кондитерской Вольфа (у Полицейского моста в доме Котомина), зайдемте туда, велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами.

— Ловко ли будет, — заметил мой собеседник, — читать эти стихи в публичном месте? Впрочем, в них нет ничего такого, что могло бы произвести в каком-нибудь мало-мальски разумном мушаре[269] злую мысль сделать на нас донос. В них лишь выражается резко и сильно та скорбь, которую чувствует каждый из нас по случаю этой несчастной катастрофы, вместе с гневом на общество, не умевшее защитить поэта от безвыходной случайности, а также и на бессовестного иноземца, дерзнувшего пустить роковую пулю не на воздух, а в сердце великого поэта.

— Ну, так что ж, — заметил я, — вы мастерски читаете, прочтите, Бога ради, мне эти стихи, которые я тотчас там же и спишу.

Мы вошли в кондитерскую, где встретили двух-трех знакомых нам молодых людей и между ними добрейшего барона Егора Федоровича Розена, что-то декламировавшего посреди кучки военной и статской молодежи…

Мы с Глинкой удалились в заднюю комнату, где нам был подан кофе и где Глинка очень хорошо прочел мне известное, а тогда только-что явившееся и расходившееся в рукописи стихотворение на смерть Пушкина, оканчивавшееся тогда словами: «И на устах его печать».

Прослушав с наслаждением эти стихи, я тотчас достал в кондитерской же перо, бумаги, чернил и быстро списал с стихов этих копию.

*[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1813–1816]*

Несколько дней после этого дня, когда уже А. И. Тургенев отвез на почтовых тело Пушкина в монастырь Святые Горы, подле его родового имения в Псковской губернии, начали по городу ходить еще совершенно новые стихи Лермонтова, в дополнение к первым и начинавшиеся словами: «А вы, надменные потомки!..» Стихи эти жадно списывались друг у друга, но мне как-то никак не удалось их иметь в копии, хотя я слышал их из уст многих, но, как нарочно, все из уст таких людей, которых не мог заставить их себе продиктовать.

*[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1816]*

2 февраля [1837]

…Стихи Лермонтова [На смерть Пушкина] прекрасные…

*[Из дневника А. И. Тургенева. П. Е. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина», 1928 г., стр. 293]*

Спустя несколько месяцев после моего поступления в училище Пушкин убит был на дуэли. Это было тогда событие, взволновавшее весь Петербург, даже и наше училище; разговорам и сожалениям не было конца, а проникшее к нам тотчас же, как и всюду, тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром, в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе: «А вы, толпою жадною стоящие у трона» и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, — так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление. Разве что лет за 20 перед тем «Горе от ума».

*[В. В. Стасов. «Училище правоведения сорок лет тому назад» (в 1836–1842 гг.), «Русская Старина», 1881 г., кн. 2, стр. 410–411]*

По возвращении моем в Петербург я скоро был сделан столоначальником [Департамента Государственных Имуществ]…

Другим столоначальником в том же отделении был Раевский, кажется, сам ничего не написавший, но имевший значительные литературные связи. Был ли он родственник Лермонтову, или однокашник по месту образования, или, наконец, просто земляк, я не знаю; но только в то время они жили вместе с Лермонтовым. Я весьма часто бывал у них и, конечно, не мог предвидеть, что этот некрасивый, мало-симпатичный офицерик, так любивший распевать тогда не совсем скромную песню, под названием «поповны», сделается впоследствии знаменитым поэтом. Этот Раевский постоянно приносил в департамент поэтические изделия этого офицерика. Я живо помню, что на меня навязали читать и выверять «Маскарад», который предполагали еще тогда поставить на сцену. Точно так же помню один приятельский вечер, куда Раевский принес только что написанные Лермонтовым стихи на смерть Пушкина, которые и переписывались на том же вечере в несколько рук и за которые

вскоре Лермонтов отправлен на Кавказ, а Раевский, кажется, в Саратовские или Астраханские степи, где и приютился у какого-то хана в качестве секретаря…[270]

*[Из записок В. А. Инсарского. «Русский Архив», 1873 г., кн. 1, стр. 525–528]*

Командующий отдельным Гвардейским корпусом, Генерал-Адъютант Бистром, в дополнение записи от сего числа за № 78, имеет честь препроводить при сем к Его Сиятельству Графу Александру Христофоровичу стихи, писанные корнетом Л. Г. Гусарского полка Лермантовым, полученные сего числа от Генерал-Адъютанта Клейнмихеля.

[Пометки карандашом:]

П. Ф-чу Вейм[арну] всё препр. к Клейнм[ихелю].

Показать Ал. Ил. не найдет ли?

№ 79

22 февраля 1837

Его Сиятельству графу

А. Х. Бенкендорфу.

Поздно вечером приехал ко мне Лермонтов и с одушевлением прочел свои стихи, которые мне очень понравились. Я не нашел в них ничего особенно резкого, потому что не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта. Стихи сии ходили в двух списках по городу: одни с прибавлением, а другие без него, и даже говорили, что прибавление было сделано другим поэтом, но что Лермонтов благородно принял это на себя. Он просил меня поговорить в его пользу Мордвинову,[271] и на другой день я поехал к моему родичу. Мордвинов был очень занят и не в духе. «Ты всегда с старыми вестями, — сказал он, — я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу,[272] и мы не нашли в них ничего предосудительного». Обрадованный такой вестью, я поспешил к Лермонтову, чтобы его успокоить, и, не застав дома, написал ему от слова до слова то, что сказал мне Мордвинов. Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять просил моего заступления, потому что ему грозит опасность. Долго ожидая меня, написал он, на том же листке, чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной, при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока:

Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты цвела, где ты росла?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?.. и проч.

Меня чрезвычайно тронули эти стихи, но каково было мое изумление вечером, когда флигель-адъютант Столыпин[273] сообщил мне, что Лермонтов уже под арестом. Случилось мне на другой день обедать у Мордвинова; за столом потребовали его к гр. Бенкендорфу; через час он возвратился и, с крайним раздражением, сказал мне: «Что ты на нас выдумал! Ты сам будешь отвечать за свою записку!» Оказалось, что когда Лермонтов был взят под арест, генерал Веймарн,[274] исполнявший должность гр. Бенкендорфа за его болезнью, поехал опечатать бумаги поэта и между ними нашел мою записку. При тогдашней строгости это могло дурно для меня кончиться; но меня выручил из беды бывший начальник штаба жандармского корпуса генерал Дубельт.[275] Когда Веймарн показал ему мою записку, уже пришитую к делу, Дубельт очень спокойно у него спросил: что он думает о стихах Лермонтова, без конечного к ним прибавления? Тот отвечал, что в четырех последних стихах и заключается весь яд. — «А если Муравьев их не читал, точно так же, как и Мордвинов, который ввел его в такой промах?» — возразил Дубельт. Веймарн одумался и оторвал мою записку от дела. Это меня спасло, иначе я совершенно невинным образом попался бы в историю Лермонтова. Ссылка его на Кавказ наделала много шуму; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения.

*[А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871 г., стр. 23–25]*

Нетрудно представить себе, какое впечатление строфы «На смерть Пушкина» произвели в публике, но они имели и другое действие. Лермонтова посадили под арест в одну из комнат верхнего этажа здания Главного Штаба, откуда он отправился на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Раевский попался тоже под сюркуп,[276] его с гауптвахты, что на Сенной, перевели на службу в Петрозаводск; на меня же полковник Кривопишин, производивший у нас домашний обыск, не удостоил обратить, по счастию, никакого внимания, и как я, так и тщательно списанный экземпляр подвергнувшихся гонению стихов остались невредимы.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 740]*

Когда Пушкин был убит, получил я рукописные стихи на эту

кончину, Губера и Лермонтова. Известно, что пьеса последнего произвела вскоре громкий скандал, и автору готовилась печальная участь. Бабушка Лермонтова Елисавета Алексеевна была в отчаянии и с горя говорила, упрекая себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературе; вот до чего он довел его».

*[Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 384}*

## *ПРИКАЗ*

По отдельному Гвардейскому Корпусу
В С.-Петербурге
28-го Февраля 1837 года.
№ 33.
I

Дошло до сведения моего, что некоторые Г.г. Офицеры войск за городом расположенных, прибыв в Столицу, проживают здесь весьма значительное время, без предварительного моего разрешения. В числе сих Офицеров оказались Л. Г. Гусарского полка Поручик Граф Алопеус и Корнет Лермантов.[277]

На сделанный же Командующему Л. Г. Гусарским полком Полковнику Соломирскому запрос: с чьего дозволения и по какому поводу находились здесь помянутые Офицеры? — он отозвался, что Офицеры сии не испрашивали у него разрешения на проживание в Столице и он такового им не давал; что хотя из них Граф Алопеус довольно часто езжал в столицу, по случаю приглашения на балы, но всегда с его разрешения и что наконец оба они, во всех обязанностях службы были всегда на лицо и исправны.

А как мне достоверно известно, что Поручик Граф Алопеус и Корнет Лермантов проживали здесь долгое время почти постоянно, и как по тому отзыв Полковника Соломирского показывает ясно, что он не только не имел надлежащего наблюдения, дабы Г.г. Офицеры находились всегда в распоряжении своего полка и без должного дозволения не выезжали из оного, но даже и сам не знал о проживании сказанных Офицеров в Столице, но за допущение сего послабления, влекущего за собою неизбежно уклонение Г.г. Офицеров от службы, — я нахожусь в обязанности объявить ему по Корпусу строжайший выговор…[278]

Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках, с помощью вина, печной сажи и

спички, написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива»; «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»; «Кто б ни был ты, печальный мой сосед» и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу «Но окно тюрьмы высоко».[279]

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 740]*

Против 3 Адмиралтейской части в доме Кн. Шаховской

Андрею Иванову.[280]

Андрей Иванович!

Передай тихонько эту записку[281] и бумаги Мишелю. Я подал эту записку Министру. Надобно чтобы он отвечал согласно с нею и тогда дело кончится ничем.

А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не можешь завтра же поутру, передать то через Афанасия Алексеевича.[282]

И потом непременно сжечь ее.[283]

*[Записка С. А. Раевского к камердинеру, Лермонтова от 21 февраля 1837 г., «Дело о непозволительных стихах и т. д.». Лерм. музей, отд. IV, № 11]*[284]

*Объяснение губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина*

Бабка моя, Киреева, во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных, с девицею Е. А. Столыпиною, впоследствии по мужу Арсеньевою (дамою 64-х лет, *родною бабушкою корнета Лермонтова*, автора стихов на смерть Пушкина).

Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими, Арсеньева крестила меня в г. Пензе в 1809 году и постоянно оказывала мне родственное расположение, по которому — и потому что я, видя отличные способности в молодом Лермонтове, коротко с ним сошелся — предложены были в доме их стол и квартира.

Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, в особенности последние 3 месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал.

В генваре Пушкин умер. Когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре (месяцы, в которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинял), — то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи, которые оканчивались словами:

И на устах его печать.

Среди них слова: *«не вы ли гнали* его свободный чудный дар» означают безыменные письма, что совершенно доказывается вторыми двумя стихами:

И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар.

Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал от отзыва журналиста Краевского, который сообщил их В. А. Жуковскому, князьям Вяземскому, Одоевскому и проч. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствия, и пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их его императорскому высочеству государю наследнику и что он изъявил высокое свое одобрение.

Успех этот радовал меня по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову — из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением 12[16], стихов, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих русскому суду — дипломатов и иностранцев, а происхождение их есть, как я убежден, следующее.

К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин. Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностью, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя и даже осыпали милостями, и что затем об его строптивости мы не должны уже судить.

Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, — и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккерн, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому.

Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: «Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд».

Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор. Несколько времени это прибавление лежало без движения, потом, по неосторожности, объявлено об его существовании и дано для переписывания. Чем более говорили Лермонтову и мне про него, что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры.

Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, ибо их можно перетолковать по желанию, но сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывалась вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если б считала это нужным, и что государь император осыпал семейство Пушкина милостями, след[овательно] дорожил им, — положили, что, стало быть, можно было бранить врагов Пушкина, оставили было итти дело так, как оно шло, но вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлениями потому, что бабку его Арсеньеву, и не знавшую ничего о прибавлении, начали беспокоить общие вопросы об ее внуке, и что она этого пожелала.

Вот все, что по совести обязан я сказать об этом деле.

Обязанный дружбою и одолжениями Лермонтову и видя, что радость его очень велика от соображения, что он в 22 года от роду сделался всем известным, я с удовольствием слушал все приветствия, которыми осыпали его за экземпляры.

Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло. Лермонтову, по его состоянию, образованию и общей любви, ничего не остается желать, разве кроме славы. Я трудами и небольшим имением могу также жить не хуже моих родителей. Сверх того, оба мы русские душою и еще более верноподданные: вот еще доказательство, что Лермонтов неравнодушен к славе и чести своего государя.

Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование противу французской безнравственности, их палат и т. п., сравнивая государя императора с благороднейшими героями древними, а журналистов с наемными клеветниками, оканчивает словами:

Так в дни воинственные Рима,
Во дни торжественных побед,
Когда с триумфом шел Фабриций
И раздавался по столице
Народа благодарный клик, —
Бежал за светлой колесницей

Один наемный клеветник.

Начала стихов не помню, — они писаны, кажется, в 1835 году — и тогда я всем моим знакомым раздавал их по экземпляру с особенным удовольствием.

Губернский секретарь Раевский.[285]

21 февраля 1837.

*Объяснение корнета лейб-гвардии*
*Гусарского полка Лермонтова*

Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою, — они говорили также, что Пушкин негодный человек, и прочее. Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения.

Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно осуждаемого — зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов. Когда я стал спрашивать: на каких основаниях так громко они восстают против убитого? — мне отвечали, вероятно, чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. — Я удивился; надо мною смеялись. Наконец, после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо

уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всем угнетенным; но тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, — некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные, невыгодные для него, слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них назначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредном (как я прежде мыслил и ныне мыслю) для других еще более, чем для себя. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением, — ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Прежде я писал разные мелочи, быть может, еще хранящиеся у некоторых моих знакомых. Одна восточная повесть, под названием «Хаджи Абрек», была мною помещена в «Библиотеке для Чтения»; а драма «Маскарад», в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена.

Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, — и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал, и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог во время их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом Божим.

Корнет лейб-гвардии Гусарского полка
Михаил Лермантов.[286]

[С.-Петербург. Март 1837]

Милый мой друг Раевский! Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я

узнал, что я виной твоего несчастия, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь.[287] Дубельт говорит, что Клейнмихель[288] тоже виноват. Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрусь, то меня в солдаты… Я вспомнил бабушку… и не смог. Я тебя принес ей в жертву… Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь еще достойным своей дружбы… Кто б мог ожидать!.. Я к тебе заеду непременно. Сожги эту записку. Твой M. L.

*[Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому. Акад. изд., т. IV, стр. 326]*

… Я всегда был убежден, что Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу в Петербурге в 1837 г. Объяснения, которые Михаил Юрьевич был вынужден дать своим судьям, допрашивавшим о мнимых соучастниках в появлении стихов на смерть Пушкина, составлены им вовсе не в том тоне, чтобы сложить на меня какую-нибудь ответственность, и во всякое другое время не отозвались бы резко на ходе моей службы; но к несчастию моему и Мишеля, я был тогда в странных отношениях к одному из служащих лиц. Понятия юриста студента Московского университета часто вовлекали меня в несогласия с окружавшими меня служаками, и я, зная свою полезность, не раз смело просил отставки. Мне уступали, и я оставался на службе при своих убеждениях; но когда Лермонтов произнес перед судом мое имя, служаки этим воспользовались, аттестовали меня непокорным и ходатайствовали об отдаче меня под военный суд, рассчитывая, вероятно, что во время суда я буду усерден и покорен, а покуда они приищут другого — способного человека. К счастию, ходатайство это не было уважено, а я просто без суда переведен на службу в губернию; записываю это для отнятия права упрекать память благородного Мишеля. Самые же стихи его были отражением мнений не одного лица, но весьма многих, и вот как они составились. Убийство А. С. Пушкина так глубоко потрясло грамотные слои общества, что почти повсюду рассматривали вопрос, как будет наказан Дантес. И тогда как иные желали, чтобы иностранец, убивший в поэте часть славы русского народа, был, как лицо, состоящее на русской службе, наказан по русским законам, другие предсказывали, что Дантес, как иностранец и аристократ, останется ненаказанным, несмотря на наши законы. Большая половина известной элегии, в которой Мишель, после горячего спора в нашей квартире, высказал свой образ мыслей,

написана им была без поправок в несколько минут (Мишель почти всегда писал без поправок) и как сочинение было современно, то и разнеслось очень быстро. Повторяю, мне не в чем обвинять Мишеля.

*[Из письма Раевского к Шан-Гирею от 8 мая 1860 года. А. П. Шан-Гирей, стр. 742–743]*

Министерство Военное
—
Департамент Инспекторский
—
Канцелярия
Стол 2
—
Санктпетербург
25 февраля 1837
№ 100
*Секретно*

ГОСПОДИНУ ШЕФУ ЖАНДАРМОВ, КОМАНДУЮЩЕМУ ИМПЕРАТОРСКОЮ ГЛАВНОЮ КВАРТИРОЮ

Государь Император, Высочайше повелеть соизволил: Л. Гв. Гусарского полка, Корнета Лермантова, за сочинение известных Вашему Сиятельству стихов, перевесть тем же чином, в Нижегородский Драгунский полк; а Губернского Секретаря Раевского, за распространение сих стихов, и в особенности, за намерение тайно доставить сведение Корнету Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, — а потом отправить в Олонецкую губернию, для употребления на службу, — по усмотрению тамошнего Гражданского Губернатора.

О таковом Высочайшем повелении уведомляя вас, Милостивый Государь, имею честь присовокупить, что должное по оному распоряжение сделано.

Подписал: Военный Министр Граф Чернышев.

Скрепил: Дежурный Генерал Клейнмихель.

Верно: Надворный Советник [подпись].[289]

[С.-Петербург. Март. 1837]

Любезный друг! Я видел нынче Краевского;[290] он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Будь уверен, что все, что бабушка может, она сделает… Я теперь почти здоров — нравственно… Была тяжелая минута, но прошла. Я боюсь, что будет с твоей хандрой? Если б я мог только с тобой видеться! Как только позволят мне выезжать, то вторично приступлю к

коменданту. Авось позволит проститься. Прощай, твой навеки *M.L.*

*[Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому. Акад. изд., т. IV, стр. 326]*

[С.-Петербург. Март. 1837]

Любезный друг Святослав! Ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье; меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай Бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопочет у Дубельта, а Афанасий Алексеевич[291] также. Что до меня касается, то я заказал обмундировку и скоро еду. Мне комендант, я думаю, позволит с тобой видеться, — иначе я и так приеду. Сегодня мне прислали сказать, чтоб я не выезжал, пока не явлюсь к Клейнмихелю, ибо он теперь и мой начальник <……> Я сегодня был у Афанасья Алексеевича, и он меня просил не рисковать без позволения коменданта и сам хочет просить об этом. Если не позволят, то я все приеду. Что Краевский, на меня пеняет за то, что и ты пострадал за меня? Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то, право, меня бы огорчило… Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес — восток. Меня утешают словами Наполеона: les grands noms se font à l'Orient.[292] Видишь: всё глупости. Прощай, твой навсегда *M. Lermontoff*.

*[Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому. Акад. изд., т. IV, стр. 326–327]*

Его императорское величество в присутствии своем в Санктпетербурге февраля 27 дня 1837 года,

соизволил отдать следующий

***ПРИКАЗ***

. . . . .

ПО КАВАЛЕРИИ

переводятся: лейб-гвардии Гусарского полка корнет Лермантов в Нижегородский драгунский полк прапорщиком.[293]

Подписал военный министр генерал-адъютант граф Чернышев.[294]

В одно воскресенье, уже в конце поста, кажется на Вербной, я обедал у Петра Никифоровича Беклемишева. В числе гостей, как теперь помню, был молодой, очень молодой семеновский офицер

Линдфорс с золотым аксельбантом Военной академии. Этот молодой человек с восторгом говорил о Пушкине и в юношеском увлечении своем уверял, что непременно надо Дантеса за убийство славы России не просто выслать за границу, как это решили, а четвертовать, т. е. предать такой казни, которая не существует с незапамятных времен и пр. При этом он из стихов Лермонтова бойко и восторженно читал те несколько стихов, в которых так достается Дантесу. Затем он сказал, что Лермонтов написал еще 16 новых стихов, обращенных к нашей бездушной и эгоистической аристократии, которые он, Линдфорс, знает наизусть. Я и некоторые другие бывшие тут молодые люди стали просить Линдфорса продиктовать нам эти стихи. Не успев хорошо заучить эти стихи, Линдфорс сбивался, и никто из нас не мог ничего записать толково. Само собой разумеется, что весь этот разговор и эти тирады читаемых рукописных стихов совершались не в гостиной и не в столовой, а до обеда, на половине молодого Беклемишева…[295]

В то время как бесновался Линдфорс, Синицын, всегда спокойный и сдержанный, шепнув мне, что он имеет кое-что мне сказать наедине, вышел со мною в пустую тогда бильярдную, и чтоб никто не подумал, что мы секретничаем, предложил мне, проформы ради, шарокатствовать, делая вид, будто играем партию.

— Я с намерением, — сказал Синицын, — удалил вас от того разговора, какой там завязался между молодыми людьми, еще не знающими, что случилось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, помнится, в сентябре месяце вы встретили на моей лестнице. Дело в том, что он написал эти дополнительные 16 стихов вследствие какого-то горячего спора с своим родственником. Стихи эти у меня будут сегодня вечером в верном списке, и я их вам дам списать даже сегодня же вечером, потому что здесь теперь нам долго гостить не придется: после обеда все разъедутся, так как хозяева званы на soirée de clôture[296] к Опочининым. Мы же с вами, ежели хотите, поедем ко мне, и у меня вы и прочтете, и спишете эти стихи, да еще и познакомитесь с автором их, добрейшим нашим «Майошкой», и с его двоюродным братом Юрьевым. Оба они обещали мне провести у меня сегодняшний вечер и рассказать про всю эту историю с этими 16 стихами, ходившими несколько уже времени по городу, пока не подвернулись под недобрый час государю императору, который так за них прогневался на Лермонтова, что, как водится у нас, тем же корнетским чином перевел его в нижегородские драгуны на Кавказ с приказанием ехать туда немедленно. Но старуха бабушка Лермонтова, всеми

уважаемая Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожденная Столыпина), успела упросить, чтобы ему предоставлено было остаться несколько деньков в Петербурге, и вот вечер одного из этих дней, именно сегодняшний, «Майошка» обещал подарить мне. Стихи Лермонтова, не только добавочные эти шестнадцать, но и все стихотворение на смерть Пушкина, сделались контрабандой и преследуются жандармерией, что, впрочем, не только не мешает, но способствует весьма сильному распространению копий. А все-таки лучше не слишком-то бравировать, чтоб не иметь каких-нибудь неудовольствий. Вот причина, почему я позволил себе отвлечь вас от того кружка из половины Николая Петровича.

Я дружески поблагодарил Афанасья Ивановича за его внимание, и мы вместе перешли в столовую, где какой-то сенатор… рассказывал очень положительно о разных городских новостях и, между прочим, о том, что один из гусарских офицеров, недовольный тем, что будто бы Пушкин пал жертвою каких-то интриг, написал «самые революционные стихи» и пустил их по всему городу; он достоин был за это надеть белую лямку; но вместо того, что «сорванец этот» заслуживал, государь, по неисчерпаемому своему милосердию, только перевел его тем же чином в армию на Кавказ. Пылкий Линдфорс не утерпел и стал было доказывать превосходительному звездоносцу из немцев, что стихи вовсе не «революционные», и, в доказательство справедливости своих слов, задекламировал было:

> А вы, надменные потомки
> Известной подлостью прославленных отцов! —

как вдруг почтенный Петр Никифорович,[297] громко засмеявшись, остановил порыв юноши и вперил в него свои строгие глаза, хотя все лицо его для всех сохраняло вид веселости.

— Помилуй Бог, — воскликнул он по-суворовски, — стихи, стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди не поэтические, а я, хозяин-хлебосол, люблю, чтобы гости кушали во здравие мою хлеб-соль так, чтобы за ушами пищало. А тут вдруг ты со стихами: все заслушаются, и никто не узнает вполне вкуса этого фрикасе из перепелок, присланных мне замороженными из Воронежских степей.

И тотчас хозяин-хлебосол, перебив весь разговор о новостях и о контрабандных стихах, самым подробным образом стал объяснять трехзвездному сенатору и дамам все высокие достоинства перепелов и самый способ их ловли соколами.

*[В. П. Бурнашев. «Русский Архив»-, 1872 г., № 9, стр. 1816–1820]*

В квартире Афанасия Ивановича [Синицына] нас встретил товарищ его, однокашник по школе, прапорщик лейб-гвардии Драгунского, расположенного в Новгородской губернии, полка Николай Дмитриевич Юрьев, двоюродный брат и закадычный друг Лермонтова, превосходный малый, почти постоянно проживавший в Петербурге, а не в месте расположения своего полка, на скучной стоянке в новгородских военных поселениях. Приезжая в столицу, Николай Дмитриевич обыкновенно нигде не останавливался, как у своего кузена и друга «Майошки», который, хотя и служил в царскосельских лейб-гусарах, но почти никогда не был в Царском, а пребывал постоянно у бабушки Елизаветы Алексеевны.

— А что же Майошка? — спросил Синицын Юрьева, познакомив нас взаимно, после чего Юрьев отвечал:

— Да что, брат Синицын, «Майошка» в отчаянии, что не мог сопутствовать мне к тебе; бабушка не отпускает его от себя ни на один час, потому что на днях он должен ехать на Кавказ за лаврами, как он выражается.

— Экая жалость, что «Майошка» изменничает, — сказал Синицын. — А как бы хотелось на последках от него самого услышать рассказ о том, как над ним вся эта беда стряслась.

— Ну, — заметил Юрьев, — ты, брат Синицын, видно, все еще не узнал вполне нашего «Майошку»: ведь он очень не податлив на рассказы о своей особе, да и особенно при новом лице.

— Это новое лицо, — объяснил Синицын, — приглашен он мною и есть мой искреннейший приятель, хотя и не наш брат военный, и при В[ладимире] П[етровиче] можно нам беседовать нараспашку…

В это время лакей Синицына, в денщичьей форме конно-гвардейского полка, состоявшей в то время из синего вицмундира с серыми рейтузами, украшенными красными лампасами, но в белых бумажных перчатках, подавал нам чай на довольно большом серебряном подносе во вкусе рококо, с такою же сахарницею и сухарницею.

— Какой же ты, посмотрю я, аристократ-сибарит, — улыбался Юрьев, принимая и ставя на стол покрытый ковровою салфеткою свой стакан чая. — Какое это все у него историческое серебро! Вот увидела бы бабушка Елизавета Алексеевна, тотчас поставила бы тебя нам с Мишей в образец порядочности, любви к комфорту и уменью уважать преданья старины глубокой. А мы, правда, порядком и строгостью быта нашего с кузеном не отличаемся.

— Ну еще ты, Николай Дмитриевич, — заметил Синицын, — так себе, не совсем беспорядочный человек, — по крайней мере ежели не бережлив с своими вещами, то не портишь чужих; а уж «Майошка» просто бедовый. Был у меня это он как-то раз осенью… Приехал ко мне он в ту пору с уплатою каких-то ста рублей, которые когда-то в школе я одолжил «Курку». А «Майошка» вздумал принимать на свою шею некоторые из долгов нашего длинноносого князька. Так, право, хоть я и не транжир, а охотно забыл бы об этих деньгах, лишь бы «Майошка» не проказил у меня так, как он тогда тут развозился, приводя у меня весь мой мобилье в содом и гомор.

— Ха! Ха! Ха! — хохотал Юрьев, — узнаю его: у него преглупая страсть, за которую уж мы с ним не раз спорили дружески, страсть приводить в беспорядок все то, что носит отпечаток, как у тебя, дружище, твой мобилье, щепетильности и педантичности…

— А теперь, Юрьев, — приставал Синицын, — идем к цели: расскажи нам всю суть происшествия со стихами, которые были причиною, что наш «Майошка» из лейб-гусаров так неожиданно попал в нижегородские драгуны тем же чином, т. е. из попов в дьяконы, как говорится.

— К твоим услугам, — отозвался Юрьев, закуривая трубку на длинном чубуке, поданном ему казачком Синицына, который сам однако никогда ничего не курил, но для гостей держал всегда табак и чубуки в отличном порядке, соблюдаемом этим 14-летним постреленком, прозванным чубукши-паша.

— Дело было так, — продолжал Юрьев, — затянувшись и обдав нас густым облаком ароматного дыма. — Как только Пушкин умер, Лермонтов, как и я, как я думаю, все мы, люди земли не немецкой, приверженец и обожатель поэзии Пушкина, имел случай, незадолго до этой роковой катастрофы, познакомиться лично с Александром Сергеевичем,[298] и написал известное теперь почти всей России стихотворение на смерть Пушкина, стихотворение, наделавшее столько шума и, несмотря на то, что нигде не напечатанное, поставившее вдруг нашего школьного поэта почти в уровень с тем, кого он в своих великолепных стихах оплакивал. Нам говорили, что Василий Андреевич Жуковский относился об этих стихах с особенным удовольствием и признал в них не только зачатки, но все проявление могучего таланта, а прелесть и музыкальность версификации признаны были знатоками явлением замечательным, из ряду вон. Князь Владимир Федорович Одоевский сказал в разговоре с бабушкой, где-то в реюньоне, что многие выражают только сожаление о том, зачем энергия мысли в

этом стихотворении не довольно выдержана, чрез что заметна та резкость суждений, какая слишком рельефирует самый возраст автора. Говорят (правда ли, нет ли, не знаю), это не что иное как придворное повторение мнения самого императора, прочитавшего стихи со вниманием и сказавшего будто бы: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина!» На днях, еще до катастрофы за прибавочные стихи, наш Шлиппенбах был у бабушки и рассказывал ей, что его высочество великий князь Михаил Павлович отозвался в разговоре с ним о Лермонтове так: «Ce poète en herbe va donner de beaux fruits».[299] А потом, смеясь, прибавил: «Упеку ж его на гауптвахту, ежели он взводу вздумает в стихах командовать, чего доброго!» В большом свете вообще выражалось сожаление только о том, что автор стихов слишком будто бы резко отозвался о Дантесе, выставив его ничем иным, как искателем приключений и почти chevalier d'industrie.[300] За этого Дантеса весь ваш бомонд, особенно же юбки. Командир лейб-гусаров Х[омутов] за большим званым ужином сказал, что, не сиди Дантес на гауптвахте и не будь он вперед назначен к высылке за границу с фельдъегерем, кончилось бы тем, что как Пушкин вызвал его, так он вызвал бы Лермонтова за эти «ругательные стихи». А по правде, что в них ругательного этому французишке, который срамил собою и гвардию, и первый гвардейский кавалерийский полк, в котором числился?

«Такой пламенный человек, как Лермонтов, не на шутку озлился, когда до него стали справа и слева доходить слухи о том, что в высшем нашем обществе, которое русское только по названию, а не в душе и не на самом деле, потому что оно вполне офранцузено от головы до пяток, идут толки о том, что в смерти Пушкина, к которой все эти сливки высшего общества относятся крайне хладнокровно, надо винить его самого, а не те обстоятельства, в которые он был поставлен, не те интриги великосветскости, которые его доконали, раздув пламя его и без того всепожирающих страстных стремлений. Все это ежедневно раздражало Лермонтова, и он, всегда такой почтительный к бабушке нашей, раза два с трудом сдерживал себя, когда старушка говорила при нем, что покойный Александр Сергеевич не в свои сани сел, и, севши в них, не умел ловко управлять своенравными лошадками, мчавшими его и намчавшими, наконец, на тот сугроб, с которого одна дорога была только в пропасть. С старушкой нашей Лермонтов, конечно, не спорил, а только кусал ногти и уезжал со двора на целые сутки. Бабушка заметила это и, не желая печалить своего Мишу, ни слова уже не говорила при нем о светских толках; а эти толки подействовали на Лермонтова до того сильно, что недавно он занемог даже.

Бабушка испугалась, доктор признал расстройство нервов и прописал усиленную дозу валерьяны; заехал друг всего Петербурга, добрейший Николай Федорович Арендт[301] и, не прописывая никаких лекарств, вполне успокоил нашего капризного больного своею беседой, рассказав ему всю печальную эпопею тех двух с половиною суток с 27 по 29 января, которые пострадал раненый Пушкин. Он всё, всё, всё, что только происходило в эти дни, час в час, минута в минуту, рассказал нам, передав самые заветные слова Пушкина. Наш друг еще больше возлюбил своего кумира после этого откровенного сообщения, обильно и безыскусственно вылившегося из доброй души Николая Федоровича, не умевшего сдержать своих слов.

Лермонтов находился под этим впечатлением, когда явился к нам наш родня Н. А. С.,[302] дипломат, служащий под начальством графа Нессельроде, один из представителей и членов самого что ни есть нашего высшего круга, но, впрочем, джентльмен во всем значении этого слова. Узнав от бабушки, занявшейся с бывшими в эту пору гостями, о болезни Мишеля, он поспешил наведаться об нем и вошел неожиданно в его комнату, минут десять по отъезде Николая Федоровича Арендта. По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, С. расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина; но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после того, что было между ними, не мог не стреляться. Honneur oblige![303]… Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцуженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее, во имя любви своей к славе России, и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. С. засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор, и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но „Майошка“ наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро по нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем С., заметив это, сказал, улыбаясь и полушепотом: „la poésie enfante!“;[304] потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: „adieu, Michell“, но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на С. и бросил ему: „Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда“. С. не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро,

сказав только: „Mais il est fou à lier“.[305] Четверть часа спустя, Лермонтов, переломавший столько карандашей, пока тут был С., и потом писавший совершенно спокойно набело пером то, что в присутствии неприятного для него гостя писано им было так отрывисто, прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь, начинаются словами: „А вы, надменные потомки!“ и в которых так много силы».

— Я отчасти знаю эти стихи, — сказал Синицын, — но не имею верной копии с них. Пожалуйста, Юрьев, ты, который так мастерски читаешь всякие стихи, прочти нам эти, «с чувством, с толком, с расстановкой», главное, «с расстановкой», а мы с В[ладимиром] П[етровичем] их спишем под твой диктант.

— Изволь, — отозвался Юрьев, — вот они. Мы тотчас вооружились листами бумаги и перьями, а Юрьев декламировал, повторяя каждый стих:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона —
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!
Но есть и Божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный суд: он ждет,
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
И вы напрасно тут прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.

Когда мы с Синицыным записали последний стих, то оба с неподдельным и искренним чувством выражали наш восторг к этим звучным и сильным стихам. Юрьев продолжал:

— Я тотчас списал с этих стихов, не выходя из комнаты Лермонтова, пять или шесть копий, которые немедленно развез к некоторым друзьям. Эти друзья, частью сами, частью при помощи писцов, написали еще изрядное количество копий, и дня через два или три почти весь Петербург читал и знал «дополнение к стихам Лермонтова на смерть Пушкина». Когда старушка бабушка узнала об этих стихах, то старалась всеми силами, нельзя ли как-нибудь, словно фальшивые ассигнации, исхитить их из

обращения в публике; но это было решительно невозможно: они распространялись с быстротой, и вскоре их читала уже вся Москва, где старики и старухи, преимущественно на Тверской, объявили их чисто революционерными и опасными. Прочел их и граф Бенкендорф, но отнесся к ним как к поэтической вспышке, сказал Дубельту: «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания: тогда слава их скоро померкнет; ежели же мы примемся за преследование и запрещение их, то хорошего ничего не выйдет, и мы только раздуем пламя страстей». Стихи эти читал даже великий князь Михаил Павлович и только сказал смеясь: «Эх, как же он расходился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?» Даже до нас доходили слухи, что великий князь, при встрече с Бенкендорфом, шепнул ему, что желательно, чтоб этот «вздор», как он выразился, не обеспокоил внимания государя императора. Одним словом, стихи эти, переписываемые и заучиваемые всеми повсюду, в высших сферах считались ребяческою вспышкою, а в публике, хотя и не громко, но признавались за произведение гениальное. Государь об них ничего не знал, потому что граф Бенкендорф не придавал стихам значения, пока дней пять или шесть назад был раут у графа Ф., где был и граф Бенкендорф в числе гостей. Вдруг к нему подходит известная петербургская болтунья и, как ее зовут, la lèpre de la société,[306] разносительница новостей, а еще более клевет и пасквилей по всему городу и, подойдя к графу, эта несносная вестовщица вдруг говорит: «А вы, верно, читали, граф, новые стихи на всех нас, и в которых la crème de la noblesse[307] отделаны на чем свет стоит?» — «О каких стихах вы говорите, сударыня?» — спрашивает граф. — «Да о тех, что написал гусар Лермонтов и которые начинаются стихами: „А вы, надменные потомки!“, т. е. ясно мы все, toute l'aristocratie russe».[308] Бенкендорф ловко дал тотчас другое направление разговору и столько же ловко постарался уклониться от своей собеседницы, которую, как известно, после всех ее проделок, особенно после ее попрошайничеств, нигде не принимают, кроме дома ее сестры, графини Ф.,[309] которая сама бедняжка в отчаянии от такого кровного родства. Однако после этого разговора на рауте граф Бенкендорф на другой же день перед отправле_нием своим с докладом к государю императору сказал Дубельту: «Ну, Леонтий Васильевич, что будет, то будет, а после того, что Х[итрова] знает о стихах этого мальчика Лермонтова, мне не остается ничего больше, как только сейчас же доложить об них государю». Когда граф явился к государю и начал говорить об этих стихах в самом успокоительном тоне, государь показал ему экземпляр их, сейчас

им полученный по городской почте, с гнусною надписью: «Воззвание к революции». Многие того мнения, что это работа de la lèpre de la société, которая, недовольная уклончивостью графа на рауте, чем свет послала копию на высочайшее имя в Зимний дворец, причем, конечно, в отделении городской почты в Главном почтамте поверенный дал вымышленный адрес, и концы в воду, но естественно не для жандармерии, которая имеет свое чутье. Как бы то ни было, государь был разгневан, принял дело серьезнее, чем представлял граф, и велел великому князю Михаилу Павловичу немедленно послать в Царское Село начальника штаба гвардии Петра Федоровича Веймарна для произведения обыска в квартире корнета Лермонтова.

«Веймарн нашел прежде всего, что квартира Лермонтова уже много дней не топлена, потому что сам хозяин ее проживает постоянно в Петербурге у бабушки. Начальник штаба делал обыск и опечатывал все, что нашел у Лермонтова из бумаг, не снимая шубы. Между тем дали знать Мише, он поскакал в Царское и повез туда с полною откровенностью весь свой портфель, в котором, впрочем, всего больше было, конечно, барковщины; но, однако, прискакавший из Царского фельдъегерь от начальника штаба сопровождал полкового адъютанта и жандармского офицера, которые приложили печати свои к бюро, к столам, к комодам в нашем апартаменте. Бабушка была в отчаянии; она непременно думала, что ее Мишеля арестуют, что в крепость усадят; однако все обошлось даже без ареста, только велено было ему от начальника штаба жить в Царском, занимаясь впредь до повеления прилежно царской службой, а не „сумасбродными стихами“. Вслед за этим сделано по гвардии строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры всех загородных полков отнюдь не смели отлучаться из мест их квартирования иначе как с разрешения полкового командира, который дает письменный отпуск, и отпуск этот офицер должен предъявлять в ордонанс-гаузе и в гвардейском штабе. Однако несколько дней спустя последовал приказ: „Л.-гв. Гус. полка корнет Лермонтов переводится прапорщиком в Нижегородский драгунский полк“. Сначала было приказано выехать ему из Петербурга через 48 часов, т. е. в столько времени, во сколько может быть изготовлена новая форма, да опять спасибо бабушке: перепросила, и кажется, наш „Майошка“ проведет с нами и Пасху. Теперь ведь Вербная неделя, ждать недолго».

— Бедный, жаль мне его, — сказал Синицын, — а со всем тем хотелось бы видеть его в новой форме: куртка с кушаком, шаровары, шашка через плечо, кивер гречневиком из черного барашка с огромным козырьком. Все это преуморительно сидеть

будет на нем.

— Не уморительнее юнкерского ментика, — заметил Юрьев, — в котором он немало-таки времени щеголял в школе. Но страшно забавен в этой кавказской форме Костька Булгаков!

— Как, разве и он угодил на Кавказ? — спросил Синицын, — для компании, что ли?

— О нет, он на Кавказ не назначен, — сказал Юрьев, — а только с этой кавказской формой Лермонтова учинил презабавную и довольно нелепую, в своем роде, штуку. Заезжает он на днях к нам и видит весь этот костюм, только что принесенный от портного, из магазина офицерских вещей. Тотчас давай примерять, на своей карапузой фигуре, куртку с кушаком, шашку на портупее через плечо и баранью шапку. Смотрится в зеркало и находит себя очень воинственным в этом наряде. При этом у него мелькает блажная мысль выскочить в этом переодеванье на улицу и, пользуясь отсутствием как Лермонтова, так и моим, глухой к убеждениям Вани,[310] садится на первого подвернувшегося у подъезда лихача и несется на нем по Невскому. Между тем «Майошка» ездил по своим делам по городу и на беду наехал у Английского магазина, где кое-что закупал, на великого князя Михаила Павловича, который остановил его и, грозя пальцем, сказал: «Ты не имеешь права щеголять в этой лейб-гусарской форме, когда должен носить свою кавказскую: об тебе давно уж был приказ». — «Виноват, ваше высочество, не я, а тот портной, который меня обманывает. Между тем по делам, не терпящим отлагательства, необходимо было выехать со двора», — был ответ Лермонтова. — «Смотри же, поторопи хорошенько твоего портного, — заметил великий князь, — он так неисполнителен, верно, потому, что, чего доброго, подобно тебе шалуну, строчит какую-нибудь поэму или оду. В таком роде я до него доберусь. Но, во всяком случае, чтобы я тебя больше не встречал в этой не твоей форме», — «Слушаю, ваше высочество, — рапортовал Лермонтов, — сегодня же покажусь в городе кавказцем». — «Сегодня, так, значит, экипировка готова?» — спросил великий князь. — «Постараюсь, в исполнение воли вашего высочества, из невозможного сделать возможное», — пробарабанил Лермонтов, и его высочество, довольный молодецким ответом, уехал. Он отправлялся в Измайловские казармы, почему кучер его, проехав часть Невского проспекта (встреча с Лермонтовым была против Английского магазина), повернул за Аничковым мостом на Фонтанку, и тут едва подъехали сани великого князя к Чернышеву мосту, от Садовой в перерез мимо театрального дома, стрелой несутся сани, и в санях кавказский драгун, лорнирующий внимательно окна театральной

школы. Великий князь, зная, что во всем Петербурге в это время нижегородского драгуна не находится кроме Лермонтова и удивляясь быстроте, с которою последний успел переменить костюм, велел кучеру догнать быстро летевшего нижегородского драгуна; но куда! у лихача был какой-то двужильный рысак, который мог бы, кажется, премии выигрывать на бегах, и баранья шапка мигом скрылась из глаз. Нечего было делать: великий князь оставил перегонку и отправился в Измайловские казармы, где в этот день был какой-то экстраординарный смотр. После смотра великий князь подозвал к себе подпоручика Ф., из наших подпрапорщиков, и спросил его, знает ли он квартиру Лермонтова, живущего у нашей бабушки Арсеньевой, велел ему ехать туда сейчас и узнать от него, как он успел так скоро явиться в новой кавказской форме близ Чернышева моста, тогда как не больше десяти минут его высочество оставил его у Полицейского моста; и о том, что узнает, донести тотчас его высочеству в Михайловском дворце. Измайловец к нам приехал в то время, как только Булгаков возвратился и, при общем хохоте, снимал кавказские доспехи, рассказывая, как, благодаря лихому рысаку своего извощика Терешки, он дал утечку от великого князя. Вследствие всего этого доложено было его высочеству, что Лермонтов, откланявшись ему, полетел к своему неисправному портному, у которого будто бы были и все вещи обмундировки и, напугав его именем великого князя, ухватил там все, что было готового, и поскакал продолжать свою деловую поездку по Петербургу, уже в бараньей шапке и в шинели драгунской формы. Великий князь очень доволен был исполнительностью Лермонтова, никак не подозревая, что он у Чернышева-то моста видел не Лермонтова, а шалуна Булгакова.

*[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1820–1837]*

[Мы] перешли в столовую, где нас ожидало преизрядное блюдо отбивных котлет. [Мы не отказывались] от лафита и д'икема, которыми гостеприимный хозяин наполнял усердно наши стаканы, восклицая, от времени до времени, с изъявлением сожаления, что между нами нет милого Миши Лермонтова, которого при постороннем и старшем офицере он не находил удобным величать по-юнкерски «Майошкой», от какого названия заметно воздерживался и Юрьев, его кузен и друг. Но когда Афанасий Иванович откупорил бутылку шампанского, известного тогда под фирмою champagne rosé (которое было нечто в роде кремана, но однако не креман) и предложил тост за здоровье скоро отъезжающего на Кавказ однокашника, то прозвище

«Майошки» сорвалось с языка у него и было повторено Юрьевым, объяснившим Хрущеву,[311] что так они в школе, где всем давались клички и собрике, прозвали Лермонтова по причине его сутуловатости и даже неуклюжести, при росте весьма не богатырском. Это подало повод Юрьеву и Синицыну распространиться в воспоминаниях о различных случаях из школьной из жизни, заставлявших весело смеяться Хрущева и меня.

— А вот, брат Синицын, — говорил Юрьев, — ты кажется, не знаешь о нашей юнкерско-офицерской проделке на Московской заставе в первый год, т. е. в 1835 году, нашего с Лермонтовым производства в офицеры. Проделка эта названа была нами, и именно Лермонтовым, *«всенародною энциклопедиею имен»*.

— Нет, не знаю, — отозвался Синицын, — расскажи, пожалуйста.

— Раз как-то Лермонтов зажился на службе дольше обыкновенного (начал Юрьев), а я был в городе, приехав, как водится, из моей скучной новгородской стоянки. Бабушка соскучилась без своего Мишеля, пребывавшего в Царском и кутившего там напропалую в веселой компании. Писано было в Царское; но «Майошка» и ухом не вел, все никак не приезжал. Наконец решено было его оттуда притащить в Петербург bon gré, mal gré.[312] В одно прекрасное февральское утро честной масляницы, я, по желанию бабушки, распорядился, чтоб была готова извощичья молодецкая тройка с пошевнями, долженствовавшая мигом доставить меня в Царское, откуда решено было привезти le déserteur,[313] который, масляница на проходе, не пробовал еще у бабушки новоизобретенных блинов ее повара Тихоныча, да к тому же и прощальные дни близки были, а Мишенька все в письмах своих уверяет, что он штудирует в манеже службу царскую, причем всякий раз просит о присылке ему малых толик деньжат. В деньжатах, конечно, отказа никогда не было; но надобно же в самом деле и честь знать. Тройка моя уже была у подъезда, как вдруг швейцарский звон объявляет мне гостей, и пять минут спустя ко мне вваливается с смехом и грохотом и cliquetis des armes,[314] как говорит бабушка, честная наша компания, предводительствуемая Костей Булгаковым, тогда еще подпрапорщиком Преображенского полка, а с ним подпрапорщик же лейб-егерь Гвоздев,[315] да юнкер лейб-улан М-ский. Только что они явились, о чем узнала бабушка, тотчас явился к нам завтрак с блинами изобретения Тихоныча и с разными другими масляничными снадобьями, а бабушкин камердинер, взяв меня в сторону, почтительнейше донес мне по приказанию ее превосходительства Елизаветы Алексеевны, что не

худо бы мне ехать за Михаилом Юрьевичем с этими господами, на какой конец явится еще наемная тройка с пошевнями. Предложение это принято было, разумеется, с восхищением и увлечением, и вот две тройки с нами четырьмя понеслись в Царское Село. Когда мы подъехали к заставе, то увидели, что на офицерской гауптвахте стоят преображенцы, и караульным офицером один из наших недавних однокашников, князь Н., веселый и добрый малый, который, увидев между нами Булгакова, сказал ему: «Когда вы будете ехать все обратно в город, то я вас, господа, не пропущу через шлагбаум, ежели Костя Булгаков не в своем настоящем виде, то есть на шестом взводе, как ему подобает быть». — Мы, хохоча, дали слово, что не один Булгаков, а вся честная компания с прибавкою двух-трех гусар будет проезжать в самом развеселом, настоящем масляничном состоянии духа, а ему предоставит честь и удовольствие наслаждаться в полной трезвости обязанностями службы царю и отечеству.

В Царском мы застали у «Майошки» пир горой и, разумеется, всеми были приняты с распростертыми объятиями, и нас принудили, впрочем, конечно, не делая больших усилий для этого принуждения, принять участие в балтазаровой пирушке, кончившейся непременною жженкою, причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль, служа усердно своими невинными лезвиями вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой, эффекта ради, были вынесены все свечи и карсели. Эта поэтичность всех сильно воодушевила и настроила на стихотворный лад. Булгашка сыпал французскими стишонками собственной фабрикации, в которых перемешаны были les rouges hussards, les bleus lanciers, les blancs chevaliers gardes, les magniflques grenadiers, les agiles chasseurs[316] со всяким невообразимым вздором вроде Mars, Paris, Apollon, Henri IV, Louis XIV, la divine Natascha, la suave Lisette, la succulente Georgette[317] и пр., а «Майошка» изводил карандаши, которые я ему починивал, и соорудил в стихах застольную песню в самом что ни есть скарроновском роде, и потом эту песню мы пели громчайшим хором, так что, говорят, безногий царскосельский бес сильно встревожился в своей придворной квартире и, не зная на ком сорвать отчаяние, велел отпороть двух или трех дворцовых истопников; словом, шла «гусарщина» на славу. Однако нельзя же было не ехать в Петербург и непременно вместе с Мишей Лермонтовым, что было условием бабушки sine qua non. К нашему каравану присоединились еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собою на дорогу корзину с полокороком,

четвертью телятины, десятком жареных рябчиков и с добрым запасом различных ликеров, ратафий, бальзамов и дюжиною шампанской искрометной влаги, никогда Шампаньи, конечно, не видавшей. Перед выездом заявлено было «Майошкой» предложение дать на заставе оригинальную записку о проезжающих, записку, в которой каждый из нас должен был носить какую-нибудь вымышленную фамилию, в которой слова «дурак», «болван», «скот» и пр. играли бы главную роль с переделкою характеристики какой-либо национальности. Булгаков это понял сразу, и объявил на себя, что он marquis de Gloupignon (маркиз Глупиньон). Его примеру последовали другие, и явились: дон Скоттилло, боярин Болванешти, фанариот Мавроглупато, лорд Дураксон, барон Думшвейн, пан Глупчинский, синьор Глупини, паныч Дураленко и наконец чистокровный российский дворянин Скот Чурбанов. Последнюю кличку присвоил себе Лермонтов. Много было хохота по случаю этой, по выражению Лермонтова, «всенародной энциклопедии фамилий». На самой середине дороги вдруг наша бешеная скачка была остановлена тем, что упал коренник одной из четырех троек, говорю четырех, потому что к нашим двум в Царском присоединилось еще две тройки гусар. Кучер объявил, что надо «сердечного» распрячь и освежить снегом, так как у него «родимчик». Не бросить же было коня на дороге, и мы порешили остановиться и воспользоваться каким-то торчавшим на дороге балаганом, местом, служившим для торговли, а зимою пустым и остающимся без всякого употребления. При содействии свободных ямщиков и кучеров мы занялись устройством балагана, т. е. разместили там разные доски, какие нашли, на поленья и снарядили что-то вроде стола и табуретов. Затем зажгли те фонари, какие были с нами, и приступили к нашей корзине, занявшись содержанием ее прилежно, впрочем, при помощи наших возниц, кушавших и пивших с увлечением. Тут было решено, в память нашего пребывания в этом балагане, написать на стене его, хорошо выбеленной, углем все наши псевдонимы, но в стихах, с тем чтобы каждый написал один стих. Нас было десять человек, и написано было десять нелепейших стихов, из которых я помню только шесть; остальные четыре выпарились из моей памяти, к горю потомства, потому что, когда я летом того же года хотел убедиться, существуют ли на стене балагана наши стихи, имел горе на деле сознать тщету славы: их уничтожила новая штукатурка в то время, когда балаган, пустой зимою, сделался временною лавочкою летом.

Гостьми был полон балаган.

Болванешни, Молдаван,
Стоял с осанкою воинской;
Болванопуло было Грек,
Чурбанов, русский человек,
Да был еще Поляк Глупчинский.

— Таким образом, — продолжал Юрьев, — ни испанец, ни француз, ни хохол, ни англичанин, ни итальянец в память мою не попали и исчезли для истории. Когда мы на гауптвахте, в два почти часа ночи, предъявили караульному унтер-офицеру нашу шуточную записку, он имел вид почтительного недоумения, глядя на красные гусарские офицерские фуражки; но кто-то из нас, менее других служивший Вакху (как говаривали наши отцы), указал служивому оборотную сторону листа, где все наши фамилии и ранги, правда, не выше корнетского, были ясно прописаны. «Но все-таки, — кричал Булгаков, — непременно покажи записку караульному офицеру и скажи ему, что французский маркиз был на шестом взводе». — «Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал преображенец и крикнул караульному у шлагбаума: Бомвысь!», — и мы влетели в город, где вся честная компания разъехалась по квартирам, а Булгаков ночевал у нас. Утром он пресерьезно и пренастоятельно уверял бабушку, добрейшую старушку, не умеющую сердиться на наши проказы, что он весьма действительно маркиз де-Глупиньон.

*[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1839–1845]*

Когда последовал приказ о переводе Лермонтова за стихи «На смерть А. С. Пушкина» на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка.

*[П. К. Мартьянов. «Дела и люди века», т. II, 1893 г., стр. 152.]*

Около того же времени умер Пушкин; Лермонтов вознегодовал, как и все молодое в России, против той *недоброй* части нашего общества, которая восстановляла друг против друга двух противников. Лермонтов написал посредственное, но жгучее, стихотворение, в котором он обращался прямо к императору, требуя мщения.[318] При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован. Новый поэт, выступивший в защиту умершего

поэта, был посажен под арест на гауптвахту, а засим переведен в полк на Кавказ.

Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась, в значительной степени, в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный в театр вечной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный наконец сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто только ощупывания, но тут он стал работать по вдохновению и из самолюбия, чтобы показать свету что-нибудь свое, — о нем знали лишь по ссылке, а произведений его еще не читали. Здесь будет у места провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым, собственно в смысле поэта и писателя.

Пушкин весь порыв, у него все прямо выливается; мысль исходит или, скорее, извергается из его души, из его мозга, во всеоружии, с головы до ног; затем он все переделывает, исправляет, подчищает, но мысль остается та же, цельная и точно определенная.

Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадается тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разные пьесы.

Пушкин давал себе тотчас отчет в ходе и совокупности даже и самой маленькой из его отдельных пьес.

Лермонтов набрасывал на бумагу стих или два, пришедшие ему в голову, не зная сам, что он с ними сделает, а потом включал их в то или другое стихотворение, к которому, как ему казалось, они подходили. Главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей; он, сам хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем; очень долго обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок, и только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе начинается полное обладание им самим собою, знакомство со своими силами и, так сказать, правильная эксплуатация его различных способностей; по мере того как он оканчивал, пересмотрев и исправив, тетрадку своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург; эти отправки причиной того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьеры, отправляемые

из Тифлиса, бывают часто атакуемы чеченцами или кабардинцами, подвергаются опасности попасть в горные потоки или пропасти, через которые они переправляются на досках или же переходят вброд, где иногда, чтобы спасти себя, они бросают доверенные им пакеты, и таким образом пропали две-три тетради Лермонтова; это случилось с последней тетрадью, отправленной Лермонтовым к своему издателю, так что от нее у нас остались только первоначальные наброски стихотворений, вполне законченных, которые в ней заключались.

*[Перевод из французского письма Е. Л. Ростопчиной к Ал. Дюма. Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex Dumas. II, Leipzig, 1859, pp. 255–257]*

Копия.

## *ПО ТИТУЛЕ.*

Просят: Лейб Гвардии Гусарского полка корнет (ныне Нижегородского Драгунского полка Прапорщик) Михаило Юрьев сын Лермантов и тетки его, из Дворян девицы: Александра и Наталья Петровы дочери Лермантовы и Титулярная Советница Елена Петрова дочь, по муже Виолева, урожденная Лермантоваж; а в чем наше прошение, тому следуют пункты.

1.

По кончине родителя моего, а нашего брата, 1-го Кадетского Корпуса Капитана Юрия Петровича Лермантова осталось движимое и недвижимое имение Тульской Губернии Ефремовского уезда сельцо Кропотово, или Любашевка, Каменный верх тож, в котором по последней ревизии написано за ним 131 душа мужеского пола, а ныне на лицо 130 душ с рожденными после ревизии. Сему имению мы состоим единственными наследниками.

2.

Последняя воля родителя моего была та, что бы упомянутое имение разделено было между нами на две половины, из коих одну мне Михаилу, а другую упомянутым теткам моим. Сохраняя в живой памяти священную для сердца моего волю сию, я Михаиле исполняю оную полюбовным разделом нашим на следующих положениях: I, Я Михаило беру на свою часть из дворовых 14 душ мужеского и женского пола и именно: [следует перечень]. Из крестьян 15 семей и именно: [следует перечень] в коих заключается 52 души мужеского и 49 женского пола, а всего дворовых крестьян 66 мужеского и 68 душ женского пола без всякого раздробления семей со всем их имуществом. II, Мне, Александре из дворовых 5 душ мужеского и 9 женского пола и именно: [следует перечень]. Из крестьян четыре семьи и именно: [следует перечень], в коих состоит 15 душ мужеского и 18 женского пола, а всего дворовых и крестьян 20 душ мужеского и 27 женского пола без всякого раздробления семей со всем их имуществом. III, Я Наталия получаю на свою часть: из дворовых 5 душ мужеского и 7 женского пола и именно: [следует перечень]. Из крестьян четыре семьи и именно: [следует перечень], в коих заключается 16 душ мужеского и 20 женского пола без всякого раздробления оных со всем их имуществом, а всего и дворовых и крестьян 21 душу мужеского и 27 женского пола. IV, Мне Елене осталось дворовых 6 душ мужеского и 7 женского пола и именно: [следует перечень], крестьян пять семей и именно: [следует

перечень], в коих состоит 17 мужеского и 19 душ женского пола, без всякого раздробления семей со всем их имуществом и всего и дворовых и крестьян 23 мужеского и 26 женского пола душ. V, Господский дом со всею движимостью я Михаило предоставляю в собственность упомянутых теток моих, а прочее строение остается на моей части. VI, Старый сад и одну половину огородной земли мне Михаилу; а молодой сад и другую половину огородной земли мы Александра, Наталия и Елена получаем на свою часть. VII, Долг Московского Опекунского Совета, в котором имение наше состоит под залогом, упадает на каждого из нас по числу доставшихся душ. VIII, Земли, принадлежащей нашему имению, значится по купчей крепости 1.350 десятин, а за исключением 200 десятин, проданных еще до залога имения, остается 1.150 десятин. Из сего количества земли одну половину, то есть, 575 десятин мне Михаилу; а из другой половины мы Александра, Наталия и Елена получаем каждая на свою часть по 191 десятине 1.600 сажен, включая в это число садовую, огородную и усадебную землю. IX, Лес остается в общем нашем владении на праве собственности общем. X, Часть земли нашей состоит в чресполосном владении с соседями и с живущими в имении нашем однодворцами Кремлевыми, но как мнением Государственного Совета, Высочайше утвержденным 8-го Генваря 1836-го года предоставлено владельцам таковых земель разводиться между собою к одним местам полюбовно; то, если при полюбовных разводах с соседями и однодворцами, или в последствии по распоряжению Правительства отойдет или прибудет какая-нибудь часть земли в наше владение, в таком случае как убыль, так и прибыль должна падать на нас по соразмерности частей. XI, По обоюдному согласию с теткою моею Натальею мы сделали размен дворовых людей, а именно: я Михаило взял себе из числа положенных за нею в ревизии Амподика Степанова и Ивана Федорова с их семействами; а ей Наталье, в замен их отдал Якова Васильева с женою и детьми обоего пола и Ефрема Спиридонова с женою. Я же Наталья уступила сестре моей Александре из числа положенных за мною по ревизии Николая Федорова с женою и матерью. XII, По утверждении сего полюбовного раздела нашего каждый из нас обязан будет перечислить на себя доставшиеся ему души для платежа Государственных податей и для отправления других повинностей. XIII, За таковым добровольным разделом наследственного имения нашего оставаться каждому из нас своею частью довольным и впредь как нам, так и наследникам нашим более ничего не требовать и сего полюбовного раздела нашего ничем и ни под каким предлогом не опорочивать и не

опровергать. XIV, Цену упомянутому имению нашему объявляем 60.000 рублей Государственными ассигнац.

3.

Изложив таким образом положения, на которых мы в духе родственного согласия добровольно основали полюбовный раздел наш и утверждая оный во всей его силе всеподданнейше просим, дабы поведено было сие наше прошение в Тульской Палате Гражданского Суда принять и в подтверждение всего вышеизложенного нас допросить, а по испрошении согласия Опекунского Совета на положения раздела нашего привести оный в законную силу и действие и сделать распоряжение как о причислении за каждым из нас доставшейся части, так и о введении оными во владение.

А для спокойного владения на будущее время снабдить нас засвидетельствованною копиею с оного.

*Конец по форме.*

*[Архив Моск. Истор. муз., инв. № 26275, л. 157–160]*[319]

Копия.

## *Ревижская Сказка*

Тысяча восемьсот тридцать четвертого Года Марта двадцатого дня Тульской губернии Ефремовского уезда Сельца Любашевки Каменной верх тож дворянина Михаилы Юрьева Лермантова; о состоящих мужеска и женска пола дворовых людях и крестьянах доставшихся по наследству в 1832-м году. [Следует перечень.]

Итого мужеска пола на лицо 148 душ.

Итого женска пола на лицо 155 душ.

К подлинной Списке рука приложена тако что в сей ревижской сказке все души к двадцатому числа Марта м-ца тыща Восемьсот тридцать четверта года в наличности бывшие показаны и прописных нет в том заотсутствием Господина моего дворянина Михаилы Юрьевича прикащик Михаило Никитин руки приложил.

*[Архив Моск. Истор. муз., инв. № 26275, л. 132–142]*[320]

В 1837 году я отправился волонтером на Кавказ от Кавалергардского полка для принятия участия в экспедиции противу горцев…

В Москве я остановился недели на две. Все мое семейство жило там постоянно; но в этот год и оно поднималось на Кавказ. Отец был болен, и доктора предписали ему лечение кавказскими

минеральными водами…

В эту самую эпоху проезжал чрез Москву Лермонтов. Он был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк тем же чином за стихи, написанные им на смерть Пушкина. Мы встречались с ним почти всякий день, часто завтракали вместе у Яра; но в свет он мало показывался. В конце апреля я выехал в Ставрополь.

*[Н. С. Мартынов. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 591–593]*

*Москва, 25 мая [1837].* Где ты, мой дорогой Николай? Здесь только и говорят, что о неудачах на Кавказе; мое сердце трепещет за тебя, мой милый; я стала более чем когда-либо суеверна… Мы еще в городе. Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык, и, хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их; эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава Богу, он скоро уезжает; для меня его посещения всегда неприятны.

*[Перевод из французского письма к Н. С. Мартынову его матери. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 608]*

Никому небезызвестно, что у Лермонтова, в сущности, был пренесносный характер, неуживчивый, задорный, а между тем его талант привлекал к нему поклонников и поклонниц. Неравнодушна к Лермонтову была и сестра Н. С. Мартынова, Наталья Соломоновна. Говорят, что и Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за нею, а быть может, и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Н. С. Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую.

*[Д. Оболенский. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 612]*

Вчера я приехал в Пятигорск,[321] нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бэшту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть

небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине — чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако, пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

. . . . .

Спустясь в средину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков: об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством; петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, статских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы; статские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным дамам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодезь… На площадке близ него построен домик с красной кровлей над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидело на лавке, подобрав костыли, — бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошенькие личика.

Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькала порою пестрая шляпа любительницы уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними были два гувернёра с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность.

*[Лермонтов. «Княжна Мэри»]*

31 мая [1837].

В точности держу свое слово и посылаю вам, мой милый и дорогой друг, а также сестре вашей черкесские башмаки, которые обещал вам: их шесть пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры; купил их, как только отыскал. Я теперь на водах, пью и купаюсь, словом, веду жизнь настоящей утки.

Дай Бог, чтобы мое письмо еще застало вас в Москве, а то, если ему придется путешествовать по Европе по вашим следам, может быть, вы получите его в Лондоне, в Париже, в Неаполе, — во всяком случае в таком месте, где оно вовсе не будет для вас интересно, а от этого храни, Боже, и его, и меня! У меня здесь очень хорошее помещение: каждое утро я вижу из своего окна цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, когда я пишу это письмо, я время от времени кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны. Надеюсь изрядно поскучать все то время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам и уж от этого одного укрепил себе ноги; я только и делаю, что хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают… Вот вам мой образ жизни, милый друг; особенно хорошего тут нет, но… когда я выздоровею, и когда здесь будет государь, отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов.

Прощайте, дорогая; желаю вам веселиться в Париже и Берлине. Получил ли Алексис[322] отпуск? Поцелуйте его за меня. Прощайте. Весь ваш *М. Лермонтов.*

P.S. Пожалуйста, пишите мне и скажите, понравились ли вам башмаки.

*[Перевод с французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 327]*

С Лермонтовым мы встретились, как старые товарищи…[323] Мы встретились уже молодыми людьми, и, разумеется, школьные

неудовольствия были взаимно забыты. Я сказал, что был серьезно болен и почти недвижим.[324] Лермонтов напротив — пользовался всем здоровьем и вел светскую рассеянную жизнь. Он был знаком со всем водяным обществом (тогда очень многочисленным), участвовал на всех обедах, пикниках и праздниках.

Такая, по-видимому, пустая жизнь не пропадала, впрочем, для него даром: он писал тогда свою «Княжну Мери»[325] и зорко наблюдал за встречающимися ему личностями. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера.[326]

Майер был доктором при штабе генерала Вельяминова. Это был замечательно умный и образованный человек; тем не менее он тоже не раскусил Лермонтова.

Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «Pauvre sire, pauvre talent».[327]

*[Сатин. «Почин», 1895 г., стр. 239]*

Летом 1837 года я жил в Пятигорске, больной, почти без движения от ревматических болей в ногах.

Майер был медиком, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где, среди величавой природы, со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Майера естественно примкнулась к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата. Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно. Волосы, остриженные под гребенку, голова широкая, так что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать… Кажется всё это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромая походка придавала всему человеку особенность, с которою глаз не только свыкался, но дружился.

*[Н. Огарев. «Кавказские воды». «Полярная Звезда», 1861 г., стр. 345–346]*

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку: поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием: так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом… Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага; он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных; больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом, и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна; он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердится за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга

скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги!

*[Лермонтов. «Княжна Мери»]*

[Майер] был замечательный человек как в физическом, так и в умственном отношении. В физическом отношении Майер был почти урод: одна нога была короче другой более чем на два вершка; лоб от лицевой линии выдавался вперед на неимоверно замечательное пространство, так что голова имела вид какого-то треугольника; сверх этого он был маленького роста и чрезвычайно худощав. Тем не менее своим умом и страстностью он возбудил любовь в одной из самых красивейших женщин, г-же М.

Майер, непривычный внушать любовь, был в апогее счастья! Когда она должна была ехать, он последовал за нею в Петербург, но — увы! — скоро возвратился оттуда совершенно убитый ее равнодушием.

Над г-жей М. эта любовь или, правильнее, шутка прошла, вероятно, бесследно; но на Майера это подействовало разрушительно: из веселого, остроумного, деятельного человека он сделался ленивым и раздражительным.

*[Н. М. Сатин. «Почин», 1895 г., стр. 248]*

Третий и последний раз я встретился уже с Лермонтовым в 1837 году, — не помню: в Пятигорске или Кисловодске, — на вечере у знаменитой графини Ростопчиной. Припоминаю, что на этом вечере он был грустный и скоро исчез, а мы долго танцевали. В это время, кажется, он ухаживал за m-lle Эмилиею Верзилиной, прозванной им же, кажется: La rose du Caucase.[328] Все эти подробности давно известны, и не для чего их повторять.

В Кисловодске я жил с двумя товарищами на одной квартире: князем Владимиром Ивановичем Барятинским, бывшим потом генерал-адъютантом, и князем Александром Долгоруким, тоже во цвете лет погибшим на дуэли. К нам по вечерам заходил Лермонтов с общим нашим приятелем, хромым доктором Майером, о котором он в «Герое нашего времени» упоминает. Веселая беседа, споры и шутки долго, бывало, продолжались.

*[А. М. Миклашевский. «Русская Старина», 1884 г… кн. 12, стр. 592]*

На Кавказе юношеская веселость уступила место у Лермонтова припадкам черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила особый отпечаток на его поэтические произведения.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Ал. Дюма. «Le Caucase Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas». II. Leipzig, p. 258]*

Говорили, будто, рисуя некоторые черты характера Грушницкого в «Княжне Мери», Лермонтов имел в виду живое лицо, долго жившее на Кавказе, именно Н. П. Колюбакина.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 388]*

Основанием рассказа «Бэла» было истинное происшествие, конечно, опоэтизированное и дополненное вымышленными подробностями, случившееся с родственником поэта Е. Е. Хастатовым… Он имел поместье на Кавказе («Шелковое», «Земной рай» тож) и подолгу живал там. Так как имение это расположено уже на самом рубеже, за которым жили враждебные нам горские племена, то Хастатова называли в нашем кругу «передовой помещик Российской империи».

*[Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 391]*

Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов; но зато охотно рассказывал о своих светских похождениях, сам первый подсмеиваясь над своими любвями и волокитствами.

В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским.[329] Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках; они даже открыли, что оба урожденцы города Чембар (Пензенской губ.).[330]

Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистав, он с удивлением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками.[331]

— Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере, — сказал он в заключение, — если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его

ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры.

Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты.

Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость.

Белинский, с своей стороны, иначе не называл Лермонтова, как пошляком, и когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», он отвечал: «Вот важность написать несколько удачных стихов! От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком!»

На впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он писал ко мне: «Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов».

Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга.

*[Н. М. Сатин. «Почин». 1895 г., стр. 237–241]*

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках,* видя меня, скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и

черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en piquenique. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы.

*[Лермонтов. «Княжна Мери»]*

Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением; здесь все таинственно: и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами; и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны; и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации; и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога… Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

> Но смешивать два эти ремесла
> Есть тьма охотников — я не из их числа.[332]

*[Лермонтов. «Княжна Мери»]*

18 июля [1837]

Милая бабушка! пишу к вам по тяжелой почте, потому что третьего дня по экстра-почте не успел, ибо ездил на железные воды и, виноват, совсем забыл, что там письма не принимают; боюсь, чтобы вы не стали беспокоиться, что одну почту нет письма. Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен[333] велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова,[334] и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию. Итак, прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова[335] и напишите к нему: он обещался мне доставлять их туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно, и почта не ходит, а депеши с нарочными отправляют. От Алексея Аркадьевича[336] я получил известия; он здоров, и некоторые офицеры, которые оттуда сюда приехали, мне говорили, что его можно считать лучшим офицером из гвардейских, присланных на Кавказ. То, что вы пишете об Гвоздеве,[337] меня не очень удивило: я, уезжая, ему предсказывал, что он будет юнкером у меня во взводе; а впрочем, жаль его. Здесь погода ужасная: дожди, ветры, туманы; июль хуже петербургского сентября, так что я остановился брать ванны и пить воды до хороших дней. Впрочем, я думаю, что не возобновлю, потому что здоров как нельзя лучше. Для отправления в отряд мне надо будет сделать много покупок, а свои вещи я думаю оставить у Павла Ивановича. Пожалуйста, пришлите мне денег, милая бабушка; на прожитье здесь мне достанет, а если вы пришлете поздно, то в Анапу трудно доставить. Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки, прошу вашего благословления и остаюсь ваш вечно привязанный к вам и покорный внук

*Михаил.*

Пуще всего не беспокойтесь обо мне; Бог даст, мы скоро увидимся.

*[Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой. Акад. изд., т. IV, стр. 327–328]*

В 1837 году уезжавшему из Пятигорска в экспедицию Лермонтову сестры Мартынова поручили передать брату, Николаю Соломоновичу, письмо, не то целый пакет со своим дневником. В тот же пакет были вложены триста рублей ассигнациями, о чем Лермонтов ничего не знал. По словам одних, Лермонтову был вручен пакет с намеком прочесть этот дневник, по словам других, Лермонтов не имел права распечатывать это письмо. Как бы то ни было, случилось именно то, что Лермонтов, побуждаемый любопытством, распечатал пакет, чтобы прочесть

дневник. Найдя в пакете триста рублей, он передал их Н. С. Мартынову, но умолчал о дневнике и сказал лишь, что у него украли чемодан дорогой. Николай Соломонович долго не соглашался взять триста рублей, говоря, что раз деньги украдены, то с какой стати Лермонтову их возвращать; только после долгих увещаний Мартынов взял эти триста рублей.

*[Д. Оболенский. «Русский Архив». 1893 г., кн. 8, стр. 612]*

Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил; но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письме, также пропали, но он, само собою разумеется, отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение — повторите; также и сестер попросите от меня. Деньги я уже все промотал.

*[Из письма Н. С. Мартынова к отцу от 5 октября 1837 г. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 606–607]*

*Москва, 6 ноября 1837.* Я так тревожусь за тебя, мой добрый друг, я буду счастлива и спокойна лишь по твоем возвращении. Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много: твои сестры целый день писали их; я, кажется, сказала: «при сей верной оказии». После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по почте; по крайней мере остается уверенность, что тебя не прочтут.

*[Перевод из французского письма к Н. С. Мартынову его матери. «Русский Архив». 1893 г., кн. 8, стр. 608–609]*

По словам Н. С. Мартынова, в 1837 году (т. е. за четыре года до поединка) мать и сестры его,[338] жившие в Пятигорске с больным отцом, написали ему большое письмо, которое Лермонтов, отъезжавший в экспедицию (где уже находился Мартынов), взялся доставить. Прежде чем запечатать письмо, сестры предложили отцу своему, не захочет ли он тоже написать или приписать. Тот взял пакет и пошел с ним к себе в комнату, но ничего не написал, а только вложил деньги, и, запечатав пакет, принес его назад для вручения Лермонтову, которому о деньгах ничего не было сказано. Поэтому, получив в октябре месяце от сына выше напечатанное письмо, старик Мартынов удивлен был теми строками, в которых говорится о деньгах. Да почему же Лермонтов мог узнать о вложении их, тогда как позабыли сказать ему о том? Когда Мартынов, по возвращении из экспедиции, в первый раз увиделся с отцом своим, тот выразил ему свое

подозрение относительно Лермонтова и прибавил: «А я совсем забыл надписать на пакете, что вложено 300 рублей». Словом, Мартыновы заподозрили Лермонтова в любопытстве узнать, что о нем пишут; а содержание письма было таково, что ему из самолюбия не хотелось передать его, и он изобрел историю с ограблением (так чудесно потом воспроизведенную в «Герое нашего времени»).[339] Подозрение осталось только подозрением; но впоследствии, когда Лермонтов преследовал Мартынова насмешками, тот иногда намекал ему о письме, прибегая к таким намекам, чтобы избавиться от его приставаний. Таков рассказ Н. С. Мартынова, слышанный от него мною и другими лицами.

*[П. Бартенев, «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 607]*

Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России… Я приехал на перекладной тележке поздно ночью.[340] Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к чорту, только к месту!» — закричал я. — Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок, — только вашему благородию не понравится: там нечисто! — Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. Суда в пристани есть, подумал я: завтра отправлюсь в Геленджик.

*[Лермонтов. «Тамань»]*

В то время…[341] Тамань была небольшим, невзрачным

городишком, который состоял из одноэтажных домиков, крытых тростником; несколько улиц обнесены были плетневыми заборами и каменными оградами. Кое-где устроены были палисадники и виднелась зелень. На улицах тихо и никакой жизни. Мне отвели с трудом квартиру, или, лучше сказать, мазанку, на высоком утесистом берегу, выходящем к морю мысом. Мазанка эта состояла из двух половин, в одной из коих я и поместился. Далее, отдельно, стояли плетневый, смазанный глиной, сарайчик и какие-то клетушки. Все эти невзрачные постройки обнесены были невысокой каменной оградой. Однако домик мой показался мне приветливым: он был чисто выбелен снаружи, соломенная крыша выдавалась кругом навесом, низенькие окна выходили с одной стороны на небольшой дворик, а с другой — прямо к морю. Под окнами сделана была сбитая из глины завалина. Перед крылечком торчал длинный шест со скворешницей. Внутри все было чисто, смазанный глиняный пол посыпан полынью. Вообще как снаружи, так и внутри было приветливо, опрятно и прохладно. Я велел подать самовар и расположился на завалинке. Вид на море для меня, жителя болот, был новостью. Никогда еще не случалось мне видеть ничего подобного: яркие лучи солнца, стоявшего над горизонтом, скользили золотою чешуею по поверхности моря; далее синеватые от набегающих тучек пятна то темнели, то снова переходили в лазуревый колорит. Керченский берег чуть отделялся розоватой полоской и, постепенно бледнея, скрывался в лиловой дали. Белые точки косых парусов рыбачьих лодок двигались по всему взморью, а вдали пароходы оставляли далеко за собой черную струю дыма. Я не мог оторваться от этого зрелища. Хозяин мой, старый черноморец, уселся тоже на завалинке.

— А что хозяин, — спросил я, — много ли приехало уже офицеров? И где собирается отряд?

— Нема, никого не бачив.

Расспрашивать далее было нечего; флегматическая натура черноморца вся так и высказалась: его никогда не интересуют чужие дела.

— Погода буде, — сказал он, помолчав немного.

— А почему так? — спросил я.

— А бачь, птыця разыгралась, тай жабы заспивали.

Я взглянул вниз с отвесной горы на берег. Сотни больших морских чаек с криком летали у берега: то садились на воду, качаясь на волнах, то снова подымались с пронзительным криком и опять приседали качаться. Солнце окунулось в море. Быстро начало смеркаться; яркие отблески исчезли; вся даль потемнела,

«зайчики», катившиеся до того к берегу друг за другом, превратились в пенистые волны и, далеко забегая на берег, с шумом разбивались о камни. Задул холодный ветер с моря; рыбачьи лодки спешили к пристани; все стемнело вдруг. Послышались далекие раскаты грома, и крупные капли дождя зашумели в воздухе. Надо было убираться в хату. Долго не спалось мне под шум бушующего моря, а крупные капли дождя стучали в дребезжащие окна. Буря бушевала недолго: налетевший шквал пронесся вместе с дождем, и все снова стихло. Мне послышалось где-то очень близко заунывное пение матери, баюкавшей свое дитя. И эта протяжная заунывная песня усыпила наконец и меня.

*[М. Ц[ейдле]р. На Кавказе в 30-х годах. «Русский вестник», 1888 г. № 9, стр. 135–136]*

Я почти весь день проводил в Тамани на излюбленной завалинке; обедал, читал, пил чай над берегом моря в тени и прохладе. Однажды, возвращаясь домой, я издали заметил какие-то сидящие под окнами моими фигуры: одна из них была женщина с ребенком на руках; другая фигура стояла перед ней и что-то с жаром рассказывала. Подойдя ближе, я поражен был красотой моей неожиданной гостьи. Это была молодая татарка лет 19-ти с грудным татарчонком на руках. Черты лица ее нисколько не походили на скуластый тип татар, но скорей принадлежали к типу чистокровному европейскому. Правильный античный профиль, большие голубые с черными ресницами глаза, роскошные длинные косы спадали по плечам из-под бархатной шапочки; шелковый бешмет, стянутый поясом, обрисовывал ее стройный стан, а маленькие ножки в желтых мештах выглядывали из-под широких складок шальвар. Вообще вся она была изящна; прекрасное лицо ее выражало затаенную грусть. Собеседник ее был мальчик в сермяге, босой, без шапки. Он, казалось, был слеп. Судя по бельмам на глазах. Все лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость. Из расспросов я узнал, что красавица эта жена старого крымского татарина, золотых дел мастера, который торгует оружием, и что она живет по соседству в маленьком сарае, на одном со мной дворе; самого же его здесь нет, но что он часто приезжает. Покуда я расспрашивал слепого мальчика, соседка тихо запела свою заунывную песню, под звуки которой в бурную ночь, по приезде моем, заснул я так сладко. Слепой мальчик сделался моим переводчиком. Всякий раз, когда она приходила посидеть под окном, он, видимо, следил за ней. Муж красавицы, с которым я познакомился впоследствии, купив у него прекрасную шашку и кинжал, имел злое и лукавое лицо, говорил

по-русски неохотно, на вопросы отвечал уклончиво; он скорее походил на контрабандиста, чем на серебряных дел мастера. По всей вероятности, доставка пороха, свинца и оружия береговым черкесам была его промыслом.

Сходство моего описания с поэтическим рассказом о Тамани в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова заставляет меня сделать оговорку: по всей вероятности, мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь.

*[М. Ц[ейдле]р. На Кавказе в 30-х годах. «Русский вестник», 1888 г. № 9, стр. 139]*

Из рассказа генерала барона Е. И. фон-Майделя видно, что Лермонтов, во время первой своей ссылки, приехал в Ставрополь совсем без вещей, которые у него дорогой были украдены, и поэтому явился к начальству не тотчас по приезде в город, а когда мундир и другие вещи были приготовлены, за что он и получил выговор, так как в штабе нашли, что он должен был явиться, в чем приехал.

*[Е. И. фон-Майдель в передаче П. К. Мартьянова. «Дела и люди века», т. I, стр. 147]*

В Ставрополе Лермонтов познакомился с кружком декабристов[342] находившихся в отличных отношениях с доктором Н. В. Майером.

*[Висковатый, стр. 264]*

Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь, через сорок лет, разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на

прямой запрос или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли, — да впрочем, и молод же он был еще.

*[М. А. Назимов в передаче П. А. Висковатого, стр. 303–304]*

Князь А. И. Васильчиков рассказывал мне, что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы объяснить ему, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что «у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин», он напускал на себя 1a fanfaronade du vice[343] и тем сердил Назимова. Глебову не раз приходилось успокаивать расходившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбегал из комнаты и уходил на бульвар на уединенную прогулку, до которой он был охотник. Он вообще любил или шум и возбуждение разговора, хотя бы самого пустого, но тревожившего его нервы, или совершенное уединение.

*[Висковатый, стр. 304]*

Зимой к нашему обществу присоединился Лермонтов, но — признаюсь — только помешал ему. Этот человек постоянно шутил и подтрунивал, что, наконец, надоело всем… Ложно понятый байронизм сбил его с обычной дороги. Пренебрежение к пошлости есть дело, достойное всякого мыслящего человека; но Лермонтов доводил это до absurdum, не признавая в окружающем его обществе ничего, достойного его внимания.

*[Н. М. Сатин. «Почин», 1885 г., стр. 250]*

Михаил Юрьевич был не только хорошим нашим знакомым, но и родственником; его родная бабка по матери (Елис. Алексеев. Арсеньева) и моя родная бабка по матери же (Екат. Алекс. Хастатова) были родные сестры. В 1837 году, во время служения своего в Нижегородском драгунском полку, он находился в Ставрополе, перед приездом туда государя Николая Павловича; ежедневно навещая в это время отца моего, бывшего тогда начальником штаба, он совершенно родственно старался развлекать грусть его по кончине жены, приходившейся Лермонтову двоюродной теткой.

*[А. Петров. «Русский Архив», 1867 г., стр. 1175]*

Я жил во Владикавказе… Однажды базарный[344] пришел мне сказать, что какой-то проезжий офицер желает меня видеть. Я

пошел в заезжий дом, где застал такую картину: М. Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая: «A moi la vie, à moi la vie, à moi la liberté».[345]

Я до сих пор хорошо помню мотив нашего напева, и если это кого-нибудь интересует, то я мог бы найти кого-нибудь, кто бы его положил на ноты. Тогда это меня несколько озадачило, а еще более озадачило, что Лермонтов, не пригласив меня сесть и продолжая рисовать, как бы с участием, но и не без скрываемого высокомерия, стал расспрашивать меня, как я поживаю, хорошо ли мне.

Мне в Лермонтове был только знаком шалун, руководивший «Нумидийским эскадроном», чуть не сбившим меня с ног в первый день моего вступления в Юнкерскую школу, а потом закатившим мне в затылок залп вареного картофеля. О Лермонтове как о поэте я ничего еще не знал и даже не подозревал: таково было полученное мною направление. В краткое мое пребывание в полку в Царском Селе я, благодаря обратившему на меня внимание нашему полковому библиотекарю поручику Левицкому, прочитал Тьера, Байрона и еще кой-что, более или менее серьезное. Во Владикавказе читал, кроме «Русского Инвалида» и «Пчелы», «Revue Britannique», и как-то случившиеся у Нестерова «Etudes de la Nature», Bernardin de S-t Pierre. Все это вместе с моею владикавказскою обстановкою не могло не внушать мне некоторого чувства собственного достоинства, явно оскорбленного тем покровительственным тоном, с которым относился ко мне Лермонтов. А потому, ограничась кратким ответом, что мне живется недурно, я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяловское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в 20–40 верстах, француз, на ходу вылезши из перекладной телеги, делал croquis[346] окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и даже, кажется, иллюминовали эти очертания.[347]

На том разговор наш и кончился, — и я, пробыв несколько минут, ушел к себе.

*[Боборыкин. «Три встречи с М. Ю. Лермонтовым». «Русский Библиофил», 1915 г., № 5, стр. 76]*

Старушка бабушка была чрезвычайно поражена этим происшествием,[348] но осталась в Петербурге, с надеждой выхлопотать внуку помилование, в чем через родных, а в особенности через Л. В. Дубельта и успела; менее чем через год Мишеля возвратили и перевели прежде в Гродненский, а вскоре,

по просьбе бабушки же, опять в лейб-Гусарский полк.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 740]*

Его императорское величество в присутствии своем в г. Тифлисе октября 11 дня 1837 года соизволил отдать следующий

***ПРИКАЗ***

ПО КАВАЛЕРИИ

Переводятся: Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермантов, лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом.

Подписал: за отсутствием военного министра,

генерал-адъютант Адлерберг[349]

21 октября 1837. Пребывание в Новочеркасске. Прибытие государя в 1/2 11. Его коротенькая и выразительная речь в круге, окруженном знаменами и регалиями атаманскими… Обед за маршальским столом. Рассказы о опасности государя.

Прощение Лермонтова. Почему Бенкендорф упомянул обо мне?

*[Из дневника В. А. Жуковского. «Дневники В. А. Жуковского», стр. 369]*

[1837 г., в конце]

Любезный друг Святослав! Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки. Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии.

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании — то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже… Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить, — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную: пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь…

Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком

поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирной, разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь. Начал учиться по-татарски — язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой; а, право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большей печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный *М. Лермонтов.*

*[Письмо Лермонтова С. А. Раевскому. Акад. изд., т. IV, стр. 328–329]*

*[1837].* Я в Тифлисе у Петр. Г. — ученый татар. Али и Ахмет. Иду за груз[инкой] в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота. Выходя, она опять делает знак; я рисовал углем на стене для забавы татар и делаю ей черту на спине; следую за ней: она соглашается дать, только чтоб я поклялся сделать, что она велит: надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на гауптвахту. Я забыл ее дом наверное. Мы решаемся обыскать. Я снял с мертвого кинжал для доказательства. Несем его к Геургу. Он говорит, что делал его русскому офицеру. Мы говорим Ахмету, чтоб он узнал, кого имел этот офицер. Узнают от денщика, что этот офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью; но дочь вышла замуж. А через неделю он пропал. Наконец, узнаем, за кого эта дочь вышла

замуж; находим дом, но ее не видать. Ахмет бродит кругом и узнает, что муж приехал, и кто-то ему сказал, что видели, как из окошка вылез человек намедни, и что муж допрашивал и вся семья. Раз мы идем по караван-сараю (ночью) — видим: идет мужчина с… женой, они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли и видим, — она показала на меня пальцем, а он кивнул головой. После ночью двое (обое) на меня напали на мосту. Схватили меня, и — как зовут. Я сказал. Он: «Я муж такой-то» и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил.

*[Запись Лермонтова в тетради автографов Чертковск. библ., 45]*[350]

Пишу к вам, дорогой друг, накануне отъезда в Новгород. Я все поджидал, не случится ли со мною чего хорошего, чтобы сообщить вам о том; но ничего такого не случилось, и я решаюсь писать к вам, что мне смертельно скучно. Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты — вы знаете; да еще каждый день ездил в театр; он хорош, это правда, но мне уж надоел. Вдобавок меня преследуют все эти милые родственники! Не хотят, чтоб я бросил службу, хотя это мне и было бы можно: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уж там не служат. Наконец, я порядком упал духом и хотел бы даже как можно скорее бросить Петербург и уехать куда бы то ни было, в полк ли, или хоть к чорту; тогда по крайней мере был бы предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого.

С вашей стороны вовсе не любезно, что вы всегда ожидаете моего письма, чтобы писать мне; можно подумать, что вы вздумали чваниться. Что касается Алексиса, то это неудивительно, потому что на днях, как говорят здесь, он женится на какой-то богатой купчихе; понятно, что у меня нет надежды занимать в его сердце такое же место, какое он отводит толстой оптовой купчихе.[351] Он обещал писать мне через два дня после моего отъезда из Москвы; но, может быть, забыл мой адрес, вот ему два:

1. В С.-Петерб[ург], у Пантелеймоновского моста, на Фонтанке, против Летнего сада, в доме Венецкой.

2. В Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений. В штаб *лейб-гвардии* Гродненского гусарского полка.

Если и после этого он мне не напишет, прокляну его и его толстую оптовую купчиху: я уже занялся составлением формулы этого проклятия. Боже! вот беда иметь друзей, которые собираются жениться!

Приехав сюда, я нашел дома целый хаос сплетен.[352] Я навел

порядок, поскольку это возможно, когда имеешь дело с тремя или четырьмя женщинами, которым ничего не втолкуешь. Простите, что я так говорю о вашем прекрасном поле. Увы! кроме того, раз я вам это говорю, это доказывает, что вас я считаю исключением. Когда я возвращаюсь домой, я только и слышу, что истории без конца, жалобы, упреки, подозрения и заключения; это просто несносно, особенно для меня, потому что я отвык от этого на Кавказе, где общество дам — редкость, или же они не разговорчивы (в особенности грузинки: они не говорят по-русски, а я по-грузински).

Прошу вас, милая Marie, напишите мне немножко, пожертвуйте собой, пишите мне всегда, не будьте церемонны: вы должны быть выше этого. Ведь если иногда я и медлю ответом, это, право, значит, что мне нечего сказать, или же у меня слишком много дела — обе причины уважительные.

Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую Казначейшу»; он понес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе; им очень понравилось, напечатано будет в ближайшем номере «Современника».[353]

Бабушка думает, что меня скоро переведут в царскосельские гусары; Бог знает на каком основании ей подали эту надежду; оттого она не соглашается, чтобы я вышел в отставку; что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь.

В заключение этого письма посылаю вам стихотворение, которое случайно нашел в моих дорожных бумагах, оно мне довольно таки нравится, раз я совсем забыл о нем, — впрочем, это ровно ничего не доказывает.

**МОЛИТВА СТРАННИКА**

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием;

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного, —
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела — душу прекрасную.

Прощайте, милый друг, поцелуйте Алексиса и скажите, что стыдно ему; скажите то же и m-lle Марии Лопухиной.

*Лерма.*

*[Перевод с французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 329–331]*

В первый день приезда[354] Лермонтов, еще как гость, был приглашен обедать братьями Безобразовыми. После обеда Лермонтов обратился к Безобразовым и Арнольди с вопросом: не играют ли в полку в карты вообще и в банк в особенности. Безобразов отозвался утвердительно и заложил банк в сто рублей. Лермонтов нашел сумму слишком малою. На что Безобразов заметил, что, играя постоянно и между товарищами, нет цели закладывать большую сумму. Но Лермонтов настоял на своем и, вытащив из бокового кармана вицмундира тысячу рублей, начал метать. Зашедший через час в квартиру, отлучившийся после обеда Арнольди застал стол, исписанный мелом и покрытый загнутыми картами. Безобразовы были уже до двух тысяч в проигрыше. Арнольди посоветовал Безобразовым держаться рутерок, и те стали отыгрываться. Тогда Лермонтов, обратясь к Арнольди, заметил: «Как видно, вы очень счастливы в игре — не примете ли и вы в ней участие?» Тот согласился, поставил несколько золотых, и счастье оставило Лермонтова: он давал почти все карты и не только проиграл весь свой выигрыш, но и еще 800 рублей А. И. Арнольди.

*[Из воспоминаний А. И. Арнольди. Ю. Елец «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка». СПб., 1898, т. I, стр. 205–206]*

За свое пребывание в полку Лермонтов не оставил по себе того неприятного впечатления, каким полны отзывы многих сталкивавшихся с ним лиц. Правда, отзывы гродненских офицеров о Лермонтове устанавливали одно общее мнение о язвительности его характера, но это свойство не мешало Лермонтову быть коноводом всех гусарских затей и пирушек и оправдывалось товарищами как одно из проявлений его исключительной натуры.

*[Ю. Елец. «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка». СПб., 1898 г., т. I, стр. 207]*

В обществе наших полковых дам Лермонтов был скучен и угрюм и, посещая чаще других баронессу Сталь-фон-Гольштейн, обыкновенно садился в угол и, молча, прислушивался к пению и шуткам собравшегося общества.

*[Сообщение баронессы Сталь-фон-Голъштейн. Ю. Елец. «История лейб-гвардии Гродненского гусарскою полка». СПб., 1898 г., т. I, стр. 207]*

В бытность Лермонтова в нашем полку им были написаны «Стансы» Мицкевича, переведенные ему с польского корнетом Краснокутским, и экспромт «Русский немец белокурый», по случаю проводов М. И. Цейдлера на Кавказ. Кроме того, тогда же Лермонтов, недурной художник, написал две картины масляными красками из кавказской жизни: «Черкес» и «Воспоминание о Кавказе». Обе картины и черкесский пояс с набором из черкесского серебра были им подарены А. И. Арнольди.[355]

*[Ю. Елец. «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка». СПб., 1898 г., т. I, стр. 206]*

18 февраля 1838 года командирован был я в отдельный кавказский корпус, в числе прочих офицеров гвардейского корпуса, для принятия участия в военных действиях против горцев.

2 марта родные в нескольких тройках проводили меня до Средней Рогатки…

По пути заехал я в полк проститься с товарищами и покончить с мелкими долгами, присущими всякому офицеру. Пробыв в полку сутки и распростившись со всеми, я отправился уже окончательно в дальний путь. Товарищи, однако, непременно вздумали устроить, по обычаю, проводы…

Станционный дом помещался в длинном каменном одноэтажном строении, похожем на огромный сундук. Уже издали видно было, что это казенное здание времен Аракчеевских: оно более походило на казарму, хотя и носило название дворца. Все комнаты, не исключая так называемой царской половины, были блистательно освещены. Хор трубачей у подъезда встретил нас полковым маршем, а в большой комнате накрыт был стол, обильно уставленный всякого рода напитками. Меня усадили, как виновника прощальной пирушки, на почетное место. Не теряя времени, начался ужин, чрезвычайно оживленный. Веселому расположению духа много способствовало

то обстоятельство, что товарищ мой и задушевный приятель Михаил Юрьевич Лермонтов, входя в гостиную, устроенную на станции, скомандовал содержателю ее, почтенному толстенькому немцу, Карлу Ивановичу Грау, немедленно вставить во все свободные подсвечники и пустые бутылки свечи и осветить, таким образом, без исключения все окна. Распоряжение Лермонтова встречено было сочувственно, и все в нем приняли участие; вставлялись и зажигались свечи; смех, суета сразу расположили к веселью. Во время ужина тосты и пожелания сопровождались спичами и экспромтами. Один из них, сказанный нашим незабвенным поэтом Михаилом Юрьевичем, спустя долгое время потом неизвестно кем записанный, попал даже в печать. Экспромт этот имел для меня и отчасти для наших товарищей особенное значение, заключая в конце некоторую, понятную только нам, игру слов. Вот он:

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны;
Но иной, не бранной сталью
Мысли юноши полны…[356]

Само собою разумеется, что ужин кончился обильным излиянием чувств и вина. Предшествуемый снова хором полковых трубачей, несомый товарищами до кибитки, я был, наконец, уложен в нее, и тройка в карьер умчала меня к Москве.

*[М. Ц[ейдле]р. На Кавказе в 30-х годах. «Русский Вестник» 1888 г., № 9, стр. 122–126]*

№ 2728

Инспекторск. Департам.

О корнете Лейб-Гвардии Гродненского Гусарского полка *Лермонтове*

Высочайше повелено спросить мнение Его Высочества Михайла Павловича— 27-го Марта 1838 года.

Генерал-Адьютант Адлерберг.

25 Марта 838.

По I Отделению № 3265. Получено 31 марта 1838

Корнет Лейб-Гвардии Гусарского полка *Лермантов*, за сочинение предосудительных стихов на смерть Пушкина, в феврале 1837-го года переведен был в Нижегородский

Драгунский полк. В последствии, по моему ходатайству, Государь Император, бывши в Закавказском крае, изволил оказать Лермантову помилование и повелел перевести его Лейб-Гвардии в Гродненский Гусарский полк.

Родная бабка его, вдова Гвардии Поручика Арсеньева, огорченная невозможностью беспрерывно видеть его, ибо по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород, осмеливается всеподданнейше повергнуть к стопам Его Императорского Величества просьбу свою, о Всемилостивейшем переводе внука ее Лейб-Гвардии в Гусарский полк, дабы она могла в глубокой старости (ей уже 80 лет), спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку правила чистой нравственности и преданность к Монарху, за оказанное уже ему благодеяние.

Принимая живейшее участие в просьбе этой доброй и почтенной старушки и душевно желая содействовать к доставлению ей в престарелых летах сего великого утешения и счастия видеть при себе единственного внука своего, я имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство в особенное, личное мне одолжение испросить у Государя императора к празднику Св. Пасхи Всемилостивейшее, совершенное прощение корнету Лермантову, и перевод его Лейб-Гвардии в Гусарский полк.

Генерал-Адъютант Граф Бенкендорф.

*Верно*: Заведывающий Общим Архивом Главного Штаба, Тайный Советник Иванов.

№ 3125
Инспекторск. Департам.
Командир Отдельного Гвардейского Корпуса
—
4-го Апреля 1838-го
№ 368
В С.-Петербурге
«в приказе 7 Апр.»
5 Апреля 838.
По I Отделению № 3446
Получено 7 Апреля 1838
ВОЕННОМУ МИНИСТРУ ГОСПОДИНУ
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ И КАВАЛЕРУ
ГРАФУ ЧЕРНЫШЕВУ

В следствие отзыва Вашего Сиятельства, от 30 марта за № 2769-м имею честь уведомить, что на перевод Корнета Л. Гв. Гродненского Гусарского полка *Лермантова,* Л. Гв. в Гусарский полк, Я с Своей стороны *совершенно согласен.*[357]

Генерал-Фельдцейхмейстер *Михаил*

Начальник Штаба *Генерал-Адъютант Веймарн*.

*Верно*: Заведывающий Общим Архивом Главного Штаба, Тайный Советник Л. Иванов пр. 9 Апреля.

Его императорское величество в присутствии своем в Санктпетербурге,

апреля 9 дня 1838 года,

соизволил отдать следующий

***ПРИКАЗ.***

. . . . .

ПО КАВАЛЕРИИ

Переводятся: лейб-гвардии гродненского Гусарского полка корнет Лермантов, лейб-Гвардии в гусарский полк.

Подписал: военный министр, генерал-адъютант граф Чернышев.[358]

Переведенный в лейб-гусары Лермонтов не тотчас отправился к месту нового служения, так как 18 апреля подал рапорт о болезни и некоторое время еще оставался при полку.

*[Ю. Елец. «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка». СПб., 1898 г., т. I, стр. 207]*

Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву. На Кавказе было, действительно, где искать вдохновения: не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов…

*[А. Н. Муравьев. «Знакомство с русскими поэтами». Киев, 1871 г., стр. 26]*

# ЧАСТЬ 4
# ЛЕРМОНТОВ В СВЕТЕ
# 1838–1840

*И скучно и грустно, и некому руку подать*
*В минуту душевной невзгоды.*
*Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?*
*А годы проходят — все лучшие годы!*

*Любить… но кого же?.. на время — не стоит труда,*
*А вечно любить невозможно.*
*В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:*
*И радость, и муки, и всё там ничтожно…*

*Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг*
*Исчезнет при слове рассудка,*
*И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,*
*Такая пустая и глупая шутка…*

*Лермонтов*

## ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

**1838.** *9 апреля.* Высочайший приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гусарский полк.

**1838.** *14 мая.* Лермонтов прибыл в лейб-гвардии Гусарский полк.

**1838.** *Весной.* Приезд в Петербург Вареньки Лопухиной (Бахметевой) с мужем.

**1839.** Лермонтов в светских салонах и литературных кружках Петербурга.

**1839.** *6 декабря.* Высочайший приказ о производстве корнета

Лермонтова в поручики.

**1839.** *Конец года.* Встреча Лермонтова с И. С. Тургеневым.

**1840.** *16 февраля.* Бал у графини Лаваль, на котором произошло столкновение между Лермонтовым и Эрн. де-Барантом.

**1840.** *18 февраля.* Дуэль Лермонтова с де-Барантом за Черною речкой на Парголовской дороге.

**1840.** *19 февраля.* Цензурное разрешение печатать роман «Герой нашего времени».

**1840.** *В конце февраля.* Письмо Лермонтова к генералу Н. Ф. Плаутину по делу о дуэли с де-Барантом.

**1840.** *11 марта.* Приказом по отдельному гвардейскому корпусу лейб-гвардии Гусарского полка поручик Лермонтов за произведенную им, по собственному его сознанию, дуэль и за недонесение о том тотчас своему начальству предается военному суду при гвардейской кирасирской дивизии, арестованным.

**1840.** *18 марта.* Показание А. А. Столыпина по делу о дуэли Лермонтова с де-Барантом.

**1840.** *21 марта.* Лермонтов пишет «Журналист, читатель и писатель».

**1840.** *22 марта,* вечером, свидание Лермонтова с де-Барантом на арсенальной гауптвахте.

**1840.** *Март.* Свидание Лермонтова с Белинским в ордонанс-гаузе.

**1840.** *13 апреля.* Высочайшим приказом по кавалерии лейб-гвардии Гусарского полка поручик Лермонтов переводится в Тенгинский пехотный полк тем же чином.

**1840.** *16 апреля.* Белинский в письме к Боткину рассказывает о своем свидании с Лермонтовым «в заточении».

**1840.** *Апрель.* Письмо Лермонтова к великому князю Михаилу Павловичу, в котором он оправдывается от обвинения в ложном показании по делу о дуэли с де-Барантом.

**1840.** *Апрель.* Лермонтов у Карамзиных перед отъездом в ссылку пишет стихотворение «Тучи».

**1840.** *Май.* Лермонтов проездом на Кавказ останавливается в Москве.

**1840.** *3 мая.* Поступил в продажу роман «Герой нашего времени».

**1840.** *9 мая.* На именинном обеде у Гоголя в Москве, в саду у Погодина, Лермонтов читает отрывки из «Мцыри».

**1840.** *22 мая.* Лермонтов встречается в Москве с А. И. Тургеневым.

**1840.** *Весной.* Лермонтов в Москве, в семействе Мартыновых, знакомится с князем А. В. Мещерским.

**1840.** *Начало лета.* Отъезд на Кавказ.

## ЛЕРМОНТОВ В СВЕТЕ

По возвращении в Петербург Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского.[359] Литературная деятельность его увеличилась. Он писал много мелких лирических стихотворений, переделал в третий раз поэму «Демон», окончил драму «Маскарад», переделал давно написанную им поэму «Мцыри», и еще несколько пьес, которые теперь не упомню; начал роман «Герой нашего времени». Словом, это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении. С 1839 года стал он печатать свои произведения в «Отечественных Записках»; у него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушал охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся, притом не побуждался меркантильными расчетами, почему и делал строгий выбор произведениям, которые назначал к печати.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 744–745]*

Весной 1838 года приехала в Петербург с мужем В[арвара] А[лександровна],[360] проездом за границу. Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней В[ареньки], только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. «Ну, как вы здесь живете?» — «Почему же это *вы*?» — «Потому, что, я спрашиваю про двоих». — «Живем, как Бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа». Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго и скончалась, говорят, покойно, лет десять тому назад.[361]

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 746]*

Бракосочетание молодой четы [А. В. Хвостова и Е. А. Сушковой] было в Петербурге, и обряд венчания совершен был в церкви св. Симеона; народу в церкви было очень много, и в толпе публики был заметен Лермонтов; он, если не ошибаюсь, незадолго перед тем вернулся с Кавказа, из ссылки, и вновь поступил в гвардию. Нам рассказывали, будто Лермонтов усиленно просился быть шафером у Е. А. и будто бы, не получив

на то согласия, все-таки присутствовал при обряде венчания и будто бы плакал.[362]

*[Устные рассказы Е. А. Сушковой в передаче М. И. Семевского. Сушкова, стр. 221–222]*

Рассказывают, что из церкви Лермонтов поспешил прежде молодых в дом жениха и здесь, в суете приема молодых, сделал оригинальную шалость: он взял солонку и рассыпал соль по полу. «Пусть молодые новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь», — сказал Лермонтов тем, которые обратили внимание на эту умышленную неловкость.

*[Устные рассказы Е. А. Сушковой в передаче М. И. Семевского. Сушкова, стр. 222]*

Когда Е. А. возвратилась от венца, Лермонтов (в качестве шафера) будто бы подошел к ней с поздравительным бокалом и сказал: «Je me recommande, madame, à votre bonté!».[363]

*[Устные рассказы Е. А. Сушковой в передаче М. И. Семевского. Сушкова, стр. 226].*

Июня 8 дня [1838]

Любезный друг Святослав![364]

Твое последнее письмо огорчило меня: ты сам знаешь почему; но я тебя от души прощаю, зная твои расстроенные нервы. Как мог ты думать, чтоб я шутил твоим спокойствием или говорил такие вещи, чтобы отвязаться! Главное то, что я совсем этого не говорил или пусть говорил, да не про то. Я сказал, что отзыв *непокорен к начальству* повредит тебе тогда, когда ты еще здесь сидел под арестом и что без этого ты, может быть, остался бы здесь.

Я слышал здесь, что ты просился к водам, и что просьба препровождена к военному министру; но резолюции не знаю; если ты поедешь, то, пожалуйста, напиши, куда и когда.[365] Я здесь по-прежнему скучаю; как быть? покойная жизнь для меня хуже. Я говорю *покойная,* потому что ученье и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно.

Роман,[366] который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины.

Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономно-политическим мечтателем, что для души и для тела

здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа все холодно, когда другим жарко, а уж и здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно.

О Юрьеве[367] скажу тебе: вообрази, влюбился в актрису, вышел в отставку, живет у Балабина, табак и чай уж в долг не дают, и 30 000 долгу, и вон из города не выпускают, — видишь: у всякого свои несчастия.

Прощай, любезный друг, и прошу тебя, будь уверен во мне и думай, что я никогда не скажу и не сделаю ничего тебе огорчительного. Прощай, милый друг; бабушка также к тебе пишет. *М. Лермонтов.*

*[Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому. Акад. изд., т. IV, стр. 331–332]*

Во время поисков за материалами для биографии Лермонтова пришлось нам проездом по Моршанско-Сызранской дороге встретиться с сестрою Святослава Афанасьевича, Анной Афанасьевной Соловцовой, рожденной Раевской. Она помнила, как брат ее вернулся из ссылки в Петербург, как была обрадована старушка-мать и как через несколько часов вбежал в комнату Лермонтов и бросился на шею к ее брату. «Я помню, как он его целовал и потом все гладил и говорил: „Прости меня, прости меня, милый“. Я была ребенком и не понимала, что это значило, но как теперь помню растроганное лицо Лермонтова и его большие, полные слез глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга своего».

*[Висковатый. Лермонтов на смерть А. С. Пушкина. По подлинным документам. «Вестник Европы», 1887, т. 1, стр. 345]*

С.-Петербург, февраль или март 1839 г.

Милый Алексис.

Я был болен и оттого долго тебе не отвечал и не поздравлял тебя, но верь мне, что я искренно радуюсь твоему счастию[368] и поздравляю тебя и милую твою жену. Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул, и отправился целиком. Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать? Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индижестию,[369] которая вдобавок к несчастию, разрешается стихами. Кстати о стихах: я исполнил обещание и написал их твоему наследнику, они самые нравоучительные (à l'usage des enfants[370]).

Ребенка милого рожденье

Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин;
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен,
И в правде тверд, как Божий херувим.
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум;
Пускай глядит он без упрека
На ложный блеск и ложный мира шум;
Пускай не ищет он причины
Чужим страстям и радостям своим,
И выйдет он из светской тины
Душою бел и сердцем невредим!

Je désire, que le sujet de ces vers ne soit pas un mauvais sujet… [371] — Увы! каламбур лучше стихов! Ну, да все равно! Если он вышел из пустой головы, то по крайней мере стихи из полного сердца. Тот, кто играет словами, не всегда играет чувствами, и ты можешь быть уверен, дорогой Алексис, что я так рад за тебя, что завтра же начну сочинять новую ар[ию] для твоего маленького крикуна.

Напиши, пожалуйста, милый друг, еще тотчас, что у вас делается; я три раза зимой просился в отпуск в Москву к вам, хоть на 14 дней, — не пустили! Что, брат, делать! Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет — надо же ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом…

*[Из письма Лермонтова к Л. А. Лопухину. Акад. изд., т. IV, стр. 334]*

[1838 или 1839 г.]

Давно уж я не писал вам, милый и дорогой друг, а вы ничего не сообщали мне ни о вашей дорогой особе, ни о всех ваших; поэтому надеюсь, что ответа на это письмо долго ждать не придется. Это звучит самоуверенно, скажете вы, но вы ошибетесь. Я знаю, вы убеждены, что ваши письма доставляют мне большое удовольствие, раз вы пользуетесь молчанием как средством наказать меня, но наказания этого я не заслуживаю: я постоянно думал о вас; вот доказательство: просил отпуска на полгода — отказали, на 28 дней — отказали, на 14 дней — великий князь и тут отказал. Все это время я надеялся видеть вас. Сделаю еще

попытку, — дай Бог, чтоб она удалась. Надо вам сказать, что я несчастнейший человек; вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы. Я пустился в *большой* свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Это по крайней мере откровенно. Все те, кого я преследовал в моих стихах, осыпают меня теперь лестью. Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ — отказали, не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; вам, может быть, покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняясь по гостиным, когда там нет ничего интересного. Ну что же, я открою вам мои побуждения. Вы знаете, что самый мой большой недостаток это тщеславие и самолюбие. Было время, когда я, в качестве новичка, искал доступа в это общество: это мне не удалось, и двери аристократических салонов были закрыты для меня; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже *лев*, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять; к счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным. Но этот обретенный мной опыт полезен в том отношении, что дает мне оружие против общества: если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня будет средство отомстить; нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там. Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства; ведь сказали бы, что я еще смешнее других; с вами же я говорю как с своею совестью, а потом, так приятно исподтишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так завидуют дураки, — с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства. Вас я имею в виду, милый мой друг, и повторяю, так как тирада эта несколько темновата.

Вы мне напишете, правда? Вы ведь не писали мне по какой-нибудь важной причине. Не больны ли вы? Не болен ли кто в семье? Боюсь, что так. Мне говорили что-то в этом роде. На следующей неделе жду вашего ответа и надеюсь, что он будет не короче моего письма и уж наверно лучше написан. Боюсь, что не разберете моего маранья.

Прощайте, милый друг; может быть, если Богу угодно будет наградить меня, я получу полугодовой отпуск и тогда во всяком

случае добьюсь ответа, каков бы он ни был. Поклонитесь от меня всем, кто меня не забыл.

Весь ваш

*М. Лермонтов.*

*[Перевод с французского письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Акад. изд., т. IV, стр. 332–333]*

Я в первый раз увидел Лермонтова на вечерах князя Одоевского.

Наружность Лермонтова была очень замечательна: он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у Краевского моего приятеля М. А. Языкова… Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда. Он и до сих пор не забыл его.

*[Панаев, стр. 215–216]*

[В доме князя В. Ф. Одоевского] — в этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия — сходился весь цвет петербургского населения. Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления, и всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко; все смотрели друг на друга приветливо, все забывали, что за чертой этого дома жизнь идет совсем другим порядком. Я видел тут, как Андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук; я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы… Им нужно было иметь тогда точку соединения в таком центре, где бы Андреевский кавалер знал, что его не встретит низкопоклонство, где бы гороховый сюртук чувствовал, что его не оскорбят пренебрежением. Все понимали, что хозяин, еще тогда молодой, не притворялся, что он их любит, что он их действительно любит, любит во имя любви, согласия, взаимного уважения, общей службы образованию, и что ему все равно, кто какой кличкой бы ни назывался и в каком бы платье ни ходил. Это прямое обращение к человечности, а не к обстановке

каждого, образовало ту притягательную силу к дому Одоевских, которая не обусловливается ни роскошными угощениями, ни красноречием лицемерного сочувствия.

*[В. А. Сологуб]*

Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями. Я в первый раз увидел его у Одоевского и потом довольно часто встречался с ним у г. Краевского. Где и как он сошелся с г. Краевским, этого я не знаю, но он был с ним довольно короток и даже говорил ему *ты*.

Лермонтов обыкновенно заезжал к г. Краевскому по утрам (это было в первые годы «Отечественных Записок», в 1839 — 40 и 41 годах) и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминал, и покрой которого был снят им у Одоевского, — разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Г. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться, но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на ты, и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:

— Ну, полно, полно… перестань, братец, перестань. Экой школьник…

Г. Краевский походил в такие минуты на гётевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие.

Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхивал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его всегда были очень непродолжительны.

*[Панаев, стр. 216–218]*

Раз утром Лермонтов приехал к г. Краевскому в то время, когда я был у него. Он привез ему свое стихотворение:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно…—

прочел его и спросил:

— Ну что, годится?..

— Еще бы! дивная вещь, — отвечал г. Краевский, — превосходно; но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность…

— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.

— «Из *пламя* и света рожденное слово…» — это неправильно, не так, — возразил г. Краевский, — по настоящему, по грамматике, надо сказать *из пламени* и света…

— Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, — ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности, и у Пушкина их много… Однако… (Лермонтов на минуту задумался)… дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался… Так прошло минут пять. Мы молчали.

Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук…

В другой раз я застал Лермонтова у Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание, без его спроса, «Казначейши» в «Современнике» (в № 3-м 1838 г.), издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого.

— Это чорт знает, что такое! позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою. — Это ни на что не похоже!

Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру.

Вероятно, этот нумер «Современника» сохраняется у Краевского в воспоминание о поэте.

*[Панаев, стр. 218–219]*

Белинский встречался у г. Краевского с Лермонтовым.[372] Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.

— Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно, но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою.

И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, желание показать презрение к жизни, а иногда даже и задорливость бретёра. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то по крайней мере идеал, сильно тревоживший его в то время, и на который он очень желал походить.

*[Панаев, стр. 220]*

Присылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Клюшникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов отдал бабам читать своего «Демона», из которого хотел напечатать отрывки, и бабы черт знает куда дели его, а у него уж, разумеется, нет чернового; таков мальчик уродился!..

*[Письмо Краевского к Панаеву от 10 окт. 1839 г., Панаев, стр. 308]*

В. А. Жуковский хотел видеть Лермонтова, которого ему и представили. Маститый поэт принял молодого дружески и внимательно, и подарил ему экземпляр своей «Ундины» с собственноручной надписью.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 746]*

24 октября 1839, вторник. Поездка в Петербург[373] с Виельгорским по железной дороге. Дорогой чтение «Демона».

5 ноября 1839, воскресенье.

Обедал у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов.

*[В. А. Жуковский. «Дневники», стр. 508, 510]*

…Песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он поступил опять в лейб-гусары. Мне случилось однажды, в Царском Селе, уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» — спросил я. «Сядьте и слушайте», — сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только что вылилась

из под его вдохновенного пера. Внимая ему, и сам пришел я в невольный восторг: так живо выхватил он, из ребр Кавказа, одну из его разительных сцен, и облек ее в живые образы перед очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. Много раз впоследствии перечитывал я его «Мцыри», но уже не та была свежесть красок, как при первом одушевленном чтении самого поэта.

*[А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871 г., стр. 26–27]*

Кажется, составилось какое-то понятие о том, будто Лермонтов был беден. Едва ли это справедливо. Если отцовское имение его было незначительно, зато состояние его бабушки было довольно велико, и она ничего для него не жалела, так что он мог жить весьма прилично даже в лейб-гусарском полку, где офицеры издерживали тогда много денег, и не отставать от них.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., т. VII, кн. 3, стр. 383–384]*

В 1839–1840 годах Лермонтов и Столыпин, служившие тогда в лейб-гусарах, жили вместе в Царском Селе, на углу Большой и Манежной улиц. Туда более всего собирались гусарские офицеры, на корпус которых они имели большое влияние. Товарищество (esprit de corps) было сильно развито в этом полку и, между прочим, давало одно время сильный отпор, не помню каким-то, притязаниям командовавшего временно полком, полковника С*. Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого esprit de corps, приписывал происходившее в гусарском полку подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит сходки в доме, где они жили. Влияния их действительно нельзя было отрицать; очевидно, что молодежь не могла не уважать приговоров, произнесенных союзом необыкновенного ума Лермонтова, которого побаивались, и высокого благородства Столыпина, которое было чтимо, как оракул.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873, кн. 3, стр. 382–383]*

Лермонтов был очень плохой служака, в смысле фронтовика и исполнителя всех мелочных подробностей в обмундировании и исполнении обязанностей тогдашнего гвардейского офицера. Он частенько сиживал в Царском Селе на гауптвахте, где я его иногда навещал. Между прочим, помню, как однажды он жестоко приставал к арестованному вместе с ним лейб-гусару, покойному

Владимиру Дмитриевичу Бакаеву (ум. 1871 г.). Весною 1839 г. Лермонтов явился к разводу с маленькою, чуть-чуть не игрушечною детскою саблею при боку, несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же арестовал его за это, велел снять с него эту саблю и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, которых привели посмотреть на развод. В августе того же года, великий князь, за неформенное шитье на воротнике и обшлагах виц-мундира, послал его под арест прямо с бала, который давали в ротонде царскосельской китайской деревни царскосельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков (лейб-гусарского и кирасирского) в отплату за праздники, которые эти офицеры устраивали в их честь. Такая нерадивость причитывалась к более крупным проступкам Лермонтова и не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему, когда он в чем-либо попадался.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., т. VII, кн. 3, стр. 387–388]*

Его императорское величество в присутствии своем в СПБ декабря 6 дня 1839 года
Соизволил отдать следующий

***ПРИКАЗ***

. . . . .

*по кавалерии* на вакансии. Из корнетов в поручики……

Лермантов……..

Подписал: военный министр, генерал-Адъютант граф Чернышев.[374]

***БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ***[375]

***МЫ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ,***

***Император и Самодержец Всероссийский,***

***и прочая, и прочая, и прочая.***

Известно и ведомо да будет каждому, что МЫ Михаила

Лермантова, который НАМ Лейб-Гвардии Корнетом служил, за оказанную его в службе НАШЕЙ ревность и прилежность в НАШИ поручики тысяща восемь сот тридесять девятого года Декабря шестого дня Всемилостивейше пожаловали и учредили; якоже МЫ сим жалуем и учреждаем, повелевая всем НАШИМ подданным оного Михаила Лермантова за НАШЕГО поручика Гвардии надлежащим образом признавать и почитать; и мы надеемся, что он в сем ему от НАС Всемилостивейше пожалованном чине, так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму Офицеру надлежит. Во свидетельство чего, МЫ сие Военному Министерству подписать и Государственною НАШЕЮ печатию укрепить повелели. Дан в Санктпетербурге, лета 1840 Октября 15 дня.

Военный Министр Граф Чернышев.

Дежурный Генерал Главного Штаба Его Императорского Величества Генерал-Адъютант Граф Клейнмихель.

Вице-Директор Генерал-Майор [*Подпись*].

В Инспекторском Департаменте
Военного Министерства записан под №….
При запечатании в Министерстве
Иностранных Дел под № 8919

Лермонтова я… видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш[аховск]ой, и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании, под новый 1840 год. У княгини Ш[аховск]ой, я, весьма редкий, непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня М[усина]-П[ушкина] — рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии Гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш-у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых, широких плечах возбуждала ощущение неприятное, но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до

некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «глаза его не смеялись, когда он смеялся»[376] и т. д. — действительно применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш. он любил как товарища — и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них. Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба.

На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки… и т. д.[377]

*[И. С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания». Полн. собр. соч. Изд. Маркса, 1898 г., т. XII, стр. 75–76; а также изд. Глазунова, 1884 г., т. X, стр. 82–84]*

С Лермонтовым Боратынский познакомился в (начале) 1840 года в Петербурге у кн. Одоевского и так сообщал жене о впечатлении, произведенном на него Лермонтовым: «Познакомился с Лермонтовым, который прочел прекрасную новую пьесу; человек без сомнения с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское».

*[Е. А. Боратынский. Полн. собр. соч. Изд. Имп. Акад. Наук, под ред. М. Гофмана, т. 1, стр. 303]*

Прелестное стихотворение «На светские цепи», как я слышал от Е. А. [Сушковой], написано княгине Марии Алексеевне Щербатовой, рожденной Штерич, красавице и весьма образованной женщине; впоследствии княгиня Мария Алексеевна вышла замуж за генерал-адъютанта И. С. Лутковского.

*[Устные рассказы Е. А. Сушковой в передаче М. И. Семевского.*

*Сушкова, стр. 225]*

**КН. МАРЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ЩЕРБАТОВОЙ**
На светские цепи,
На блеск упоительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла.
Но юга родного
На ней сохранились приметы
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.
Как ночи Украйны
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных.
Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки;
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.
И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых,
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.
И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру.
Как племя родное,
У чуждых опоры не просит,
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит.
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.
**Лермонтов**

Будучи женихом Щербатовой, и в то же время избегая брака, — Лермонтов на коленях умолял свою бабушку Арсеньеву не позволять ему жениться.[378]

*[Устные рассказы Е. А. Сушковой в передаче М. И. Семевского. Сушкова, стр. 225]*

Екатерина Александровна [Сушкова] выражалась о

Лермонтове: «Lermontoff — toujours calculateur et énigmatique». [379]

*[Устные рассказы Е. А. Сушковой в передаче М. И. Семевского. Сушкова, стр. 225]*

Между де-Барантом[380] и Лермонтовым произошло столкновение;[381] де-Барант с запальчивостью требовал от Лермонтова объяснений по поводу каких-то дошедших до него обидных речей. Михаил Юрьевич объявил все это клеветой и обозвал сплетнями. Де-Барант не удовлетворился, а напротив выразил недоверчивость и прибавил, что «если все переданное мне справедливо, то вы поступили дурно». — «Я ни советов, ни выговоров не принимаю и нахожу поведение ваше смешным и дерзким (drôle et imperti-nent)», — отвечал Лермонтов. На это де-Барант заметил: «Если б я был в своем отечестве, то знал бы как кончить дело». «Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы, русские, не меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно», — возразил Михаил Юрьевич. Тогда со стороны де-Баранта последовал вызов.

*[Горожанский в передаче Висковатого, стр. 318–320]*

Горожанский рассказывал, что Лермонтов, передавая ему разговор, заметил, что: «je déteste ces chercheurs d'aventures» — эти Дантесы и де-Баранты заносчивые сукины дети.

*[Висковатый, стр. 320]*

В своей дуэли с Барантом, сыном французского посланника, Лермонтов пригласил в секунданты к себе Столыпина, который мне рассказывал, что когда он приехал к молодому французу переговорить об условиях дуэли, то Барант объявил ему, что будет драться на шпагах. Это удивило Столыпина. «Но Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах», — возразил ему Столыпин. «Как же это офицер не умеет владеть своим оружием», — сказал Барант. «Его оружие — сабля, как кавалерийского офицера, — ответил ему Столыпин, — и если вы уже того хотите, то Лермонтов будет драться с вами на саблях; но, — прибавил он, — у нас в России не привыкли употреблять этого рода оружие в дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело». По настоянию Баранта противники дрались на саблях. Лермонтов был ранен в грудь; рана была довольно легкая. Тем кончилась их дуэль.

*[А. Меринский. «Библиографические Записки», 1859 г., № 12, стр. 374]*

Дуэль была положена сперва на шпагах до первой крови, а потом на пистолетах; на шпагах кончилась небольшой раной, полученной поручиком Лермантовым в правый бок, и тем, что конец шпаги его был сломан; после сего продолжалась она на пистолетах, поставили их на 20 шагов, стрелять они должны были по счету вместе по слову раз, приготовиться, два, целить, три, выстрелить, по счету два Лермонтов остался с поднятым пистолетом и спустил его по слову три; Барон де-Барант целил по счету два…

Меня же поручик Лермантов просил быть его секундантом на бале у Графини Лаваль 16-го числа февраля. Меры для примирения их были приняты все, но барон де-Барант требовал извинений, которые были отказаны поручиком Лермантовым, после выстрелов помирились просто. Секундантом со стороны Г-на Барона де-Баранта был его соотечественник Граф Рауль д'Англес…

Направления пистолета поручика Лермонтова при выстреле не могу определить, что могу только сказать, это то, что он не целил в Барона де-Баранта, а выстрелил с руки. — Барон де-Барант, как я выше сказал, целил по слову два и выстрелил по счету три. Выстрелы же последовали так скоро один за другим, что не могу определить, чей был прежде. Пистолеты были мои, заряжали их вместе с Графом д'Англесом, шпаги были привезены им. Посторонних лиц никого не было. Отставной Гвардии поручик Алексей Столыпин.[382]

*[Из показаний А. Столыпина на суде]*

Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой (к ней относится пьеса: «На светские цепи»). Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее и г. де-Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножно слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта, он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Vous profitez trop, monsieur, de ce que nous sommes dans un pays où le duel est défendu». — «Qu'à ça ne tienne, monsieur, — отвечал тот, — je me mets entièrèment à votre disposition»,[383] — и на завтра назначена была встреча; это случилось в середу на Масленице 1840 года.[384] Нас распустили из училища[385] утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов; погода была прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через два Лермонтов

вернулся, весь мокрый, как мышь. «Откуда ты эдак?» — «Стрелялся». — «Как, что, зачем, с кем?» — «С французиком». — «Расскажи». Он стал переодеваться и рассказывать: «Отправился я к Мунге, он взял отточенные рапиры и пару кухенрейтеров[386] — и поехали мы за Черную речку. Они были на месте. Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился, так продолжалось минут десять. Наконец, он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и все».

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 747–748]*

Я также встретился у Краевского с Лермонтовым [18 февр. 1840 г. ] в день его дуэли с сыном г. Баранта, находившимся тогда при французском посольстве в Петербурге… Лермонтов приехал после дуэли прямо к Краевскому и показывал нам свою царапину на руке. Они дрались на шпагах. Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский.

*[Панаев, стр. 219–220]*

Краевский говорил мне, что он завтракал с Лермонтовым один на один и что в рассказе Лермонтова о дуэли не было и тени хвастливости. Андрей Александрович Краевский, передавая этот случай, заметил: «Лермонтов терпеть не мог рисоваться и был далек от всякой хвастливости. Терпеть не мог он выставлять себя напоказ и во всем своем рассказе о дуэли, вызванном случайным разговором нашим, был чрезвычайно прост и естествен».

*[Висковатый, стр. 322]*

История эта[387] оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней; наконец, одна неосторожная барышня Б…,[388] вероятно, без всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на Страстной неделе получил казенную квартиру в третьем этаже с. — петербургского ордонанс-гауза, где и пробыл недели две, а оттуда перемещен на арсенальную гауптвахту, что на Литейной.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 748]*

[Конец февраля 1840 г.]

Ваше превосходительство, милостивый государь![389] Получив от вашего превосходительства приказание объяснить вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести вашему превосходительству, что 16 февраля, на бале у графини Лаваль, господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного. Я отвечал, что все ему переданное несправедливо; но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такою же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, условились и расстались. 18 числа в воскресенье, в 12 часов утра, съехались мы за Черною речкою на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видел.[390] Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он слегка оцарапал (мне) грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись. Вот, ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами. С истинной преданностью честь имею пребыть вашего превосходительства покорнейший слуга Михаила Лермонтов.

*[Письмо Лермонтова к генерал-майору Н. Ф. Плаутину. Акад. изд., т. IV, стр. 335]*

## *ПРИКАЗ*

По Отдельному Гвардейскому корпусу
11-го марта 1840 года № 38
В С.-Петербурге.

Лейб-гвардии Гусарского полка поручик Лермантов, за произведенную им, по собственному его сознанию, дуэль, и за недонесение о том тотчас своему начальству, — предается военному суду при Гвардейской Кирасирской дивизии, арестованным.

Подписал: Генерал фельдцейхмейстер *Михаил*.[391]

1840 года марта 16-го дня, в Комиссию Военного суда учрежденную при Кавалергардском Ее Величества полку прибыли нижеозначенные Судьи:

Кавалергардского Ее Величества полка:

За Презуса Полковник Полетика

За Ассесоров Ротмистр Бетанкур

Штабс Ротмистр Князь Куракин

Поручики: Самсонов, Зиновьев

Корнеты: Булгаков, Граф Апраксин 2-й

А для производства Дела Аудитор 13-го Класса Лазарев.

Во время сего присутствия, Г. Презус объявил, для чего собрание учинено; потом уговаривал всех обретающихся в Суде, дабы при отправлении начинающегося дела, напамятовали свою совесть, и что в суде случится, хранили б тайно и ни кому о том, кто б он не был, ни объявляли.

Презус Полковник Полетика.[392]

1840-го года марта 16 дня, по указу Его Императорского Величества; Комиссия Военного Суда, учрежденная при Кавалергардском Ее Величества полку слушав предписание Командующего сим полком Г. Генерал Майора барона Фитингофа от 14 числа сего месяца за № 764-м, с приложением подлинника рапорта Дежурного Штаб офицера Гвардейского Резервного Кавалерийского Корпуса за № 1964-м, о суждении Военным судом Поручика Л. Гв. Гусарского полка Лермантова, за произведенную им, по собственному его признанию 18 числа прошедшего февраля, дуэль и за недонесение о том своему начальству определила: означенного подсудимого поручика Лермантова призвав в присутствие, объявить ему оное повеление и на основании Свода военных постановлений устава Военного уголовного части V книги 11, Статей 273, 274, 275 и 276, спросить его: не имеет ли он на кого из г.г. присутствующих и Аудитора показать какого подозрения и буде не покажет и останется ими довольным, то взяв от него в том подписку, присутствующим учинить при нем по форме судебную присягу, а потом учиня, в чем следует вопросные пункты, по оным его допросить.

Корнет Граф Апраксин 2-й

Корнет Булгаков

Поручик Зиновьев

Поручик Самсонов

Штабс Ротмистр Князь Куракин

Ротмистр Бетанкур

Презус Полковник Полетика

Аудитор 13 класса Лазарев.
Командир
Лейб-Гвардии
Гусарского полка.
19 марта 1840 года
№ 662
В г. Царском Селе.
19 марта 1840.

В комиссию Военного Суда учрежденную при Кавалергардском Ее Величества полку над Поручиком Лермантовым

Вследствие рапорта оной Комиссии от 18 марта за № 6 препровождая два кондуитные и один формулярный список о Службе находящегося под судом вверенного мне полка Поручика Лермонтова, имею честь уведомить что означенный Офицер был действительно уволен на 17 число февраля и 18-го возвратился в Царское село, до предания суду штрафам не подвергался, о дуэли его с французским подданным Бароном Де-Барантом узнал я по городским слухам прибыв по делам службы в С.Петербург в прошлое воскресенье 10 марта.

Генерал Майор Плаутин
Полковой Адъютант Штабс Ротмистр [Подпись].

***КОНДУИТНЫЙ СПИСОК***

***ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГУСАРСКОГО ПОЛКА ПОРУЧИКА ЛЕРМАНТОВА***

***С 1-ГО ГЕНВАРЯ 1839 ГОДА ПО 1-Е АВГУСТА 1839 ГОДА***

*марта 19-го 1840 года*
Звание чинов: Поручик Михайло Юрьев Лермантов
С которого времени в службе: 832 года ноября 13
С которого времени в офицерских чинах: 834 года ноября 22
С которого времени в настоящем чине: 839 года декабря 6
Не был ли в отставке и сколько времени: Не был
Не был ли в иностранной службе и где: Не был
Сколько служил компании: Не служил
Усерден ли по службе: Усерден
Каковых способностей ума: Хороших
В каких науках имеет знание: Математике, Истории, Алгебре, Географии и Закону Божию

Какие знает иностранные языки: Французской, Немецкой
Каков в нравственности: Хорош
Каков в хозяйстве: Хорош
Генерал Майор Плаутин.
Полковой Адъютант Штабе Ротмистр [подпись].[393]

1840 года марта 16-го дня, в присутствии Комиссии Военного Суда, учрежденной при Кавалергардском Ее Величества полку, подсудимый Л.-Гв. Гусарского полка Поручик Лермонтов допрашиван и показал.

Вопрос 1: Как вас зовут? Сколько от роду лет, какой веры, и ежели христианской, то на исповеди и у Святого причастия бывали-ль ежегодно?

Ответ 1: Зовут меня Михаил Юрьев, сын Лермонтов, от роду имею 25 лет, веры грекороссийской, на исповеди и у Святого причастия ежегодно бывал.

Вопрос 2: В службу Его Императорского Величества вступили вы которого года, месяца и числа, из какого звания и откуда уроженец? имеете-ль за собою недвижимое имение и где оное состоит?

Ответ 2: Время вступления моего в службу Его Императорского Величества видно из формулярного списка. Происхожу из дворянского звания, уроженец Московский. Недвижимого имения за мною нет.

Вопрос 3: Во время службы какими чинами и где происходили, на предь сего не бывали-ль вы за что под судом и по оному, равно и без суда в каких штрафах и наказаниях?

Ответ 3: Службу начал с юнкерского чина Л. Гв. в Гусарском полку, произведен в корнеты в сем же полку, из оного был переведен в Нижегородский драгунский полк, потом Л.-Гв. в Гродненский и наконец снова поступил Л.-Гв. в Гусарский полк, в коем состою ныне поручиком. Под судом не был, а без суда подвергался штрафу, который значится в формулярном моем списке.

Вопрос 4: В письме вашем к Г. Полковому командиру Генерал-Майору Плаутину о произведенной Вами с Г. Барантом дуэли, все ли вы справедливо объяснили и утверждаете ли то письмо в полной силе, ныне в присудствии коммисии Военного Суда?

Ответ 4: В писме моем о дуэли я все изъяснил справедливо, содержание коего утверждаю в полной силе в присутствии военно-судной коммисии.

Вопрос 5: В дополнение вышесказанного письма вы должны объяснить присутствию Военно-Судной Коммисии: с чьего

позволения находились вы в С.-Петербурге 18-го числа прошедшего Февраля; кто именно тот Г. Барант, который требовал от Вас на бале у Графини Лаваль объяснения; по какому обстоятельству и какого рода объяснения требовал от Вас Г. Барант; когда же вы ему в том отказали, то в каких словах произнес он Вам свой колкий ответ, а также в каком смысле заключалась и та колкость, которую вы ему возразили;] слышал ли кто либо из бывших на сказанном балу лиц о таковом вашем разговоре с Г. Барантом, равно о вызове его и о том условии, по коему вы с ним произвели помянутую дуэль; был ли с Вашей стороны при этом поединке Секундант и почему вы тогда же не донесли о сем произшествии начальству?

Ответ 5: Находился я в Санкт-Петербурге 18-го числа Февраля с позволения полкового командира; Г-н. Эрнест Барант сын Ф[р]анцузского посланника при Дворе Его Императорского Величества. Обстоятельство по которому он требовал у меня объяснения состояло в том: правдали что я будто говорил на его щет невыгодные веши известной ему особе, которой он мне не назвал. Колкости же его и мои в нашем разговоре заключались в следующем смысле: когда я на помянутый вопрос Г-на Баранта сказал, что никому не говорил о нем предосудительного то его ответ выражал недоверчивость ибо он прибавил что все таки если переданные ему сплетни справедливы, то я поступил весьма дурно; на что я отвечал, что выговоров и советов непринимаю, и нахожу его поведение весьма смешным и дерзким. — О нашем разговоре и о вызове Г-на Баранта никто из бывших на бале не слыхал сколько мне известно, равно и о условиях наших, а далее происходило то самое, что я показал в вышеупомянутом письме. Секундантом при нашем поединке с моей стороны был отставной поручик Л.-Гв. Гусарского полка Сталыпин, а не донес я о сем произшествии начальству единственно потому что дуэль неимела никакого пагубного последствия.

Вопрос 6: В вышеозначенных ответных пунктах самую ли истинную правду вы показали?

Ответ 6: В вышеозначенных ответных пунктах я показал самую истинную правду.

*Сии вопросы сочинил Аудитор 13 класса Лазарев.*

*Сии ответы писал и к оным руку приложил поручик Лермонтов.*

[Подписи членов комиссии].[394]

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

1840 года Марта 20-го дня, в присутствии комиссии Военного Суда, учрежденной при Кавалергардском Ее Величества полку,

произведено было мною освидетельствование раны подсудимого поручика Лермантова, полученной им на дуэли шпагою, по которому оказалось, что никакого следа оной мною усмотрено не было, даже и рубца не заметно; из сего следует, что повреждение, о котором говорится, было весьма поверхностно.

Кавалергардского Ее Величества полка Полковой Штаб лекарь Медико-Хирург надворный Советник (Подпись)

При сем присутствовали: Презус Полковник Полетика
Ротмистр Бетанкур
Штабс Ротмистр князь Куракин
Поручик Самсонов
Поручик Зиновьев
Корнет Булгаков
Корнет Граф Апраксин.[395]
Аудитор Лазарев.

Дело вот как было: барон д'Андре, помнится, на вечеринке у Гогенлоэ, спрашивает меня, правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина, что Барант желал бы знать от меня правду. Я отвечал, что не помню, а справлюсь; на другой же день встретил я Лермонтова и на третий получил от него копию со строфы; через день или два, кажется, на вечеринке или на бале уже самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андре, но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию. Следовательно, я не ввозил Лермонтова к Баранту, не успел даже и оправдать его и был вызван к одной справке, к изъявлению моего мнения самим Барантом через барона д'Андре. Вот тебе правда, вся правда и ничего кроме правды. Прошу тебя и себя и других переуверить, если, паче чаяния, вы думаете иначе.

*[На письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 8 апреля 1840 г. «Остафьевский Архив», т. IV, стр. 112–113]*

…Верно, Лермонтов дрался с Бар[антом] за кн.?[396]

*[Из письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 15 марта 1840 г. «Остафьевский Архив», т. IV. стр. 100]*

…Чем кончилась участь Лермонтова?

*[Из письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 25 марта 1840 г. «Остафьевский Архив», т. IV, стр. 102]*

Знаете ли вы, что Лермонтов сидит под арестом за свою

дурацкую болтовню и неосторожность? Надо надеяться, что в день Пасхи или именин[397] судьба его решится благоприятно, а до сих пор еще дела его плохи. Он дрался на дуэли с Barante; это бы ничего, si par des imprudences impardonnables il n'avait pas aggravé son premier délit.[398] Мнение сперва было в его пользу, но теперь очень ему не благоприятствует. Только сожаление, la compassion seule amoindrit le blâme,[399] Софья Николаевна[400] за него горой и до слез, разумеется.

*[Из письма А. О. Смирновой к В. А. Жуковскому от 12 апреля 1840 г. «Русский Архив», 1902 г., кн. 2. стр. 100–101]*

Милостивый Государь
Граф Александр Христофорович.

Несколько времени пред сим, Л. Г. Гусарского полка Поручик Лермантов имел дуэль с сыном французского посланника Барона де-Баранта. К крайнему прискорбию моему, он пригласил меня, как родственника своего, быть при том секундантом. Находя неприличным для чести офицера отказаться, я был в необходимости принять это приглашение. Они дрались, но дуэль кончилась без всяких последствий. Не мне принадлежащую тайну, я по тем же причинам не мог обнаружить пред Правительством. Но несколько дней тому назад, узнав, что Лермантов арестован и предполагая, что он найдет неприличным объявить, были ли при дуэли его секунданты и кто именно, — я долгом почел, в тоже время явиться к Начальнику Штаба вверенного Вашему Сиятельству Корпуса, и донести ему о моем соучастничестве в этом деле. До ныне однако я оставлен без объяснений. — Может быть, Генерал Дубельт не доложил о том Вашему Сиятельству, или, быть может, и вы, Граф, по доброте души своей умалчиваете о моей вине. — Терзаясь за тем мыслию, что Лермантов будет наказан, а я, разделявший его проступок, буду предоставлен угрызениям своей совести, спешу, по долгу русского дворянина, принести Вашему Сиятельству мою повинную. — Участь мою я осмеливаюсь предать Вашему, Граф, великодушию.

С глубочайшим почитанием имею честь быть Вашего Сиятельства покорнейшим слугою Алексей Столыпин уволенный из Лейб Гвардии Гусарского полка поручик.[401]

«12» марта 1840.

*[Письмо А. Столыпина к графу А. Х. Бенкендорфу. ]*

Общее Управление
Санктпетербургской
Городской Полиции

Дела
Обер-Полициймейстера
По канцелярии
Отделение I
Стол 1
17 марта 1840 года
№ 2193.
Получ. 18 марта 1840 в 11 часов утра.

В Комиссию Военного Суда учрежденную при Кавалергардском Ее Величества Полку над Поручиком Лейб Гвардии Гусарского Полка, Лермантовым.

На рапорт оной Комиссии за № 4 поспешаю уведомить, что Поручик Сталыпин уволенный из Лейб Гвардии Гусарского Полка, на основании Высочайшей воли, объявленной мне в предписании Г. С.-Петербургского Военного Генерал-Губернатора, мною отправлен к Г. С. Петербургскому Коменданту при отношении 15 марта за № 2124 для содержания под арестом.

Свиты Его Императорского Величества Генерал Майор [Подпись]

Начальник Отделения [Подпись][402]

В ордонанс-гауз к Лермонтову тоже никого не пускали; бабушка лежала в параличе и не могла выезжать, однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтобы иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плац-майора, не помню хорошенько, барона З…, [403] чтоб он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой и разрешил мне под своею ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу (меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс). Лермонтов не был очень печален, мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим Андре Шенье, Гейне и «Ямбы» Барбие, последние ему не нравились, изо всей маленькой книжки он хвалил только одну строфу, из пьесы La Popularité.

*[А. П. Шан-Гирей. стр. 748–749]*

После дуэли Лермонтова с Барантом нужно было ожидать большой беды для первого, так как он уже во второй раз попадался. Можно вообразить себе горе бабушки. Понятно также, что родные и друзья старались утешать ее, сколько было возможно. Между прочим, ее уверяли, будто участь внука будет

смягчена, потому что «свыше» выражено удовольствие за то, что Лермонтов при объяснении с Барантом вступился вообще за честь русских офицеров перед французом. Старушка высказала как-то эту надежду при племяннике своем, покойном Якиме Якимовиче Хастатове, служившем адъютантом при гвардейском дивизионном начальнике Ушакове.

Хастатов был большой чудак и, между прочим, имел иногда обыкновение произносить речи, как говорят по-театральному, *в сторону*; но делал это таким густым басом, что те, от которых он хотел скрыть слова свои, слышали их, как нельзя лучше. Когда «бабушка» повторила утешительное известие, он обратился к кому-то из присутствовавших и сказал ему, по-своему, *в сторону*: «Как же! Напротив того, говорят, что упекут голубчика». Старушка услышала это и пришла в отчаяние.

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., т. VII, кн. 3, стр. 384–385]*

[В ордонанс-гаузе] написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем, точно, стоял у двери, я всегда около него ставил свою шпагу.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 749]*

**СОСЕДКА**

Не дождаться мне, видно, свободы!..
А тюремные дни будто годы,
И окно высоко над землей,
А у двери стоит часовой.

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки…
Мы проснулись сегодня с зарей, —
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решеткой окно.

У окна лишь поутру я сяду,

Волю дам ненасытному взгляду…
Вот напротив окошечко: стук —
Занавеска подымется вдруг.

На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок.

Но бледна ее грудь молодая,
Но сидит она долго вздыхая, —
Видно, буйную думу тая,
Все тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка…
Захоти лишь — отворится клетка,
И, как Божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь;
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.
**Лермонтов**

Граф Сологуб рассказывал мне, что Лермонтов в ордонанс-гаузе читал ему это стихотворение [ «Соседка»], позднее переделанное. Девушка была дочь сторожа. Сологуб видел даже изображение этой девушки, нарисованное Лермонтовым с подписью: «La jolie fille d'un sous-officier».[404] Поэт с нею действительно переговаривался через окно.

*[Висковатый, стр. 330]*

Любезный Signor Соболевский, пришли мне, пожалуйста с сим курьером Sous les Tilleuls;[405] да заходи потом сам, если успеешь. Я в ордонанс-гаузе, наверху, в особенной квартире; надо только спросить плац-майора. Твой Лермонтов.

*[Записка Лермонтова к Соболевскому, не датированная.*

*Может быть отнесена к первой половине марта 1840 г. А. К. Виноградов. «Мериме в письмах к Соболевскому» 1928, стр. 72]*

Лермонтов вверял бумаге каждое движение души, большею частию выливая их в стихотворную форму. Он всюду накидывал обрывки мыслей и стихотворений. Каждым попадавшим клочком бумаги пользовался он, и многое погибло безвозвратно.[406]

«Подбирай, подбирай, — говорил он шутя своему человеку, найдя у него бумажные отрывки со своими стихами, — со временем большие будут деньги платить, богат станешь». Когда не случалось под рукою бумаги, Лермонтов писал на столах, на переплете книг, на дне деревянного ящика, — где попало…

О том, что Лермонтов шутя советовал подбирать исписанные листы, рассказывал мне в Тарханах сын лермонтовского камердинера со слов отца своего. Другой человек Лермонтова рассказывал, как, посещая барина на гауптвахте в Петербурге, он видел исписанными все стены, «начальство за это серчало» — и М. Ю. перевели на другую гауптвахту.

*[Висковатый, стр. 94]*

Когда за дуэль с де-Барантом Лермонтов сидел на гауптвахте, мне пришлось занимать караул. Лермонтов был тогда влюблен в Кн. Щ.,[407] из-за которой и дрался. Он предупредил меня, что ему необходимо по поводу этой дуэли иметь объяснение с дамой и для этого удалиться с гауптвахты на полчаса времени. Были приняты необходимые предосторожности. Лермонтов вернулся минута в минуту, и едва успел он раздеться, как на гауптвахту приехало одно из начальствующих лиц справиться, все ли в порядке. Я знал, с кем виделся Лермонтов, и могу поручиться, что благорасположением дамы пользовался не де-Барант, а Лермонтов; потому ходивший тогда слух, будто Лермонтов обидел даму четырехстишием, несправедлив.

*[Горожанский в передаче Висковатого, стр. 318]*

Когда он сидел в ордонанс-гаузе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его; он провел с ним часа четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне.

Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.

— Откуда?

— Я был в ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!.. Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать, он меня… Что еще связывает нас немного, так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры… Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте… «Я не люблю Вальтер Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух». И он начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою… В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о нем с жаром, доказывал, что в Купере несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и — что удивило меня — даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом.

*[Панаев, стр. 220–222]*

Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина». Женщин ругает: одних за то, что дают; других за то, что не дают… Пока для него женщина и давать — одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин, и в жизни только их

и видит. Взгляд чисто онегинский. Печорин — это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «Дай Бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве! Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговею и смиряюсь в сознании моего ничтожества. Понимаешь ли ты меня, о лысая и московская душа!..

*[Из письма В. Г. Белинского к Боткину от 16 апреля 1840 г. Белинский. Письма под ред. Е. А. Ляцкого, т. 2, 1914 г., стр. 108]*

Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный оборот вследствие ответа Лермонтова, где он писал, что не считал себя вправе отказать французу, так как тот в словах своих не коснулся только его, Лермонтова, личности, а выразил мысль, будто бы вообще в России невозможно получить удовлетворения, сам же никакого намерения не имел нанести ему вред, что доказывалось выстрелом, сделанным на воздух. Таким образом мы имели надежду на благоприятный исход дела, как моя опрометчивость все испортила. Барант очень обиделся, узнав содержание ответа Лермонтова, и твердил везде, где бывал, что напрасно Лермонтов хвастается, будто подарил ему жизнь, это неправда, и он, Барант, по выпуске Лермонтова из-под ареста, накажет его за это хвастовство.

Я узнал эти слова француза, они меня взбесили, и я пошел на гауптвахту. «Ты сидишь здесь, — сказал я Лермонтову, — взаперти и никого не видишь, а француз вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб». Лермонтов написал тотчас записку, приехали два гусарские офицера, и я ушел от него. На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов высказал свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста, на что Барант при двух свидетелях отвечал так: «Monsieur, les bruits qui sont parvenus jusqu'à vous sont inexacts, et je m'empresse de vous dire, que je me tiens pour parfaitement satisfait».[408] После чего его посадили в карету и отвезли домой.

Нам казалось, что тем дело и кончилось; напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он,

будучи на гауптвахте, требовал к себе ее сына и вызывал его снова на дуэль. После такого пассажа дело натянулось несколько, поручика Лермонтова тем же чином перевели на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, куда он отправился, а вслед за ним бабушка поехала в деревню.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 750]*

1840 года Марта 29 дня в присутствии комиссии Военного Суда, учрежденной при Кавалергардском Ее Величества полку, подсудимый Поручик Лермонтов, в последствие объяснения его 25 числа сего месяца, препровожденного по команде от Его Императорского Высочества командира корпуса от 27 марта за № 149, допрошен и показал.

Вопрос 1: Из вышеупомянутого вашего объяснения, Военно-судная коммисия между прочим усматривает что вы 22 числа сего месяца содержавшись на Арсенальной Гауптвахте, приглашали к себе чрез неслужащего Дворянина Графа Браницкого 2-го, Барона Эрнеста де-Баранта, для личных объяснений в новых неудовольствиях, с коим и виделись в 8 часов вечера в коридоре караульного дома, куда вышли вы будто за нуждою неспрашивая караульного офицера и без конвоя, как всегда делали до сего; но как вам должно быть известно правило: что без разрешения коменданта и без ведома караульного офицера, никто к арестованным офицерам и вообще к арестантам, недолжен быть допущен, то по сему обстоятельству комиссия спрашивает вас: по какому поводу, вопреки сказанного запрещения, вы решились пригласить г-на Баранта на свидание с ним в коридоре караульного дома? с которого времени и по какому уважению вы могли выходить за нуждою и в коридор без конвоя?

Чрез кого именно вы узнали, что Барон де-Барант говорит в городе о несправедливом будто вашем показании, касательно происходившей, между вами с ним дуэли? — Когда и каким посредством вы могли письменно сноситься с Графом Браницким 2-ми просить его, чтобы он сказал г-ну Баранту о вашем желании с ним видеться лично, и где имеет жительство помянутый Граф? Наконец кто был тогда караульный офицер, без ведома коего вы имели свидание с Барантом? видел ли кто либо из караульных воинских чинов таковое ваше с ним свидание, а если того им нельзя было видеть, то почему именно.

Ответ 1: Пригласил я Г-на Баранта ибо слышал, что он оскорбляется моим показанием.

Выходил я за нуждою без конвою с тех пор как находился под арестом, без ведома караульных офицеров полагая что они мне в том откажут, и выбирая время когда караульный офицер

находился на платформе.

Узнал я о том, что Г-н Барант говорил в городе будто недоволен моим показанием — от родных кои были допущены ко мне с позволения коменданта, в разные времена. Сносился я с графом Браницким 2-м письменно через своего крепостного человека Андрея Иванова, а живет оный на Сергиевской улице в доме Графини Хвостовой на квартире родственницы моей Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, Граф Браницкий 2 имеет жительство на Невском проспекте в собственном доме.

Караульный офицер того числа был гвардейского Экипажа, кто именно не помню.

Видел ли кто мое свидание с г-н Барантом сего я не знаю, ибо незаметил присутствовал ли кто нибудь вблизи нас.

Вопрос 2: Все вышеписанное по истинной ли правде вы показали, а также справедливо ли описано Вами помянутое объяснение 25 Марта, по чьему требованию вы его писали и утверждаете ли оное в полной силе в присутствии Военно-Судной комиссии.

Ответ 2: Все вышеписанное показал по истинной правде; также справедливо мною написано объяснение 25 Марта, которое отбирал от меня С.-Петербургский Плац Майор флигель адъютант барон Зальц; и утверждаю оное в присудствии военно-судной комиссии.

*Вопросы сии сочинял Аудитор Лазарев.*

*К сим ответам моим подписуюсь Лейб гвардии Гусарского полка Поручик Лермонтов.*

[Подпись членов комиссии[409] ]

С.-Петербургский
Комендант
30-го марта 1840
№ 229
С.-Петербург
Получ. 30 марта 1840
51

Вследствие рапорта ко мне оной Комиссии за № 12-м, уведомляю:

1-е, Как родственникам не воспрещено иметь свидания с содержащимися под арестом на караулах Г.г. офицерами, то и к Подсудимому оной Комиссии Г-ну Поручику Лермантову, с разрешения моего родственники для свидания в разное время допускались.

2-е, Подсудимый Поручик Лермантов, был переведен с разрешения моего на Арсенальный караул 17-го марта потому,

что комнаты где содержатся подсудимые офицеры в Ордонанс-Гаузе, были заняты; содержать же его с караульным офицером, не было возможности, как по тесноте самой комнаты, так равно и потому, что сего и прежде не делалось, предварительно же о переводе поручика Лермантова из Ордонанс-Гауза на Арсенальный караул, я говорил с Начальником Штаба Отдельного Гвардейского Корпуса, и с его стороны препятствий к тому ни каких не оказалось.

3-е, 22-го числа сего месяца стоял в карауле на Арсенальной Гауптвахте Прикомандированный к Гвардейскому, 28-го Экипажа Мичман Кригер, а дежурным по караулам был того числа Гвардейского Экипажа Капитан Лейтенант Эссен.

4-е, От Караульного офицера, стоявшего того числа на Арсенальной Гауптвахте в карауле, о воспользовавшемся свидании в коридоре французского подданного Барона Де-Баранта с подсудимым Поручиком Лермантовым, донесений ни ко мне ни в Ордонанс-Гауз не было.

Генерал Майор [Подпись]1
С.-Петербургский
Ордонанс-Гауз
30 марта 1840 года
№ 1174
С.-Петербург
Получ. 30 марта 1840
53

В Комиссию Военного суда учрежденную при Кавалергардском Ее Величества полку.

В ответ отношения оной комиссии от сего числа за № 13-м, С. Петербургский Ордонанс-Гауз, имеет честь уведомить, что подсудимый Л.Гв. Гусарского полка поручик Лермантов содержится ныне в доме Ордонанс-Гауза не в комнате караульного офицера как он прежде содержался а в особенной комнате устроенной для Г.г. подсудимых офицеров, которая до сего времени была занята. — Продовольствия же поручик Лермантов от Ордонанс-Гауза никакого не имеет, а таковое приносит ему собственный его человек.

Плац майор Флигель Адъютант Полковник барон [Подпись].
Плац Адъютант [Подпись].[410]

1840 года Марта 30-го дня в присутствии Комиссии Военного Суда, учрежденной при Кавалергардском Ее Величества полку, над Поручиком Л.Гв. Гусарского Полка Лермантовым нижепоименованный допрашиван и показал:

Зовут меня Андрей Иванов Соколов, от роду имею 45 год,

веры грекороссийской, на исповеди и у святого причастия ежегодно бывал. Дворовый человек поручика Л. Гв. Гусарского полка Лермантова, штрафам и наказаниям по суду и без суда не подвергался, 22 числа сего месяца действительно помянутый мной Г-н Лермантов, на Арсенальной гауптвахте дав мне письмо на имя Графа Александра Владиславовича Браницкого, приказал доставить оное к сему Графу, что я и исполнил того же дня.

Все вышеписанное показал по сущей правде. Грамоте умею и к сему показанию подписуюсь Дворовый человек Андрей Иваныч Соколов

Допрашивал Аудитор Лазарев

При сем присутствовали: Презус Полковник Полетика

Ротмистр Бетанкур

Штабс ротмистр Князь Куракин

Поручик Самсонов

Поручик Зиновьев

Корнет Булгаков

Корнет Граф Апраксин 2-й

При спросе находился депутат Квартальный Надзиратель Владимиров.

1840 года Марта 30-го дня в присутствии Комиссии Военного Суда, учрежденной при Кавалергардском Ее Величества полку, нижепоименованный на предложенные от Комиссии вопросные пункты объяснил.

Вопрос 1: Как Вас зовут? Сколько от роду лет, какой веры и ежели христианской то на исповеди и у Святого причастия бывали ль ежегодно?

Ответ 1: Зовут меня Александр Владиславлев, граф Браницкий, от роду мне 21 год, веры христианской, Римско-Католического исповедания, у Святого причастия бываю ежегодно.

Вопрос 2: Какого Вы звания и если состоите на службе то где и в каком чине числитесь.

Ответ 2: Дворянин в службе не нахожусь.

Вопрос 3: На предь сего не бывали ль вы за что под судом и по оному равно и без Суда в каких штрафах и наказаниях?

Ответ 3: Никогда ни за что под судом не находился и никаким штрафам и наказаниям не подвергался.

Вопрос 4: Военно-Судной Комиссии нужно иметь от вас сведение имели ли вы от подсудимого поручика Л. Гв. Гусарского полка Лермантова поручение, когда вы оное получили и чрез какое посредство? в чем именно заключалось то поручение и как таковое Вами было исполнено?

Ответ 4: От подсудимого Поручика Л. Г. Гусарского полка

Лермонтова получил я 22 числа сего месяца письмо, в котором просил меня сказать барону Ернесту де-Баранту чтобы он прибыл к нему того дня вечером в 8 часов на Арсенальную обвахту, но зачем именно я не знаю, письмо это принес ко мне человек Лермонтова и я оное доставил лично Господину Баранту и когда он прочел то письмо тогда я оное разорвал и совершенно уничтожил.

Вопрос 5: В означенных ответных пунктах самую ли истинную правду вы показали?

Ответ 5: Все выше писанное показал по сущей правде.

*Сии вопросы сочинял Аудитор 13 класса Лазарев.*

*К сим ответам Дворянин Граф Александр Браницкий руку приложил.*

При сем присутствовали: [следуют подписи].

[10 апреля 1840]

В Петербурге таскают теперь историю Лермонтова — глупейшую.

*[Запись К. А. Полевого в дневнике. «Исторический Вестник», 1887, кн. 11, стр. 328]*

Определение Генерал Аудиториата, последовавшее по военно-судному делу о Поручике Лермантове.

На всеподданнейшем докладе Генерал-Аудиториата по сему делу собственною Его Императорского Величества рукою написано:

*«Поручика Лермантова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином; отставного поручика Столыпина и Г. Браницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. В прочем быть по сему».*

*Николай*

*С. Петербург*

*13 Апреля 1840.*

Генерал-Аудиториат, по рассмотрении военно-судного дела, произведенного над Поручиком Лейб-Гвардии Гусарского полка Лермантовым, находит:

Поручик Лермантов, 16-го Февраля сего года, приехав, с дозволения Полкового Командира, в С-т Петербург и бывши того же числа на бале у Графини Лаваль, поссорился там с Бароном де-Барантом. — Поводом к неудовольствию между ними было то, как Поручик Лермантов показал, что де-Барант объявив ему на бале, будто он Лермантов говорил об нем какой-то особе, которой

впрочем не назвал, невыгодно, — требовал от него объяснения, а когда Лермантов уверял его, что это несправедливо, — Барант, обнаруживая к нему недоверчивость, упрекал его в дурном поступке, называя оный «сплетнями». — На это Лермантов отвечал, что выговоров и советов не принимает и находит поведение его, де-Баранта, весьма смешным и дерзким. — После этого де-Барант сказал, — что если бы находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело; — а Лермантов возразил, что в России следуют правилам чести также строго, как и везде, и что русские меньше других позволяют оскорблять себя безнаказанно. Затем де-Барант вызвал его на дуэль, — и они расстались.

Через день после того, 18-го февраля, в 12-ть часов утра, Поручик Лермантов и Барон де-Барант съехались на Черной речке по Парголовской дороге с секундантами, которыми были: со стороны Лермантова уволенный от службы из Лейб-Гвардии Гусарского полка Поручик Столыпин; а со стороны Барона де-Баранта французский подданный Граф Рауль д'Англес. — Выбор оружия предоставлен был де-Баранту, как считавшему себя обиженным, и он выбрал шпаги, которые привезены были секундантом его; но в самом начале дуэли, у шпаги Лермантова переломился конец и Барант нанес ему в грудь легкую рану, которая заключалась в поверхностном только повреждении кожи. [411] — После того они, по сделанному предварительно условию, взяли пистолеты, которые привезены были секундантом Лермантова, и должны были стрелять вместе по счету. — Де-Барант сделал промах, а Лермантов, как сам он показал, опоздавши несколько выстрелом, — выстрелил уже в сторону. — Этим кончилась дуэль их, и они тут же помирились.

В тот же день поручик Лермантов отправился в полк и о произведенной им дуэли начальству не донес, единственно потому, как отозвался, что дуэль не имела пагубного последствия.

Вскоре однакож разнесшиеся слухи об этой дуэли дошли до сведения Полкового Командира, на спрос которого Лермантов признавшись, объяснил все подробности сего происшествия с вышеизложенною точностию, — что подтвердил и по предании его потом военному суду.

Показаний других лиц, которые бы подтверждали или опровергали объяснения подсудимого, по делу нет, кроме одного секунданта его, поручика Столыпина. — Сам Барон де-Барант, по предании Лермантова суду, выехал за границу, и как он, так и бывший со стороны его секундантом Граф д'Англес — остались не спрошены; а других, которые бы были свидетелями ссоры их в доме Графини Лаваль, — не открыто. Поручик же Столыпин

отзываясь, что и его при ссоре не было, показал однакож об ней, по рассказам Лермантова, согласно с его объяснениями. — О самой дуэли Столыпин отвечал точно то же, что показал и Лермантов отзываясь, что куда направлен был пистолет Лермантова при выстреле: в противника ли его, или в сторону, он определить не может, но утверждает, что Лермантов стрелял, не целясь.

Что же касается до собственного участия в сем деле поручика Столыпина, то он еще прежде, нежели Лермантов открыл, что он был секундантом, принес повинную в этом шефу жандармов, и как ему, так и в военном суде объяснил, что Лермантов пригласил его быть секундантом на балу же у Графини Лаваль и он Столыпин, находя неприличным для чести офицера отказаться, равно как и объявить этой тайны, был в необходимости принять такое приглашениею — Хотя же к примирению Лермантова с де-Барантом приняты были меры, но остались без успеха, потому что Барант требовал от лермантова извинений, от которых сей отказался.

Сверх сего, во время производства суда, подсудимый Лермантов, узнав, что Барон де-Барант распускал слухи о несправедливости показания его, что он выстрелил при дуэли в сторону, — пригласил его чрез неслужащего Дворянина Графа Браницкого 2-го к себе на Арсенальную гоубтвахту, на которой содержался, 22-го марта вечером в 8-мь часов, и вышедши к нему без дозволения караульного офицера в коридор под предлогом естестественной надобности, объяснялся там с де-Барантом по сему предмету и, как сам сознался, предлагал ему, по освобождении из под ареста, снова с ним стреляться; но Барант, довольствуясь его объяснением, вызова не принял.

В карауле на Арсенальной гоубтвахте 22 марта стоял прикомандированный к Гвардейскому экипажу, 28-го Экипажа Мичман Кригер, который, равно и нижние чины, бывшие в карауле, отозвались, что выхода Поручика Лермантова в коридор и объяснения его с иностранцем де-Барантом, они не заметили.

По сим обстоятельствам Генерал-Аудиториат признает подсудимого Поручика Лермантова по собственному его сознанию виновным в том, что он приняв от французского подданного Барона де-Баранта вызов, имея с ним 18-го февраля сего года дуэль на шпагах и пистолетах, на которой от шпаги получил в грудь легкую рану, а из пистолета, когда противник его сделал промах, выстрелил в сторону. — Потом отправившись в полк, скрывал о сем происшествии, доколе сведение о том не дошло до начальства стороною; а во время содержания под арестом, узнав, что де-Барант распускает слухи о

несправедливости того, что он выстрелил при дуэли в сторону, пригласил его к себе на арсенальную гоубтвахту, на которой содержался, и вышедши к нему вечером в коридор, тайно от караульного офицера, объяснялся о сем с Барантом и снова предлагал ему дуэль, по освобождении из под ареста.

За сии противозаконные поступки, Генерал-Аудиториат, руководствуясь Свода военных постановлений, Военно-уголовного Устава книги 1-й ст. 392 и 393-й, полагает, лишив его Лермантова чинов и дворянского достоинства, написать в рядовые. — Но принимая в уважение во первых причины, вынудившие подсудимого принять вызов к дуэли, на которую он вышел не по одному личному неудовольствию с Бароном де-Барантом, но более из желания поддержать честь Русского офицера, во вторых то, что дуэль эта не имела никаких вредных последствий; в третьих, поступок Лермантова во время дуэли, на которой он, после сделанного де-Барантом промаха из пистолета, выстрелил в сторону, в явное доказательство, что он не жаждал крови противника, и наконец засвидетельствование начальства об усердной Лермантова службе, повергает участь подсудимого на Всемилостивейшее Его Императорского Величества воззрение, всеподданнейше ходатайствуя о смягчении определяемого ему по законам наказания, тем, чтобы вменив ему Лермантову содержание под арестом с 10-го прошедшего Марта, выдержать его еще под оным в крепости на гоубтвахте три месяца[412] и потом выписать в один из Армейских полков тем же чином.

Поступки уволенного от службы из Лейб-Гвардии Гусарского полка Поручика Столыпина, бывшего секундантом при дуэли со стороны Поручика Лермантова, равно и Дворянина Графа Браницкого 2-го, приглашавшего Барона де-Баранта к тайному свиданию с подсудимым во время содержания его на Арсенальной гоубтвахте, — предоставить рассмотрению Гражданского Начальства.

Прикомандированному к Гвардейскому экипажу, Мичману 28-го Флотского Экипажа Кригеру, за допущение во время бытности 22 Марта на Арсенальной гоубтвахте в карауле, иметь подсудимому свидание с де-Барантом, во уважение молодых его лет и неопытности. согласно с мнением Его Высочества Командира Гвардейского Корпуса, вменить в наказание содержание под арестом, не лишая его сим штрафом прав и преимуществ, прежнею службою приобретенных; а бывшему тогда дежурным по караулам Капитан-Лейтенанту Гвардейского Экипажа Эссену за допущение такого беспорядка на Арсенальной гоубтвахте, объявить замечание.

Заключение сие подвергнуть на Высочайшее Его

Императорского Величества благоусмотрение.

[Следуют подписи][413]

На обертке же, в которой представлен был доклад, собственною же Его Величества рукою приписано:

*«исполнить сегодниже»*

Верно: Столоначальник

Травинский

Его императорское величество в присутствии своем в СПБ
апреля 13 дня 1840
соизволил отдать следующий

**_ПРИКАЗ_**

*ПО КАВАЛЕРИИ:*

переводятся:

<..>

лейб-гвардии Гусарского полка поручик Лермантов в Тенгинский пехотный полк тем же чином…

Подписал: военный министр генерал-адъютант граф Чернышев.[414]

[Апрель, 1840]

Ваше Императорское Высочество! Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня Его Императорским Величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердною службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью.

Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух.[415] Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что Его Императорское Величество и Ваше Императорское Высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решился обратиться к Вашему Императорскому Высочеству, зная великодушие и справедливость Вашу и будучи уже не раз облагодетельствован Вами, и просить Вас защитить и оправдать меня во мнении Его Императорского Величества, ибо в противном случае теряю

невинно и невозвратно имя благородного человека.

Ваше Императорское Высочество позволите сказать мне со всею откровенностью: я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта; я не предполагал этого, не имел этого намерения, но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам.

Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что Ваше Императорское Высочество соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение и заступлением Вашим восстановить мое доброе имя во мнении Его Императорского Величества и Вашем.

С благоговейною преданностью имею счастие пребыть Вашего Императорского Высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов, Тенгинского пехотного полка поручик.[416]

*[Письмо Лермонтова к великому князю Михаилу Павловичу. Акад. изд., т. IV, стр. 336]*

По приезде в Петербург он стал ездить в большой круг и, получив известность, был везде принят очень хорошо. Через несколько времени он влюбился во вдову княгиню Щербатову, урожденную Штерич, за которою волочился сын французского посла барона Баранта. Соперничество в любви и сплетни поссорили Лермонтова с Барантом. Они дрались; последний выстрелил и не попал, а другой выстрелил на воздух. Сия история оставалась долго скрытою от начальства; но болтовня самого Лермонтова разгласила ее, и он был посажен под арест. Впрочем не было бы никаких других дурных последствий для нашего поэта, ибо все его оправдывали, если б он не потребовал новой сатисфакции от Баранта по случаю новых сплетней. Узнав об этом, военное начальство сослало его в армию на Кавказ.

*[В. М. Смирнов. Из памятных заметок. «Русский Архив», 1882 г., № 2, с. 239–240]*

Недолго суждено было Лермонтову пользоваться своею славой и наслаждаться блестящим обществом столицы. По своему заносчивому характеру, он имел неприятность с сыном французского посла, которая должна была кончиться дуэлью, и, для того чтобы развести соперников, молодого Баранта отправили в Париж, а Лермонтова опять на Кавказ, с переводом в

армейский полк.

*[А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871 г., стр. 27]*

В 1838 году ему разрешено было вернуться в Петербург, а так как талант, а равно и ссылка, уже воздвигли ему пьедестал, то свет поспешил его хорошо принять. Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де-Барант, сыном французского посланника; последствием спора была дуэль, и в очень короткое время вторая между русским и французом; из-за болтовни некоторых женщин о поединке узнали до его совершения; чтобы покончить эту интернациональную распрю, Лермонтов был вторично сослан на Кавказ.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Ал. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas». II, Leipzig, 1859, p. 258]*

С Лермонтовым я сблизился у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником «Отечественных Записок». Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны. Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу… Я всегда, считал и считаю себя не литератором ex professo, а любителем, прикомандированным к русской литературе по поводу дружеских сношений. Впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя не чем иным, как любителем, и, так сказать, шалил литературой.

*[Сологуб. Воспоминания. СПб., 1887 г., стр. 188–189]*

С гр. Сологубом я познакомился в Дерпте, в доме жены его, рожденной Виельгорской. Здесь спрошенный мною по поводу повести «Большой свет», он пояснил мне, что посвящение трем звездам относится к императрице Александре Федоровне и двум великим княжнам, которым он читал повесть свою еще в рукописи. — О Лермонтове у нас были споры, и я старался ему объяснить, что он напрасно так односторонне и тенденциозно, а главное несправедливо изобразил Лермонтова, и что потомство об его повести будет судить с другой стороны, чем современники. Сологуб задумался.

*[Висковатый, стр. 326]*

Сологуб лично не любил Лермонтова. Он уверял, что поэт

ухаживал за всеми красивыми женщинами, в том числе и за его женой.[417]

*[Висковатый, стр. 326.]*

К повести Сологуба[418] ты чересчур строг: прекрасная беллетрическая повесть — вот и все. Много верного и истинного в положении, прекрасный рассказ, нет никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьев[419] — ложное лицо. А впрочем, славная вещь, Бог с нею! Лермонтов думает так же. Хоть и салонный человек, а его не надуешь — себе на уме. Да, он в образовании-то подальше Пушкина, и его не надует не только какой-нибудь идиот, осел и глупец Катенин, в котором Пушкин видел великого критика и по совету которого выбросил 8 главу «Онегина», но и наш брат. Вот это-то и хорошо. Он славно знает по-немецки и Гете почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати дуэль его — просто вздор, Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где приготовляется какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его, тем более, что он любит его не для него самого, а для женщин, для интриг… себе вдруг по три, по четыре аристократки, и не наивно и пресерьезно говорит Краевскому, что он уже и в бордель не ходит, потому-де, что уж незачем. Ну, от света еще можно бы оторваться, а от женщин другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера. Что ты, Боткин, не скажешь мне ничего о его «Колыбельной казачьей весне»? Ведь чудо!

*[Из письма Белинского к Боткину от 16 апреля 1840 г. Переписка под ред. Ляцкого, стр. 109–110]*

Вообще в те времена было в ходу военное или светское удальство. Многие молодые люди переходили служить на Кавказ. Гвардейцы хлопотали, чтобы попасть в число охотников, которые ежегодно отправлялись (по одному от каждого полка) на Кавказ и отличались там превосходною храбростью, а некоторые и такою отвагою, которая удивляла даже закаленных в бою старых кавказских воинов. Поединки тоже казались чем-то заманчивым. Я помню, что Монго-Столыпин, к которому из уважения к его тонкому пониманию чувства чести нередко обращались, чтобы он рассудил какой-либо щекотливый вопрос, возникший между молодыми противниками, показывал мне привезенную им из-за

границы книгу «Manuel du duelliste» или что-то в этом роде. В ней описаны были все правила, без соблюдения которых поединок не мог быть признан состоявшимся «по строгим правилам искусства».

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., т. VII, кн. 3, стр. 389]*

[3 апреля 1840 г.]

О, милый, любезный Опочинин! Вот вчера вечером, когда я вернулся от вас, мне сообщили, со всеми возможными предосторожностями, роковую новость, — и когда вы будете читать эту записку, меня уже не будет… (переверните) в Петербурге. Потому что я иду в караул. И се (стиль библейский и наивный), веруйте моим чистосердечным сожалениям о том, что не мог придти повидаться с вами. Весь ваш Лермонтов.

*[Перевод с французского письма Лермонтова к К. Ф. Опочинину. Акад. изд., т. IV, стр. 335]*

Когда вышел роман [ «Герой нашего времени»] в первом издании, Лермонтов подарил ближайшим своим друзьям по экземпляру.[420] Жене кн. Вл. Федор. Одоевского, княгине Ольге Степановне, рожденной Ланской, поэт переслал роман. На заглавном листе этого экземпляра после печатных слов *«Герой нашего времени»* Лермонтов поставил запятую и прибавил: *«упадает к стопам ее прелестного сиятельства умоляя позволить ему не обедать»*.

*[Висковатый, стр. 361–362]*

Аврора Карловна Демидова, финляндская уроженка, считалась и была на самом деле одной из красивейших женщин в Петербурге; многие предпочитали ей ее сестру, графиню Мусину-Пушкину,[421] ту графиню Эмилию, о которой влюбленный в нее Лермонтов написал это стихотворение:

Графиня Эмилия —
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.[422]

Трудно было решить, кому из обеих сестер следовало отдать

пальму первенства.

*[Сологуб. Воспоминания. СПб., 1887 г., стр. 141–142]*

Обе сестрицы Шернваль были замечательной красоты. Эмилия Карловна и Аврора Карловна, хотя и принадлежали к небогатому дворянскому семейству в Финляндии, но получили хорошее образование. Первая из них вышла замуж за одного из самых видных и богатых женихов в России, графа Мусина-Пушкина.

*[А. В. Мещерский. Воспоминания, 1901 г., стр. 134]*

Я видела Лермонтова один только раз перед его отъездом на Кавказ в кабинете моего зятя, А. А. Краевского, к которому он пришел проститься. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз. Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась.

*[А. Панаева. Воспоминания. Academia. Л., 1928 г., стр. 114–115]*

Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Один из этих балов остался мне особенно памятным. Несколько дней перед этим балом Лермонтов был осужден на ссылку на Кавказ. Лермонтов, с которым я находился сыздавна в самых товарищеских отношениях, хотя и происходил от хорошей русской дворянской семьи, не принадлежал, однако, по рождению к квинтэссенции петербургского общества, но он его любил, бредил им, хотя и подсмеивался над ним, как все мы, грешные… К тому же в то время он страстно был влюблен в графиню Мусину-Пушкину и следовал за нею всюду, как тень. Я знал, что он, как все люди, живущие воображением, и в особенности в то время, жаждал ссылки, притеснений, страданий; что, впрочем, не мешало ему веселиться и танцевать до упаду на всех балах; но я, все-таки, несколько удивился, застав его таким беззаботно веселым почти накануне его отъезда на Кавказ; вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он как ни в чем не бывало кружился в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему.

— Да что ты тут делаешь! — закричал я на него, — убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович!

— Не арестуют у меня! — щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил граф Иван, проходя мимо нас.

В продолжение всего вечера я наблюдал за Лермонтовым. Им обуяла какая-то лихорадочная веселость; но по временам что-то странное точно скользило на его лице; после ужина он подошел ко мне.

— Сологуб, ты куда поедешь отсюда? — спросил он меня.

— Куда?.. домой, брат, помилуй — половина четвертого!

— Я пойду к тебе, я хочу с тобой поговорить!.. Нет, лучше здесь… Послушай, скажи мне правду, слышишь, — правду. Как добрый товарищ, как честный человек… Есть у меня талант, или нет?.. говори правду!..

— Помилуй, Лермонтов! — закричал я вне себя, — как ты смеешь меня об этом спрашивать! — человек, который, как ты, написал…

— Хорошо, — перебил он меня, — ну, так слушай: государь милостив; когда я вернусь, я, вероятно, застану тебя женатым, ты остепенишься, образумишься, я тоже, и мы вместе с тобой станем издавать толстый журнал.

Я, разумеется, на все соглашался, но тайное скорбное предчувствие как-то ныло во мне. На другой день я ранее обыкновенного отправился вечером к Карамзиным. У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из цвета тогдашнего литературного и художественного мира. Глинка, Брюллов, Даргомыжский, словом, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высоко-эстетический дом. Едва я взошел в тот вечер в гостиную Карамзиных, Софья Карамзина стремительно бросилась ко мне навстречу, схватила мои обе руки и сказала мне взволнованным голосом:

— Ах, Владимир, послушайте, что Лермонтов написал, какая это прелесть! Заставьте сейчас его сказать вам эти стихи!

Лермонтов сидел у чайного стола; вчерашняя веселость с него «соскочила», он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи.

Он нехотя поднялся со своего стула.

— Да я давно написал эту вещь, — проговорил он и подошел к окну.

Софья Карамзина, я и еще двое-трое из гостей окружили его. Он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал:

На воздушном океане

Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане…[423]

И так далее. Когда он кончил, слезы потекли по его щекам, а мы, очарованные этим, едва ли не самым поэтическим его произведением и редкой музыкальностью созвучий, стали горячо его хвалить.

— C'est du Pouchkine cela,[424] — сказал кто-то из присутствующих.

— Non, c 'est du Лермонтов, ce qui vaudra son Pouchkine![425] — вскричал я.

Лермонтов покачал головой.

— Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича, — сказал он, грустно улыбнувшись, — да и времени работать мало остается; убьют меня, Владимир!

Предчувствие Лермонтова сбылось: в Петербург он больше не вернулся;[426] но не от черкесской пули умер гениальный юноша, и на русское имя кровавым пятном легла его смерть.

*[Сологуб. Воспоминания. СПб., 1887 г., стр. 207–210]*

Гр. Сологуб в 1877 г. рассказывал мне об этом вечере немного иначе, чем сообщает о нем в Историч. Вестнике в своих воспоминаниях. Там он, очевидно, путает. Вместо «Тучки небесные» приводит слова Демона в знаменитой поэме «На воздушном океане». Они были писаны в 1838 году, а «Тучи» в 1840. Самый вечер у Карамзиных он описывает как бы состоявшимся в 1841 г., в последний приезд Лермонтова, что не верно. Мне он говорил: «Я хорошо помню Михаила Юрьевича, стоявшего в амбразуре окна и глядевшего вдаль. Лицо его было бледно и выражало необычайную грусть, — я в первый раз тогда заметил на нем это выражение и, признаюсь, не верил в его искренность». Люди судят других по себе и Сологуб не допускал серьезности в нашем славном поэте. Впрочем, в последней редакции своих воспоминаний гр. Сологуб, как уже замечено, старается дать своим суждениям о поэте иной характер, выходит, что граф в нем тогда же признал талант выше Пушкинского! Карамзины жили у «Соляного городка» против Летнего сада, в д. Кушинниковой. Из окна можно было видеть и часть Невы.

*[Висковатый, стр. 338]*

Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в

окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания,
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез… Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома.

Пьеской «Тучи» поэт заключил и первое издание своих стихотворений, вышедших в конце 1840 года.

*[Висковатый, стр. 338]*

В то время как Лермонтов уезжал на Юг, издан был в первый раз его роман «Герой нашего времени»; через год уже вышло второе его издание. Также при жизни поэта напечатаны были в одной книге его мелкие стихотворения, самые безукоризненные, как выразился о них покойный Белинский. До появления их вместе, они помещаемы были почти исключительно в «Отечественных Записках».

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 303]*

Я видел русомана Лермонтова в последний его проезд через Москву. «Ах если б мне позволено было оставить службу, — сказал он мне, — с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда». — «Ненадолго, мой любезнейший», — отвечал я ему.

*[Ф. Ф. Вигель. Письмо к приятелю в Симбирск. Н. С. Сушков, Московский университетский Благородный пансион. Приложения, стр. 16]*

19 июня 1840 г.

Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности и значительной доли индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил; он все замечает; его взор тяжел, и чувствовать на себе этот взор утомительно. Первые минуты присутствие этого человека было мне неприятно: я чувствовал, что он очень проницателен и читает в моем уме; но в то же время я понимал, что сила эта имела причиною одно лишь простое любопытство, без всякого иного интереса, и потому поддаваться этой силе мне казалось унизительным. Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас самих слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни. В моем положении, мне очень жаль, что знакомство наше не продолжалось дольше. Я думаю, что между им и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое.

*[Перевод из французского письма Ю. Ф. Самарина к Гагарину. «Новое Слово», 1894 г., кн. 2, стр. 44–45]*

Я, обладая несколькими тысячами рублей и полною, безответственною свободою и не имея никакой определенной цели, которую и создать себе не умел, проживал в Москве, тратя время на обеды, поездки к цыганам и загородные гулянья и почти ежедневные посещения Английского клуба, где играл в лото по 50 руб. асс. ставку и почти постоянно выигрывал. Грустно вспомнить об этом времени, тем более что меня постоянно преследовала скука и бессознательная тоска. Товарищами этого беспутного прожигания жизни и мотовства были молодые люди лучшего общества и так же скучавшие, как я. Между ними назову: Князя А. Б., барона Д. Р., М. и некоторых других. И вот в их-то компании я, не помню где-то, в 1840 году встретил М. Ю. Лермонтова, возвращавшегося с Кавказа или вновь туда переведенного, — не помню.[427] Мы друг другу не сказали ни слова, но устремленного на меня взора М. Ю. я и до сих пор забыть не могу: так и виделись в этом взоре впоследствии читанные мною его слова:

Печально я гляжу на наше поколенье, —
Грядущее его иль пусто, иль темно…[428]

Но хуже всего то, что в ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой, что мне, напр., едва ли из нее было известно более, как «Думы» Рылеева и его поэма «Войнаровский», «Братья-Разбойники» Пушкина и «Юрий Милославский» Загоскина, — и все это прочитанное, а отчасти наизусть выученное еще в Горном корпусе. В Юнкерской школе нас интересовали только французские романсы Гризара и водевильные куплеты; в полку успел прочесть Тьера «Историю революции» и Байрона во французском переводе, а на Кавказе, кроме «Инвалида», «Etudes de la Nature» Bernardin de S-t Pierre и изредка «Revue Britannique» и ничего из современной литературы. Вот и сформировалось исключительно эпикурейское мировоззрение, основным фондом коего было существовавшее тогда во всей силе крепостное право.

Нужно было особое покровительство Провидения, чтобы выйти из этого маразма. Не скрою, что глубокий, проницающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем.

*[В. В. Боборыкин. Три встречи с Лермонтовым. «Русский Библиофил», 1915 г., кн. 5, стр. 80–81]*

Замечательно, как глаза и их выражение могут изобличать гениальные способности в человеке. Я, например, испытал на себе это влияние при следующем случае. Войдя в многолюдную гостиную дома, принимавшего всегда только одно самое высшее общество, я с некоторым удивлением заметил среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера, в весьма не щегольской армейской форме, с красным воротником без всякого шитья. Мое любопытство не распространилось далее этого минутного впечатления: до такой степени я был уверен, что этот бедненький армейский офицер, попавший, вероятно, случайно в чуждое ему общество, должен обязательно быть человеком весьма мало интересным. Я уже было совсем забыл о существовании этого маленького офицера, когда случилось так, что он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Тогда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был не кто иной, как поэт Лермонтов.

*[А. В. Мещерский. Воспоминания, Москва, 1901 г., стр. 86]*

Я с ним познакомился в семействе Мартыновых, где были три

незамужние дочери, из которых одна, по-видимому, занимала собою нашего поэта. Их старший брат был тот самый Мартынов, который впоследствии убил Лермонтова на дуэли. Мартынов в то время перешел из гвардии в Нижегородский драгунский полк (на Кавказ), как кажется, потому, что мундир этого полка славился тогда, совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии. Я видел Мартынова в этой форме; она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой, и, по-видимому, эта слабость, подмеченная в нем Лермонтовым, послужила ему постоянным предметом довольно злых острот над Мартыновым. Лермонтов, к сожалению, имел непреодолимую страсть дразнить и насмехаться, что именно и было причиной его злосчастной дуэли.

В другой раз была серьезная беседа об интенсивном хозяйстве, о котором в настоящее время так много пишут в журналах и о чем тогда уже заботились. Лермонтов, который питал полное недоверие и обнаруживал даже некоторое пренебрежение к сельскому хозяйству, называя его ковырянием земли, сказал нам при этом, что он сам недавно был в своем маленьком имении в Малороссии,[429] откуда не получалось никакого дохода. Его долготерпение, наконец, истощилось, и он поехал туда, чтобы лично убедиться в причине бездоходности имения. «Приезжаю, говорит Лермонтов, в деревню, призываю к себе хохла-приказчика, спрашиваю, отчего нет никакого дохода. Он говорит, что урожай был плохой, что пшеницу червь попортил, а гречиху солнце спалило. Ну, я спрашиваю, а скотина что? — Скотина, говорит приказчик, ничего, благополучно. — Ну, я спрашиваю, куда же молоко девали? — На масло били, отвечает он. — А масло куда девали? — Продавали, говорит. — А деньги куда девали? — Соль, говорит, куповали. — А соль куда девали? — Масло солили. — Ну а масло куда девали? — Продавали. — Ну, а деньги где? — Соль куповали!..» И так далее, и так далее. «Не истинный ли это прототип всех наших русских хозяйств?» — сказал Лермонтов и прибавил: «Вот вам при этих условиях не угодно ли завести интенсивное хозяйство!»

Лермонтов хорошо говорил по-малороссийски и неподражаемо умел рассказывать малороссийские анекдоты. Им, например, был пущен известный анекдот (который я после слышал и от других) о том хохле, который ехал один по непомерно широкой почтовой малороссийской дороге саженей во сто ширины. По обыкновению хохол заснул на своем возе глубоким сном, волы его выбились из колеи и, наконец, осью зацепили за поверстный столб, отчего остановились. От толчка хохол вдруг проснулся, спросонья осмотрелся, увидел поверстный

столб, плюнул и, слезая с своего воза, сказал: «Що за бісова тиснота, не можно и возом розминутця!»

По поводу лености и невозмутимости хохла Лермонтов мне рассказал, как, оставляя Петербург и Лейб-гусарский полк, чтобы перейти на службу на Кавказ,[430] он оставил свою тысячную верховую лошадь[431] на попечении все того же своего денщика Сердюка, поручив своему товарищу по полку, князю Меншикову, в возможно скорейшее время ее продать. Очень долго не находилось покупщиков. Наконец Меншиков нашел покупателя и с ним отправился в полковой манеж, чтобы показать ему продажную лермонтовскую лошадь. Немало времени они ожидали в манеже Сердюка с его лошадью. Наконец, показался за барьером манежа какой-то человек, который с веревкой на плече тащил с трудом что-то, должно быть, очень тяжелое; через несколько времени показалась голова лошади, которая, фыркая и упираясь, медленно подвигалась вперед и озиралась на все стороны. Когда Сердюк с трудом втащил ее на середину манежа, то издали она не похожа была на лошадь, а на какого-то допотопного зверя: до такой степени она обросла длинной шерстью; уши, которыми она двигала то взад, то вперед, так заросли, что похожи были на огромные веера, которыми она махала. Князь Меншиков, возмущенный этой картиной, спросил у Сердюка, что за зверя он привел, но Сердюк отвечал очень хладнокровно: «Это лошадь, ваше высокоблагородие!» — «Да что ты с ней сделал, Сердюк, с этой лошадью?» — «Да что же, ваше высокоблагородие, с ней сделается? Она себе корм ест, пьет, никто ее не трогает; помилуйте, что с ней сделается?»

Оказывается, что Сердюк целый год лошадь не чистил и не выводил из денника, так что она совершенно одичала и обросла.

*[А. В. Мещерский. Воспоминания, 1901 г., стр. 86–88]*

Впоследствии, сблизившись с Лермонтовым, я убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах постоянно над намеченной им в обществе жертвой составляло одну из резких особенностей его характера. Я помню, что раз я застал у него одного гвардейского толстого кирасирского полковника З., служившего в то время жертвой всех его сарказмов, и хотя я не мог не смеяться от души остроумию и неистощимому запасу юмора нашего поэта, но не мог также в душе не сострадать его жертве и не удивляться ее долготерпению.

Он мне сам рассказывал, например, как во время лагеря, лежа на постели в своей палатке, он, скуки ради, кликал к себе своего денщика и начинал его дразнить. «Презабавный был, — говорил он, — мой денщик малоросс Сердюк. Бывало, позову его и

спрашиваю: „Ну, что, Сердюк, скажи мне, что ты больше всего на свете любишь?“» — Сердюк, зная, что должны начаться над ним обыкновенные насмешки, сначала почтительно пробовал уговаривать барина не начинать вновь ежедневных над ним испытаний, говоря: «Ну, що, ваше благородие… оставьте, ваше благородие, я ничего не люблю…» Но Лермонтов продолжал: «Ну, что. Сердюк, отчего ты не хочешь сказать?» — «Да не помню, ваше благородие». Но Лермонтов не унимался: «Скажи, — говорит, — что тебе стоит? Я у тебя спрашиваю, что ты больше всего на свете любишь?» Сердюк все отговаривался незнанием. Лермонтов продолжал его пилить, и, наконец, через четверть часа, Сердюк, убедившись, что от барина своего никак не отделается, добродушно делал признание: «Ну, що, ваше благородие, — говорил он, — ну, пожалуй, мед, ваше благородие». Но и после этого признания Лермонтов от него не отставал. «Нет, — говорил он, — ты, Сердюк, хорошенько подумай: неужели ты в самом деле мед всего больше на свете любишь?» Лермонтов начинал снова докучливые вопросы и на разные лады. Это опять продолжалось четверть часа, если не более, и, наконец, когда истощался весь запас хладнокровия и терпения у бедного Сердюка, на последний вопрос Лермонтова о том, чтобы Сердюк подумал хорошенько, не любит ли он что-нибудь другое на свете лучше меда, Сердюк с криком выбегал из палатки, говоря: «Терпеть его не могу, ваше благородие!..»

*[А. В. Мещерский. Воспоминания, 1901 г., стр. 89]*

Лермонтов был преприятный собеседник и неподражаемо рассказывал анекдоты. Вообще в холостой компании Лермонтов особенно оживлялся и любил рассказы, прерывая очень часто самый серьезный разговор какой-нибудь шуткой, а нередко и нецензурными анекдотами, о которых я не буду говорить, хотя они были остроумны и смешны донельзя.

Так, как-то раз, среди серьезной беседы об искусстве и поэзии, Лермонтов стал комично рассказывать что-то о неизданных поэтах и об их сношениях с издателями и книгопродавцами. «А вот что, — сказал Лермонтов, — говорил мне приказчик одного книгопродавца, мальчик лет шестнадцати. Приходит на днях в лавку какой-то господин (хозяина не было), обращается ко мне и спрашивает: что, говорит, стихотворения мои проданы? (Тут я его узнал, говорил мальчик, он к нам уже месяцев шесть ходит.) Никак нет, отвечаю ему, еще не проданы. — Как, говорит он, не проданы? Отчего не проданы? Вы, говорит, все мошенничаете! — Подошел ко мне, да бац, говорит мальчик, мне в ухо! Вот тебе раз, думаю себе, что из этого

будет? — Отчего, говорит, не проданы? — Я говорю: — никто не спрашивал. — Как, говорит, никто не спрашивал? — Бац, говорит, мне в другое ухо! Я думаю себе, что из этого будет? — Где, говорит, мои стихотворения? Подай, говорит, мне их все сюда! — А сам ругается. — Вы, говорит, все кровопийцы! — Я побежал, принес связку его сочинений. Думаю себе: Господи, что из этого будет? Господин подошел ко мне. — Все ли они, говорит, тут. — Я говорю: извольте видеть, как были связаны, так и есть. — Он тут схватил меня за волосы и начал таскать по лавке; таскал, таскал, да как бросит, плюнул и ушел. Так, говорит мальчик, я ничего и не дождался от него. Такой, говорит, чудак этот господин стихотворец! Я и фамилии-то его не упомню».

*[А. В. Мещерский. Воспоминания, 1901 г., стр. 89–90]*

Приблизился день именин Гоголя, 9-е мая [1840], и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина… На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: И. С. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкий и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» и читал, говорят, прекрасно. Потом все собрались в беседку, где Гоголь, собственноручно, с особенным старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, при чем говаривал много очень забавных шуток.

*[С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. М. 1890 г., стр. 35–36]*

Я увидал его несколько лет спустя на обеде у Гоголя 9 мая 1840 г. Это было после его дуэли с Барантом. Он узнал меня, обрадовался; мы разговорились про Гагарина; тут он читал свои стихи — Бой мальчика с барсом [ «Мцыри»]. Ему понравился Хомяков. Помню его суждение о Петербурге и петербургских женщинах. Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе. Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала К. К. П. [Каролина Карловна Павлова]. Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце.

*[Из дневника Ю. Ф. Самарина за 1841 г. Сочинения, т. XII, стр. 56]*

[20 мая 1841]

А вот еще жалко: Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом, и как поэт, и как прозатор.

*[Из письма А. С. Хомякова к Н. М. Языкову. «Русский Архив», 1884 г., кн. 5, стр. 206]*

Вяземский много, умно и откровенно говорил со мной о Пушкине-покойнике. Отдавая всю справедливость его уму и таланту, он находил, что ни первая молодость его, ни жизнь вообще не представляют того, что бы внушало к нему истинное уважение и участие. Виною — обстоятельства, родители, знакомства и дух времени. Но Лермонтов, поэт, за дуэль с сыном Баранта сосланный из Гусарского полка на Кавказ, конечно, еще менее Пушкина заслуживает соучастия к судьбе своей, потому что Пушкин действовал не в подражание кому-либо, а по несчастному стечению обстоятельств, соблазнивших его; Лермонтов же гонится за известностью в роли Пушкина, — и тем смешон; таково о нем мнение Вяземского же.

*[Из письма Плетнева к Гроту 8 ноября 1840 г. Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. 1896 г., т. I, стр. 129]*

[В понедельник, 2 декабря, ] до 2 у Карамзиных. Здесь много читали стихов Лермонтова. Sophie Карамзина без ума от его таланта.

*[Из письма Плетнева к Гроту 3 дек. 1840 г. Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, 1896 г., т. I, стр. 158]*

# ЧАСТЬ 5
# НА ЮГЕ
# 1840

*Вскоре перевели меня на Кавказ; это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял последнюю надежду.*

*Лермонтов. «Бэла»*

# ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

**1840.** *10 июня.* Лермонтов приехал в Ставрополь, главную квартиру командующего Кавказской линией.

**1840.** *11 июня.* Лермонтов прикомандирован к отряду генерал-лейтенанта Галафеева.

**1840.** *Июнь.* Статья Белинского о «Герое нашего времени» в «Отечественных Записках».

**1840.** *6—10 июля.* Лермонтов принимает участие в перестрелках, бывших во время десятидневного похода из крепости Грозной в Малую Чечню.

**1840.** *11 июля.* Сражение при Валерике.

**1840.** *12 июля.* Лермонтов принимает участие в перестрелке при сожжении деревни Ачхой.

**1840.** *13 июля.* Лермонтов принимает участие в перестрелке при следовании отряда из лагеря на р. Натахы, через дер. Чильчихи, в Казах-Кичу, на левый берег р. Сунжи.

**1840.** *14 июля.* Лермонтов принимает участие в перестрелке при следовании отряда из лагеря на р. Сунжи в крепость Грозную.

**1840.** *28 июля.* Лермонтов в Пятигорске.

**1840.** *Конец июля.* Письмо к Е. А. Арсеньевой, в котором Лермонтов просит прислать ему в Пятигорск книгу гр. Ростопчиной, полное собрание сочинений Жуковского и полного Шекспира по-английски.

**1840.** *13 августа.* Цензурное разрешение печатать «Стихотворения» Лермонтова.

**1840.** *Августа вторая половина и начало сентября.* Лермонтов в Кисловодске. Знакомство с Ад. Омэр де Гелль.

**1840.** *12 сентября.* Лермонтов в Пятигорске. Письмо к А. А. Лопухину, в котором Лермонтов описывает сражение при Валерике.

**1840.** *29 сентября—3 октября.* Лермонтов участвует в «делах» и обращает на себя «особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством».

**1840.** *10 октября.* Когда выбыл раненым из строя Малороссийского казач. № 1 полка юнкер Руфин Дорохов, Лермонтов принял от него начальство над охотниками, выбранными в числе 40 человек из всей кавалерии.

**1840.** *12 октября.* На фуражировке за Шали, Лермонтов «бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля».

**1840.** *15 октября.* Лермонтов с командою первый прошел

Шалинский лес.

**1840.** *Октябрь.* Поручику Лермонтову выдано из сумм, состоящих в распоряжении командующего войсками Кавказской линии и Черномории, заимообразно 100 рублей.

**1840.** *15–17[?] октября.* Лермонтов едет в Крым.

**1840.** *17–24 октября* (29 окт. — 5 ноября нов. ст.), Лермонтов в Крыму с Оммер де Гелль.

**1840.** *24–27[?] октября.* Лермонтов едет обратно в отряд.

**1840.** *27 октября—6 ноября.* Лермонтов принимает участие в экспедиции в Малую Чечню.

**1840.** *4 ноября.* Письмо Лермонтова к А. А. Лопухину из крепости Грозной, в которую возвратился отряд Галафеева после 20-дневной экспедиции в Чечне.

**1840.** *9 декабря.* Рапорт начальника 20-й пехотной дивизии, генерал-лейтенанта Галафеева, с приложением наградного списка поручику Лермонтову.

**1840.** *24 декабря.* Рапорт командовавшего всею кавалериею действующего отряда на левом фланге Кавказской линии, полковника князя Голицына, с приложением наградного списка поручику Лермонтову.

**1840.** *Конец года.* Лермонтов в Ставрополе ждет отпуска в Петербург.

**1840.** *31 декабря.* Приказом по полку Лермонтов зачислен налицо в Тенгинский полк.

**1841.** *14 января.* Лермонтов уезжает в отпуск в Петербург.

# НА ЮГЕ

В начале 1840 года Лермонтова снова отправили на Кавказ, за дуэль его с молодым Барантом, сыном французского посланника. В апреле он уже был на пути из Петербурга в Ставрополь.

*[А. Меринский. «Атеней», 1885 г., № 48, стр. 303]*

В этот же год [1840], от приезжавших в Анапу из Ставрополя офицеров, мы узнали, что М. Ю. Лермонтов, 18 февраля дрался на шпагах с Барантом, сыном французского посланника при петербургском Дворе, и был ранен: одни говорили — в руку, другие — в грудь; потом стрелялся, и за эту дуэль, как видно из приказа военного министра, государь император, 13 апреля, собственноручною конфирмациею, назначил Лермонтова в наш Тенгинский полк поручиком; но он, в апреле же месяце, по прибытии в Ставрополь,[432] к нам в полк не явился, а отправился в Чечню, для участия в экспедиции.

*[М. Ф. Федоров. Походные записки на Кавказ. «Кавказский сборник», 1879 г., т. III, стр. 192–193]*

В одно утро[433] явился ко мне молодой человек, в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендуя себя поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей Александры Осиповны Смирновой письмо и книжку «Imitations de Jésus Christ».[434] Я тогда еще ничего не знал про Лермонтова, да и он в то время не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени»,[435] как и другие его сочинения, вышли позже. С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив тем, что сталкивался с людьми симпатичными, теплыми, умевшими во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному; а из разговора с Лермонтовым он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, а я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных. До сих пор не могу себе отдать отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно. Он ехал в штаб полка явиться к начальству и весною собирался на воды в Пятигорск.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г.,*

*кн. 2-я, стр. 660–661]*

[Ставрополь, 17 июня 1840]

О милый Алексис!

Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк! Пожалуйста, спусти его с Аспелинда; они там в Чечне не знают индейских петухов, так, авось, это его испугает. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом,[436] который также едет в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой, о чем прошу ей всеподданнейше донести. И мы оба так вздыхаем, что кишочки наши чересчур наполнились воздухом, отчего происходят разные приятные звуки… Я здесь от жару так слаб, что едва держу перо. Доро́гой я заезжал в Черкасск к генералу Хомутову[437] и прожил у него три дня, и каждый день был в театре. Что за *феатр*! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо начать или кончать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он его так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в эту минуту кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! о, ужас! на голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи, я все ждал, что будет? Так-то, мой милый Алеша! Но здесь, в Ставрополе, таких удовольствий нет; зато ужасно жарко. Вероятно, письмо мое тебя найдет в Сокольниках. Между прочим, прощай: ужасно я устал и слаб. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадежен. Ужасно устал… Жарко… Уф!

*Лермонтов.*

*[Письмо Лермонтова к Лопухину. Акад. изд., т. IV, стр. 337]*

По преданию, «Журнал военных действий», в отряде под начальством генерал-лейтенанта Галафеева, вел Лермонтов,

прикомандированный в штаб к означенному генералу. Дело озаглавлено так: «Действия отряда под начальством генер. — лейт. Галафеева на левом фланге Кавказской линии в 1840 году». Во время съезда в Тифлисе археологов граф А. С. Уваров обращался в окружный штаб с просьбою о выдаче ему этого дела для прочтения, причем утверждал, что «Журнал военных действий» с 10 апреля по 13 октября 1840 г. велся Лермонтовым. [438] Насколько верны подобные предположения — ничто в деле не указывает; интересно только то, что поэт принимал деятельное участие в отряде, что и свидетельствуется отрядным начальником.

*[Г. С. Лебединец. «Русская Старина», 1891 г., кн. 8, стр355.]*

6 июля [1840]

Отряд в составе двух баталионов пехотного Его Светлости, одного баталиона Мингрельского и трех баталионов Куринского егерского полков, двух рот сапер, при 8-ми легких и 6-ти горных орудиях, двух полков Донских казаков, № 37 и 39-го и сотни Моздокского линейного казачьего полка, с 10-дневным провиантом и с полкомплектом запасных артиллерийских снарядов, выступив из лагеря при крепости Грозной, переправился с рассветом по мосту через реку Сунжу и взял направление через ущелье Хан-Калу на деревню Большой Чечень…

С приближением отряда к деревне Большой Чечень неприятель стал показываться в малом числе и завел перестрелку с казаками, посланными для истребления засеянных полей…

Дошед до деревни Большой Чечень, оставленный жителями, и после сделанного там привала, отряд, предав селение это со значительными садами пламени, двинулся далее к деревне Дуду-Юрт.

В то же время истреблены казаками близлежащие засеянные поля.

Войска прибыли к вечеру благополучно в Дуду-Юрт и расположились там лагерем для ночлега.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года[439] ]*

7 июля

Отряд, сжегши деревню Дуду-Юрт, следовал далее через деревню Большую Атагу к деревне Чах-Гери…

Близ деревни Большого Атага малые неприятельские партии начали обеспокаивать передовую и левую цепь, но авангардными линейными казаками при содействии огня артиллерии и цепи

принуждены скрыться на правом берегу Аргуна. В то же время другие партии старались вредить арьергарду, но так же линейными казаками и огнем артиллерии были рассеяны.

Подходя к деревне Чах-Гери и заметив, что селение это занято значительным числом неприятелей, я остановил следование главной колонны и арьергарда и приказал командующему авангардом полковнику барону Врангелю вытеснить неприятеля. Полковник Врангель исполнил это приказание самым удачным образом…

Между тем значительные партии чеченцев с правого берега реки Аргуна старались препятствовать нам брать воду, но поражаемые огнем 4-х горных орудий, поставленных на левом возвышенном берегу… принуждены были удалиться, потерпев значительную потерю.

…Желая дать отдых кавалерии, которая… в этот день была занята истреблением засеянных полей до самого Аргунского ущелья… я решился переночевать в Чах-Гери.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]*

8 июля

Отряд выступил с рассветом из деревни Чах-Гери…

В начале движения толпы неприятелей высыпали из лесу и стали обеспокаивать левую цепь главной колонны, но полковник князь Белосельский-Белозерский с тремя сотнями казаков перешел влево, бросился на них в атаку и оттеснил обратно в лес.

Подойдя к Гойтинскому лесу, авангард был усилен еще двумя полевыми орудиями. При приближении войск, заметив, что деревня Апшатой-Гойта, находящаяся у самого входа в Гойтинский лес, занята неприятельскими партиями, я приказал полковнику Фрейтагу обстреливать как эту деревню, так и самый лес, и после нескольких выстрелов поручил… выгнать неприятеля из деревни. Деревня мгновенно была занята и неприятель выбит из оной штыками. Между тем авангард, обстреливая лес, дошел без сопротивления до канавы, перерезывающей оный и, как мост был разрушен, то саперы занялись устройством другого. Незначительная перестрелка с боков главной колонны, совершенное молчание впереди авангарда не заставляли подозревать присутствия неприятеля в значительных силах.

Войска стягивались, саперы занимались спокойно работою, как неожиданный залп с левой стороны авангарда показал, что тут многочисленный засел неприятель. Артиллерия тотчас была направлена в ту сторону и открыла сильный картечный огонь; но чеченцы упорно держались, — подозревая, что они чем-либо

закрыты от смертоносного огня артиллерии, я желал в том удостовериться, и адъютант г. военного министра лейб-гвардии поручик граф Штакельберг вызвался осмотреть это место, почему после залпа из 6-ти орудий картечью он понесся верхом к самому лесу и усмотрел, что чеченцы засели в завалах за срубленными деревьями, оставленными на местах при расчистке леса; при сем отважном предприятии под графом Штакельбергом ранена лошадь. Деревья в аршин и более в диаметре скрывали совершенно неприятеля от огня артиллерии, и не оставалось ничего другого, как выбить их из завалов штыками… С неимоверною быстротою егеря завладели завалами. Цепь в лесу была усилена и… весь отряд по устроенному мосту выдвинулся из леса… Деревня при уходе войск была сожжена.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]*

9 июля

Войска дневали в лагере при Урус-Мартани. Чтобы воспользоваться этой дневкой, я утром послал восемь сотен донских казаков при двух конно-казачьих орудиях для истребления полей и сожжения деревни Таиб; 2-й баталион Куринского егерского полка… послан по правому берегу реки Мартана, как для окончательного истребления деревни Урус-Мартана, так и для поддержания в случае надобности отряда… Войска, исполнив без всякой потери это поручение, благополучно возвратились в лагерь. К вечеру на равнину между деревнями Урус-Мартан и Гажи-Рошни высланы были фуражеры и в прикрытие им 1 баталион Куринского егерского полка с двумя орудиями и с двумя сотнями казаков донских. Когда фуражеры заняли отысканные ими места, неприятель стал показываться из опушки близлежащего леса в большом числе. Это заставило меня усилить высланное вперед прикрытие еще 1-м баталионом Его Светлости полка и одною сотнею линейных и одною же донских казаков. Между тем чеченцы, засевшие в балке, которую артиллерия не могла обстреливать, открыли огонь по нашей цепи, прикрывавшей фуражеров. Заметив это, полковник князь Белосельский-Белозерский… показывая вид будто занимается топтанием полей… незаметно подвел казаков к балке и быстро бросился в атаку. Изумленные чеченцы пришли в замешательство и обратились в бегство. Казаки быстро преследовали их и положили 16 тел неприятельских на месте…

В ночь на 10-е число неприятель дважды старался подкрадываться к нашему лагерю, но был открываем секретами и встречаем сильным ружейным огнем, принужденным нашелся

скрыться, не нанесши нам никакого вреда, хотя стрелял залпами.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]*

10 июля [1840 г.]

Отряд выступил с рассветом из лагеря при Урус-Мартани и следовал к деревне Гехи. Во время следования малые неприятельские партии вытеснены были из деревень Чурик-Рошни, Пешхой Рошни, Хажи-Рошни, и деревни эти сожжены, а принадлежащие им посевы истреблены совершенно… Отряд, прибыв к деревне Гехи и предав ее пламени, истребил близлежащие засеянные поля и расположился возле деревни лагерем для ночлега.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]*

11 июля [1840]

Отряд выступил из лагеря при деревне Гехи, имея в авангарде все три баталиона Куринского егерского полка, две роты сапер, одну сотню донских и всех линейных казаков при 4-х орудиях. Впереди авангарда под командою полковника князя Белосельского-Белозерского следовали 8 сотен донских казаков с двумя конными казачьими орудиями.

В главной колонне следовал обоз под прикрытием баталиона Мингрельского егерского полка, имея при себе 2 горные мортирки и кроме того в каждой боковой цепи по одному горному 3-х фунтовому единорогу. В арьергарде шли 2 баталиона Его Светлости полка с двумя горными и двумя легкими орудиями и с сотнею донских казаков.

Авангардом командовал полковник Фрейтаг, главною колонною капитан Грекулов, арьергардом полковник Врангель. В таком порядке войска следовали к Гехинскому лесу, приблизившись к оному, два конные орудия присоединены были к авангарду, а часть передовых казаков к главной колонне, а остальные к арьергарду. Неприятель нигде не сопротивлялся и даже не показывался, авангард беспрепятственно вступил в Гехинский лес, несколько выстрелов с левой стороны цепи заставили меня подозревать присутствие там неприятеля, но брошенные гранаты заставили неприятеля прекратить огонь.

Для большего обеспечения обоза, усилив боковые цепи двумя ротами Куринского полка, полковник Фрейтаг приказал, кроме того, двум баталионам вверенного ему полка, под командою Эстляндского егерского полка майора Бабина, при первом выстреле с неприятельской стороны — выбить его из лесу и

оставаться в оном до прихода всего обоза. Майор Бабин хотя и встретил сильное сопротивление в завалах, но после двукратного натиска оные были заняты нашими войсками.

Между тем авангард вышел на поляну. Обоз, подаваясь за авангардом, был все время прикрываем 2-м баталионом и 8-ю егерскою ротою Куринского полка, которые, следуя движению обоза, вышли также из леса, ведя сильную перестрелку.

С приближением арьергарда бой в левой цепи разгорался все сильнее и сильнее; для поддержания войск был послан туда из авангарда еще 1 баталион Куринского полка. Сильный натиск неприятеля на арьергард с боков и с тыла вынудил 1-й баталион ускорить движение. Арьергард был в жарком огне и ему предстоял трудный подвиг — он должен был отражать многочисленного неприятеля, окружавшего его с трех сторон и несколько раз завязывавшего рукопашный бой с застрельщичьими цепями и их резервами, и между тем выносить своих раненых. Здесь в особенности отличались своею хладнокровною храбростию командующий 3-ю мушкетерскою ротою Его Светлости полка подпоручик Калантаров и полковой аудитор 13-го класса Смирнов. Последний, командовавший, за недостатком офицеров, частью любой цепи, при этом случае сильно ранен в ногу.

Хотя начальник арьергарда полковник барон Врангель с похвалою выполнил свою обязанность, но я[440] не менее того счел за необходимое послать 1-й баталион Куринского егерского полка в подкрепление ему, после чего арьергард начал выходить из леса на поляну; чеченцы с исступлением выскочили было на него, но встреченные картечью из двух орудий, заранее для сего приготовленных, они скрылись снова в лес. Выйдя на полянку, все войска заняли прежний свой боевой порядок и начали подаваться вперед.

Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой. Правый берег был более открыт, по левому тянулся лес, который был около дороги прорублен на небольшой ружейный выстрел, так что вся эта местность представляла нечто в виде бастионного фронта с глубоким водяным рвом.

Подойдя к этому месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь. Ни одного выстрела не сделано с неприятельской стороны, ни малейшего движения не было видно. Местность казалась совершенно ровною, не было видно ни малейшего следа оврага, и казалось, что дорога не пересекалась. Уже сделано было

распоряжение двинуть в каждую сторону по одному баталиону с тем, чтобы, по занятии леса, люди оставались там до тех пор, пока не протянется весь обоз. Дабы обеспечить пехоте занятие леса, весь отряд двинулся еще вперед; артиллерия подошла уже на ближайший ружейный выстрел; цепь, выдвинутая вперед, находилась от леса на пистолетный выстрел, но с неприятельской стороны сохранено то же молчание. Едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы со всех сторон открыли убийственный огонь против пехоты и артиллерии. В одно мгновение войска были двинуты вперед с обеих сторон дороги. В лес на правой стороне дороги направлены были первые полубаталионы трех баталионов Куринского полка под командою майора Пулло; в лес же по левой стороне все вторые полубаталионы тех же баталионов под командою майоров Виттorта и Бабина. Сюда же был двинут вскоре после и первый полубаталион Мингрельского егерского полка под командою капитана Грекулова. Храбрый и распорядительный командир Куринского полка, полковник Фрейтаг, сам впереди вел на кровавый бой своих куринцев; с быстротою обскакал он ряды их; везде слышен был ободряющий голос его, и в виду целого отряда он с неимоверным хладнокровием распоряжался атакою. Добежав до леса, войска неожиданно остановлены были отвесными берегами речки Валерика и срубами из бревен, за трое суток вперед приготовленными неприятелем, откуда он производил смертоносный ружейный огонь. Тут достойно примечания, что саперы, следовавшие в авангарде за 3-м баталионом Куринского полка, увидевшие, что войска остановлены местным препятствием, без всякого приказания бросились к ним на помощь, но они не были уже нужны храбрым егерям: помогая друг другу, они перебирались через овраг по обрывам, по грудь в воде, и вскочили в лес в одно время с обеих сторон дороги. В лесу они сошлись с чеченцами лицом к лицу; огонь умолк на время; губительное холодное оружие заступило его. Бой продолжался недолго. Кинжал и шашка уступили штыку. Фанатическое исступление отчаянных мюридов не устояло против хладнокровной храбрости русского солдата! Числительная сила разбросанной толпы должна была уступить нравственной силе стройных войск и чеченцы выбежали на поляну на левом берегу реки Валерика, откуда картечь из двух конных орудий, под командою гвардейской конной артиллерии поручика Евреинова, снова вогнала их в лес.

В лесу снова начали раздаваться весьма частые ружейные выстрелы; но это не был уже бой, а походило более на травлю диких зверей! Избегая смерти с одной стороны и пробираясь

между кустами, чеченец встречал ее неожиданно с другой стороны.

Между тем, когда войска начали вдаваться далее в лес, с правой стороны лежащий, часть чеченцев, коих отступление совершенно было отрезано, бросилась к опушке леса и начала бить в обоз; против них я двинул второй полубаталион Мингрельского полка под командою корпуса жандармов майора Лабановского, и чеченцы вмиг были подняты на штыки. Другая партия, также оттесненная немного подалее к опушке, вышла на равнину вперед позиции и начала бить в обоз с правого фланга. Заметив это, я поставил против них два конных орудия, под командою поручика Евреинова, и поскакал к 2-м сотням донских казаков, чтобы приказать им идти в атаку; но князь Белосельский-Белозерский, прибыв с другого края, предупредил меня и двинул тех казаков вперед. Чеченцы, поражаемые картечным огнем и видя приближающуюся кавалерию, стремглав бросились опять в лес, где весьма немногим из них удалось спастися от поражения нашей пехоты…

Мало-помалу бой начал утихать; в лесу остались одни только мертвые, и войска начали вытягиваться с другой стороны поляны, чтобы обеспечить переправу, которую разрабатывали саперы, с трудом отозванные из лесу, где они нашли пищу для своей необыкновенной храбрости.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии]*[441]

Должно отдать также справедливость чеченцам: они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным; выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение трех суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мечиковцы, жители Большой и Малой Чечни, бежавших надтеречных и всех сунженских деревень, с каждого двора по одному человеку, удивительное хладнокровие, с которым они подпустили нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи — все это вместе могло бы поколебать твердость солдата и ручаться им за успех, в котором они не сомневались. Но эти солдаты были те самые герои, которые не раз проходили по скалам Кавказа, эти солдаты были ведомы теми же офицерами, которые всегда подавали им благородный пример редкого самоотвержения, и чеченцы, не взирая на свое отчаянное сопротивление, были разбиты. Они в сем деле оставили на месте боя до 150 тел и множество оружия всякого рода. Потеря с нашей стороны в этот день состояла из убитых 6-ти обер-офицеров, 63 нижних чинов; раненых: двух

штаб-офицеров, 15 обер-офицеров и 198 нижних чинов; контуженных: 4 обер-офицеров и 46 нижних чинов; без вести пропавших: 1 обер-офицер и 7 человек нижних чинов; 29 убитых и 42 раненых лошадей.

По переходе через речку Валерик войска следовали далее по направлению к деревне Ачхой, не будучи обеспокоиваемы более неприятелем. Прибыв к речке Натахы, я расположил отряд лагерем по обоим берегам речки. Тут я узнал от взятой в плен женщины, что чеченцы имели полную надежду воспрепятствовать переходу отряда через реку Валерик и что поэтому еще многие семейства находились до самого появления наших войск на полевых работах.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии]*

Успеху сего дела я вполне обязан распорядительности и мужеству полковых командиров Его Светлости полка: [перечисление]… Тенгинского пехотного полка поручика Лермантова и 19-й артиллерийской бригады прапорщика фон-Лоер-Лярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапною смертию.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии]*

…Я жизнь постиг.
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу:
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их Пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы, ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу; сердце спит,
Простора нет воображенью,
И нет работы голове…
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз.

Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга,
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне:
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам,
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам.

И вижу я неподалеку,
У речки, следуя Пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
И вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их томный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу! — дальний выстрел… прожужжала
Шальная пуля… Славный звук!..
Вот крик — и снова все вокруг
Затихло… Но жара уж спала;
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой…
Шум, говор… «Где вторая рота?» —
«Что вьючить?» — «Что же капитан?» —
«Повозки выдвигайте живо!» —
«Савельич!» — «Ой-ли!» — «Дай огниво!» —
Подъем ударил барабан,
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья; генерал
Вперед со свитой проскакал…
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке — два и боле;

А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит;
Он машет, кличет — где отважный?
Кто выйдет с ним на смертный бой?..
Сейчас… Смотрите: в шапке черной,
Казак пустился гребенской,
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко… выстрел… легкий дым…
«Эй вы, станичники, за ним!
Что? ранен?» — «Ничего! безделка!..»
И завязалась перестрелка…

Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало:
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет.
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет…

Раз — это было под Гихами —
Мы проходили темный лес.
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на бранный зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом,
И дым их то вился столбом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса:
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, — дело началось.
Чу! в арьергард орудье просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей…
И вот из леса, из опушки,

Вдруг с гиком кинулись на пушки…
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан… Впереди же
Все тихо… Там, между кустов
Бежал поток; подходим ближе;
Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись, — молчат…
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало,
Потом мелькнуло шапки две, —
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье!..
Недолго длилося оно,
Но в этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп… глядим: лежат рядами…
Что нужды? — Здешние полки
Народ испытанный… «В штыки!
Дружнее!» — раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди…
Верхом помчался на завалы,
Кто не успел спрыгнуть с коня…
«Ура!» — и смолкло. — «Вон кинжалы!..
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился; резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь;
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть
(И зной и битва утомили
Меня), — но мутная волна
Была тепла, была красна…

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью. На шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели

Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась; но высоко грудь
И трудно подымалась; взоры
Бродили страшно. Он шептал:
«Спасите, братцы! тащат в горы…
Постойте! где же генерал?..
Не слышу»… Долго он стонал,
Но все слабей, и понемногу
Затих — и душу отдал Богу.
На ружья опершись, кругом,
Стояли усачи седые
И тихо плакали… Потом
Его останки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли… Тоской томимый,
Им вслед смотрел я, недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.

Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом,
А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
В своем наряде снеговом,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек…
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем, —
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?..

Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу, — он был

Кунак мой. Я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «**Валерик**, —
А перевесть на ваш язык,
Так будет — речка смерти; верно,
Дано старинными людьми». —
«А сколько их дралось примерно
Сегодня?» — «Тысяч до семи». —
«А много горцы потеряли?» —
«Как знать? зачем вы не считали?» —
«Да! будет, — кто-то тут сказал, —
Им в память этот день кровавый».
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал…
**Лермонтов. Из поэмы «Валерик»**

Эти походы доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли, а были вредны коренным деятелям, офицерам постоянных войск, часто несшим на своих плечах бремя этой беспощадной войны и большей частью остававшимся в тени.

*[Из воспоминаний Г. И. Филипсона. «Русский Архив», 1884 г., кн. 1, стр. 370]*

Выписка из доклада Инспектор. Департамента III Отд. 1 ст. 4 февр. 1841 г. № 89.

Командир Отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии Головин, вследствие высочайшего дозволения, объявленного ему 22 августа 1840 года представил о пожаловании наград штаб и обер-офицерам Кавказского корпуса за дело 11-го июля 1840 г. при р. Валерике, а в том числе и Тенгинского пехотного полка поручика Лермантова к ордену св. Станислава 3-й степени, что видно из прилагаемой копии наградного списка под литер «Г», офицерам бывшим в штрафах.

ИСПРАШИВАЕТСЯ О НАГРАДЕ

Кому именно, с которого времени в офицерском звании и в настоящем чине; какие имеет ордена и знаки отличия беспорочной службы; сколько получает в год жалованья, был ли под судом и в штрафах и за что: Состоящему при начальнике отряда Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову.

В офицерском звании с 22 ноября 1834 года.

В настоящем чине с 6 декабря 1839 года. Орденов и знаков отличия беспорочной службы не имеет.

Жалованья получает 245 руб. сереб.

Приказом по отдельному Гвардейскому корпусу, от 11-го марта 1840 года, предан военному суду, за произведенную им, по собственному его сознанию, дуэль и за недонесение о том тотчас своему начальству. Высочайшим приказом, отданным в 13-й день апреля 1840 года, переведен в сей Тенгинский пехотный полк тем же чином.

За что к награде представляется: Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы.

Какую и когда получил последнюю награду: Настоящий чин 6 декабря 1839 года.

Испрашиваемая награда: Орден св. Станислава 3 степени.[442]

Высочайше повелено поручиков, подпоручиков и прапорщиков за сражения к монаршему благоволению, а к другим наградам представлять за особенно отличные подвиги.

Подлинный подписал

Командующий отрядом на левом фланге Кавказской линии, генерал-лейтенант *Галафеев*.[443]

Пятигорск, июля 28 (1840)

Милая бабушка. Пишу к вам из Пятигорска, куда я опять поехал и где пробуду несколько времени для отдыха. Я получил ваших три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь. Я это все здесь обделаю и пошлю. Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной;[444] пожалуйста, тотчас по получении моего письма, пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму,[445] только, пожалуйста, поскорее. Если это будет скоро, то здесь меня еще застанет.

То, что вы мне пишете о словах г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам: он только просто не советует, а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам?

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук *М. Лермонтов.*

*[Письма Лермонтова к Е. А. Арсеньевой. Акад. изд., т. IV, стр. 338]*

Пятигорск, пятница, 14 августа [н. ст. 2 августа стар. ст. ] 1840.

Мы приехали в Пятигорск и остановились у доктора Конрада. Наш первый визит был к источнику «Александра», по имени императрицы. Серные воды этого источника имеют более 38 градусов по Реомюру. Входишь по ступеням, высеченным в скале, в обширное помещение. Много других источников рассеяно повсюду на вершинах, окружающих Пятигорск, и делают честь заботливости русского правительства. На неприступных утесах видишь очень щегольские постройки, тропинки, сто раз перекрещивающиеся, террасы с насажденными деревьями. На верху одной из высочайших скал поставили осьмиугольный павильон с колоннами, которые поддерживают голубой купол. Павильон этот открыт со всех сторон и охраняет эолову арфу. Мелодические звуки ее доходят до конца долины и смешиваются с эхом окружающих гор.

Я справлялась о Ребровой.[446] Мне сказали, что она несколько дней как уехала в Кисловодск с большой компанией. Говорят, на ней женится Лермонтов, замечательный русский литератор и поэт. Пари держат, что он на Ребровой не женится. Я вмешалась тут в разговор и сказала, что я отца и дочь знаю. Девчонка довольно взбалмошная и готова за всех выйти замуж; но отец ее, очень богатый помещик, не отдаст ее за литератора, лишившегося всякой карьеры…[447]

Веселая компания, и в особенности Лермонтов, меня тянут в Кисловодск, в котором лучшее общество обыкновенно собирается после Пятигорска. Кисловодск отстоит от Пятигорска на 40 верст; он дальше в горах и подвержен более нападкам черкесов. Я однако храбро доверилась военным властям, доставившим возможность больным и туристам посещать этот очаровательный край.

За мной приехала девица Реброва и зовет нас в Кисловодск. Она очень милая девушка, немного взбалмошная, но очень хорошенькая, с черными глазами; ее зрачки очень расширены вследствие ее болезни. Можно утонуть в них. Она мне тотчас созналась, что влюблена в Лермонтова, что Лермонтов ее любит, но не хочет сознаться. Она все [же] очень мила со мной, несмотря на свою любовь; та же, как я ее знала во Владимировке на Куме…

[448]

Я спешу приодеться. Ее туалет очень шик, и я не хотела сделать дурное впечатление на новых знакомых в Кисловодске. Она была одета в платье chamois, demi-décolleté, в коротких рукавах, в черном кружевном платке, который сходился крест на крест на груди, и в ботинках цвета рисе. Я декольтировалась вполне и надела мои бронзовые башмаки. Она мне дала свой кружевной платок, потому что русские дамы считают неприличным декольтироваться в дороге. Ее дормез стоит у подъезда.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге от 14 августа 1840 г. в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. III. кн. 9, стр. 130]*

Приехав в Кисловодск, я должна была переодеться — так мой туалет измялся дорогой. Мы едем на бал, который дает общество в честь моего приезда.[449] Мы очень весело провели время. Лермонтов был блистателен, Реброва очень оживлена. Петербургская франтиха старалась афишировать Лермонтова, но это ей не удавалось.

В час мы пошли домой. Лермонтов заявил Ребровой, что он ее не любит и никогда не любил. Я ее бедную уложила спать, и она вскоре заснула. Было около двух часов ночи. Я только что вошла в мою спальню. Вдруг тук-тук в окно, и я вижу моего Лермонтова, который у меня просит позволения скрыться от преследующих его неприятелей. Я, разумеется, открыла дверь и впустила моего героя.[450] Он у меня всю ночь остался до утра. Бедная Реброва лежала при смерти. Я около нее ухаживала.

Я принимаю только одного Лермонтова. Сплетням не было конца. Он оставил в ту же ночь свою военную фуражку с красным околышком у петербургской дамы. Все говорят вместе с тем, что он имел в ту же ночь rendez vous[451] с Ребровой. Петербургская франтиха проезжала верхом мимо моих окон в фуражке Лермонтова, и Лермонтов ей сопутствовал. Меня это совершенно взорвало, и я его более не принимала под предлогом моих забот о несчастной девушке. На пятый день мой муж[452] приехал из Пятигорска, и я с ним поеду в Одессу совершенно больная. Из Одессы я еду в Крым…

Я правды так и не добилась. Лермонтов всегда и со всеми лжет. Такая его система. Все знакомые, имевшие с ним сношения, говоря с его слов, рассказывали все разное. Обо мне он ни полслова не говорил. Я была тронута и ему написала очень любезное письмо, чтобы благодарить его за стихотворение, которое для русского совсем не дурно.[453] Я обещала ему

доставить в Ялте мои стихи, которые у меня бродят в голове, с условием, однако, что он за ними приедет в Ялту.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге от 26 и 30 августа 1840 г. в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 131]*

Мы полюбили друг друга в Пятигорске. Он [Лермонтов] меня очень мучил… Он сблизился со мною за четыре дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за старой рыжей франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала попробовать счастья на кавказских водах. Они меня измучили, и я выехала из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но не надолго.

Я ему передала на другой день мое стихотворение «Соловей». Он, как ты видишь, сам подписывает Lermontoff; но это совершенно неправильно. Немое «е» вполне соответствует русскому «ъ». К чему ff, совершенно непонятно.

*[Оммер де Гель. Из письма к подруге от 29 октября 1810 г. в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. Ш, кн. в, стр. 134]*

**БЮЛЬБЮЛЬ**[454]
**Лермонтову**
Дыханием любви овеян голос твой,
Певец таинственный дубравы вековой.
Ты у влюбленных душ подслушал их стенанья,
И слезы, и мольбы, и тихий вздох признанья,
Ты в звуках отразил неясный мир услад,
Который их тоске мечтания сулят.
Унылой песнею ты вторишь их томленьям,
Счастливым щекотом — их жарким упоеньям.
Ты разгадал любви пленительный завет,
И молча Соловью завидует поэт.
. . . . . .

Да, Соловей, да, ты, чаруя нежным пеньем,
Мне сердце смутное наполнил вдохновеньем,
И мелодический проснулся ангел в нем,
С безгрешным голосом и радостным челом!
Благодарю, поэт! Тебе — огонь священный,
Что в тайниках души пылает сокровенный,
И память милая умчавшихся времен,
И славы призрачной неутолимый сон!
Тебе — все, что мой дух вверяет темным струнам,

Все, что меня пьянит в моем восторге юном,
Все, чем моя мечта прекрасна и светла,
Все, что гармония из сердца извлекла!

*[Перевел с французского М. Лозинский. Сушкова, стр. 413]*

Это стихотворение даем в сокращении. Впервые оно было напечатано в «Journal d'Odessa» 31 декабря 1840 года в № 104, куда, вероятно, было послано самой поэтессой.

Недаром я его [Лермонтова] назвала Bulbul, что обозначает по-татарски соловья. Это новое светило, которое возвысится и далеко взойдет на поэтическом горизонте России…

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге от 29 октября 1810 г. в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 131–135]*

По словам покойного генерала от инфантерии барона Е. И. фон Майделя, лично знавшего [Адель Оммер де Гелль] в молодости, это была супруга французского консула в Одессе Ксавье Оммер де Гелля, известного автора статей «Les frères Moraves à Sarepta», «Kichinev, capitale de la Bessarabie» и других, молодая, красивая и обаятельная дама, кружившая безустанно головы своих многочисленных поклонников и видевшая в том едва ли не цель своей жизни. Она имела живой и веселый характер, много путешествовала по России и была известна как поэтесса и автор сочинения «Voyage dans les steppes de la mer Caspienne et dans la Russie méridionale». В разговорах она поражала большою начитанностью и знанием русской истории и литературы. Ее определения и характеристики известных лиц были типичны, злы и метки. Так, например, новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, князя М. С. Воронцова, она называла «соперник великого»; герцог Ришелье, строитель Одессы, по ее словам, был «маленький Ришелье». Поэта А. С. Пушкина она считала гениальным поэтом, но в отношении дуэли с Дантесом становилась на сторону последнего и называла Александра Сергеевича «ревнивым русским мавром». О Лермонтове говорила: «Это — Прометей, прикованный к скалам Кавказа… коршуны, терзающие его грудь, не понимают, что они делают, иначе они сами себе растерзали бы груди»… или: «Лермонтов — золотое руно Колхиды, и я, как Язон, стремилась найти его и овладеть им»…

*[П. К. Мартьянов. Дела и люди века. Т. II, стр. 160]*

[Пятигорск, 12 сентября 1840]

…С тех пор как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду.[455] Нас было всего 2 000 пехоты, а их до шести тысяч; и все время дрались штыками![456] У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, — кажется, хорошо! вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью.[457] Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные, — только Бог знает, когда мы увидимся. Я теперь вылечился почти совсем и еду с вод опять в отряд в Чечню. Если ты будешь мне писать, то вот адрес*: на Кавказскую линию, в действующей отряд генерал-лейтенанта Голофеева, на левый фланг.* Я здесь проведу до конца ноября, а потом не знаю, куда отправлюсь — в Ставрополь, на Черное море или в Тифлис. Я вошел во вкус войны в уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными. Только скучно то, что либо так жарко, что насилу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает, либо есть нечего, либо денег нет, — именно что со мною теперь. Я прожил все, а из дому не присылают. Не знаю, почему от бабушки ни одного письма. Не знаю, где она: в деревне или в Петербурге. Напиши, пожалуйста, видел ли ты ее в Москве. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны[458] и прощай. Будь здоров и счастлив.

Твой Лермонтов.

*[Из письма Лермонтова к А. А. Лопухину.[459] Акад. изд., т. IV, стр. 338—339]*

4 октября

Получено чрез лазутчиков известие, что партия, собранная Шамилем в Салт-Юрте, перешла в Шали и беспрестанно увеличивается прибытием со всех сторон чеченцев и даже горских народов, и что Шамиль, увлеченный их просьбою, намерен устремиться на отряд и во что бы то ни стало принудить его оставить Чечню. На основании этих сведений, назначив для прикрытия вагенбурга 1-й баталион Куринского егерского полка, я сам с остальными войсками, без всяких тяжестей, двинулся к Шали с тем, чтобы разбить возмутителя, или, если он уклонится от боя, то чтоб показать чеченцам невовможность вредить отряду и тем уничтожить в них всякую надежду найти себе в Шамиле

защиту.

По выходе из леса, недалеко от укрепления находящегося, неприятель стал показываться со всех сторон и заводить перестрелку с нашею цепью, но по приближении отряда к деревне он начал к ней заметно стягиваться.

Подступив к деревне, я сделал для ее атаки следующее распоряжение: всей кавалерии, с двумя конными орудиями, под начальством полковника князя Голицына, еще при самом выходе из леса выдвинутой вправо на поля, я велел, соображаясь в движении своем с пехотою, обойти с правой стороны деревню. Против нее же с фронта я послал 3-й баталион Куринского егерского полка с двумя горными орудиями. Для поддержания, в случае надобности, как кавалерии, так и 3-го баталиона, назначен был Эриванский карабинерный баталион, который должен был подаваться за ними вправо от деревни. Главная атака должна была быть произведена с левой стороны; для того 2-й баталион, с остальными легкими орудиями, был подан более прочих вперед, с тем, чтоб, перейдя через речку Джалку, взять деревню во фланг и тем отрезать неприятелю отступление к лесу, подходящему к деревне с этой стороны. Резерв, составленный из Тифлисского егерского баталиона и 4-го Куринского с двумя горными орудиями, был также подан влево, как к важнейшему пункту атаки.

Первое время неприятель держался в деревне, несмотря на сильный огонь артиллерии, но заметив, что его обходят со всех сторон, стал перебираться к лесу. Увидев его, начальник артиллерии отряда полковник Чаплиц выдвинул батарею из 6-ти орудий, которая сильным картечным огнем стала поражать неприятеля и нанесла ему весьма значительную потерю. Неустрашимые же егеря Куринского полка, бывшие в цепи, огнем своим чрезвычайно много содействовали артиллерии. Между тем 2-й Куринский баталион вступил в деревню с левой стороны, тогда как 3-й, проходя чрез нее, зажигал за собою все сакли. Эриванский баталион, следуя вдоль деревни, отделил от себя с этою целью одну роту. Деревня Шали была занята без всякой для нас потери, и баталионы, прошедшие чрез нее, расположились на противоположной ее оконечности. Сильный ветер чрезвычайно способствовал распространению пожара, так что в скором времени вся деревня была в пламени, в глазах Шамиля и главнейших его сообщников, которые напрасно старались вывести своих из лесу: как только они из него показывались, то артиллерия метким своим огнем заставляла их обращаться назад с большою потерею. Здесь, как я узнал после дела, Джеват, ободряя своих, был сильно контужен, и под ним убита лошадь.

Шамиль, явившийся также, чтобы вывести своих из лесу, был от выстрела осыпан землею и тотчас же отведен назад своими мюридами.

Истребив деревню и видя, что неприятель уклоняется от боя, отряд двинулся обратно к вагенбургу. Кавалерия, 3-й Куринский и Эриванский карабинерный баталионы, перейдя через Джалку, двинулись по левую сторону деревни Шали. Неприятель, усмотрев обратное движение отряда, стал перебираться из лесу в деревню с тем, чтобы потом из нее провожать выстрелами арьергард. Заметив это, Владикавказского казачьего полка юнкер Дорохов бросился на него с командою охотников и, поддержанный линейными казаками, под начальством состоящего по кавалерии ротмистра Мартынова, отрезал ему дорогу и, преследуя в деревне среди пламени, положил на месте несколько человек. По дороге к вагенбургу, в некотором расстоянии от деревни, мною был построен Тифлисский егерский баталион, находившийся в резерве, с тем, чтоб, пропустив мимо себя прочие войска, следовать в арьергарде. Когда прошла через него кавалерия и 3-й Куринский баталион и подошел Эриванский карабинерный (ныне 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка), то я его также остановил, чтобы он вместе с Тифлисским баталионом следовал в арьергарде, который и был мною поручен подполковнику Зорину. Как только арьергард вступил в лес, неприятель стал наседать на него со всех сторон, но здесь подполковник Зорин показал особенную распорядительность, употребляя для отражения неприятеля, смотря по обстоятельствам, или огонь артиллерии, или пехоту, или кавалерийские атаки казаками. Два раза неприятель бросался в шашки, но цепь мгновенно смыкалась и, поддержанная огнем из орудий, опрокидывала назад неприятеля с большою для него потерею.

Наконец, он решился сделать последнее усилие, и когда цепь арьергарда, подходя к вагенбургу, стала выступать из опушки леса, то он открыл по ней со всех сторон сильнейший огонь, но храбрые тифлисцы, поддержанные сильным картечным огнем, бросились на неприятеля и, выбив его из опушки, отступили к вагенбургу под прикрытием другой за ними рассыпной цепи.

Потеря неприятеля в этот день, по сведениям, вскоре собранным через лазутчиков, весьма значительна: одних убитых они считают более 50-ти человек; число раненых также чрезвычайно велико и по крайней мере в пять раз более нашего.

Потеря с нашей стороны в этот день: убитыми 6 человек; ранеными: 3 обер-офицера и 63 человека нижних чинов. Лошадей убито 9 и ранено 17…

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 сентября по 1 октября 1840 г. ]*

Успехам этого дня я вполне обязан распорядительности и мужеству [перечисление]… Равномерно в этот день отличились храбростию и самоотвержением при передаче приказаний под огнем неприятеля Кавалергардского его величества полка поручик граф Ламберт и Тенгинского пехотного полка поручик Лермантов.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 25 сентября по 7 октября 1840 г. ]*

## *НАГРАДНОЙ СПИСОК ПОРУЧИКУ ЛЕРМОНТОВУ*[460]

Испрашивается о награде: прикомандированному к отряду, по распоряжению высшего начальства для участвования в экспедиции, к кавалерии действующего отряда Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову.

«В делах 29 сентября и 3 октября обратил на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему была команда охотников 10 октября; когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов, везде первый подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы. 12 октября на фуражировке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля, и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственною рукою хищников. 15 октября он с командою первый прошел шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично против хищников и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, оставив в руках наших два тела».

*[Ракович. Приложения, стр. 32]*

Ялта, четверг, 29 октября [н. ст. ] 1840 [17 октября по старому стилю[461] ]

Оставив позади нас Алупку, Мисхор, Кореиз и Орианду, мы

позабыли скоро все волшебные замки, воздвигнутые тщеславием, и вполне предались чарующей нас природе. Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отставали от нашей кавалькады. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Ламбад. Мы приютились в билиардном павильоне, принадлежащем, по-видимому, генералу Бороздину,[462] к которому мы ехали. Киоск стоял одинок и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли билиард с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю в русскую партию. Затаившись в павильоне и желая окончить затеянную нами игру, мы спокойно смотрели, как нас искали по роще. Я, подойдя к окну, заметила бегавшего по всем направлениям Тет-Бу-де-Мариньи,[463] под прикрытием своего рифлара.[464] Окончив преспокойно партию, когда люди стали приближаться к павильону, Лермонтов вдруг вскрикнул: «Они нас захватят! Ай, ай, ваш муж! Скройтесь живо под бильярдом!» — и, выпрыгнув в окно, в виду собравшихся людей, сел на лошадь и ускакал из лесу. На меня нашел столбняк; я ровно ничего не понимала. Мне и в ум не приходило, что это была импровизированная сцена из водевиля.[465]

Я очень была рада, что тут вошел, столько же встревоженный, сколько промокнувший Тет-Бу-де-Мариньи и увидал меня, держащую кий в руках и ничего не понимающую. Он мне объяснил это взбалмошным характером Лермонтова. Г-н де Гелль спокойно сказал, что m-r de Lermontowe, очевидно, школьник, но величайший поэт, каких в России еще не было. Бог знает, что они могли бы подумать! Муж мой имел невозмутимое доверие ко мне.

Я поспешно отправилась к владельцу Кучук-Ламбада, Бороздину, где веселая компания нас ожидала и с громким смехом приветствовала глупую шутку Лермонтова. Графиня Воронцова,[466] которая ушла с кн[ягиней] Г.,[467] чтобы оправить свой туалет, спросила меня, застегивая свою амазонку, что случилось у меня с Лермонтовым. «А, это другое дело! Но все-таки порядочные женщины не должны его не только принимать, но и вовсе пускать близ себя».

Я потребовала от Тет-Бу, чтобы он пригласил Лермонтова ехать с нами на его яхте. Лермонтов по секрету говорил, что он торопится в Анапу, где снаряжается экспедиция. «Он не прочь и в Анапу, но только вместе со мной», — сказала я Тет-Бу. Тет-Бу тут не на шутку рассердился: «Я ему натру уши, негодяю» (je lui frotterai les oreilles á ce triquet), и, уехал, не простившись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и отправился на Кавказ стреляться с Лермонтовым.

Между тем Лермонтов явился в Ялте как ни в чем не бывало. Он был у меня, пока г. де Гелль ходил уговаривать Тет-Бу остаться с нами еще несколько дней…

Я на Лермонтова вовсе не сердилась и очень хорошо понимала его характер: он свои фарсы делал без злобы. С ним как-то весело живется. Я всегда любила то, чего не ожидаешь.

Но я была взбешена на г. де Гелля и особенно на Тет-Бу. Г. де Гелль слишком вошел в свою роль мужа. Оно просто смешно. Вот уже второй год, как я дурачу Тет-Бу и сбираюсь его мистифицировать на третий. Уж он у меня засвищет соловьем (je le ferai chanter ce rossignolla-là); уж поплатится он мне, и не за себя одного.

Лермонтов меня уверяет очень серьезно, что только три свидания с обожаемой женщиной ценны: первое для самого себя, второе для удовлетворения любимой женщины, а третье для света. «Чтобы разгласили, не правда ли», — сказала я и от всей души рассмеялась; но, не желая с ним встретиться в третий раз, я его попросила дать мне свой автограф на прощанье. «Да я уже с вами вижусь в шестой раз. Фатальный срок уже миновал. Я ваш навсегда».

А Тет-Бу, пожалуй, в самом деле отправится на своей яхте в погоню за Лермонтовым. Вот комедия.

Мне жаль Лермонтова: он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петра Великого. А Лермонтов великий поэт.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 131–133]*

Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре, принадлежащем Ольге Нарышкиной, и поправляет свои стихи. Я ему сказала, что он в них должен непременно упомянуть места, сделавшиеся нам дорогими. Я между тем пишу мое письмо к тебе.

Как я к нему привязалась. Мы так могли быть счастливы вместе! Не подумай чего дурного; у тебя на этот счет большой запас воображения. Между нами все чисто. Мы оба поэты.

Я сговорилась идти гулять в Симеиз и застала его спящим непробудным сном под березой. Вот вся канва, по которой он вышивал.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 134]*

**Г-ЖЕ ОММЕР ДЕ ГЕЛЛЬ**[468]

Под сенью высохшей березы,

Чью зелень разметали грозы
Давно исчезнувшей весны,
Сажусь, усталый, у дороги
И долго слушаю в тревоге
Великий голос тишины.

Вдали, я вижу, тень белеет,
Живая тень все ближе веет
Благоуханьем и теплом.
Она скользит проворным шагом,
И вдруг взметнулась за оврагом
И тонет в сумраке ночном.

То пыль дорожная крутится,
То стая мертвых листьев мчится;
То ветра теплая струя
Пахнула смутным дуновеньем;
То проскользнула по каменьям
С волнистым шелестом змея.

Измучен призраком надежды,
В густой траве смежаю вежды
И забываюсь, одинок,
Но вдруг развеян сон унылый:
Я слышу рядом голос милый,
Прикосновенье милых ног.

*[Французское стихотворение Лермонтова в переводе М. Лозинского. Сушкова, стр. 414–415]*

[Шхуна «Юлия», 5 ноября 1840[469] ]

Тет-Бу доставил нас на своей яхте «Юлия» в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо идешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раздвинутых скал. Тет-Бу показал себя опытным моряком.

Он поместил меня в Мисхоре, на даче Нарышкиной. Но на суше ему не совсем удалось, как ты скоро увидишь. Мисхор несравненно лучше Алупки со всеми ее царскими затеями. Здесь роскошь скрывается под щеголеватой деревенской простотой. Я уже была готова увенчать его пламя; но приехал Лермонтов и, как бурный поток, увлек все венки, которые я готовила бедному Тет-Бу. Это выходило немного из моих расчетов; но я была так

счастлива! Поездка в Кучук-Ламбад была решительным кризисом.

Я уговорила г. де Гелль, ложась спать, чтобы он сходил на другой день посмотреть на ялтинском рейде, что там происходит. Я приказала моей девушке съездить в ту же ночь в моей коляске, которая тут же стояла у подъезда, в Ялту, и проведать Лермонтова. Она вернулась к утру и сказала мне, что он будет около полудня. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не уехал в Петербург и будет у меня со своими объяснениями, все же, что ни говори, возмутительного поступка в Кучук-Ламбаде; я ожидаю его и готовлюсь простить его шалость.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге от 5 ноября 1840 г. в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 136]*

Лермонтов мне объяснил свою вчерашнюю выходку. Ему вдруг сделалось противно видеть меня, садящуюся между генералом Бороздиным и Тет-Бу-де-Мариньи. Ему стало невыносимо скучно, что я буду сидеть за обедом вдали от него. Он не мог выносить притворных ласк этого приторного франта времен Реставрации.

Я сильно упрекнула его в раздражительности, в нетерпении. — «Что же мы должны делать при всем гнете, который тяготит на нас ежеминутно? Разве много один час потерпеть? Вы не великодушны».

У него такое поэтическое воображение, что он все это видел в бильярдном павильоне, когда мы там были вдвоем, и выпрыгнул в окно, увидав своего Венецианского Мавра. Его объяснение очень мило, сознайся; я его слушала и задыхалась.

Он, вообрази себе, так ревнив, что становится смешно, если бы не было так жаль его.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге от 5 ноября 1840 г. в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г. кн. 9, стр. 138]*

Лермонтов торопится в Петербург и ужасно боится, чтобы не узнали там, что он заезжал в Ялту. Его карьера может пострадать.[470] Графиня В[оронцова] ему обещала об этом в Петербург не писать ни полслова. Не говори об этом с Пропером Барант:[471] он сейчас напишет в Петербург, и опять пойдут сплетни. Он может быть даже вынужден будет сюда приехать, потому что дуэль еще не кончена. Выстрел остался за Лермонтовым; он это сказал перед судом и здесь повторяет во всеуслышание ту же песнь. Я это тебе все рассказываю, и мне в мысли только теперь пришло, что Лермонтов, его поэтический талант, все это для тебя то же самое,

что говорить тебе о белом волке.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге от 5 ноября 1840 г. в переводе кн. П. П. Вяземского, «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 139]*

…Мне ужасно жаль моего поэта. Ему не сдобровать. Он так и просится на истории. А я целых две пушки везу его врагам.[472] Если одна из них убьет его наповал, я тут же сойду с ума. Ты наверное понимаешь, что такого человека любить можно, но не должно, скажешь ты. Ты, может быть, и права. Я, как утка, плаваю в воде, а выйду, отряхнусь, мне и солнца не нужно. Я вижу твое негодование. Ты ужасно добродетельна, но я лицемерить не люблю.

*[Оммер де Гелль. Из письма к подруге от 5 ноября 1840 г. в переводе кн. П. П. Вяземского. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9. стр. 140]*

27 октября

Отряд выступил из лагеря при крепости Грозной по направлению к деревне Алде…

Подходя к деревне Алде, передовые казаки заметили, что жители этой деревни, встревоженные нечаянным появлением отряда, угоняют скот и, переводя его на левую сторону речки Гойты, следуют с ним в лес, покрывающий левый берег. Тотчас послана была за ними в погоню вся кавалерия, под командою полковника князя Голицына,[473] которая, нагнав неприятеля, напала на него и отбила до 700 штук рогатого скота и более 1200 овец.

Между тем на помощь к алдинским жителям собрались чеченцы из окрестных хуторов и начали выходить из леса, чтобы отбить захваченный у них скот. Тогда переведен был на левый берег речки Гойты авангард, состоявший из двух баталионов Кабардинского полка, под командою генерал-майора Лабынцова, который вступил в дело и после довольно продолжительной перестрелки принудил неприятеля оставить опушку и удалиться в лес. Потери с нашей стороны не было.

Отряд расположился в деревне Алде для ночлега. Из отбитой баранты отправлено в крепость Грозную, под прикрытием одного баталиона Куринского полка, 650 штук рогатого скота и 800 баранов, для вознаграждения потерь, понесенных казаками станиц Луковской и Калиновской, у которых часть скота угната была хищниками в нынешнем году; остальные розданы войскам отряда на порции. Баталион в ночь возвратился к отряду.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге*

*Кавказской линии с 18 октября по 19 ноября 1840 г. ]*

28 октября

Отряд двинулся из Алды вверх по Гойте по направлению к Гойтинскому лесу, мимо деревень Мамакай-Юрт, Хысыр-Гелен и Ахшпатой Гойта, уже частью разоренных самим Шамилем. В Гойтинском лесу были устроены чеченцами довольно прочные завалы, но при наступлении авангарда они, сделав из-за них только несколько выстрелов, бросили оные и удалились в чащу леса. Здесь отряд должен был остановиться для переправы через Гойтинскую речку и канавы, прорезывающие Гойтинский лес. По устройстве переправ, когда отряд тронулся вперед и когда арьергард вошел в лес, то неприятель начал показываться со всех сторон, открыл сильный огонь и неоднократно бросался на цепь, но командовавший арьергардом генерал майор Лабынцев, чтобы удержать его стремление, остановил свои баталионы, несколько раз ходил в штыки и, оттеснив наконец чеченцев, вышел из леса, потеряв ранеными только трех нижних чинов.

После этого отряд двинулся к Урус-Мартану… Отряд, заняв Урус-Мартан, перешел через реку и остановился на оной лагерем.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 октября по 19 ноября 1840 г. ]*

29 октября

Отряд двинулся из Урус-Мартана по направлению к Гехи.

…[Сотню казаков] под начальством генерал-лейтенанта Галафеева[474] [я] направил… влево, для истребления хуторов: Казыр, Татархан, Малачи и Ханкерик-Рошни и двух больших деревень Шуашп-Юрта и Малыча-Юрта…

В первых двух хуторах отряд не встретил никакого сопротивления и, истребив как строения, так и найденные в них запасы, направился к Ханкерик-Рошни. Здесь неприятель был уже в сборе…; но чеченцы после небольшой перестрелки оставили аул и удалились в лес. Дома и найденные в них запасы преданы огню… От Ханкерик-Рошни генерал-лейтенант Галафеев пошел в Шуашп-Юрт. Эта большая деревня расположена вдоль самой опушки леса, и жители оной, не ожидавши прибытия наших войск, уже в виду их уводили в лес свои семейства и вывозили пожитки. И здесь чеченцы по обыкновению своему перестреливались с цепями и теснили арьергард. В Шуашп-Юрте найдены были большие запасы хлеба и много имущества.

По истреблении этого селения, генерал Галафеев прошел через поляну, отделяющую оное от Малого Юрта, занял его после незначительной перестрелки и предал огню; потом направился на

присоединение к главной колонне, которая между тем продолжала следование от Урус-Мартана к Гехи и расположилась лагерем близ деревни по обеим сторонам речки, того же имени.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии от 18 октября по 19 ноября 1840 г. ]*

30 октября

Получив накануне чрез лазутчиков сведения, что Ахверды-Магома дал чеченцам приказание собраться на Валерике, и зная, что они на оном предварительно устроили большие завалы, я из лагеря при Гехи двинул отряд в полном своем составе к укрепленной чеченцами позиции. Пройдя Гойтинский лес, левая цепь вступила в перестрелку, которая, впрочем, не задержала следования войск. Вышедши из лесу, отряд остановился на небольшой поляне перед Валериком, чтобы дать время стянуться обозам. Тогда показались пешие и конные неприятельские партии в опушке леса, покрывающего берег Валерика и за завалами, устроенными вдоль реки сей. Осмотрев позицию, сделал я следующие распоряжения: против завалов на самой дороге построил батарею из 8 орудий, чтобы очистить себе путь для переправы и заметив, что влево лес выдается за речку и что можно оттуда обойти позицию, направил я туда баталион, а две батареи поставил по обеим сторонам…, чтобы атаковать завалы с фронтов. Дав время обходному баталиону выдвинуться вперед и открыв огонь из батареи, двинул я под прикрытием оной два баталиона, которые беглым шагом перешли через реку и заняли завалы, которые чеченцы, увидев обходное движение, принуждены были бросить, опасаясь быть отрезанными. Вслед за сим весь обоз перешел Валерик по устроенному нашими саперами мосту. В это время арьергард, состоявший из двух баталионов Кабардинского полка с четырьмя донскими орудиями, вышел из Гойтинского леса. Пешие чеченцы, скрывавшиеся в оном в значительном числе, начали теснить Кабардинцев, особенно в то время, когда они, перейдя через реку, должны были, оставив завалы, выйти на равнину за Валерик. Пользуясь местностью, бросились они на цепь, но храбрые Кабардинцы под начальством опытного и распорядительного командира своего генерал-майора Лабынцова, остановили все их покушения и заставили их возвратиться в лес; при чем ранен только Кабардинского полка подпоручик Федоров.

Таким образом без всякой потери с нашей стороны занята известная Валерикская позиция,[475] укрепленная вновь завалами из огромных деревьев, которые не в состоянии была бы разбить и полевая артиллерия.

От Валерика[476] я отделил: 2-й баталион Тифлисского, 2-й, 3-й и 4-й баталионы Куринского полков, с 6-ю горными орудиями, сотнею казаков, под начальством генерал-лейтенанта Галафеева и направил их влево, для истребления хуторов и деревень, лежащих у подошвы гор, а сам с главною колонною продолжал следовать по направлению к деревне Ачхою. Во время следования показывались небольшие конные партии, которые перестреливались с казаками. Подходя к Ачхою и заметив, что жители оного с поспешностию собирают свои пожитки, я приказал авангарду занять аул, что и было исполнено чрезвычайно быстро, так что жители едва успели спастись в прилегающий к деревне лес, оставив в наших руках большую часть своих запасов.

Отряд расположился в самом Ачхое лагерем.

Между тем генерал Галафеев следовал чрез Умахан-Юрт, Шалаус Таип-Юрт и Пхан-Кичу.

Все эти деревни он истребил с найденным в них значительным количеством хлеба и имущества. В Пхан-Кичу чеченцы теснили арьергард и цепи, но без особенного для нас вреда.

Вечером генерал Галафеев присоединился к отряду.

31 октября

Отряд имел дневку, во время которой значительная деревня Ачхой истреблена до основания…

Больных в отряде очень мало, и в лагере большое изобилие, так что нижние чины кроме следуемой им порции имеют всякого рода живности.

*[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 18 октября по 19 ноября 1840 г.[477] ]*

В последнем деле, где [декабрист Лихарев] был убит, он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу; оба приятеля шли об руку, и часто, в жару спора, неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навылет, и он упал навзничь; ожесточенная толпа горцев изрубила труп так скоро, что солдаты не поспели на выручку останков товарища-солдата.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., кн. 2, стр. 681]*

Выписка из списка, коим испрашивалось о награде, представленного военному министру при рапорте командира

Отдельного Кавказского корпуса от 5 Марта 1841 года за № 458. [478]

Испрашиваемая награда:

Генерал-адъютантом Граббе. Св. Владимира 4 ст. с бантом. Командиром Отдел. Кавказ. Корпуса. Св. Станислава 3 ст.[479]

## *НАГРАДНОЙ СПИСОК ПОРУЧИКУ ЛЕРМОНТОВУ[480]*

Испрашивается о награде: прикомандированному к кавалерии действующего отряда Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову.

— Во всю экспедицию в Малой Чечне, с 27-го октября по 6-е ноября, поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии и командовал отлично во всех отношениях, всегда первый на коне и последний на отдыхе, этот храбрый и расторопный офицер неоднократно заслуживал одобрение высшего начальства; 27-го октября он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащу леса и отличаясь в рукопашном бою с защищавшими уже более себя, нежели свою собственность, чеченцами; 28-го октября, при переходе через Гойтинский лес, он открыл первый завалы, которыми укрепился неприятель и, перейдя тинистую речку, вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать своих убитых; по миновании дефиле поручик Лермонтов с командою был отряжен к отряду г. генерал-лейтенанта Галафеева, с которым следовал и 29-го числа, действуя всюду с отличною храбростью и знанием военного дела; 30-го октября при речке Валерике поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей; а остальная уничтожена. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особенного внимания и доставили ему честь быть принятым г. командующим войсками в число офицеров, при его превосходительстве находившихся во все время второй экспедиции в Большой Чечне с 9-го по 20-е число ноября.

*[Ракович. Приложения, стр. 33]*

Министерство Военное
Департамент Инспекторский
Отделение 3

Стол 1.
«30» Июня 1841 года
№ 4859.
Милостивый государь
Евгений Александрович![481]

В представлении от 5-го минувшего Марта № 458 ваше высокопревосходительство изволили ходатайствовать о награждении, в числе других чинов, переведенного 13-го апреля 1840 года за проступок л. — гв. из Гусарского полка в Тенгинский пехотный полк, поручика Лермонтова орденом св. Станислава 3-й степени, за отличие, оказанное им в экспедиции противу горцев 1840 года.

Государь император, по рассмотрении доставленного о сем офицере списка, не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую ему награду. — При сем его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьего командою, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку.

О таковой монаршей воле имею честь вас уведомить. Подлинное подписал Граф Клейнмихель.[482]

[Крепость Грозная, ноябрь 1840]
Милый Алеша.

Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, т. е. отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова,[483] которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста казаков, — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе обо мне самое интересное.

Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось; забыли что ли? или (письма) пропадают? Я махнул рукой. Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна, а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законам. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе

долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена… Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше. Прощай, будь здоров с чадами и *домочадцами* и поцелуй за меня ручку у своей *сожительницы.*[484] Твой *Лермонтов.*

*[Письмо Лермонтова к Лопухину.*[485] *Акад. изд., т. IV, стр. 339–340]*

Лев Васильевич Россильон сообщил мне по поводу Лермонтова следующее:

«Лермонтова я хорошо помню. Он был неприятный, насмешливый человек, хотел казаться чем-то особенным. Хвастался своею храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею!

Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда. Длилось это недолго, впрочем, потому, что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда-то и ничего не доводил до конца. Когда я его видел на Судаке, он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта, который носил он без эполет, что, впрочем, было на Кавказе в обычае. Гарцевал Лермонтов на белом как снег коне, на котором, молодецки заломив белую холщевую шапку, бросался на черкесские завалы. Чистое молодечество, ибо кто же кидался на завалы верхом! Мы над ним за это смеялись».

*[Висковатый. «Русская Старина», 1884 г., № 41, кн.1, стр. 84–85]*

Обоюдные отношения [Л. В. Россильона и Лермонтова] были несколько натянуты. Один в отсутствии другого нелестно отзывался об отсутствующем. Россильон называл Лермонтова фатом, рисующимся (теперь бы сказали poseur) и чересчур много о себе думающим, и М. Ю. в свою очередь говорил о Россильоне: «Не то немец, не то поляк, — а пожалуй и жид». Что же было первою причиной этой обоюдной антипатии, мне неизвестно. Положа руку на сердце, скажу, что оба были не правы. Мне не раз

случалось видеть М. Ю. сердечным, серьезно разумным и совсем не позирующим. Льва Вас. Россильона, на много пережившего Лермонтова, знают очень многие и вне Кавказа. Это была личность почтенная, не ищущая многого в людях и тоже, правда, немного дававшая им, но проведшая долгую жизнь вполне честно.

*[А. Есаков. «Русская Старина», 1885 г., кн. 2, стр. 474–475]*

То, что во время похода и начальствуя над командою дороховских молодцов Лермонтов казался нечистоплотным, вероятно зависело от того, что он разделял жизнь своих подчиненных и, желая служить им примером, не хотел дозволять себе излишних удобств и комфорта. Барон Россильон ставил Лермонтову в вину, что он ел с командою из одного котла и видел в этом эксцентричность и желание пооригинальничать. Между прочим, барон возмущался и тем, что Лермонтов ходил тогда небритым. На портрете действительно видно, что поэт в походе отпустил себе баки и, по-видимому, дал волю волосам расти и на подбородке. Это было против правил формы, но растительность у Лермонтова на лице была так бедна, что не могла возбудить серьезного внимания строгих блюстителей уставов. На другом портрете, находящемся у меня и писанном поэтом с самого себя, видно, что и волосы на голове он носил на Кавказе тоже не согласно с уставом — носил их не зачесывая на висках и довольно длинными.

*[Висковатый. «Русская Старина», 1884 г., т. 41, кн. 1, стр. 87]*

Описывающие наружность Лермонтова называют его то брюнетом, то блондином. — Он имел темно-русые волосы, но мог казаться блондином, потому что наверху головы надо лбом находилась прядь светлых волос.

*[Висковатый. «Русская Старина», 1884 г., т. 41, кн. 1, стр. 87]*

Я хорошо помню Лермонтова, и как сейчас вижу его перед собой то в красной канаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесской шашкой, как обыкновенно рисуют его на портретах. Он был среднего роста, с смуглым или загорелым лицом и большими карими глазами. Натуру его постичь было трудно. В кругу своих товарищей, гвардейских офицеров, участвовавших вместе с ним в экспедиции, он был всегда весел, любил острить, но его остроты часто переходили в меткие и злые сарказмы, не доставлявшие особого удовольствия тем, на кого были направлены.

Когда он оставался один или с людьми, которых любил, он

становился задумчив, и тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение; но стоило появиться хотя одному гвардейцу, как он тотчас же возвращался к своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть вперед одну пустоту светской петербургской жизни, которую он презирал глубоко. В эти минуты трудно было узнать, что происходило в тайниках его великой души. Он имел склонность и к музыке, и к живописи, но рисовал одни карикатуры, и если чем интересовался, так это шахматною игрою, которой предавался с увлечением.

*[К. Х. Мамацев. «Кавказ». 1897 г., № 235]*

Николай Павлович Граббе сообщал мне, что отлично помнит, как знаменитый отец его[486] очень высоко ценил ум и беседу Лермонтова, но удивлялся невообразимой его склонности к выходкам и шалостям всякого рода. Достаточно было во время самой серьезной беседы войти в комнату лицу незнакомому или недостаточно серьезному или просто ему несимпатичному, чтобы Лермонтов вдруг, как перерожденный, начинал нести невообразимый вздор, по большей части оскорблявший слушателей, нередко видевших в таком поведении неуместное презрение «молодого, ничем не заявившего себя офицера».

*[Висковатый. «Русская Старина», 1884 г., т. 41, кн. 1, стр. 85]*

Необходимо хотя в общих чертах напомнить тогдашний способ управления Кавказом и Закавказьем. Главным начальником всех войск, а также всего гражданского управления краем был командир отдельного Кавказского корпуса генерал Головин, живший в Тифлисе. Начальником всех войск на северной стороне кавказских гор и гражданской части этого края был генерал-адъютант Граббе, живший в Ставрополе. Начальником войск Черноморской береговой линии, разделенной на три отдела, и гражданской части на оной, был генерал-лейтенант Раевский, живший в Керчи. Граббе был подчинен генералу Головину, а Раевский по 1-му отделу линии генералу Граббе, а по двум остальным отделам непосредственно генералу Головину. Между тем Граббе и Раевскому дозволена была, — вероятно потому, что они жили ближе от Петербурга, чем Головин, — прямая переписка с военным министром с обязанностию сообщать о ней Головину. Раевский и Граббе по своим представлениям часто получали разрешения военного министра, противные видам Головина, чрез что выходили беспрерывные ссоры между этими тремя начальниками и беспорядок в военных действиях. Это дало повод Раевскому в

одном из своих донесений военному министру, которые он любил пополнять разными остротами, написать, что Кавказ можно уподобить колеснице басни Крылова, ведомой лебедем, раком и щукой в разные стороны.

Перед обедом у Граббе я познакомился с его женою, очень хорошенькою и еще молодою молдаванкою, и мне были представлены их дети, из которых, кажется, старшего, очень хорошенького мальчика, лет десяти от роду (бывшего впоследствии командиром л. — гв. конного полка), отец называл «хозяином».

К обеденному столу подала мне руку жена Граббе и посадила подле себя, несмотря на то, что за столом много было лиц высших чинов. С другой ее стороны сидел напротив меня ее муж. Впоследствии она делала всегда мне то же предложение, за исключением тех дней, когда обедал Трескин: тогда она подавала руку ему и я садился за стол рядом с Трескиным. За обедом всегда было довольно много лиц, но в разговорах участвовали Граббе, муж и жена, Трескин, Лев Пушкин,[487] бывший тогда майором, поэт Лермонтов, я и иногда еще кто-нибудь из гостей. Прочие все ели молча. Лермонтов и Пушкин называли этих молчальников картинною галереею.

Лермонтова я увидел в первый раз за обедом 6 января. Он и Пушкин много острили и шутили с женою Граббе, женщиною небольшого ума и малообразованною. Пушкин говорил, что все великие сражения кончаются на «о» как то: Маренго, Ватерлоо, Ахульго и т. д. Я тут же познакомился с Лермонтовым и в продолжение моего пребывания в Ставрополе всего чаще виделся с ним и с Пушкиным. Они бывали у меня, но с первого раза своими резкими манерами, не всегда приличными остротами и в особенности своею страстью к вину, не понравились жене моей. Пушкин пил не чай с ромом, а ром с несколькими ложечками чая, и видя, что я вовсе рома не пью, постоянно угощал меня кахетинским вином. После обеда у Граббе подали огромные чубуки хозяину дома и мне. Всем другим гостям, как видно, курить не дозволялось. У Граббе была огромная собака, которая всех дичилась, но ко мне с первого моего посещения постоянно ласкалась, чему Граббе очень удивлялся.

*[А. И. Дельвиг. «Мои воспоминания». Москва, 1913 г… т. I, стр. 296–297]*

(В 1840 г.) я, еще совсем молодым человеком, участвовал в осенней экспедиции в Чечне и провел потом зиму в Ставрополе, и тут и там в обществе, где вращался наш незабвенный поэт. Редкий день в зиму 1840–1841 г.[488] мы не встречались в

обществе. Чаще всего сходились у барона Ипп. Ал. Вревского, тогда капитана генерального штаба, у которого, приезжая из подгородней деревни, где служил в батарее, там расположенной, останавливался. Там, т. е. в Ставрополе, в ту зиму, собралась, что называется, la fine fleur молодежи.[489] Кроме Лермонтова там зимовали: гр. Карл Ламберт, Дм. Столыпин (Mongo[490]), Сергей Трубецкой, генерального штаба: Н. И. Вольф, Л. В. Россильон, Д. С. Бибиков, затем Л. С. Пушкин,[491] Р. Н. Дорохов и некоторые другие,[492] (которых не вспомню. Увы, всех названных пережил я. Вот это общество раза два в неделю собиралось у барона Вревского. Когда же случалось приезжать из Прочного Окопа (крепость на Кубани) рядовому Михаилу Александровичу Назимову (декабрист, ныне живущий в городе Пскове), то кружок особенно оживлялся. Несмотря на скромность свою, М. А. как-то само собой выдвигался на почетное место и всё, что им говорилось, бывало выслушиваемо без прерывов и шалостей, в которые чаще других вдавался М. Ю. Никогда я не замечал, чтобы в разговоре с М. А. Назимовым, а также с И. А. Вревским Лермонтов позволял себе обычный свой тон persiflage'a.[493] Не то бывало со мной. Как младший, юнейший в этой избранной среде, он школьничал со мной до пределов возможного; а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он бывало ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл.

*[А. Есаков. «Русская Старина», № 2, 1885 г., стр. 474]*

В конце 1840 и в начале 1841 года Тенгинский пехотный полк стоял в крепости Анапе,[494] местности отдаленной и скучной. Офицеры полка по вечерам собирались по очереди у полкового и баталионных командиров, доктора и некоторых местных властей, толковали о злобе дня и событиях времени, играли в карты, закусывали, а в иные дни даже и плясали. На одном из таких вечеров, где царила смертельная скука переливания из пустого в порожнее, речь зашла о каком-то ученом кардинале, который мог решать в уме самые сложные математические задачи.

— Что вы скажете на это, Лермонтов? — обратился к нему один из почтенных баталионеров, старик с Георгием, пользовавшийся всеобщей любовью за свою простоту и доброту, — говорят, что вы тоже хороший математик.

— Ничего тут удивительного нет, — отвечал с саркастическою улыбкою поэт, — я тоже могу представить вам, если хотите, весьма замечательный опыт математических вычислений.

— Сделайте одолжение.

— Задумайте какую угодно цифру, и я с помощью простых арифметических действий, которые вы будете проверять вместе со мною, определю эту цифру.

— Ну что же, попробуем, — рассмеялся старик, очевидно, сомневавшийся: — но как велика должна быть задуманная цифра?

— А это безразлично. Но в первый раз, для скорости вычисления, ограничьтесь числом из двух цифр.

— Хорошо, я задумал, — сказал баталионер, подмигнув стоявшим вокруг офицерам, и для подтверждения впоследствии, на случай неточности исчисления, сообщил задуманную цифру сидевшей рядом с ним даме.

— Благоволите прибавить к ней, — начал Лермонтов, — еще 25, и считайте мысленно или посредством записи.

Старик попросил карандаш и стал записывать на бумажке.

— Теперь не угодно ли прибавить еще 125.

Старик прибавил.

— Засим вычтите 37.

Старик вычел.

— Еще вычтите ту сумму, которую вы определили в уме.

Старик вычел.

— Теперь остаток умножьте на 5.

Старик умножил.

— Засим полученную сумму разделите на 2.

Старик разделил.

— Теперь посмотрим, что у вас должно получиться… кажется, если не ошибаюсь, цифра 282 1/2?…

Баталионер даже привскочил, так поразила его точность вычисления.

— Да, совершенно верно: 282 1/2… я задумал цифру 50. И он снова проверил: 50 + 25 + 125 — 37–50 х 5: 2, действительно остается 282 1/2… — Фу, чорт побери!.. Да вы уж не колдун ли?

— Колдун — не колдун, а математике учился, — улыбнулся Лермонтов.

— Но позвольте… — старик видимо сомневался, не подсмотрел ли математик его цифры, когда он производил вычисления. — Нельзя ли повторить?

— Извольте.

Старик записал задуманную цифру, никому не показав, положил под подсвечник и стал считать в уме даваемые поэтом цифры. И на этот раз цифра остатка была угадана. Все заинтересовались. Старик только развел руками. Хозяйка дома попросила повторить еще раз опыт, и еще раз опыт удался.

По крепости пошел говор. Где бы поэт ни показался, к нему

стали обращаться с просьбами угадать задуманную цифру. Несколько раз он исполнял эти просьбы, но, наконец, ему надоело, и он через несколько дней тоже на одном из вечеров открыл секрет, состоявший в том, чтобы заставить задумавшего известное число, какое бы оно ни было, вычесть из суммы, увеличенной прибавлением нескольких цифр, и затем считать только даваемые цифры, например:

x + 100 + 206 + 310–500 — x: 2 x 3 = 174.

Теперь это знает каждый школьник, а в то время и в образованном обществе считалось чуть ли не черной магией.

*[Е. И. фон Майдель в передаче П. К. Мартьянова. «Дела и люди века», т. I, стр. 152–154]*

Ко времени второго пребывания поэта в этой стране войны и величественной природы относятся лучшие и самые зрелые его произведения. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку, пробовавшему свои силы в предшествовавшем году; тут уже находишь более правды и добросовестности в отношении к самому себе; он с собою более знакомился и себя лучше понимает; маленькое тщеславие исчезает, и если он сожалеет о свете, то только в смысле воспоминаний об оставленных там привязанностях.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к А. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», II, Leipzig. 1859, p.p. 25—259]*

На Кавказе, в 1841 году,[495] находился я в Ставрополе, в штабе командующего войсками в то время генерала Граббе, где я, в должности старшего адъютанта, заведывал первым, т. е. строевым отделением штаба. Однажды входит ко мне в канцелярию штаба офицер в полной форме и рекомендуется поручиком Тенгинского пехотного полка Лермонтовым. В то время мне уже были известны его поэтические произведения, возбуждавшие такой восторг, и поэтому я с особенным волнением стал смотреть на него и, попросив его садиться, спросил, не учился ли он в Московском университете? Получив утвердительный ответ, я сказал ему мою фамилию, и он припомнил наше университетское с ним знакомство. После этого он объяснил мне свою надобность, приведшую его в канцелярию штаба: ему хотелось знать, что сделано по запросу об нем военного министра. Я как-то и не помнил этой бумаги, велел писарю отыскать ее, и когда писарь принес мне бумагу, то я

прочитал ее Лермонтову. В бумаге этой к командующему войсками военный министр писал, что государь император, вследствие ходатайства бабки поручика Тенгинского полка Лермонтова (такой-то,[496] не помню фамилии) об отпуске его в С.-Петербург для свидания с нею, приказал узнать о службе, поведении и образе жизни означенного офицера. — «Что же вы будете отвечать на это?» — спросил меня Лермонтов. По обыкновению в штабе, по некоторым бумагам, не требующим какой-либо особенной отписки, писаря сами составляли черновые отпуски, и вот в эту-то категорию попал как-то случайно и запрос министра о Лермонтове, и писарь начернил и ответ на него. — «А вот вам и ответ», — сказал я засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен… Лермонтов расхохотался над такой его аттестацией и просил меня нисколько не изменять ее выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего, разумеется, нельзя было так оставить.

После этого тотчас же был послан министру самый лестный об нем отзыв, вследствие которого и был разрешен ему двадцативосьмидневный отпуск в Петербург. Это было в начале 1841 рокового для Лермонтова года, зимою.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. I, кн. 1, стр. 112–113]*

# ЧАСТЬ 6
# ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА НА СЕВЕР
# 1841

*Уж не жду от жизни ничего я,*
*И не жаль мне прошлого ничуть.*
*Я ищу свободы и покоя,*
*Я б хотел забыться и заснуть.*

*Лермонтов*

# ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

**1841.** *Начало февраля.* Приезд Лермонтова в Петербург. Бал у гр. Воронцовой-Дашковой, присутствие на котором Лермонтова найдено «неприличным и дерзким».

**1841.** *Февраль.* Близкое знакомство и дружба Лермонтова с гр. Е. П. Ростопчиной.

**1841.** *Февраль.* Статья Белинского о «Стихотворениях» Лермонтова в «Отечественных Записках».

**1841**. *Конец февраля.* Лермонтов готовится к отъезду на Кавказ и закупает множество книг.

**1841**. *13 апреля.* Кн. Вл. Одоевский дарит Лермонтову свою «старую и любимую записную книжку с тем, чтобы он возвратил ему ее сам и всю исписанную».

**1841**. *Апрель.* Письмо Лермонтова к А. А. Краевскому, в котором он выражает сожаление, что не мог лично проститься, и подписывается на 2 экземпляра «Отечественных Записок».

**1841**. *20 апреля.* Гр. Е. П. Ростопчина дарит Лермонтову сборник своих стихотворений «в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому».

**1841**. *2 мая.* Отъезд Лермонтова из Петербурга.

**1841**. *Начало мая.* Письмо к Е. А. Арсеньевой из Москвы, где Лермонтов пробыл несколько дней, остановившись у Розена.

**1841**. *Начало мая.* Встреча с Боденштедтом.

**1841**. *Половина мая.* Лермонтов в Туле обедает у А. Меринского. Лермонтов в усадьбе «Мишково», Мценского у., Орловской губ., у М. П. Глебова.

**1841**. *Май.* Лермонтов в Ставрополе. Встреча с ремонтером Борисоглебского уланского полка Магденко. Письмо к Е. А. Арсеньевой из Ставрополя, в котором Лермонтов сообщает о своем намерении прежде отправиться в крепость Шуру, где полк, а оттуда — на воды.

**1841**. *23 мая.* Приезд Лермонтова в Пятигорск.

# ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА НА СЕВЕР

Бабушка Лермонтова, сокрушающаяся об его отсутствии, вообразила в простоте души, что преклонит все сердца в пользу своего внука, если заставит хвалить его всех и повсюду; вообразив это, решилась поднести, в простоте же души, 500 руб. асс. Фад. Бенед. Булгарину.[497] Ну тот, как неподкупный судья, бросил в «Пчелу» две хвалебные статейки,[498] показав тем, что не омакивает пера в чернильницу менее, как за 250 руб. асс. Это узнал я у Карамзиных, которые, особенно Софья Николаевна, очень интересуются судьбою Лермонтова.

*[Из письма Плетнева к Гроту 4 Янв. 1841 г. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», 1896 г., т. I]*

Встретились мы [с Лермонтовым] в его проезд с Кавказа у Росетти (конец 1840 или начало 1841 г.). Молодежь собралась провожать его. Лермонтов сам пожелал меня видеть и послал за мной. Он имел обо мне выгодное мнение, как сказывал Р. Он очень мне обрадовался. Р. пенял мне, что я обошелся с ним холодно.

*[Из дневника Ю. Ф. Самарина за 1841 г. Соч., т. XII, стр. 56]*

В начале 1841 года его бабушка, Е. А. Арсеньева, выхлопотала ему разрешение приехать в Петербург для свидания с нею и получения последнего благословения; года и слабость понуждали ее спешить возложить руки на главу любимого детища. Лермонтов прибыл в Петербург 7 или 8 февраля, и по горькой насмешке судьбы г-жа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться из-за дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы.[499]

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Алекс. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», 1859. Leipzig, p. 259]*

Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург.

Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощенье остались без успеха: ей сказали, что не время еще, надо подождать.

Лермонтов пробыл в Петербурге до мая; с Кавказа он привез несколько довольно удачных видов своей работы, писанных масляными красками, несколько стихотворений и роман «Герой нашего времени»,[500] начатый еще прежде, но оконченный в

последний приезд в Петербург.

[А. П. Шан-Гирей, стр. 751]

[С.-Петербург, в конце февраля 1841 г.]

Милый Биби.[501]

Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой,[502] и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули,[503] так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук.

Я был намедни у твоих, и они все жалуются, что ты не пишешь; и, взяв это в рассмотрение, я уже не смею тебя упрекать. Мещеринов, верно, прежде меня приедет в Ставрополь, ибо я не намерен очень торопиться; итак, не продавай удивительного лова, ни кровати, ни седел; верно, отряд не выступит прежде 2 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя[504] и множество других книг.

Прощай, мой милый, будь здоров.

Твой *Лермонтов.*

*[Письмо Лермонтова к Д. С. Бибикову. Акад. изд., т. IV, стр. 340]*

На масленой, на другой же день после прибытия в столицу, поэт участвовал на балу, данном гр. Воронцовой-Дашковой. Его армейский мундир с короткими фалдами сильно выделял его из толпы гвардейских мундиров. Граф Сологуб хорошо помнил недовольный взгляд великого князя Михаила Павловича, пристально устремленный на молодого поэта, который крутился в вихре бала с прекрасною хозяйкою вечера. «Великий князь очевидно несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот несся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом его препроводила из дому. В этот вечер поэт

не подвергся замечанию. Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимала всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что тот не знал ничего о бале и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих». Нелегко было затем выпросить у великого князя забвение этому проступку Лермонтова.

Считалось в высшей степени дерзким и неприличным, что офицер опальный, отбывающий наказание, смел явиться на бал, на котором были члены императорской фамилии.

*[Сологуб в передаче Висковатого, стр. 374]*

Мы все, и особенно я, наперерыв приставали к в. кн. Михаилу Павловичу, прося за Лермонтова, и он при большом расположении своем к Арсеньевой сдался. Я ему все говорила, что хороший сын матери не может быть дурным сыном отечества, а Лермонтов для бабушки больше, чем сын.

*[А. О. Смирнова в передаче Висковатого, стр. 375]*

В начале 1841 года Лермонтов в последний раз приехал в Петербург. Я не знал еще о его недавнем приезде. Однажды, часу во втором, зашел я в известный ресторан Леграна, в Большой Морской. Я вошел в бильярдную и сел на скамейку. На бильярде играл с маркером небольшого роста офицер, которого я не рассмотрел по своей близорукости. Офицер этот из дальнего угла закричал мне: «Здравствуй, Лонгинов!» — и направился ко мне; тут узнал я Лермонтова в армейских эполетах с цветным на них полем. Он рассказал мне об обстоятельствах своего приезда, разрешенного ему для свидания с «бабушкой». Он был тогда на той высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский «beau-monde» встретил его с увлечением; он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал Двор. Но все это было непродолжительно. В одно утро, после бала, кажется, у графа С. С. Уварова, на котором был Лермонтов, его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу Клейнмихелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с «бабушкой», и что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает Двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещения таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен, в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении: «Я не хочу, чтоб свет узнал».[505]

*[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., т. VII, кн. 3, стр. 387]*

Журнал. Суббота (8 февраля). В 11 часу поехал к Одоевским. Там нашел и Матильду, но Marie не было. Я все время просидел с Матильдой. Показал ей Лермонтова, который приехал в отпуск с Кавказа. Карамзина нашла физиономию Матильды с большим выражением характера.

*[Из письма Плетнева к Гроту 12 февр. 1841 г. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым». 1806 г., т. I]*

В 11 часов вечера [27 февраля 1841] тряхнул я стариной — и поехал к Карамзиным, где не бывал более месяца. Карамзина встретила меня словом: «Revenant!».[506] Там нашлось все, что есть прелестнейшего у нас: Пушкин-поэт,[507] Смирнова, Ростопчина и проч. Лермонтов был тоже. Он приехал в отпуск с Кавказа. После чаю молодежь играла в горелки, а там пустились в танцы. Я приехал домой в 1 час.

*[Из письма Плетнева к Гроту 28 февр. 1841 г. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», 1896 г., т. I]*

Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа, зимою 1841 года, несколько раз виделся с ним у г. Краевского и у Одоевского, но между ними не только не было никаких дружеских отношений, а и серьезный разговор уже не возобновлялся более…

*[Панаев, стр. 222]*

Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», то, аллах-керим, что за вещь: пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских.

*[Из письма Белинского к Боткину от 13 марта 1841 г. Переписка под ред. Ляцкого, т. II, стр. 227]*

[Лермонтов] мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления «Отечественных Записок». «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там на Востоке тайник богатых откровений… Мы в своем журнале, — говорил он, — не будем предлагать обществу

ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их».

*[А. А. Краевский в передаче Висковатого, стр. 368–369]*

Авдотья Петровна Елагина, по первому мужу Киреевская, — мать известных славянофилов, близкий друг и родственница Жуковского, как-то в разговоре со мною заметила: «Жаль, что Лермонтову не пришлось ближе познакомиться с сыном моим Петром — у них некоторые взгляды были общие».

*[Висковатый, стр. 369]*

Именно в это-то время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой.

Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром и вечером; что нас окончательно сблизило — это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах; мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени. Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости.

Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман, под заглавием: «Штосс»,[508] причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано, и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне, написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради — была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен.

Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали

просить об отсрочках, в которых было сначала отказано; их взяли потом штурмом, благодаря высоким протекциям. Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Алекс. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», 1859. Leipzig, p.p. 259–260]*

По словам барона Е. И. фон Майделя, Лермонтов при свидании с ним в 1841 году вспоминал о [Оммэр де Гелль] с большой живостью и чувством.

— Знаете ли, барон, — говорил он, — я прошлой осенью ездил к ней в Ялту, я в тележке проскакал до двух тысяч верст, чтобы несколько часов пробыть наедине с нею. О, если бы вы знали, что это за женщина! Умна и обольстительна, как фея. Я ей написал французские стихи. — И он стал припоминать их, но прочитать не мог и, рассмеявшись, сказал: ну, вот подите ж! Забыл… А стихи ей понравились, она очень хвалила их.

*[П. К. Мартьянов. «Дела и люди века». Кн. II, стр. 185]*

Француженка-красавица[509] носилась еще в воображении Лермонтова в 1841 году. В последний приезд Лермонтова я не узнавал его. Я был с ним очень дружен в 1839 году. Когда я возвратился из-за границы в 1840 году, Лермонтов в том же году приехал в Петербург.[510] Он был чем-то встревожен, занят и со мною холоден. Я это приписывал Монго Столыпину, у которого мы видались. Лермонтов что-то имел со Столыпиным и вообще чувствовал себя неловко в родственной компании.[511] Не помню, жил ли он у братьев Столыпиных или нет, но мы там еженочно сходились. Раз он меня позвал ехать к Карамзиным: «Скучно здесь, поедем освежиться к Карамзиным». Под словом освежиться, se raffraîchir, он подразумевал двух сестер княжен О[боленских], тогда еще незамужних. Третья сестра была тогда замужем за кн. М[ещерским].

*[П. П. Вяземский. Примечания переводчика к письмам Омэр де Гелль. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 141]*

Прошлую зиму я встретился с ним [Лермонтовым] в Петербурге в одном доме, именно у Арсеньевых, его родственников, и с любопытством вглядывался в черты его лица, думая, не удастся ли на нем подглядеть напечатления этого великого таланта, который так сильно проявлялся в его стихах. Ростом он был невелик и нестроен; в движениях не было ни ловкости, ни развязности, ни силы; видно, что тело не было у

него никогда напрягаемо, ни развиваемо: это общий недостаток воспитания у нас. Голова его была несоразмерно велика с туловищем; лоб его показался для меня замечательным своею величиною; смуглый цвет лица и черные глаза, черные волосы, широкое скуластое лицо напоминали мне что-то общее с фамилией Ганнибалов, которые, известно, что происходили от арапа… Хотя вдохновение и не кладет тавра на челе, в котором гнездится, и мы часто при встрече с великими талантами слышим, как повторяют, что наружность такого-то великого писателя не соответствует тому, что мы от него ожидали (и со мною это случалось), но все же, кажется, есть в лице некоторые черты, в которых проявляется гениальность человека. Так и у Лермонтова страсти пылкие отражались в больших, широко расставленных черных глазах, под широким нависшим лбом и в остальных крупных (не знаю, как иначе выразить противоположность «тонких») очерках его лица. Я не имел случая говорить с ним, почему и не прибавлю к сказанному ничего об его умственных качествах.

*[Из дневника А. Н. Вульфа от 21 марта 1842. Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1889 г., стр. 217–218]*

На Святой неделе Лермонтов написал пьесу «Последнее новоселье»; в то самое время, как он писал ее, мне удалось набросить карандашом его профиль. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что из всех портретов его ни один не похож, и профиль этот, как мне кажется, грешит менее прочих портретов пред подлинником.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 751]*

Как-то вечером Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений… На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он в буквальном смысле слова катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. — Что с тобою? — спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки — любил школьничать! Раз он меня потащил в маскарад, в дворянское собрание; взял у кн. Одоевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира; спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечает хохотом. Приезжаем; он сбрасывает шинель,

одевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. — Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катанье по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: — Да скажи ты ради Бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать! Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. — Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга. — Оказалось, что его разбудили рано утром: Клейнмихель приказывал покинуть столицу в двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку.

*[А. А. Краевский в передаче Висковатого, стр. 375–376]*

Срок отпуска Лермонтова приближался к концу; он стал собираться обратно на Кавказ. Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько, как напечатанных уже, так и еще неизданных, и составили связку. «Когда, Бог даст, вернусь, — говорил он, — может еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить».

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 751]*

А каковы новые стихи Лермонтова? Он решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути.

*[Из письма Белинского к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. Переписка под ред. Ляцкого, т. II, стр. 219]*

Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть стихов Гейне «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который ныне хранится в Императорской Публичной Библиотеке.[512]

*[П. П. Вяземский. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 142.]*

Наконец, около конца апреля или начала мая, мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я из последних пожала ему руку.[513] Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать, старалась смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость. Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Алекс. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas». 1859. Leipzig, p.p. 260–261]*

У Авроры Карловны[514] я также в первый раз познакомился с графиней Ростопчиной, известной нашей талантливой поэтессой. Она была тогда лет 25-ти, очень живая и умная; ее разговор походил на блистательный фейерверк. Я помню, что во время первой моей с ней беседы я, признаюсь откровенно, как новичок, был ослеплен и вместе с тем очарован этим блеском ее остроумия, которое лилось в ее речи, как из неисчерпаемого источника. Блеск ее ума мог соперничать разве с блеском ее обыкновенно задумчивых и томных глаз, когда она хотела кому-нибудь нравиться. Небольшого роста, брюнетка, с очень правильными и тонкими чертами, при смуглом цвете лица, с большими глазами и длинными темными ресницами, она, к сожалению, была очень близорука и поэтому постоянно должна была носить лорнетку, которая заслоняла и мешала видеть всю прелесть ее глаз. Одаренная необыкновенной памятью, она знала иностранные литературы как свою отечественную.

*[А. В. Мещерский. «Воспоминания», 1901 г., стр. 136]*

«Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. Кн. В. Одоевский 1841 Апреля 13-е. СПБ».[515]

*[Запись рукой кн. Одоевского на его записной книжке]*

После чаю Жуковский отправился с Карамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по миновении срока отпуска своего.

*[Из письма Плетнева к Гроту 13 апр. 1841 г. «Переписка Я. К.*

*Грота с П. А. Плетневым», 1896 г., т. I, стр. 318]*

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг
И мне наскучил их несвязный,
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор.
Люблю я парадоксы ваши,

И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
С[мирновой] штучку, фарсу Саши,
И Ишки М[ятлева] стихи.
***М. Л.***

*[Стихи Лермонтова из альбома С. Н. Карамзиной. Б. Модзалевский. Из альбомной старины. «Русский Библиофил», 191б г. октябрь]*

Нигде она [Наталья Николаевна Пушкина] так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.

Это был Лермонтов.

Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз.

Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую

преграду, выросшую между ними.

Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью.

Он точно стремился заглянуть в тайник ее души, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности суждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним неповинных людей.

Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротой вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления.

В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:

— Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в гостинной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собой вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.

— Прощать мне вам нечего, — ответила Наталья

Николаевна, — но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом.

Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ее болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого.

Мне было шестнадцать лет, я с восторгом юности зачитывалась «Героем нашего времени» и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать тогда мне передала их последнюю встречу и прибавила:

— Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение унес с собой в могилу.

*[Арапова. Н. Н. Пушкина-Ланская. «Новое время», Иллюстр. прил. 9 января 1908 г., № 11432]*

Графиня Софья Михайловна Сологуб, идеальная и во всех отношениях прекрасная женщина, безукоризненной жизни, всецело отданная семье, рассказывала мне, что Лермонтов в последний приезд в Петербург бывал у нее. Поэт, бывало, молча глядел на нее своими выразительными глазами, имевшими магнетическое влияние, так что «невольно приходилось обращаться в ту сторону, откуда глядели они на вас». — «Муж мой, — говорила Софья Михайловна, — очень не любил, когда Михаил Юрьевич смотрел так на меня и однажды я сказала Лермонтову, когда он опять уставился на меня: „Vous savez, Lermontoff, que mon mari n'aime pas cette manière de fixer le monde, pourquoi me faites-voué ce désagrément?“[516] Лермонтов ничего не ответил, встал и ушел. На другой день он мне принес стихи „Нет, не тебя так пылко я люблю“. Муж их взял у меня, и где они остались, я не знаю. Это было перед самым отъездом поэта».

*[Сологуб в передаче Висковатого, стр. 326–327]*

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье,
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,

В твои глаза вникая долгим взором,
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

*Лермонтов*

Последнее наше свидание мне очень памятно. Это было в 1841 году: он уезжал на Кавказ и приехал ко мне проститься. «Однако ж, — сказал он мне, — я чувствую, что во мне действительно есть талант. Я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку, и тогда давай вместе издавать журнал». Он уехал в ночь. Вскоре он был убит.

*[Сологуб. Воспоминания. 1887, СПб., стр. 189]*

Любезный Андрей Александрович. Очень жалею, что не застал уже тебя у Одоевского и не мог, таким образом, с тобою проститься. Сделай одолжение: отдай подателю сего письма для меня два билета на «О. Записки». Это для… Будь здоров и счастлив. Твой Лермонтов.

*[Записка Лермонтова к А. А. Краевскому, апрель 1841 г. Акад. изд., т. IV, стр. 340]*

2 мая, к восьми часам утра, приехали мы в Почтамт, откуда отправлялась московская мальпост. У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню». — Какой ты еще дитя, — отвечал он. — Ничего, все перемелется — мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров.

Это были в жизни его последние слова ко мне; в августе мы получили известие о его смерти.

*[А. П. Шан-Гирей, стр. 751–752]*

К ней [Е. А. Арсеньевой] относится следующий куплет в стихотворении гр. Ростопчиной: «На дорогу М. Ю. Лермонтову»,

написанном в 1841 году по случаю последнего отъезда его из Петербурга, и напечатанном в «Русской Беседе» Смирдина, т. II. После исчисления лишений и опасностей, которым подвергается отъезжающий на Кавказ поэт, в стихотворении этом сказано:

Но есть заступница родная,
С заслугою преклонных лет:
Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая.

К несчастию, предсказание не сбылось. Когда эти стихи были напечатаны, Лермонтова уже полгода не было на свете.

*[М. Н. Лонгинов. Сочинения, 1915 г., т. 1, стр. 48]*

[Москва, апрель 1841]

Милая бабушка.

Жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием. Я в Москве пробуду несколько дней, остановлюсь у Розена. Алексей Аркадьевич[517] здесь еще и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом, по обыкновению, очень хорошо, и мне довольно весело. Был вчера у Николая Николаевича Анненкова[518] и завтра у него обедаю; он был со мной очень любезен. Вот все, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь. Еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дня; решительно, Петербург мне вреден; может быть, также я поздоровел оттого, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, от меня Екиму Шан-Гирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю… Вероятно, Сашенькина свадьба[519] уже была, и потому прошу вас ее поздравить от меня, а Леокадии скажите от меня, что я ее целую и желаю исправиться и быть как можно осторожнее вообще. Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что Бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук М. Лермонтов.

*[Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой. Акад. изд., т. IV, стр. 341]*

Зимой 1840–1841 года, в Москве, перед последним отъездом Лермонтова на Кавказ, случилось мне обедать в один пасмурный, хотя и праздничный день с Павлом О.,[520] очень умным молодым русским. Обедали мы в одном русском ресторане, который посещала в то время вся знатная молодежь. Во время обеда к нам присоединилось еще несколько знакомых и, между прочим, один

молодой князь замечательно красивой наружности и довольно ограниченного ума, но большой добряк.[521] Он позволял потешаться над собою и добродушно сносил все остроты, которые другие отпускали на его счет.

Легкая шутливость, искрящееся остроумие, быстрая смена противоположных предметов в разговоре, одним словом, весь так называемый esprit français[522] так же свойствен большей части знатных русских, как и французский язык. Мы были уже за шампанским. Снежная пена лилась через край стаканов, и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты.

В то время мне не было еще двадцати двух лет,[523] я был свежим и толстощеким, довольно неловким и сентиментальным юношей, и больше слушал, чем говорил, и, вероятно, казался несколько странным среди этой блестящей, уже порядочно пожившей молодежи.

— А, Михаило Юрьевич! — вскричало двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера. Он приветствовал их коротким «здравствуйте», слегка потрепал О. по плечу и обратился к князю со словами:

— Ну, как поживаешь, умник?

У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на пол бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто был вовсе без костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки.

Гладкие, белокурые[524] слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека.

Одет он был в парадную форму; на шее небрежно повязан черный платок; военный сюртук не нов и не до верху застегнут, и из под него виднелось ослепительной свежести белье.[525] Эполет на нем не было.

Мы говорили до тех пор по-французски, и О. представил меня на том же диалекте вошедшему. Обменявшись со мной несколькими беглыми фразами, офицер сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах нового гостя неприятно поражали меня. Поражали потому, что гость этот был Михаил Лермонтов. Эти выражения иностранец прежде всего выучивает в

России, потому что слышит их повсюду и беспрестанно; но ни один порядочный человек, кроме разве грека или турка, у которых у самих в ходу точь-в-точь такие выражения, не решится написать их в переводе на свой родной язык.

Во время обеда я заметил, что Лермонтов не прятал под стол своих нежных выхоленных рук. Отведав несколько кушаньев и осушив два стакана вина, он сделался очень разговорчив и, надо полагать, много острил, так как слова его были несколько раз прерываемы громким хохотом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и к тому же чрезвычайно скоро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что остроты его часто переходили в личности; но, получив раза два меткий отпор от О., он счел за лучшее упражняться над молодым князем.

Некоторое время тот добродушно переносил шпильки Лермонтова; но, наконец, и ему уже стало невмочь, и он с достоинством умерил его пыл, показав, что, при всей ограниченности ума, сердце у него там же, где и у других людей.

Казалось, Лермонтова искренно огорчило, что он обидел князя, своего товарища, и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел.

Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 г., но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись с ним.

Весь разговор с самого его прихода звенел у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу.

Я никогда не мог, может быть к вреду моему, сделать первый шаг к сближению с задорным человеком, какое бы он ни занимал место в обществе, никогда не мог извинять шалостей знаменитых и гениальных людей только во имя их знаменитости и гениальности. Я часто убеждался, что можно быть основательным ученым, поэтом или писателем и в то же время невыносимым человеком в обществе. У меня правило основывать мое мнение о людях на первом впечатлении; но в отношении Лермонтова мое первое, неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным.

Не далее как на следующий вечер, встретив снова Лермонтова в салоне г-жи М., я увидел его в самом привлекательном свете. Лермонтов вполне умел быть милым.

Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва ли это с ним случалось. В самых близких и дружественных отношениях находился он с умной графиней Ростопчиной,

которой было бы поэтому легче, нежели кому-либо, дать верное понятие о его характере.

Людей же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его высокие, обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть в то же время кроток и нежен, как ребенок, и вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение.

Серьезная мысль была главной чертой его благородного лица, как и всех значительнейших его творений, к которым его легкие, шутливые произведения относятся, как его насмешливый, тонко очерченный рот к его большим, полным думы глазам. Многие из соотечественников Лермонтова разделяли с ним его прометеевскую участь, но ни у одного из них страдания не вызвали таких драгоценных слез, которые служили ему облегчением при жизни и дали ему неувядаемый венок по смерти.

*[Из воспоминаний Ф. Боденштедта. «Современник», 1861 г., т. LXXXV, стр. 326–328]*

Через три месяца [апрель 1841 г. ] Лермонтов снова приехал в Москву. Я нашел его у Розена. Мы долго разговаривали. Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой… Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas qu'un certain nombre d'hommes souffre patiemment, mais c'est qu'un nombre immense souffre sans le savoir. [526] Вечером он был у нас. На другой день мы были вместе под Новинским. Он каждый день посещал меня. За несколько дней до своего отъезда он провел у нас вечер с Голицыными и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенского. Его занимала К[атерин]а В[асильевна] Потапова, тогда еще не замужем. Помню наш спор и ответ Лермонтова: «Ласковые глазки, теплые ручки, чего ж больше».

*[Из дневника Ю. Ф. Самарина за 1841 г. Сочинения, т. XII, стр. 56–57]*

*У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем.* Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и

пошел… и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать. Такова Россия.

*[Запись Лермонтова в альбоме кн. Вл. Ф. Одоевского. Акад. изд., т. IV, стр. 352]*

Одного утра, проведенного у Росетти, я никогда не забуду. Лермонтова что-то тревожило, и досада и желчь его изливались на Золотницкого. Тут он рассказал с неподражаемым юмором, как Левицкий дурачил Иваненко. Дуэль напоминала некоторые черты из дуэли «Героя нашего времени». Мы простились. Вечером, часов в 9, я занимался один в своей комнате. Совершенно неожиданно входит Лермонтов. Он принес мне свои новые стихи для «Москвитянина» — «Спор». Не знаю, почему мне особенно было приятно видеть Лермонтова в этот раз. Я разговорился с ним. Прежде того какая-то робость связывала мне язык в его присутствии.

*[Из дневника Ю. Ф. Самарина за 1841 г. Сочинения, т. XII, стр. 57]*

В конце 1840 года Лермонтову разрешен был приезд в Петербург на несколько месяцев. Перед окончанием этого отпуска и перед последним своим отъездом на Кавказ весною 1841 г. он пробыл некоторое время в Москве и с удовольствием вспоминал о том. «Никогда я так не проводил приятно время, как этот раз в Москве», — сказал он мне, встретясь со мной, при проезде своем через Тулу. Эта встреча моя с ним была последняя. В Туле он пробыл один день, для свидания с своей родной теткой, жившей в этом городе. Вместе с ним на Кавказ ехал его приятель и общий наш товарищ А. А. С[толыпи]н. Они оба у меня обедали и провели несколько часов. Лермонтов был весел и говорлив; перед вечером он уехал. Это было 15 апреля 1841 года, ровно за три месяца до его кровавой кончины.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 303–304]*

[Ставрополь, май 1841 г.]

Милая бабушка. Я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем и ужасно долго ехал: дорога была прескверная. Теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру,[527] где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава Богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были так спокойны, как я; одного только и желаю: пожалуйста, оставайтесь в Петербурге, и для вас и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Екиму Шан-Гирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал,

а уж лучше сюда, на Кавказ: оно и ближе и гораздо веселее. Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку. Прощайте, милая бабушка; целую ваши ручки и молю Бога, чтоб вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословения. — Остаюсь покорный внук Лермонтов.

*[Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой. Акад. изд., т. IV, стр. 341]*

Летом 1841 года я в 4-местной коляске, с поваром и лакеем, в качестве ремонтера Борисоглебского уланского полка, с подорожною «по казенной надобности», катил с лихой четверней к городу Ставрополю. (В то время на Кавказе возили на почтовых превосходно, как нигде в России.) Мы остановились перед домом, в котором внизу помещалась почтовая станция, а во втором этаже, кажется, единственная тогда в городе гостиница. Покуда человек мой хлопотал о лошадях, я пошел наверх и в ожидании обеда стал бродить по комнатам гостиницы. Помещение ее было довольно комфортабельно: комнаты высокие, мебель прекрасная. Большие растворенные окна дышали свежим, живительным воздухом. Было обеденное время, и я с любопытством озирался на совершенно новую для меня картину. Всюду военные лица, костюмы — ни одного штатского, и все почти раненые: кто без руки, кто без ноги; на лицах рубцы и шрамы; были и вовсе без рук или без ног, на костылях; немало с черными широкими перевязками на голове и руках.

Кто в эполетах, кто в сюртуке. Эта картина сбора раненых героев глубоко запала мне в душу. Незадолго перед тем было взято Дарго. Многие из присутствовавших участвовали в славных штурмах этого укрепленного аула.

Зашел я и в бильярдную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, на которых восседали штаб и обер-офицеры, тоже большею частью раненые. Два офицера в сюртуках без эполет, одного и того же полка, играли на бильярде. Один из них, по ту сторону бильярда, с левой моей руки, первый обратил на себя мое внимание. Он был среднего роста, с некрасивыми, но невольно поражавшими каждого, симпатичными чертами, с широким лицом, широкоплечий, с широкими скулами, вообще с широкой костью всего остова, немного сутуловат, словом — то, что называется «сбитый человек». Такие люди бывают одарены более или менее почтенною физическою силой. В партнере его, на которого я обратил затем свое внимание, узнал я бывшего своего товарища Нагорничевского, поступившего в Тенгинский полк, стоявший на Кавказе. Мы сейчас узнали друг друга. Он передал кий другому офицеру и вышел со мною в обеденную комнату.

— Знаешь ли, с кем я играл? — спросил он меня.

— Нет! где же мне знать — я впервые здесь.

— С Лермонтовым; он был из лейб-гусар за разные проказы переведен, по высочайшему повелению, в наш полк и едет теперь по окончании отпуска из С.-Петербурга к нам за Лабу.

Отобедав и распростясь с бывшим товарищем, я продолжал путь свой в Пятигорск и Тифлис. Чудное время года, молодость (мне шла 24-я весна) и дивные, никогда и не снившиеся картины величественного Кавказа, который смутно чудился мне из описаний Пушкинского «Кавказского Пленника», наполняли душу волшебным упоением. Во всю прыть неслися кони, погоняемые молодым осетином. Он вгонял их на кручу и, когда кони, обессилев, останавливались, быстро соскакивал, подкладывал под задние колеса экипажа камни, давал им передохнуть, и опять гнал и гнал во всю прыть. И вот, с горы, на которую мы взобрались, увидал я знаменитую гряду Кавказских гор, а над ними двух великанов: вершины Эльбруса и Казбека, в неподвижном величии, казалось, внимали одному Аллаху. Стали мы спускаться с крутизны — что-то на дороге в долине чернеется. Приблизились мы, и вижу я сломавшуюся телегу, тройку лошадей, ямщика и двух пассажиров, одетых по-кавказски, с шашками и кинжалами. Придержали мы лошадей, спрашиваем: чьи люди? Люди в папахах и черкесках верблюжьего сукна отвечали просьбою сказать на станции господам их, что с ними случилось несчастие — ось сломалась. «Кто господа ваши?» — «Лермонтов и Столыпин», — отвечали они разом.

Приехав на станцию, я вошел в комнату для проезжающих и увидал уже знакомую мне личность Лермонтова, в офицерской шинели с отогнутым воротником — после я заметил, что он и на сюртуке своем имел обыкновение отгинать воротник — и другого офицера чрезвычайно представительной наружности, высокого роста, хорошо сложенного, с низкоостриженною прекрасною головой и выразительным лицом. Это был — тогда, кажется, уже капитан гвардейской артиллерии — Столыпин. Я передал им о положении слуг их. Через несколько минут вошел только что прискакавший фельдъегерь с кожаною сумой на груди. Едва переступил он за порог двери, как Лермонтов, с кликом: «А, фельдъегерь, фельдъегерь!» — подскочил к нему и начал снимать с него суму. Фельдъегерь сначала было заупрямился. Столыпин стал говорить, что они едут в действующий отряд, и что, может быть, к ним есть письма из Петербурга. Фельдъегерь утверждал, что он послан «в армию к начальникам»; но Лермонтов сунул ему что-то в руку, выхватил суму и выложил хранившееся в ней на стол. Она, впрочем, не была ни запечатана, ни заперта. Оказались

только запечатанные казенные пакеты; писем не было. Я немало удивлялся этой проделке. Вот что, думалось мне, могут дозволять себе петербуржцы.

Солнце уже закатилось, когда я приехал в город или, вернее, только крепость Георгиевскую. Смотритель сказал мне, что ночью ехать дальше не совсем безопасно. Я решился остаться ночевать и, в ожидании самовара, пошел прогуляться. Вернувшись, я только что принялся пить чай, как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они поздоровались со мной, как со старым знакомым, и приняли приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель, на приказание Лермонтова запрягать лошадей, отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер. Я, со своей стороны, тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, утверждал что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился таки заночевать. Принесли что у кого было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут…

На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен); поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему? — быстро спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшевич, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии 40 верст, по-тогдашнему — один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им — в другую.

Столыпин сидел задумавшись. «Ну, что, — спросил я его, —

решаетесь, капитан?» — «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. Вон, — говорил он, указывая на стол, — наша подорожная, а там инструкция — посмотрите». Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том сожалею.

Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном:

«Столыпин, едем в Пятигорск!» — С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: «Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?»

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и к нашим ногам упал решеткой вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск, в Пятигорск! позвать людей, нам уже запрягли!» Люди, два дюжих татарина, узнав в чем дело, упали перед господами и благодарили их, выражая непритворную радость. Верно, — думал я, нелегка пришлась бы им жизнь в отряде.

Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя. Лермонтову хотелось закурить трубку, — оно оказалось немыслимым. Дорогой и Столыпин и я молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне.

Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным.

Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через 20 в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом как снег белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым снурком с золотыми жолудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину:

— Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним.

Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего хорошего знакомого, а потом скоро противника, которому рок судил убить надёжу русскую на поединке.

Я познакомился в Пятигорске со всеми людьми, бывавшими у Лермонтова; но весть о печальной кончине поэта нагнала меня уже вне Пятигорска.

*[Петр Магденко в передаче Висковатого. «Русская Старина», 1879 г., т. XXIV, кн. 3, стр. 525–530]*

# ЧАСТЬ 7
# ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПЯТИГОРСКЕ И ДУЭЛЬ С МАРТЫНОВЫМ
# 1841

*Прощай, немытая Россия,*
*Страна рабов, страна господ,*
*И вы, мундиры голубые,*
*И ты, послушный им народ!*
*Быть может, за хребтом Кавказа*
*Укроюсь от твоих пашей,*
*От их всевидящего глаза,*
*От их всеслышащих ушей.*

*Лермонтов*

*Не все ли равно — умереть с свинцом в сердце или от медленной агонии старости?*

*Из письма Лермонтова к М. А. Лопухиной*

# ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

**1841.** *Конец апреля.* Приезд в Пятигорск Н. С. Мартынова.

**1841.** *23 мая.* Приезд в Пятигорск Лермонтова, Столыпина и Магденки.

**1841.** *24 мая.* Рапорт пятигорского коменданта о болезни Лермонтова и ходатайство о разрешении ему пользоваться минеральными водами в Пятигорске.

**1841.** *8 июня.* Приказ начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья пятигорскому коменданту отправить Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова «по назначению».

**1841.** *13 июня.* Рапорт Лермонтова, поданный командиру Тенгинского пехотного полка, полковнику Хлюпину, о том, что он, отправляясь в отряд командующего войсками на Кавказской линии и в Черноморьи г. — ад. Граббе, заболел по дороге лихорадкой и получил от пятигорского коменданта позволение остаться в Пятигорске впредь до излечения.

**1841.** *15 июня.* Медицинское свидетельство, выданное Лермонтову ординатором Пятигорского военного госпиталя, лекарем Барклай-де-Толли, в том, что Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотою ног, почему ему необходимо продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 г.

**1841.** *18 июня.* Рапорт Лермонтова о болезни, поданный пятигорскому коменданту.

**1841.** *8 июля.* Пикник и бал в гроте Дианы возле Николаевских ванн.

**1841.** *13 июля,* воскресенье. Вечер у Верзилиных и столкновение между Лермонтовым и

Мартыновым.

**1841.** *14 июля.* Отъезд Лермонтова в Железноводск.

**1841.** *15 июля,* вторник. Именинный обед у кн. Вл. Серг. Голицына. Встреча Лермонтова с Катей Быховец в колонии Каррас, или Шотландка.

**1841.** *15 июля,* вторник, в 7 ч. пополудни. Дуэль Лермонтова с Мартыновым и смерть.

**1841.** *16 июля.* Осмотр места поединка Лермонтова следственной комиссией. Шведе снял портрет.

**1841.** *17 июля.* Медицинский осмотр тела убитого Лермонтова.

**1841.** *17 июля.* Погребение Лермонтова на пятигорском кладбище.

**1842.** *23 апреля.* Тело Лермонтова, перевезенное из Пятигорска, погребено в с. Тарханы на фамильном кладбище рядом с могилой матери.

# ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПЯТИГОРСКЕ И ДУЭЛЬ С МАРТЫНОВЫМ

Я прибыл в город Пятигорск в конце апреля месяца для пользования водами.

По приезде моем в Пятигорск я остановился в здешней ресторации и тщательно занялся лечением.

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного пятигорского суда, данные 15 сентября 1841 г. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 602–603]*

В молодости Мартынов был очень красив: он был высокого роста, прекрасно сложен. Волосы на голове темно-русые, всегда носил он коротко остриженными; большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали физиономии внушительный вид.

*[Пирожков, «Нива», 1885 г., № 20, стр. 474]*

Видно было, что это человек [Мартынов] с силой и энергическим, замечательно твердым характером.[528] Образован он был весьма хорошо, манеры вполне изящные. Это был джентльмен в полном смысле слова.

*[Пирожков, «Нива», 1885 г., № 20, стр. 474]*

Я служил в Ставрополе при штабе и квартировал вместе с адъютантами генерала Граббе Альбини (моим университетским товарищем) и Викторовым, хорошо игравшим на фортепиано. К нам на квартиру почти каждый день приходил меньшой Мартынов. Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске, но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отростил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молчаливый! Какая была причина такой скорой с ним перемены, осталось мне неизвестным: знакомство мое с ним в это время было, как говорится, шапочное,

и хотя впоследствии, уже на Железных водах, где нас было всего только два пациента, я с ним и сошелся несколько ближе, но все же не на столько, чтобы иметь право на его откровенность.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. I, кн. 1, стр. 114–115]*

Пятигорск в 1841 году, по рассказу В. И. Чиляева, был маленький, но довольно чистенький и красивый городок. Расположенный в котловине гор, при реке Подкумке, он имел десятка два прихотливо прорезанных в различных направлениях улиц, с двумя-тремя сотнями обывательских, деревянных, большей частью одноэтажных, домиков, между которыми там и сям выдвигались и гордо смотрели солидные каменные казенные постройки, как то: ванны, галереи, гостиницы и др. В центре города, почти у самых минеральных источников, ютился небольшой, но уже хорошо разросшийся и дававший тень бульвар, на котором по вечерам играла музыка. Городок с мая до сентября переполнялся приезжавшей на воды публикой; у источников, в казино и на бульваре появлялась масса больных обоего пола и всех рангов, лет и состояний.

*[П. К. Мартьянов. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 430]*

Пятигорск был не то, что теперь. Городишко был маленький, плохенький; каменных домов почти не было, улиц и половины тех, что теперь застроены, также. Лестницы, что ведет к Елисаветинской галерее, и помину не было, а бульвар заканчивался полукругом, ходу с которого никуда не было и на котором стояла беседка, где влюбленным можно было приютиться хоть до рассвета. За Елисаветинской галереей, там, где теперь Калмыцкие ванны,[529] была одна общая ванна, т. е. бассейн, выложенный камнем, в котором купались без разбору лет, общественных положений и пола.[530] Был и грот, с боковыми удобными выходами, да не тот грот на Машуке, что теперь называется Лермонтовским. Лермонтов, может, там и бывал, да не так часто, как в том, о котором я говорю, что на бульваре около Сабанеевских ванн. В нем вся наша ватага частенько пировала, в нем бывали пикники; в нем Лермонтов устроил и свой последний праздник,[531] бывший отчасти причиной его смерти. Была и слободка по сю сторону Подкумка, замечательная тем, что там, что ни баба — то капитанша. Баба — мужик мужиком, а чуть что: «Я капитанша». Так мы и называли эту слободку «слободкой капитанш». Но жить там никто не жил, потому, во-первых, что капитанши были дамы амбициозные, а во-

вторых, в ту сторону спускались на ночь все серные ключи и дышать там было трудно. Была еще и Эолова арфа в павильоне на Машуке, ни при каком ветре, однако, не издававшая ни малейшего звука.[532]

Но в Пятигорске была жизнь веселая, привольная; нравы были просты, как в Аркадии. Танцевали мы много, и всегда по простоте. Играет, бывало, музыка на бульваре, играет, а после перетащим мы ее в гостиницу к Найтаки, барышень просим прямо с бульвара, без нарядов, ну вот и бал по вдохновению. А в соседней комнате содержатель гостиницы уж нам и ужин готовит. А когда, бывало, затеет начальство настоящий бал, и гостиница уж не трактир, а благородное собрание, — мы, случалось, барышням нашим, которые победней, и платьица даривали.[533] Термалама, мовь и канаус в ход шли, чтобы перед наезжими щеголихами барышни наши не сконфузились. И танцовали мы на этих балах все, бывало, с нашими; таков и обычай был, чтобы в обиду не давать.

Зато и слава была у Пятигорска. Всякий туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения; крутишься, крутишься, дельце сварганишь, — ан и опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластишься к нему, он даст свидетельство о болезни, отправит в госпиталь на два дня, а после и домой, за неимением в госпитале места. К таким уловкам и Михаил Юрьевич не раз прибегал.

И слыл Пятигорск тогда за город картежный, вроде кавказского Монако, как его Лермонтов прозвал. Как теперь вижу фигуру сэра Генри Мильс, полковника английской службы и известнейшего игрока тех времен. Каждый курс он в наш город наезжал.

*[Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова в записи В. Желиховской. «Нива», 1885 г., № 7, стр. 166]*

Не видя из представленных вами при рапортах от 24 мая сего года за №№ 805 и 806 свидетельств за №№ 360 и 361, чтобы Нижегородского драгунского полка капитану Столыпину и Тенгинского пехотного поручику Лермонтову, прибывшим в Пятигорск, необходимо нужно было пользоваться кавказскими минеральными водами, и напротив, усматривая, что болезнь их может быть излечена и другими средствами, я покорно прошу ваше высокоблагородие немедленно, с получением сего, отправить обоих их по назначению, или же в Георгиевский военный госпиталь, по уважению, что Пятигорский госпиталь и без того уже наполнен больными офицерами, которым действительно необходимо употребление минеральных вод и

которые пользуются этим правом по разрешению, данному им от высшего начальства.

*[Отношение флигель-адъютанта полковника Травкина от 8 июня за № 11978 пятигорскому коменданту. «Исторический Вестник», 1880 г., т. IV, стр. 881]*

Командиру Тенгинского пехотного полка г. полковнику и кавалеру Хлюпину оного же полка поручика Лермонтова

## *РАПОРТ*

Отправляясь в отряд командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории г. генерал-адъютанта Граббе, заболел я по дороге лихорадкой и, быв освидетельствован в гор. Пятигорске докторами, получил от пятигорского коменданта, г. полковника Ильяшенкова, позволение остаться здесь впредь до излечения. Июня 13-го дня 1841 года, гор. Пятигорск.

О чем вашему высокоблагородию донести честь имею.

Поручик Лермонтов.

*[Рапорт Лермонтова командиру полка Хлюпину. Ракович. Приложения, стр. 33]*

## *СВИДЕТЕЛЬСТВО*

Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев, сын Лермонтов, одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней г. Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страданий необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года; остановленное употребление вод и следование в путь может навлечь самые пагубные следствия для его здоровья.

В удостоверение чего подписом и приложением герба моей печати свидетельствую, гор. Пятигорск, июня 15-го 1841 года. Пятигорского военного госпиталя ординатор, лекарь, титулярный советник Барклай-де-Толли.

*[Ракович. Приложения, стр. 33–34]*

Ваше высокоблагородие предписать мне № 1000 изволили отправиться к месту моего назначения или, если болезнь моя того

не позволит, в Георгиевск, чтобы быть зачисленному в тамошний госпиталь.

На что честь имею почтительнейше донести вашему высокоблагородию, что получив от вашего высокоблагородия позволение остаться здесь до излечения и также получив от начальника штаба флигель-адъютанта полковника Траскина предписание, в коем он также дозволил мне остаться здесь, предписав о том донести полковому командиру полковнику Хлюпину и отрядному дежурству, и так как я уже начал пользование минеральными водами и принял 23 серных ванны, — то прервав курс, подвергаюсь совершенному расстройству здоровья, и не только не излечусь от своей болезни, но могу получить новые, для удостоверения в чем имею честь приложить свидетельство меня пользующего медика.

Осмеливаюсь при том покорнейше просить ваше высокоблагородие исходатайствовать мне у начальника штаба, флигель-адъютанта полковника Траскина позволение остаться здесь до совершенного излечения и окончания курса вод.[534]

*[Рапорт Лермонтова к пятигорскому коменданту от 18 июня за № 132. «Исторический Вестник», 1880 г., кн. 4, стр. 881–882]*

О явке Лермонтова и Столыпина коменданту имеется следующий характерный рассказ В. И. Чиляева.[535]

Первую ночь по приезде в Пятигорск они ночевали в гостинице Найтаки. На другой день утром, часов в девять, явились в комендантское управление. Полковник Ильяшенков, человек старого закала, недалекий и боязливый до трусости, находился уже в кабинете. По докладе плац-адъютанта о том, что в Пятигорск приехал Лермонтов со Столыпиным, он схватился за голову обеими руками и, вскочив с кресла, живо проговорил:

— Ну, вот опять этот сорвиголова к нам пожаловал!.. Зачем это?

— Приехал на воды, — отвечал плац-адъютант.

— Шалить и бедокурить! — вспылил старик, — а мы отвечай потом!.. Да у нас и мест нет в госпитале, нельзя ли их спровадить в Егорьевск?..[536] а?.. я даже не знаю, право, что нам с ними делать?

— Будем смотреть построже, — проговорил почтительно докладчик, — а не принять нельзя, у них есть разрешение начальника штаба и медицинские свидетельства о необходимости лечения водами.

— Ну, позовите их, — махнул рукой комендант, и Столыпин с Лермонтовым были введены в кабинет.

— А, здравствуйте, господа, — приветствовал их

нахмуренный представитель власти, сделав шаг вперед, — зачем и надолго ли пожаловали?

— Болезнь загнала, г. полковник, — начал было речь Лермонтов, но Ильяшенков, желая выказать строгость, перебил его словом: «Позвольте!» — и, обратись к Столыпину, сказал:

— Вы — старший, отвечайте.

Столыпин объяснил причину прибытия и подал медицинское свидетельство и рапорт о дозволении лечиться в Пятигорске. Его примеру последовал и Лермонтов.

Комендант, прочитав рапорты, передал их плац-адъютанту с приказанием представить их в штаб, а молодым людям, пожав руки, сказал:

— Хотя у меня в госпитале и нет мест, ну, да что с вами делать, оставайтесь! Только с уговором, господа, не шалить и не бедокурить! В противном случае вышлю в полки, так и знайте!

— Больным не до шалостей, г. полковник, — отвечал с поклоном Столыпин.

— Бедокурить не будем, а повеселиться немножко позвольте, г. полковник, — поклонился в свою очередь почтительно Лермонтов. — Иначе ведь мы можем умереть от скуки, и вам же придется хоронить нас.

— Тьфу, тьфу! — отплюнулся Ильяшенков, — что это вы говорите! Хоронить людей я терпеть не могу. Вот если бы вы, который-нибудь, женились здесь, тогда бы я с удовольствием пошел к вам на свадьбу.

— Жениться!.. тьфу, тьфу! — воскликнул с притворным ужасом Лермонтов, пародируя коменданта. — Что это вы говорите, г. полковник, да я лучше умру!

— Ну, вот, ну, вот! я так и знал, — замахал руками Ильяшенков, — вы неисправимы, сами на себя беду накликаете. Ну, да идите с Богом и устраивайтесь!.. А там что Бог даст, то и будет.

Аудиенция кончилась. В канцелярии зашел разговор о квартире, Чиляев предложил флигель в своем доме, добавив, что квартира в старом доме занята уже князем А. И. Васильчиковым.

— Поедем, посмотрим! — сказал Лермонтов.

— Пожалуй, — отвечал Столыпин, — только не сейчас, нужно заехать в гостиницу переодеться; скоро полдень, что за приятность в жару разъезжать по городу в парадной форме.

Часа в два-три дня они приехали к Чиляеву. Осмотрев снаружи стоявший на дворе домик и обойдя комнаты, Лермонтов остановился на балконе, выходившем в садик, граничивший с садом Верзилиных, и погрузился в раздумье. Между тем Столыпин обошел еще раз комнаты, сделал несколько замечаний

насчет поправок и, осведомившись о цене квартиры, вышел также на балкон и спросил Михаила Юрьевича:

— Ну, что, Лермонтов, хорошо?

— Ничего, — отвечал поэт небрежно, как будто недовольный нарушением его заветных дум, — здесь будет удобно… дай задаток! Столыпин вынул бумажник и заплатил все деньги за квартиру. Вечером в тот же день они переехали.

*[П. К. Мартьянов. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 434–437]*

«С коллежского секретаря Александра Илларионовича, князя Васильчикова, из С.-Петербурга, получено за три комнаты в старом доме 62 руб. 50 коп. сер.; с капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова, из С.-Петербурга, получено за весь средний дом 100 руб. сер.».

*[Запись в домовой книге В. И. Чиляева за 1841 г. Мартьянов. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 437]*

Мы поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Трубецкой, [537] которому я уступил половину моей квартиры.

Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, 20–25 лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать наша дружба, были искренны, чистосердечны.

*[А. Васильчиков. «Русский Архив»,1872 г., т. I, стр. 206]*

Общий вид квартиры [Лермонтова был] далеко не представителен. Низкие, приземистые комнаты, стены которых оклеены не обоями, но просто бумагой, окрашенной домашними средствами: в приемной — мелом, в спальне — голубоватой, в кабинете — светло-серой и в зале — искрасна-розовой клеевой краской. Потолки положены прямо на балки и выбелены мелом, полы окрашены желтой, а двери и окна синеватой масляной краской. Мебель самой простой, чуть не солдатской работы и почти вся, за исключением ясеневого ломберного стола и зеркала красного дерева, окрашена темной под цвет дерева масляной краской. Стулья с высокими впереплет спинками и мягкими подушками, обитыми дешевым ситцем.

*[П. К. Мартьянов. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 439]*

Лермонтов, любя чистый воздух, работал обыкновенно у открытого окна; он в большой комнате, выходившей в сад и служивший столовою, переставил обеденный стол от стены, где буфет, к дверям балкончика. В этой столовой мы часто сходились за чаем и ужином или для беседы.

*[А. И. Васильчиков в передаче Висковатого, стр. 393]*

**ПЛАН ВНУТРЕННЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОМИКА ЛЕРМОНТОВА В ПЯТИГОРСКЕ**

*[П. К. Мартьянов. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 439]*

Квартира у него со Столыпиным была общая, стол держали они дома и жили дружно. Заведывал хозяйством, людьми и лошадьми Столыпин. В домике, который они занимали, комнаты, выходящие окнами на двор, назывались Столыпинской половиной, а выходящие в сад — Лермонтовской. Михаил Юрьевич работал большей частию в кабинете, при открытом окне, под которым стояло черешневое дерево, сплошь осыпанное в тот год черешнями, так что, работая, он машинально протягивал руку, срывал черешни и лакомился ими.

*[В. И. Чиляев в передаче П. К. Мартьянова. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 440]*

На конюшне он держал двух собственных верховых лошадей. (Красавца-скакуна серого черкеса он купил тотчас по приезде в Пятигорск.)

Штат прислуги его состоял из привезенных с собой из Петербурга четырех человек, из коих двое было крепостных: один камердинер, бывший дядька его, старик Иван Соколов, и конюх Иван Вертюков, и двое наемных — помощник камердинера гуриец Христофор Саникидзе и повар, имя которого не сохранилось.

Дом его был открыт для друзей и знакомых, и если кто к нему обращался с просьбою о помощи или одолжении, никогда и никому не отказывал, стараясь сделать все, что только мог.

Вставал он неодинаково, иногда рано, иногда спал часов до 9-ти и даже более. Но это случалось редко. В первом случае тотчас, как встанет, уходил пить воды или брать ванны, и после пил чай, во втором же — прямо с постели садился за чай, а потом уходил из дому. Около двух часов возвращался домой обедать и почти всегда в обществе друзей-приятелей. Поесть любил хорошо, но стол был не роскошный, а русский, простой. На обед готовилось четыре-пять блюд, по заказу Столыпина, мороженое

же, до которого Лермонтов был большой охотник, ягоды или фрукты, подавались каждодневно. Вин, водок и закусок всегда имелся хороший запас. Обедало постоянно четыре-пять, а иногда и более приглашенных или случайно приходивших знакомых, преимущественно офицеров. После обеда пили кофе, курили и балагурили на балкончике, а некоторые спускались в сад полежать на траве, в тени акаций и сирени. Около 6 часов подавался чай, и затем все уходили. Вечер, по обыкновению, посвящался прогулкам, танцам, любезничанью с дамами или игре в карты.

*[В. И. Чиляев в передаче П. К. Мартьянова. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 441]*

Порой (и даже весьма нередко) ухаживанье за дамами сменялось искательством благосклонности более доступных и ветреных особ. Молодежь перекочевывала к Найтаки, и там, в задних номерах, как будто занятых людьми с громкими именами, а когда зало было свободно, то и в самом зале, на зеленых столах, за грудами золота, серебра и ассигнаций, — «резалась», сколько хотела.

*[В. И. Чиляев в передаче П. К. Мартьянова. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 441]*

Лермонтов тоже играл, но редко, с соблюдением известного расчета и выше определенной для проигрыша нормы не зарывался. Однажды даже была у него игра в квартире. Весь Лермонтовский кружок, несколько товарищей кавказцев и два-три петербургских туза собрались в один из прелестных июньских вечеров и от нечего делать метнули банчишко. В. И.Чиляев был тоже в числе приглашенных, и вот что записал он об этом вечере: «Я не играл, но следил за игрою. Метали банк по желанию: если банк разбирали или срывали, банкомет оставлял свое место и садился другой. Игра шла оживленная, но не большая, ставились рубли и десятки, сотни редко. Лермонтов понтировал. Весьма хладнокровно ставил он понтерки, гнул и загибал: „на пе“, „углы“ и „транспорты“, и примазывал „куши“. При проигрыше бросал карты и отходил. Потом, по прошествии некоторого времени, опять подходил к столу и опять ставил. Но ему вообще в этот вечер не везло. Около полуночи банк метал подполковник Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта А. С. Пушкина, бывший в то время на водах. Проиграв ему несколько ставок, Лермонтов вышел на балкон, где сидели в то время не игравшие в карты

князь Владимир Сергеевич Голицын, с которым еще поэт не расходился в то время, князь Сергей Васильевич Трубецкой, Сергей Дмитриевич Безобразов, доктор Барклай-де-Толли, Глебов и др., перекинулся с ними несколькими словами, закурил трубку и, подойдя к Столыпину, сказал ему: „Достань, пожалуйста, из шкатулки старый бумажник!“ Столыпин подал. Лермонтов взял новую колоду карт, стасовал и, выброся одну, накрыл ее бумажником и с увлечением продекламировал:

В игре, как лев, силен
Наш Пушкин Лев,
Бьет короля бубен,
Бьет даму треф.
Но пусть всех королей
И дам он бьет:
„Ва-банк!“— и туз червей
Мой — банк сорвет![538]

Все маленькое общество, бывшее в тот вечер у Лермонтова, заинтересовалось ставкой и окружило стол. Возгласы умолкли, все с напряженным вниманием следили и ждали выхода туза. Банкомет медленно и неуверенно метал. Лермонтов курил трубку и пускал большие клубы дыма. Наконец, возглас „бита!“ разрешил состязание в пользу Пушкина. Лермонтов махнул рукой и, засмеявшись, сказал: „Ну, так я, значит, в дуэли счастлив!“ Несколько мгновений продолжалось молчание, никто не нашелся сказать двух слов по поводу легкомысленной коварности червонного туза, только Мартынов, обратившись к Пушкину и ударив его по плечу рукой, воскликнул: „Счастливчик!“ Между тем Михаил Юрьевич, сняв с карты бумажник, спросил банкомета: „Сколько в банке?“ — и пока тот подсчитывал банк, он стал отпирать бумажник. Это был старый сафьянный коричневого цвета бумажник, с серебряным в полуполтинник замком, с нарезанным на нем циферблатом из десяти цифр, на одну из которых, по желанию, замок запирался. Повернув раза два-три механизм замка и видя, что он не отпирается, Лермонтов с досадой вырвал клапан, на котором держался запертый в замке стержень, вынул деньги, швырнул бумажник под диван[539] и, поручив Столыпину рассчитаться с банкометом, вышел к гостям, не игравшим в карты, на балкон. Игра еще некоторое время продолжалась, но как-то неохотно и вяло, и скоро прекратилась совсем. Стали накрывать стол. Лермонтов, как ни в чем не бывало, был весел, переходил от одной группы гостей к другой, шутил, смеялся и острил. Подойдя к Глебову, сидевшему в

кабинете в раздумье, он сказал:

Милый Глебов,
Сродник Фебов,
Улыбнись,
Но на Наде,[540]
Христа ради,
Не женись!»

*[В. И. Чиляев в передаче П. К. Мартьянова. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 442–443]*

Иногда по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом «Черкесе» за город, уезжал рано и большей частию вдруг, не предуведомив заблаговременно никого: встанет, велит оседлать лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какою-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни. Но при этом им руководила не одна только любительская страсть к езде, он хотел выработать из себя лихого наездника-джигита, в чем неоспоримо и преуспел, так как все товарищи его, кавалеристы, знатоки верховой езды, признавали и высоко ценили в нем столь необходимые, по тогдашнему времени, качества бесстрашного, лихого и неутомимого ездока-джигита. Знакомые дамы приходили в восторг от его удали и неустрашимости, когда он, сопровождая их на прогулках и в кавалькадах, показывал им «высшую школу» наездничества, а Верзилинские «грации» не раз даже рукоплескали, когда он, проезжая мимо, перед их окнами ставил на дыбы своего «Черкеса» и заставлял его чуть не плясать «лезгинку».

*[В. И. Чиляев в передаче П. К. Мартьянова. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 444]*

Бывший слуга Лермонтова, Христофор Саникидзе, удостоверяет, что Михаил Юрьевич был человек весьма веселого нрава, хотя в то же время не любил много говорить, а любил более слушать то, что говорят другие. Иногда им овладевала задумчивость, и тогда он не любил, чтобы его беспокоили, и не любил, если в это время заходили к нему товарищи. С прислугой был необыкновенно добр, ласков и снисходителен, а старого

камердинера своего любил как родного и даже снисходительно выслушивал его советы.

*[Христофор Саникидзе в передаче П. К. Мартьянова. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова. «Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 446]*

Саникидзе говорит между прочим, что Лермонтов умел играть на флейте и забавлялся этой игрой изредка; что характер у него был добрый, но вспыльчивый. Много говорить он не любил. Обыкновенным времяпрепровождением у него было ходить по комнате из угла в угол и курить трубку с длинным чубуком. Писал он более по ночам или рано утром, но писал и урывками днем, присядет к столу, попишет и уйдет. Писал он всегда в кабинете, но писал, случалось, и за чаем на балконе, где проводил иногда целые часы, слушая пение птичек.

*[П. К. Мартьянов. Рассказы Саникидзе. «Исторический Вестник», 1895 г., стр. 600]*

Поручик Куликовский говорил мне, что он помнит Лермонтова. Встречал он его на бульваре и у источников. «Всякий раз как появлялся поэт в публике, ему предшествовал шепот: „Лермонтов идет“, — и все сторонилось, все умолкало, все прислушивалось к каждому его слову, к каждому звуку его речи».

*[Мартьянов. «Всемирный Труд», 1870 г., № 10, стр. 602–603]*

В Лермонтове (мы говорим о нем как о частном лице) было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение, другой — заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых.

К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин (прозванный им же Монго), Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли князь Александр Николаевич Долгорукий, декабрист М. А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал по его понятиям весь род человеческий, и он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками.

Но кроме того в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные его поклонники, о глубокомысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и

бурной своей жизни.

Он был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтениями, и такими шалостями, какие могут придти в голову разве только 15-тилетнему школьнику мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать; но в разговоре между прочим сказал, что он едет из России и везет с собой бочонок свежепросольных огурцов, большой редкости на Кавказе; тогда Лермонтов предложил ему прийти на его квартиру, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию, и на другой день, придя к нему, намекнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение, и покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель Лермонтов скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощанья от неумолимого чтеца-стихотворца.

Обедая каждый день в пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье посуды в горячую воду; тут она разом расползалась, и несчастные служители вынимали из лахани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго; и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву.

Мы привели эти черты, сами по себе ничтожные, для верной характеристики этого странного, игривого и вместе с тем заносчивого нрава. Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом; он был вполне человек своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности. Но живя этою жизнью, к коей все мы, юноши 30 годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14-го декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколенье», но и в ежедневных, светских и товарищеских

своих сношениях. От этого он был вообще не любим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; при Дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «*туда ему и дорога*». Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом.

Итак, отдавая полную справедливость внутренним побуждениям, которые внушали Лермонтову глубокое отвращение от современного общества, нельзя однако не сознаться, что это настроение его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избирал целью своих придирок и колкостей, без всякой видимой причины, а просто как предмет, над которым он изощрял свою наблюдательность.

*[А. Васильчиков. «Русский Архив», 1872 г., кн. 1, стр. 206–209]*

Из стихотворных эпиграмм на [Васильчикова] записаны В. И. Чиляевым две: одна, сказанная Лермонтовым на бульваре как-то вечером, когда луна светила ярко и тень князя Васильчикова в шинели и шляпе, беседовавшего с каким-то питерским стариком, длинной полосою ложилась на песок площадки. Молодежь вышла из «казино» Найтаки и столпилась на крылечке. Лермонтов указал рукою на «мученика фавора» и сказал:

Велик князь Ксандр и тонок, гибок он,
Как колос молодой,
Луной сребристой ярко освещен,
Но без зерна — пустой.

Другая написана была мелом на карточном столе, когда «умник» сказал какое-то энергичное слово:

Наш князь Василь —
Чиков — по батюшке,
Шеф простофиль
Глупцов — по дядюшке,
Идя в кадриль
Шутов — по зятюшке,
В речь вводит стиль
Донцов — по матушке.[541]

*[П. К. Мартьянов. Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова.*

*«Исторический Вестник», 1892 г., кн. 2, стр. 454–455]*

Гвардейские офицеры, после экспедиции, нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи; вод не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после экспедиции. Они бывают у источников, но без стаканов; их заменяют лорнеты, хлыстики… Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами.

У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их. Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой, тяжело раненый в ключицу; Тиран, лейб-гусар; А. Васильчиков, чиновник при Гане, присланном для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 682–683]*

Лев Пушкин приехал в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в майоры, а все тот же! Прибежит на минуту впопыхах, вечно чем-то озабочен; уж такая натура! Он свел меня с Дмитревским,[542] нарочно приехавшим из Тифлиса, чтобы с нами, декабристами, познакомиться. Дмитревский был поэт; он в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-то прекрасных карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говорил обыкновенно: «После твоих стихов, разлюбишь поневоле черные и голубые очи и полюбишь карие глаза».

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 683–684]*

Гвардейская молодежь жила разгульно в Пятигорске, и Лермонтов был душою общества и производил сильнейшее впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера; устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 684]*

В мае месяце 1841 года М. Ю.Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодежи.

Он нисколько не ухаживал за мной,[543] а находил особенное удовольствие me taquiner.[544] Я отделывалась как могла то

шуткою, то молчаньем, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довел меня почти до слез; я вспылила и сказала, что ежели б я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что наконец вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, не надолго.

Как-то раз ездили верхом большим обществом в колонку Каррас. Неугомонный Лермонтов предложил мне пари a discretion,[545] что на обратном пути будет ехать рядом со мною, что ему редко удавалось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу,[546] чтобы они ехали подле меня и не отставали. Лермонтов ехал сзади и все время зло шутил на мой счет. Я сердилась, но молчала. На другой день, утром рано, уезжая в Железноводск, он прислал мне огромный прелестный букет в знак проигранного пари.

*[Эмилия Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, стр. 315–316]*

В Пятигорске знакомство мое с Лермонтовым ограничивалось только несколькими словами при встречах. Сойтиться ближе мы не могли. Во-первых, он был вовсе не симпатичная личность, и скорее отталкивающая, нежели привлекающая, а главное, в то время, даже и на Кавказе, был особенный, известный род изящных людей, людей светских, считавших себя выше других по своим аристократическим манерам и светскому образованию, постоянно говорящих по-французски, развязных в обществе, ловких и смелых с женщинами и высокомерно презирающих весь остальной люд, которые, с высоты своего величия, гордо смотрели на нашего брата армейского офицера и сходились с нами разве только в экспедициях, где мы в свою очередь с презрением на них смотрели и издевались над их аристократизмом. К этой категории принадлежала большая часть гвардейских офицеров, ежегодно тогда посылаемых на Кавказ, и к этой же категории принадлежал и Лермонтов, который, сверх того, и по характеру своему не любил дружиться с людьми: он всегда был едок и высокомерен, и едва ли он имел хоть одного друга в жизни.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 1, стр. 113–114]*

Любили мы его [Лермонтова] все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; знать только нужно было с какой стороны подойти. Особенным неженкой он не был, а пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков. Над всеми нами он командир был. Всех окрестил по-своему. Мне, например, ни от него, ни от других, нам близких людей, иной клички, как Слёток, не было. А его никто даже и не подумал называть иначе, как по имени. Он хотя нас и любил, но вполне близок был с одним Столыпиным. В то время посещались только три дома постоянных обитателей Пятигорска. На первом плане, конечно, стоял дом генерала Верзилина. Там Лермонтов и мы все были дома. Потом, мы также часто бывали у генеральши Катерины Ивановны Мерлини, героини защиты Кисловодска от черкесского набега, случившегося в отсутствие ее мужа, коменданта кисловодской крепости.[547] Был еще открытый дом Озерских, приманку в котором составляла миленькая барышня Варенька.[548] Она была барышня хорошо образованная; но у них Михаил Юрьевич никогда не бывал, так как там принимали неразборчиво, а поэт не любил, чтобы его смешивали с l'armée russe, как он окрестил кавказское воинство.

…Часто устраивали у нас кавалькады… Обыкновенно мы езжали в Шотландку, немецкую колонию в 7-ми верстах от Пятигорска, по дороге в Железноводск. Там нас с распростертыми объятиями встречала немка Анна Ивановна, у которой было нечто вроде ресторана и которой мильх и бутерброды, наравне с двумя миленькими прислужницами Милле и Гретхен, составляли погибель для l'armée russe.

У нас велся точный отчет об наших parties de plaisir. Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в «альбоме приключений», в котором можно было найти все: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц. После этот альбом достался князю Васильчикову или Столыпину; не помню, кому именно.[549] Все приезжие и постоянные жители Пятигорска получали от Михаила Юрьевича прозвища. И язык же у него был! Как, бывало, прозовет кого, так кличка и пристанет. Между приезжими барынями были и belles pales,[550] и grenouilles évanouies.[551] А дочка калужской помещицы Быховец, имени которой я не помню именно потому, что людей, окрещенных Лермонтовым, никогда не называли их христианскими именами, получила прозвище la belle noire.[552] Они жили напротив Верзилиных, и с ними мы особенно часто видались.[553]

*[Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова по записи В.*

*Желиховской. «Нива», 1885 г. № 7, стр. 167]*

Лермонтов иногда бывал весел, болтлив до шалости; бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо; потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра просила его написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили все толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: «Пишите!» И написал он шутку-экспромт.

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд,[554]
И локон небрежный
Над шейкою нежной…
На поясе нож.
C'est un vers qui cloche![555]

Зато после нарисовал ей же в альбом акварелью курда.

*[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, кн. 6, стр. 316]*

Покойный П. А. Гвоздев, товарищ по юнкерской школе, бывший в то время на кавказских водах, рассказал мне о последних днях Лермонтова. 8 июля он встретился с ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа: то грустен, то вдруг становился он желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между прочим, в разговоре он сказал: «Чувствую — мне очень мало осталось жить». Через неделю после того он дрался на дуэли, близ пятигорского кладбища, у подошвы горы Машук.

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 304]*

Как-то раз, недели за три-четыре до дуэли,[556] мы сговорились, по мысли Лермонтова, устроить пикник в нашем обычном гроте у Сабанеевских ванн. Распорядителем на наших праздниках бывал обыкновенно генерал князь Владимир Сергеевич Голицын,[557] но в этот раз он с чего-то заупрямился и стал говорить, что неприлично женщин хорошего общества угощать постоянными трактирными ужинами, после танцев с кем ни попало на открытом воздухе. Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то, что неприлично в столице, совершенно на своем месте на водах с разношерстным

обществом. На это князь предложил устроить настоящий бал в казенном Ботаническом саду. Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что казенный сад далеко за городом и что затруднительно будет препроводить наших дам, усталых после танцев, позднею ночью обратно в город. Ведь, биржевых-то дрожек в городе было 3–4, а свои экипажи у кого были? Так не на повозках же тащить?[558]

— Так здешних дикарей учить надо! — сказал князь.

Лермонтов ничего ему не возразил, но этот отзыв князя Голицына о людях, которых он уважал и в среде которых жил, засел у него в памяти, и, возвратившись домой, он сказал нам:

— Господа! На что нам непременно главенство князя на наших пикниках? Не хочет он быть у нас, — и не надо. Мы и без него сумеем справиться.

Не скажи Михаил Юрьевич этих слов, никому бы из нас и в голову не пришло перечить Голицыну; а тут словно нас бес дернул. Мы принялись за дело с таким рвением, что праздник вышел — прелесть. Площадку перед гротом занесли досками для танцев, грот убрали зеленью, коврами, фонариками, а гостей звали по обыкновению с бульвара. Лермонтов был очень весел, не уходил в себя и от души шутил и смеялся, несмотря на присутствие armée russe. Íечего и говорить, что князя Голицына не только не пригласили на наш пикник, но даже не дали ему об нем знать. Но ведь немыслимо же было, чтоб он не узнал о нашей проделке в таком маленьком городишке. Узнал князь и крепко разгневался — то он у нас голова был, а тут вдруг и гостем не позван. Да и не хорошо это было, почтенный он был, заслуженный человек.

*[Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова по записи В. Желиховской. «Нива»,1885 г., № 7, стр. 167–168]*

За что поссорилась молодежь с кн. Голицыным, не знаю, только его не было на этом пикнике, в отместку за это он не пригласил их на бал, который затеял в казенном саду 15-го июля, в день своих именин. Зала готовилась из ковров, зеркал и деревьев под открытым небом; весь сад должен был быть иллюминован и в заключение фейерверк.

*[Э. А. Шан-Гирей. «Нива», 1885 г., № 27, стр. 646]*

…Как же я весело провела время! Этот день [8 июля 1841 года] молодые люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шалями; колонны обвиты цветами и люстры все из цветов; танцевали мы на площадке около грота; лавочки были обиты прелестными коврами; освещено было чудесно; вечер

очаровательный; небо было так чисто; деревья от освещенья необыкновенно хороши были, аллея также была освещена, и в конце аллеи была уборная прехорошенькая, два хора музыки. Конфект, фрукт, мороженого беспрестанно подавали; танцевали до упада; молодежь была так любезна, занимала своих гостей; ужинали, после ужина опять танцевали; даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел; оттуда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями; один из них начал немного шалить. Лермонтов, как cousin, предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей, и он до дому меня проводил.

Мы с ним так дружны были: он мне правнучатный брат и всегда называл cousine, а я его cousin, и любила как родного брата. Так меня здесь и знали под именем charmante cousine[559] Лермонтова. Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной.

Этот пикник последний был; ровно чрез неделю мой добрый друг убит, а давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!

*[Из письма Е. Быховец к сестре от 5 августа 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 766–767]*

В июле месяце молодежь задумала дать бал Пятигорской публике, которая, само собою разумеется, более или менее между собой знакома. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала устройству праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи, у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом; стены обтянули персидскими коврами; повесили искусно импровизированные люстры, из простых обручей и веревок, обвитых, чрезвычайно красиво, великолепными живыми цветами и вьющеюся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собирались танцевать, развесили, как говорят, более 2 500 разноцветных фонарей… Хор военной музыки поместили на площадке, над гротом, и во время антрактов между танцами мотивы музыкальных знаменитостей нежили слух очарованных гостей. Бальная музыка стояла в аллее; красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, назначенной служить уборною для дам. Она также убрана была шалями и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда для того только, чтобы полюбоваться им.

Роскошный буфет не был также забыт. Природа, как бы согласившись с общим настроением и желанием людей, выказалась в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях. К 8 часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружили густыми рядами кружащихся и веселившихся счастливцев.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 684–686]*

Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. После одного бешеного тура вальса Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил: «Видите ли вы даму Дмитревского?… Это его карие глаза?.. Не правда ли, как она хороша!» Я тогда стал пристальнее ее разглядывать и в самом деле нашел ее красавицей… Главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 686]*

Бал продолжался до поздней ночи или, лучше сказать, до самого утра… При полном рассвете я лег спать. Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанут для многих или, лучше сказать, для всех нас участников горесть и сожаление!

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 687]*

В Пятигорске жило в то время семейство генерала Верзилина, находившегося на службе в Варшаве при князе Паскевиче, состоявшее из матери и трех взрослых дочерей девиц. Это был единственный дом в Пятигорске, в котором почти ежедневно собиралась вся изящная молодежь пятигорских посетителей, в числе которых были Лермонтов и Мартынов. В особенности привлекала в этот дом старшая Верзилина, Эмилия,[560] девушка уже немолодая, которая еще во время посещения Пятигорска Пушкиным прославлена была им как звезда Кавказа, девушка очень умная, образованная, светская, до невероятности обворожительная и превосходная музыкантша на фортепиано, — отчего в доме их, кроме фешенебельной молодежи, собирались и

музыканты, — но в то время уже очень увядшая и пользовавшаяся незавидной репутацией. Она была лихая наездница, часто составляла кавалькады, на которых была одета всегда в каком-нибудь фантастическом костюме. Рассказывали, что однажды пришел к Верзилиным Лермонтов в то время, как Эмилия, окруженная толпой молодых наездников, собиралась ехать верхом куда-то за город. Она была опоясана черкесским хорошеньким кушаком, на котором висел маленький, самой изящной работы черкесский кинжальчик. Вынув его из ножен и показывая Лермонтову, она спросила его: «Не правда ли, хорошенький кинжальчик?» — «Да, очень хорошо», — отвечал он, — «*им особенно ловко колоть детей*», — намекая этим язвительным и дерзким ответом на ходившую про нее молву. Это характеризует язвительность и злость Лермонтова, который, как говорится, для красного словца не щадил ни матери ни отца.

Так, говорили, поступал он и с Мартыновым, при всяком удобном случае отпуская ему в публике самые едкие колкости.

*[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. I, кн. 1, стр. 115–116]*

Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин и порешили не ехать в собранье, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «M-lle Emilie, je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la dernière fois de ma vie»[561] — «Ну уж так и быть в последний раз, пойдемте». — М. Ю. дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин,[562] который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык à qui mieux mieux.[563] Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл кн. Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его montagnard au grand poignard.[564] (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал.) Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал

Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», — и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: язык мой враг мой, М. Ю. отвечал спокойно: «Ce n'est rien; demain nous serons bons amis».[565] Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что, когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно: «Да», — и тут же назначили день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах.[566]

*[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, стр. 316–317]*

Однажды на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере нам, Столыпину, Глебову и мне, известно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее все мы, и в особенности М. П. Глебов, который соединял с отважною храбростию самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение 3-х дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению.

На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля, часов в 6–7 вечера, мы поехали на роковую встречу; но и тут, в последнюю минуту, мы, и, я думаю, сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится

пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут… ужинать.

*[А. Васильчиков. «Русский Архив», 1872 г., кн. 1, стр. 209–210]*

Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив; карикатуры [на него] его беспрестанно прибавлялись. Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом. Он назвал при дамах M-r le Poignard и sauvage'ом.[567] Он [т. е. Мартынов] тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним.[568]

Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупой вызвал Лерм[онтова]. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас — ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил; великий князь [Михаил Павлович] ненавидел, [они?] не могли его видеть, и тут еще любовь: он [Лермонтов] был страстно влюблен в В. А. Бахметеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был.

*[Из письма Е. Быховец от 5 августа 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 766–767]*

С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума; но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее. На вечере в одном частном доме,[569] за два дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома я удержал его за руку, чтобы он шел рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня

предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэлей; следовательно, ты никого этим не испугаешь». В это время мы подошли к его дому. Я сказал ему, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта, и возвратился к себе. Раздеваясь, я велел человеку попросить ко мне Глебова, когда он придет домой. Через четверть часа вошел ко мне в комнату Глебов. Я объяснил ему в чем дело, просил его быть моим секундантом и, по получении от него согласия, сказал ему, чтобы он на другой же день с рассветом отправился к Лермонтову. Глебов попробовал было меня уговаривать; но я решительно объявил ему, что он из слов самого же Лермонтова увидит, что в сущности не я его вызываю, но меня вызывают, и что потому мне невозможно сделать первому шаг к примирению.

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым. «Русский Архив», 1883 г., кн. 8, стр. 597–598]*

Я первый вызвал его. На другой день описанного мною происшествия Глебов и Васильчиков пришли ко мне и всеми силами старались меня уговорить, чтобы я взял назад свой вызов. Уверившись, что они все это говорят от себя, но что со стороны Лермонтова нет даже и тени сожаления о случившемся, я сказал им, что не могу этого сделать, что мне на другой же день пришлось бы с ним пойти на то же. Они настаивали, напоминали мне прежние мои отношения, говорили о веселой жизни, которая с ним ожидает нас в Кисловодске, и что все это будет расстроено глупой историей. Чтобы выйти из неприятного положения человека, который мешает веселиться другим, я сказал им, чтобы они сделали воззвание к самим себе: поступили бы они иначе на моем месте? После этого меня уже никто больше не уговаривал. [570]

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым. «Русский Архив»,1893 г., кн. 8, стр. 598–599]*

В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут

и потом расстались; я и не предчувствовал тогда, что вижу его в последний раз. Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и 15 июля он был убит.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 687]*

Через четыре дня,[571] он [Лермонтов] поехал на Железные; был в этот день несколько раз у нас и все меня упрашивал приехать на Железные; это 14 верст отсюда. Я ему обещал и 15-го [июля] мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной в коляске, а Дмитриевский[572] и Бенкендорф[573] и Пушкин, брат сочинителя, — верхами.

На половине дороги, в колонке[574] мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и всё там гуляли. Я всё с ним ходила под руку. На мне было бандо.[575] Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась, и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что всё та же;[576] уговаривала его, утешала как могла, и с полными глазами слез [он меня] благодарил, что я приехала, умаливал, чтоб я пошла к нему на квартиру закусить, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами.

В колонке обедали. Уезжавши он целует несколько раз мою руку и говорит: «Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни».

Я еще над ним смеялась; так мы и отправились.

Это было в пять часов, а [в] 8 пришли сказать, что он убит.

*[Из письма Е. Быховец от 5 авг. 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 767–768]*

Что ж? умереть, так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова… прощайте!..

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствовал в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, — лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль

топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья, — и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!

*[Лермонтов. «Княжна Мери»]*

Я был знаком с Лермонтовым с самого вступления моего в юнкерскую школу. Отношения наши были довольно короткие. Поводом же к его остротам на мой счет, вероятно, было не что иное, как желание поострить; по крайней мере я других причин не знаю. Но как в подобном расположении духа человек легко увлекается и незаметно переходит от неуместной шутки к язвительной насмешке и так далее, то я был принужден несколько раз останавливать его и напоминать, что всему есть мера. Хотя подобные шутки нельзя назвать дружескими, потому что они всегда обидны для самолюбия, но я подтверждаю еще раз то, что честь моя была затронута не насмешками его, но решительным отказом прекратить их и советом прибегнуть к увещаниям другого рода; что, вступая с ним в объяснение, я и виду не имел вызывать его на дуэль, но что после подобной выходки с его стороны, по понятиям, с которыми мы как будто сроднились, мне уже не оставалось другого средства окончить с честью это дело: я почел бы себя обесчещенным, если бы не принял его совета и не истребовал у него удовлетворения.

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного пятигорского суда, данные 16 сентября 1841 г. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 603]*

Мартынов, с неподдельной простотою и искренностью, рассказал мне приблизительно следующее: он был в дружеских

отношениях с Михаилом Юрьевичем, но в последнее время вышло нечто, вызвавшее крупное объяснение. Приятели таки раздули ссору. Состоялась несчастная дуэль. Секунданты условились о порядке дуэли; были приготовлены пистолеты Кухенрейтера, крупного калибра и дальнобойные. Разумеется, обе стороны согласились на условия, поставленные секундантами. Перед дуэлью, — она не составляла для Мартынова шутки, — он заранее обдумал план своих действий. Он порешил, не поднимая на прицел пистолета, крупными шагами подойти к указанному секундантами барьеру, и тогда, прицелясь, стрелять. Противник его, как оказалось на самой дуэли, принял метод совершенно противуположный: он, обратясь к Мартынову вполне правым боком, держа пистолет, с места, на полном прицеле, медлительно подвигался к барьеру, так что Мартынов мог ожидать выстрела ежемгновенно, даже с первого, подходного шага своего к барьеру. Дойдя до пункта и начав наводить пистолет, Мартынов удивился, почему не стреляет Лермонтов, так как, наведя уже пистолет с самого начала дуэли, оставалось ему только нажать… Мартынов несколько задержал выстрел… «На нашу общую беду, — я продолжаю почти словами Мартынова, — шел резкий дождь и прямо бил в лицо секундантам… Лермонтов, приостанавливаясь на ходу, продолжал тихо в меня целить… Я вспылил — ни секундантами, ни дуэлью не шутят — и спустил курок. Лермонтов упал. Пуля прошла насквозь руку, заслонявшую бок, и в грудь».

*[Бетлинг. «Нива», 1885 г., № 20, стр. 475]*

Сколько я могу себе составить понятие изо всего мною слышанного, причины поединка Лермонтова с Мартыновым были не исключительно те, которые обыкновенно указываются во всех биографиях Лермонтова. Сам Николай Соломонович Мартынов, лично мне знакомый, не говорил о том. Гибель Лермонтова, по-видимому, наложила тяжелое бремя на всю жизнь его, так что расспрашивать его я никогда не решался. Но от А. И. Бибикова сохранился следующий рассказ.

«Неравнодушна к Лермонтову была сестра Н. С. Мартынова… Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за нею, а может быть, и прикидывался влюбленным.

В 1837 году уезжавшему из Пятигорска в экспедицию Лермонтову сестры Мартынова поручили передать брату… письмо со своим дневником. В тот же пакет были вложены триста рублей, о чем Лермонтов ничего не знал.

По прошествии некоторого времени сестры писали Мартынову, спрашивая его о своем дневнике. На это брат отвечал,

что никаких ни письма, ни дневника он не получал, но 300 руб. денег получил от Лермонтова. Тогда сестры Мартынова вновь поручили брату узнать об участи дневника, указывая на то, что Лермонтов не знал о вложенных деньгах. Таким образом обнаружилось, что Лермонтов распечатал письмо Натальи Соломоновны Мартыновой к ее брату. Из-за этого и произошла ссора, так как Мартынов имел полное основание упрекать Лермонтова. Ссора на вечере у Верзилиных была, по всему вероятию, не что иное как предлог к поединку, уже ранее решенному. К шуткам Лермонтова Мартынов относился сперва добродушно, привыкнув к ним; но потом это ему видимо надоело. Злой рок решил иначе, и без прицела пущенная пуля угодила в поэта. Вернее еще, что сам Лермонтов, чувствуя себя виновным перед Мартыновым, хотел искупить вину свою поединком.[577]

*[Д. Оболенский. „Русский Архив“, 1893 г., кн. 8, стр. 611–613]*

Условлено было между нами сойтись на место к 6 1/2 часам пополудни. Я выехал немного ранее из своей квартиры верхом; беговые дрожки свои дал Глебову. Васильчиков и Лермонтов догнали меня уже на дороге; последние два были также верхом. Кроме секундантов и нас двоих, никого не было на месте дуэли, и никто решительно не знал об ней.[578]

Мы стрелялись по левой стороне горы, по дороге, ведущей в какую-то колонку,[579] вблизи частого кустарника. Был отмерен барьер в 15 шагов, от него в каждую сторону еще по десяти. Мы стали на крайних точках. По условию дуэли, каждый из нас имел право стрелять, когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру. Я первый пришел на барьер, ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок.[580]

Как уже было сказано выше, я, Лермонтов и Васильчиков ехали верхом на назначенное место, Глебов на беговых дрожках. Проводников у нас не было. Лошадей мы сами привязали к кустарникам, а дрожки поставили в высокую траву по правой стороне дороги.

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке*

*Мартынова с Лермонтовым. „Русский Архив“, 1893 г., кн. 8, стр. 596]*

От сделанного мною выстрела он упал, и хотя признаки жизни еще были видны в нем, но уже он не говорил. Я поцеловал его и тотчас же отправился домой, полагая, что помощь может еще подоспеть к нему вовремя.

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного*

*пятигорского суда, данные 15 сентября 1841 г., „Русский Архив“, 1893 г., кн. 8, стр. 605]*

Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню[581]), темная, громадная туча поднималась из-за соседней горы Бештау…

Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде: „марш“. Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову и скомандовали: „Сходись“. Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди, раненые или ушибленные.

Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие. Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка, по случаю дурной погоды (шел проливной дождь), они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого.

Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли.

Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу.

*[А. Васильчиков. „Русский Архив“, 1872 г. кн. 1, стр. 211–212]*

Вовсе не желая к воспоминанию о смерти Лермонтова примешивать мелодраматизма, которого при жизни своей он не терпел, ненавидя всякие эффекты, я невольно должен передать одну подробность о его конце, сообщенную мне П. А. Гвоздевым. 15 июля, с утра еще, над городом Пятигорском и горою Машук собиралась туча, и, как нарочно, сильная гроза разразилась

ударом грома в то самое мгновение, как выстрел из пистолета поверг Лермонтова на землю [к 5 часу пополудни]. Буря и ливень так усилились, что несколько минут препятствовали положить тело убитого в экипаж.

*[А. Меринский. „Атеней“, 1858 г., № 48, стр. 304–305]*

Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом. Как теперь помню странный эпизод этого рокового вечера; наше сидение в поле при трупе Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извощики, следуя примеру храбрости г.г. докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекращался… Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять; от этого движения, как и обыкновенно случается, спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезненный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив.[582]

Наконец, часов в 11 ночи, явились товарищи с извощиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры.

*[А. Васильчиков. „Русский Архив“, 1872 г., кн. 1, стр. 212]*

Пятигорский мещанин Иван Андреев Чухнин, дворовый человек Мурлыкиных, в 1841 году находился при доме названных помещиков в Пятигорске, в качестве младшего кучера, где также был старшим кучером старший брат его Кузьма Андреев Чухнин. Мурлыкины в то время держали биржевых лошадей и дрожки, на которых ездили оба брата Чухнины. Иван Чухнин утверждает, что в день дуэли М. Ю. Лермонтова, около десяти часов вечера, два офицера наняли у Мурлыкиных дроги (в виде линейки), на которых поехал брат Чухнина Кузьма, объяснивший ему тогда же, что он привез с места дуэли в дом Чиляева тело офицера Лермонтова, и как хорошо помнит Чухнин, на другой день после этого он с братом мыл ту линейку, так как она была залита кровью. Спустя два-три дня после этого события Иван Чухнин с братом Кузьмою ездили с гг. офицерами на место дуэли Лермонтова, каковое было указано Кузьмою Чухниным; но действительно ли на этом месте происходила дуэль, он положительно утвердить не может, потому что сам не был свидетелем ее, а основывает показание свое на словах умершего брата Кузьмы, который, как выше сказано, приехал на место

дуэли поздно вечером и, легко может быть, не рассмотрел хорошо местности; тем более что на поляне, которую указал Кузьма Чухнин, никаких следов дуэли не было. Подписал: пятигорский мещанин Иван Андреев Чухнин, а вместо его неграмотного расписался коллежский асессор Иван Васильев.

*[Показания Ивана Чухнина, данные 11 сентября 1881 г., в комиссии по определению места дуэли. „Русская Старина“, 1882 г., т. XXXIII, кн. 1, стр. 262]*

…При перевозке Лермонтова с места поединка его с Мартыновым в Пятигорске (при чем Саникидзе находился) Михаил Юрьевич был еще жив, стонал и едва слышно прошептал: „Умираю“; но на пол-дороге стонать перестал и умер спокойно;… по привозе тела домой его внесли в зало и положили сперва на диван, а потом на стол…

*[Саникидзе в передаче П. К. Мартьянова. „Исторический Вестник“, 1895 г., № 1, стр. 600]*

А мы дома с шампанским ждем. Видим, едут Мартынов и князь Васильчиков. Мы к ним навстречу бросились. Николай Соломонович никому ни слова не сказал и, темнее ночи, к себе в комнату прошел, а после прямо отправился к коменданту Ильяшенко и все рассказал ему. Мы с расспросами к князю, а он только и сказал: „Убит!“ — и заплакал. Мы чуть не рехнулись от неожиданности; все плакали, как малые дети. Полковник же Зельмиц, как услышал, — бегом к Марии Ивановне Верзилиной и кричит:

— О-то! ваше превосходительство, наповал!

А та, ничего не зная, ничего и не поняла сразу, а когда уразумела в чем дело, так, как сидела, на пол и свалилась.[583] Барышни ее услыхали, — и что тут поднялось, так и описать нельзя. А Антон Карлыч наш кашу заварил, да и домой убежал. Положим, хорошо сделал, что вернулся: он нам-то понадобился в это время.

Приехал Глебов, сказал, что покрыл тело шинелью своей, а сам под дождем больше ждать не мог. А дождь, перестав было, опять беспрерывный заморосил. Отправили мы извозчика биржевого за телом, так он с полудороги вернулся: колеса вязнут, ехать невозможно. И пришлось нам телегу нанять.[584] А послать кого с телегой и не знаем, потому что все мы никуда не годились и никто своих слез удержать не мог. Ну, и попросили полковника Зельмица. Дал я ему своего Николая, и Столыпинский грузин с ним отправился. А грузин, что Лермонтову служил, так убивался, так причитал, что его и с места сдвинуть нельзя было. Это я к

тому говорю, что если бы у Михаила Юрьевича характер, как многие думают, в самом деле, был заносчивый и неприятный, так прислуга бы не могла так к нему привязываться.

Когда тело привезли, мы убрали рабочую комнату Михаила Юрьевича, заняли у Зельмица большой стол и накрыли его скатертью. Когда пришлось обмывать тело, сюртук невозможно было снять, руки совсем закоченели. Правая рука, как держала пистолет, так и осталась. Нужно было сюртук на спине распороть, [585] и тут мы все видели, что навылет пуля проскочила, да и фероньерка belle noire в правом кармане нашлась, вся в крови.

*[Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова в записи В. Желиховской. „Нива“, 1885 г., № 8, стр. 186–187]*

В семье Верзилиных были три красивые девицы: дочери Верзилина, старшая Эмилия и младшая Надежда, и моя мать [Е. И. Кнольт], проживавшая в их семье как опекаемая.[586] Мартынову и Лермонтову нравилась Надежда Петровна Верзилина, рыжая красавица, как ее звали,[587] и которой Лермонтов написал стихи: „Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд“… Вот из ревности и разыгралась эта драма.

Отец мой [А. Г. Сидери[588] ], идя с докладом об этом происшествии к коменданту, зашел по дороге к Верзилиным и сообщил им об этом (он уже был женихом моей матери). Все в доме были взволнованы. Вдруг вбегает сильно возбужденный Лев Сергеевич Пушкин, приехавший на минеральные воды, с волнением говорит: „Почему раньше меня никто не предупредил об их обостренном отношении, я бы помирил…“

Отец мой [А. Г. Сидери] доложил об этом [о дуэли] коменданту. Комендант полковник Ильяшенков, человек старый, мнительный, почему-то не велел разглашать об этом. Тело лежало за городом, у подошвы горы Машука, на месте дуэли;[589] было очень жарко в июле, а особенно на Кавказе. Пока тянули медленно дознание, труп уже значительно распух, и при вскрытии чувствовался сильный запах. Затем Мартынова арестовали…

Несмотря на несимпатичный характер Лермонтова, все его жалели, а Мартынова все обвиняли и были сильно возбуждены против него, говорили: „Стрелять-то не умел, а убил наповал“. Вот и все, что я могу сообщить, если не очевидец, то все-таки как человек, слышавший от очевидцев, своих родителей».

*[С подлинной рукописи: «Сообщение отставного полковника Леонида Ангельевича Сидери о кончине М. Ю. Лермонтова»[590] ]*

15 июля пришли к нам утром кн. Васильчиков и еще кто-то,

не помню, в самом пасмурном виде; даже maman заметила и, не подозревая ничего, допрашивала их, отчего они в таком дурном настроении, как никогда она их не видала. Они тотчас замяли этот разговор вопросом о предстоящем князя Голицына бале, а так как никто из них приглашен не был, то просили нас прийти на горку смотреть фейерверк и позволить им явиться туда инкогнито. Жаль было, что лучших танцоров и самых интересных кавалеров не будет на балу, где предполагалось так много удовольствий.[591] Собираться в сад должны были в 6 часов; но вот с четырех начинает накрапывать мелкий дождь; надеясь, что он пройдет, мы принарядились, а дождь все сильней да сильней и разразился ливнем с сильнейшей грозой; удары грома повторялись один за одним, а раскаты в горах не умолкали. Приходит Дмитревский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать *этих господ* всех сюда и устроить свой бал; не успел он докончить, как вбегает в залу полковник Зельмиц (он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым) с растрепанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: *«Один наповал, другой под арестом»*. Мы бросились к нему — что такое, кто наповал, где? *Лермонтов убит!* Такое известие и столь внезапное до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика; едва могли ее успокоить.

*[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II стр. 317–318]*

Мне неизвестно, в какое время взято тело убитого поручика Лермонтова. Простившись с ним, я тотчас же возвратился домой и послал человека за своей черкеской, которая осталась на месте происшествия, чтобы явиться в ней к коменданту. Об остальном же и до сих пор ничего не знаю.[592]

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 598]*

Наконец его привезли в Пятигорск. Гвоздев, услыхав о происшествии и не зная наверное, что случилось, в смутном ожидании, отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все там находившиеся были в большом смущении. Грустно и больно было ему видеть бездыханным того, чья жизнь так много обещала! Невольно тогда приятелю моему пришли на память стихи убитого товарища:

Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и с жаждой мести,

Поникнув гордой головой…

*[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 304–305]*

Когда мы несколько пришли в себя от такого треволнения, переоделись и, сидя у открытого окна, смотрели на проходящих, то видели, как проскакал Васильчиков к коменданту и за доктором; позднее провели Глебова под караулом на гауптвахту. Мартынова же, как отставного, посадили в тюрьму, где он провел ужасных три ночи в сообществе двух арестантов, из которых один все читал псалтырь, а другой произносил страшные ругательства. Это говорил нам сам Мартынов впоследствии. К 9 часам все утихло. Вечер был чудный, тишина в воздухе необыкновенная, луна светила как день. Роковая весть быстро разнеслась по городу. *Дуэль* неслыханная вещь в Пятигорске. Многие ходили смотреть на убитого поэта из любопытства; знакомые же его, из участия и желания узнать о причине дуэли, спрашивали нас, но мы и сами ничего не знали тогда верного. Это хождение туда-сюда продолжалось до полуночи. Все говорили шепотом, точно боялись, чтобы их слова не раздались в воздухе и не разбудили бы поэта, спавшего уже непробудным сном. На бульваре и музыка два дня не играла.

*[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, кн. 6, стр. 318–319]*

Никто не знал, что у них дуэль, кроме двух молодых мальчиков, которых они заставили поклясться, что никому не скажут; они так и сделали.

Лер[монтову] так жизнь надоела, что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот изверг [Мартынов] имел духа долго целиться, и пуля навылет! Ты не поверишь, как его смерть меня огорчила, я и теперь не могу его вспомнить.

Дмитревский меня раздосадовал ужасно: бандо мое, которое было в крови Лер[монтова], взял, чтоб отдать мне, и потерял его; так грустно, это бы мне была память. Мне отдали шнурок, на котором он всегда носил крест.

Я была на похоронах: с музыкой его хоронить не позволили, и священника насилу уговорили его отпеть.

Он мертвый был так хорош, как живой. Портрет его сняли. [593]

*[Из письма Е. Быховец к сестре от 5 авг. 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 768]*

От него [Лермонтова] в Пятигорске никому прохода не было.

Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!..Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить…

Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались… От насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, насмешки его переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был…

[Я] видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая… Ноги вперед висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал.

*[В. Эрастов[594] в передаче Е. Ганейзера, «Вестник Европы», 1914 г., кн. 3, стр. 392–393]*

Я еще не знал о смерти его, когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вегелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал: «Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?» Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. Когда? кем? мог я только воскликнуть. Мы оба с Вегелиным пошли на квартиру покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы, знакомые и незнакомые, и весь любопытный люд теснились в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами.

Полный грустных дум, я вышел на бульвар…

Во всех углах, на всех аллеях, только и было разговоров, что о происшествии… Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, Бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Глебова, как военного, посадили на гауптвахту, Васильчикова и Мартынова — в острог; следствие и суд начались.

Вскоре приехал начальник штаба Трескин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 687–688]*

На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов, волею и неволею, служил в продолжение короткой жизни, явились почтить последней почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского

драгунского полка, я от Тенгинского пехотного; Тиран от лейб-гусарского и А. И. Арнольди — от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища, на покатости Машука. По закону, священник отказывался было сопровождать останки поэта, но сдался, и похороны совершены были со всеми обрядами христианскими и воинскими. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезою на глазах горсть земли, и все было кончено.

*[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 688–689]*

На другой день, когда собрались все к панихиде, долго ждали священника, который с большим трудом согласился хоронить Лермонтова, уступив убедительным и неотступным просьбам кн. Васильчикова[595] и других, но с условием, чтобы не было музыки и никакого параду. Наконец приехал отец Павел, но, увидев на дворе оркестр, тотчас повернул назад; музыку мгновенно отправили, но зато много, много усилий употреблено было, чтобы вернуть отца Павла. Наконец все уладилось, отслужили панихиду и проводили на кладбище; гроб несли товарищи; народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это меня поражало: ведь не все же его знали и не все его любили! Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами.

Похоронили и положили небольшой камень с надписью *Михаил*, как временный знак его могилы… Во время панихиды мы стояли в другой комнате, где лежал его окровавленный сюртук, и никому тогда не пришло в голову сохранить его.

*[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889, т. II, кн. 6, стр. 319]*

## *ОПИСЬ ИМЕНИЯ,[596] ОСТАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ УБИТОГО НА ДУЭЛИ ТЕНГИНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА ПОРУЧИКА ЛЕРМОНТОВА*

Учинена Июля 17 дня 1841 года

(В скобках дано число вещей и денег)

1. Образ маленькой Св. Архистратиха Михаила в Серебрянной вызолоченной рызе (1)
2. Образ не большой Св. Иоанна Воина в Серебрянкой вызолоченной рызе (1)
3. Таковый же побольше Св. Николая Чудотворца в Серебрянной рызе с вызолоченным венцом (1)
4. Образ Маленькой (1)

5. Крест маленькой Серебрянный вызолоченный с мощами (1)

6. Собственных сочинений покойного на разных ласкуточках бумаги кусков (7)

7. Писем разных Лиц и от родных (17)

8. Книга на черновые сочинения подарена покойному Князем Одоевским в кожанном переплете (1)

9. Карманная книжечка маленькая (1)

10. Бумажник Сафияновый (1)

11. Шкатулка Орехового дерева с бронзом (1)

12. Денег Ассигнациями две тысячи Шесть Сот десять рублей (2610)

13. Ножик перочинный с ножницами и другой небольшой сломанный (2)

14. Бритв в черных черенках в футляре (2)

15. Кисть для брития с ручкою Нейзильбер (1)

16. Ремень для точении бритв с ручкою (1)

17. Карманный гребешок складной роговой (1)

18. Лорнетка с двумя стеклами золотая складная в перламутровых черенках (1)

19. Погребец обит тюленевою кожею с жестяною оковкою с внутренним Замком (1)

20. В нем рюмка стекляная одна (1)

21. Солонка таковая же (1)

22. Банок стекляных с крышками (3)

23. Тарелок фаянсовых (5)

24. Ложек Серебрянных столовых (3)

25. Ложек Серебрянных чайных (3)

26. Ситичко чайное Серебрянное (1)

27. Ложка Соусная Серебрянная (1)

28. Ножей простых с вилками пар (3)

29. Сертуков суконных форменных поношенных с красною подкладкою (2)

30. Сертук Летний шерстяного ластику (1)

31. Сертук суконный форменный на калмыцком меху (1)

32. Мундир поношенный (1)

33. Брюк одни новые другие поношенные суконных форменных (2)

34. Шаровара поношенные (1)

35. Таковые же верблюжие старые (1)

36. Таковые-же Серого Сукна поношенные (1)

37. Эпалет мишурных пар три (3)

38. Черкеска простого темного сукна (1)

39. Желет Шелковый Черный поношенный (1)

40. Бешмет Белый коленкоровый (1)

41. Халат Бохарский кашемировый (1)
42. Халат Малашовый на меху кримских Мерлушек (1)
43. Шинель Светло серого Сукна с красным воротником Летняя на демикатоновой подкладке (1)
44. Таковаяже на вате светлосерого сукна с бобровым воротником подкладка таковаяже (1)
45. Персицкий войлок цветной двойной (1)
46. Подушек пуховых три малых (3)
47. Одеяло фланелевое (1)
48. Калмыцкий Ергак (1)
49. Шапка Шерстяная вязаная синяго цвету старая с красным окулошком (1)
50. Рубашек канаусовых старых (7)
51. Шаровара летние белые (1)
52. Рубах холщевых белых старых (2)
53. Подштанников холщевых старых (7)
54. Подштанников холстинковых одне (1)
55. Платков носовых цветных шелковых (8)
56. Батистовых белых платков (5)
57. Полотенцев личных ткацкого холста (8)
58. Фуфаек фланелевых три и летняя канифасовая одна итого (4)
59. Рубашка фланелевая длинная (1)
60. Подштанники фланелевые (1)
61. Салфеток белых разной величины (15)
62. Скатертей три (3)
63. Носков нитяных пар (12)
64. Носков шерстяных пар (3)
65. Фуфайка и подштанники лосинные (2)
66. Банное Полотенце (1)
67. Наволочек на подушки холщевых (6)
68. Наволочек на подушки ситцевых (6)
69. Простынь (2)
70. Шарф шерстяной красный (1)
71. Стирочных полотенцов (13)
72. Шейных косынок шелковых черных (3)
73. Платок бомажный шейный же (1)
74. Портупей Четыре (4)
75. Темляков мишурных (2)
76. Шапочек вязанных бомажных (2)
77. Перчаток белых замшевых пар пять (5)
78. Мыльница аплике (1)
79. Головная щеточка двойная (1)
80. Печать Гербовая Стальная с ручкою (1)

81. Одеяло Персицкое на подобие скатерти пёстрое большое (1)

82. Папах форменных с прибором из коих одна старая две (2)

83. Полусабли с серебрянным темляком (1)

84. Шарф Мишурный (1)

85. Фуражка Суконная белая с красным околушком (1)

86. Пистолет Черкеский в серебрянной обделке с золотою насечкою в чехле азиятском (1)

87. Кинжал с ножиком с белою ручкою при нем поясок с серебрянным с подчерниею прибором 16 штук и жирничка Серебрянная же (1)

88. Шашка в Серебрянной с подчерниею оправе с портупеею накоей 12 пуговиц Серебрянных с подчерниею (1)

89. Перстень Англицкого Золота с берюзою (1)

90. Кольцо червонного золота (1)

91. Подсвечников Аплике малых (2)

92. Оловянных тарелок (6)

93. Оловянных мисок (2)

94. Кастрюль красной меди небольших (4)

95. Самовар желтой меди складной (1)

96. Железная кровать складная без прибора (1)

97. Чемадан коженный (1)

98. Сундуков колясочных обтянутых кожею (2)

99. Седло Черкеское простое с прибором (1)

100 Лошадей две, мерин масти тёмносерой грива на правую сторону лет 4 на левом боку на передней и задней ноге тавро О, и 2-й Мерин масти светлосерой Лет 10. Грива на правую сторону на левой задней ноге тавро О (2)

101 Крепостных людей Иван Вертюков и Иван Соколов (2)

Подполковник *Маноенко*. [?]

Пятигорский Плац Адъютант Подпоручик *Сидери*.

Квартальный Надзиратель *Марушев*.

При описи находились: Пятигорский Градской Протоиерей *Павел Александров*.

При описи находился Пятигорский Градской Глава *Рышков*.

Словесный судья *Тупиков*.

## *РЕВЕРС*[597]

Я нижеподписавшийся даю сей реверс Пятигорскому Коменданту Господину Полковнику и кавалеру Ильяшенкову в том, что оставшиеся после убитого отставным майором Мартыновым на дуэле двоюродного брата моего Тенгинского Пехотного полка Поручика Лермантова поясненные в описи деньги две тысячи шесть сот десять рублей ассигнациями, равные вещи, две лошади и два крепостных человека Ивана Вертюкова и Ивана Соколова, я обязуюсь доставить в целости к родственникам его Лермантова. В противном же случае предоставляю поступить со мною по законам.

Июля 28 дня 1841 года Г. Пятигорск.

Нижегородского драгунского полка Капитан Столыпин.

О том, что капитан Столыпин оставшиеся после убитого поручика Лермантова деньги вещи лошадей и крепостных людей доставит к родственникам Лермантова, поручаем:

Нижегородского Драгунского Полка Командир

Полковник (Подпись).

Каммер-юнкер (Подпись).

№ 1427 Июля 16-го дня 1841

Его Императорскому Величеству

Пятигорского Коменданта

## *РАПОРТ*

Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в Городе Пятигорске для пользования болезней Кавказскими Минеральными водами, уволенный от службы из Гребенского Казачьего полка Майор Мартынов и тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, сего месяца 15-го числа в четырех верстах от Города, у подошвы горы Машуки имели Дуэль, на коей Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок на вылет, от каковой раны Лермонтов помер на месте. Секундантами были у них находящиеся здесь для пользования Минеральными водами Лейб-Гвардии Конного Полка Корнет Глебов и служащий во II-м Отделении собственной Вашего Императорского Величества Канцелярии Титулярный Советник Князь Васильчиков; об этом происшествии производится законное следствие, а Майор Мартынов, Корнет Глебов и князь

Васильчиков мною арестованы.[598]

Пятигорск, 30 июля. [1841 г.]

Виноват я пред тобой, любезный Арсеньев, что так замедлил отвечать на твое письмо. Но это последнее время было у нас грустное и хлопотливое. Ты, вероятно, уже знаешь о дуэли Лермонтова с Мартыновым и что я был секундантом у первого. Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне как будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не в первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется п. к. м,[599] без кровопролития. С первого выстрела. Лермонтов упал и тут же скончался.

NB. Перевернув страницу я заметил, что она уже исписана; ленюсь переписывать и продолжаю, читай как умеешь.[600]

Мы состоим под арестом, и производится следствие (нас перевели[601]). Меня перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан мне необходим. Я живу здесь в Слободке скромно, вдвоем с Сталыпиным. Меня выпускают в ванны и на воды с часовым. В Кисловодске холодно, как и прошлого года. Кроме того, пусто, как в степи. Мы с Сталыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета… но, что старое вспоминать. Из нас уже двоих нет на белом свете. Жерве[602] умер от раны после двухмесячной мучительной болезни. А Лермонтов по крайней мере без страданий. Жаль его. Отчего люди, которые бы могли жить с пользой а м. б.[603] и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано м. т.[604] как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости.

Ничего не умею тебе сказать нового о водах и водяном обществе. Дом Верзилиных процветает по-прежнему. Эмилия все также и хороша и дурна; Надинька не выросла; Груша не помолодела.[605] Дома Ребровы[606] стоят на том же месте. В гостинице в окошках стекла вставлены. По вечерам играет музыка. Вот и все. Я ожидаю решения моей участи.

Напиши мне, где Долгорукий.[607] Не уехал ли он за границу. Кланяйся всем знакомым.

Скучно. Грустно.

Твой преданный Александр Васильчиков.

*[Письма А. И. Васильчикова к Юлию Константиновичу Арсеньеву.[608] «Вестник Знания», 1928, № 3, стр. 130–131]*

Командующему войсками на Кавказской Линии и в Черномории, г. генерал-адъютанту и кавалеру Граббе.

Пятигорского коменданта полковника Ильяшенкова

## *РАПОРТ*

По суду, произведенному в комиссии, учрежденной в гор. Пятигорске над подсудимыми: уволенным от службы из Гребенского казачьего полка майором Мартыновым, лейб-гвардии конного полка корнетом Глебовым и служащим в собственной Его Императорского Величества канцелярии титулярным советником князем Васильчиковым, открылось:

Сего года июля 15-го числа подсудимые эти и с ними Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, по полудни в шесть с половиною часов, из квартир своих отправились по дороге ведущей в Николаевскую колонию и, отъехав от города не более 4-х верст, остановились при подошве горы Машуки, между растущего кустарника, на поляне где привязав за деревья своих лошадей, и из них корнет Глебов и князь Васильчиков, размерили вдоль по дороге барьер расстоянием на 15 шагов, поставив на концах оного свои фуражки, и отмерили еще от оных в обе стороны по 10-ти шагов, потом, зарядив пару пистолетов, отдали ссорившимся майору Мартынову и поручику Лермонтову; сии, пришед на назначенные места, остановились и потом, по сделанному знаку корнетом Глебовым приблизясь к барьеру, майор Мартынов выстрелом своим ранил поручика Лермант[ов]а, который в то же время от этой раны и помер, не успев даже произвести и выстрела по Мартынове.

Ссора у майора Мартынова с поручиком Лермонтовым, как из дела видно, произошла последний раз 13-го числа того месяца по выходе из дома генерал-майорши Верзилиной, которую хотя в оном никто из бывших в то время у ней гостей и не заметил, но это подтверждается собственным сознанием Мартынова и объяснениями князя Васильчикова и корнета Глебова, ибо Мартынов им неоднократно говорил, что поручик Лермонтов делал и напред сего беспрерывные над ним насмешки и говорил разные колкости, а в последний раз Лермонтов решился сказать Мартынову, что он не вправе заставить его молчать, присовокупил к тому: «ты вместо угроз гораздо бы лучше сделал, если действовал; ты знаешь, что я от дуэлей никогда не отказываюсь». Почему и назначено было время для дуэли и к оной были приглашены секундантами со стороны Мартынова корнет Глебов, а Лермонтова — князь Васильчиков.

Секунданты хотя и употребляли все меры к примирению ссорящихся, но никак успеть в том не могли, а не дали они об

этом знать местному начальству потому, что дали ссорящимся слово никому о том не говорить. Спрошенные под присягою крепостные люди: поручика Лермонтова Илья и Ермолай Козловы, Иван Смирнов, майора Мартынова — Иван Вертюков и Иван Соколов,[609] показали, что в этот день, когда у господ их назначена была дуэль, они ничего не знали, куда и зачем поехали тоже не знают, а узнали об этом тогда, когда корнет Глебов приехал с места происшествия в квартиру и приказал из них Илье Козлову и Ивану Вертюкову ехать за телом Лермонтова, кои отправились туда и привезли оное в квартиру во все же время соседственного квартирования их, они, Мартынов и Лермонтов, жили дружелюбно и ссоры никогда никакой между ними не было, а Иван Смирнов и Ермолай Козлов находились в тот день безотлучно в квартире и о происшествии сем не знали до тех пор, пока не было привезено в квартиру тело убитого Лермонтова; Иван же Соколов в это время находился в Железноводске.

За неимением о подсудимых майоре Мартынове и корнете Глебове формулярных списков, ни о летах, равно и службе, видеть ничего нельзя, ибо таковые требуются комиссиею, отколь следует и по получении будут мною доставлены вслед за делом.

Титулярный советник князь Васильчиков от роду имеет 22 года, в службе с 1839 года, из российских князей, в походах и штурмах не бывал.

Военный суд дело это производивший, согласно свода военно-уголовных постановлений части 5-й, книги 1-й, статьями 392, 393 и 398, подсудимых майора Мартынова, корнета Глебова и титулярного советника князя Васильчикова приговорил к лишению чинов и прав состояния.

Я также соглашаюсь с приговором коммиссии военного [суда] во всей его силе и потому судное о них дело, обще с пистолетами, имею честь представить на рассмотрение вашего превосходительства, докладывая при том, что издержанные презусом, ассесорами и аудитором прогонные и суточные деньги, всего 154 рубли 72 1/2 копейки ассигнациями, взыскать с подсудимых. № 1260. Октября 10-го дня 1841 года. Г. Пятигорск.

Полковник Ильяшенков.

В должности адъютанта поручик Турдаковский.

*[Ракович. Приложения, стр. 34–35]*

Когда Мартынова перевели на гауптвахту, которая была тогда у бульвара, то ему позволено было выходить вечером в сопровождении солдата подышать чистым воздухом, и вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно Мартынова. Это было уже осенью; его белая черкеска, черный бархатный бешмет с

малиновой подкладкой произвели на нас неприятное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя положительно не могла преодолеть своего страха (ей тогда было всего 16 лет). Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним арестом, а потом и совсем всех троих освободили; тогда они бывали у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. Старательно мы все избегали произнести имя Лермонтова, чтобы не возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном событии.

*[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889, т. II, стр. 319–320]*

Между нами будь сказано (entre nous soit dit) я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят; в сущности он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество карандашей или перьев и напишет несколько строк. Ну, разве это поэт… Да и сам он писанное бросал или отдавал другим, но этим не дорожили…

*[Неизвестный сановник в передаче П. А. Висковатого. «Русская Старина», 1885 г., т. XV, стр. 476]*

2 августа 1841 г. Село Воробьево

31-го было рождение матери Мартыновой. Нашел ее в большом горе. Сын ее Николай застрелил мерзавца Лермонтова на дуэли. Как мне жаль бедной бабки его [Арсеньевой]. Всю жизнь ему посвятила и испила от него всю чашу горестей до дна. Жалко и Мартынова. Николай давно в отставке и жил там по-пустому. Теперь сидит в остроге. Лермонтов в последнем письме к Мартынову писал сюда, что он кидал вверх гривенник, загадывал, куда ему ехать. Он упал решетом. Сие означало в Пятигорск, и от того там погиб. Пишет: «Хочу ехать к истинному моему другу, который более двадцати наших русских зарезал и теперь смирный!» Довольно этого, чтобы знать каков был. Он был трус. Хотел и тут отделаться, как с Барантом прежде, сказал, что у него руки не поднимаются, выстрелил вверх, и тогда они с Барантом поцеловались и напились шампанским. Сделал то же и с Мартыновым, но этот несмотря на то убил его.

*[Из письма А. А. Кикина к М. А. Бабиной.*[610] *«Русская Старина», 1896 г., кн. 2, стр. 316]*

Прибыв на Кавказ, в ожидании экспедиции, Лермонтов поехал на воды в Пятигорск. Там он встретился с одним из своих приятелей, который часто был жертвой его шуток. Он снова начал

свои проделки с ним, и в течение нескольких недель Мартынов был мишенью всех безумных выдумок поэта. Однажды увидев на Мартынове кинжал, а может и два, по черкесской моде, что вовсе не шло к кавалергардскому мундиру, Лермонтов, в присутствии дам, к нему подошел и, смеясь, закричал:

— Ах, как ты хорош, Мартынов! Ты похож на двух горцев!

Последствием этой шутки было то, что уже и без того полная чаша перелилась через край; последовал вызов и на другое утро два приятеля дрались на дуэли. Напрасно секунданты употребили возможные усилия к примирению, даже сам Лермонтов верить не хотел, что он будет драться с Мартыновым. Но судьба свое взяла.

— Возможно ли, — сказал он секундантам, когда они передавали ему заряженный пистолет, — чтобы я в него целил?

Целил ли он? Или не целил? Но только то известно, что раздалось два выстрела, и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова.

Таким образом окончил жизнь в 28 лет, и тою же смертью, поэт, который один мог облегчить утрату, понесенную нами смертью Пушкина. Странная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку.

*[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Ал. Дюма. «Le Caucaese. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», 1859, Leipzig, pp. 261–262]*

Он не имел ни начитанности Пушкина, ни резкого проницательного его ума, ни его глубокого взгляда, ни чувствительной, всеобъемлющей души его. Его характер не был еще совершенно сформирован, и беспрестанно увлеченный обществом молодых людей, он характером был моложе, чем следовало по летам. Он еще любил шумную, разгульную жизнь, волочиться за дамами, подраться на саблях, заставить об себе говорить, подтрунить, пошутить и жаждал более славы светской, остряка, чем славы поэта. Эта молодость убила его. Все приятели Лермонтова ожидали сего печального конца, ибо знали его страсть насмехаться и его готовность отвечать за свои насмешки. Невзирая на то, его смерть поразила всех, как неожиданная новость. И в какую минуту он был похищен! В то время, когда его талант начал созревать. Нет сомнения, что если б он прожил еще несколько лет и если б мог оставить службу и удалиться (как он хотел) в деревню, он близко бы достиг высоты Пушкина.

*[Н. М. Смирнов. Из памятных записок. «Русский Архив». 1882 г., кн. 2, стр. 240]*

Этот печальный исход был почти неизбежен при строптивом,

беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести (point d'honneur), которое удерживало его от всякого шага к примирению.

*[А. Васильчиков. «Русский Архив», 1872 г., кн. 1, стр. 213]*

Одаренный от природы блестящими способностями и редким умом, *Лермонтов* любил преимущественно проявлять свой ум, свою находчивость, в насмешках над окружающею его средою и колкими, часто очень меткими остротами, оскорблял иногда людей, достойных полного внимания и уважения.

С таким характером, с такими наклонностями, с такой разнузданностью он вступил в жизнь и, понятно, тотчас же нашел себе множество врагов.

Он, не думая, что говорит о себе, очень верно определил свой характер в следующих двух стихах:

> А он, мятежный, ищет бури,
> Как будто в буре есть покой!

В характере Лермонтова была еще черта далеко не привлекательная — он был *завистлив*.[611] Будучи очень некрасив собой, крайне неловок и злоязычен, он, войдя в возраст юношеский, когда страсти начинают разыгрываться, не мог нравиться женщинам, а между тем был страшно влюбчив. Невнимание к нему прелестного пола раздражало и оскорбляло его беспредельное самолюбие, что служило поводом, с его стороны, к беспощадному бичеванию женщин.

Как поэт Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек он был мелочен и несносен.

Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них были причиною смерти гениального поэта от выстрела, сделанного рукою человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довел, своими насмешками и даже клеветами, почти до сумасшествия.

*[И. А. Арсеньев. «Исторический Вестник», 1887 г., кн. 2, стр. 353–354]*

Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и с своими он не был сообщителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, — и отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен.

— Странно, — говорил мне один из его товарищей, — в сущности он был, если хотите, добрый малый: покутить, повеселиться, — во всем этом он не отставал от товарищей; но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва, — без этого он не мог быть покоен, и, выбрав ее, он уж беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его…

…Странные и забавные отзывы слышатся до сих пор о Лермонтове. «Что касается его таланта, — рассуждают так, — об этом и говорить нечего, но он был пустой человек и притом не доброго сердца».

И вслед затем приводятся, обыкновенно, доказательства этого — различные анекдоты о нем во время пребывания его в юнкерской школе и Гусарском полку.

Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе?

Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: его миросозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина, — в этом почти все согласны. Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нем громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбужденных им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы… Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть не дюжинным человеком, да еще с злым сердцем? С первого раза это кажется странным.

Но это большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелко плавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления и по этим внешним явлениям и поступкам произносят о человеке решительные и окончательные приговоры.

Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние — это тупые мудрецы, важничающие своею дельностью и рассудочностью и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение (это очень понятно) казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей, равных себе по уму и по мысли вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого, он был весь глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре.

Конечно, отчасти предрассудки среды, в которой Лермонтов взрос и воспитывался, отчасти увлечения молодости и истекавшее отсюда его желание эффектно драпироваться в байроновский плащ, неприятно действовали на многих, действительно серьезных людей, и придавали иногда Лермонтову неприятный неестественный колорит. Но можно ли строго судить за это Лермонтова?.. Он умер еще так молод. Смерть вдруг прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась страшная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твердые и прочные убеждения.

*[Панаев, стр. 216, 222–224]*

Вот тебе несколько новостей: Лермонтов убит наповал, на дуэли. Оно и хорошо: был человек беспокойный, и писал, хоть хорошо, но безнравственно, что ясно доказано Шевыревым и Бурачком. Взамен этой потери Булгарин все молодеет и здоровеет, а Межевич подает надежду превзойти его и в таланте и в добре.

*[Из письма Белинского к Н. Х. Кетчеру от 3 августа 1841 г. Переписка, под ред. Ляцкого, т. II, стр. 256]*

Стихотворение Лермонтова «Договор» — чудо, как хорошо, и ты прав, говоря, что это глубочайшее стихотворение, до понимания которого не всякий дойдет, но не такова ли же и большая часть стихотворений Лермонтова? Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком, — во всем этом он уступит даже Майкову (в его антологических стихотворениях), но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет — *с небом гордая вражда* — все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме, «Боярину Орше», и т. п. (не говоря уже о «Демоне»): это не «Руслан и Людмила», тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и шалостей амура, нет, это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие уста, это — «с небом гордая вражда», это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это *детски*, но страшно сильно и *взмашисто*. Львиная натура! Страшный и могучий дух! Знаешь ли с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил переписывать его «Демона», с двух списков, с большими

разницами, — и еще более вник в это детское, незрелое и колоссальное создание.

*[Из письма Белинского к В. П. Боткину от 17 марта 1842 г. Переписка, под ред. Ляцкого, т. II, стр. 284]*

Я вам пишу, дорогой друг, под горьким впечатлением известия, которое я только что получил. Лермонтов убит на дуэли, на Кавказе, Мартыновым. Подробности тяжелы. Он выстрелил в воздух, а его противник убил его почти в упор. Эта смерть, вслед за гибелью Пушкина, Грибоедова и многих других, наводит на самые грустные размышления. Смерть Пушкина вызвала к известности Лермонтова, до тех пор неизвестного, и Лермонтов в большей части того, что он создавал, был отзвуком Пушкина, только отзвуком в новом и лучшем роде.

С ним погибло больше, чем надежды. Своим романом «Герой нашего времени» он принял на себя долг очистительного покаяния, которого никто за него выполнить не может. Ему самому надлежало оправдаться. И вот впечатление, которое он оставил во многих, было впечатлением греха и порока. Его творчество не было завершено. Очень немногие поняли, что его роман был знаком переходного времени, и, куда пойдет Лермонтов, для этих людей было вопросом, полным глубокого интереса.

Что до меня лично, я чувствую большую пустоту. Я мало знал Лермонтова, но он, по-видимому, чувствовал дружеское расположение ко мне. Он был одним из тех людей, которых мне доставляло радость встречать, обегая глазами общество, меня окружающее. В некоторых вопросах он сочувствовал всем моим мыслям, моим работам. Меня радовало его одобрение. Это было одним из сильнейших интересов в моей жизни. В его последний приезд в Москву я много с ним виделся. Я никогда не забуду нашей последней встречи, одного получаса перед его отъездом. Произнося слова прощания, он оставил мне одно стихотворение — последнее свое произведение. Все это встает в моей памяти с невероятной яркостью. Он сидел на том самом месте, где я вам пишу. Он говорил мне о своем будущем, о своих литературных проектах, и между прочим бросил несколько слов о своем близком конце, к которым я отнесся, как к обычной шутке. Я был последним, кто пожал ему руку в Москве.

Будут опубликовывать теперь его посмертные произведения. Мы снова встретим его имя там, где мы любили его отыскивать, у нас будет еще несколько его вдохновений, всегда искренних, но как печальны эти последние всплески поэзии, какую боль испытываешь от этого нового, когда вспоминаешь, что источник

уже иссяк.

*[Перевод из французского письма Ю. Ф. Самарина к И. С. Гагарину от 3 авг. 1841 г. Соч., т. XII, стр. 54–57]*

Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до смерти.

*[Перевод из французского письма П. Х. Граббе к полк. Траскину в передаче Висковатого, стр. 444]*

Уже я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да вынувши часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься.

*[А. П. Ермолов в передаче М. П. Погодина. «Русский Вестник», 1864 г., т. 8, стр. 223]*

Ранней весной 1842 г. [Куликовский] посетил могилу Лермонтова, на ней лежал простой, узкий, продолговатый камень, с надписью: *Поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Юрьевич Лермонтов, родился и умер тогда-то.* Камень этот, по вырытии праха поэта,[612] лежал рядом с могилой, которая оставалась незакопанною. Вдруг пронесся слух, что кто-то хотел похитить этот камень, и благодетельное начальство приказало зарыть его в могилу. «Через несколько дней по увозе тела Лермонтова из Пятигорска, в одну из родительских суббот, я сам видел, — говорил упомянутый выше офицер, — камень был сброшен уже в могилу и стоял в ней торчком, где его после и зарыли. Теперь нет никакого следа могилы, немногие старожилы узнают это место, по углублению в земле, но я уже указать вам не могу».

*[Мартьянов. «Всемирный труд», 1870 г., № 10, стр. 603]*

Летом, во время Красносельских маневров, приехал из лагеря к Карамзиным флигель-адъютант полковник конногвардейского полка Лужин (впоследствии московский оберполицеймейстер). Он нам привез только что полученное в главной квартире известие о смерти Лермонтова. По его словам, государь сказал: «собаке — собачья смерть».

*[П. П. Вяземский. Примечания переводчика к письмам Омэр де Гелль. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 142]*

Его Императорское Величество в присутствии Своем в Петергофе

Августа 12 дня 1841 г. соизволил отдать следующий приказ.

По пехоте

Умерший Тенгинского пехотного полка Поручик Лермантов, исключается из списков.

Подписал: Военный Министр Генерал-Адъютант Князь Чернышев.[613]

## *СПРАВКА*

Отставной майор Мартынов, за дуэль с поручиком Лермонтовым, был предан военному суду, по Высочайше конфирмованной сентенции которого он приговорен к трехмесячному аресту и потом к церковному покаянию. Военный арест повелено выдержать ему на Киевской крепостной гауптвахте, где он и содержится с 26 Января сего [1842] года; а срок церковного покаяния для него предоставлено назначить Киевской Духовной Консистории, которая, постановлением своим, утвержденным, за отсутствием высокопреосвященного Филарета, архиереем Иеремием, определила ему Мартынову, для церковного покаяния 15-летний срок. Покорнейшая просьба состоит в исходатайствовании смягчения приговора Киевской Духовной Консистории, с дозволением ему, Мартынову, во время церковного покаяния, иметь жительство, где домашние обстоятельства его того потребуют.

*[Из бумаг Н. С. Мартынова. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 605]*

## notes

# Примечания

# 1

Печатаем с сохранением особенностей орфографии подлинника, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.

Биография его помещена в московском духовном журнале «Душеполезное Чтение», 1868 г., т. VI.

# 3

Тарханы — имение бабушки Лермонтова Е. А… Арсеньевой в Чембарском уезде Пензенской губ.

# 4

Отец поэта Юрий Петрович Лермонтов родился в 1787 году. По окончании курса в нервом Кадетском корпусе он поступил на службу в Кексгольмский пехотный полк, а оттуда перешел в свой родной корпус; в 1811 г. в чине капитана он вышел в отставку по болезни и поселился с сестрами в своем родовом имении Кропотово, Ефремовского уезда Тульской губернии. Здесь-то и произошло знакомство с будущей женой Марьей Михайловной Арсеньевой, соседкой по имению.

## 5

В 1881 г. Н. Рыбкин описал альбом М. М. Лермонтовой, хранившийся тогда у полковника А. П. Шан-Гирея. Ныне остатки этого альбома (из 45 листов уцелело лишь 9) хранятся в Пушкинском доме и выставлены в одной из Лермонтовских витрин.

# 6

Е. А… Арсеньева, урожденная Столыпина, родилась в 1760 году. Отец ее, Алексей Емельянович Столыпин, собутыльник гр. Алексея Орлова, упрочил свое состояние при Екатерине II винными откупами. Елизавета Алексеевна вышла за Арсеньева уже в преклонном возрасте, будучи на восемь лет старше своего мужа. Брак был несчастливый. Арсеньев отравился 2 января 1810 года, когда дочери его, Марии Михайловне, было уже 15 лет (она родилась в 1795 г.). Елизавета Алексеевна пережила отца, нескольких братьев, мужа, дочь и внука. По словам Висковатого, она «выплакала свои старые очи», когда Лермонтов был убит. Арсеньева умерла в 1845 году 85-летней старухой.

# 7

Юрий Петрович.

## 8

Сперанский был в давней дружбе со Столыпиным, и отзыв его, несомненно, несколько пристрастен. Об отношениях Сперанского к Столыпиным см. Висковатый, стр. 6–7.

# 9

Саша Арбенин — одно из излюбленных имен типично лермонтовского героя повестей и пьес, носящих, в большей или меньшей степени, автобиографический характер.

# 10

Этот отрывок представляет некоторый автобиографический интерес. В раннем детстве, подобно Саше Арбенину, Лермонтов перенес какую-то тяжелую болезнь, которая надолго приковала его к постели и оставила следы на всю жизнь; этой болезни Лермонтов был обязан некоторой кривизной ног; кроме того, он всегда был предрасположен к различным заболеваниям на золотушной почве. Время написания этого отрывка определить невозможно. Висковатый думает, что здесь мы имеем дело с обработкою сюжета драмы «Два брата» или романа «Княгиня Лиговская», — в таком случае повесть могла быть начата в 1837 или 1838 году.

# 11

Эта запись сделана Лермонтовым уже в пансионе, в то время, когда он работал над трагедией «Испанцы». Ср. Акад. изд., т. III, стр. 18–19.

# 12

Сельцо Кропотово.

## 13

По одним сведениям три, но другим два года подряд.

## 14

Это стихотворение написано Лермонтовым в 1830 году, в последние месяцы пребывания в Пансионе.

## 15

Н. Рыбкин был в Тарханах в конце 70-х годов, тем не менее он предполагает, что со времени детства поэта в доме не было коренных переделок.

# 16

По свидетельству Рыбкина, детская Лермонтова находилась на антресолях. Интересно, что в предыдущем стихотворении «Первая любовь» Лермонтов упоминает «стены желтые», тогда как Рыбкин застал еще желтую мебель, которая могла быть обита под тон всей комнаты.

## 17

По словам Висковатого, Капэ, бывший офицер наполеоновской гвардии, немало способствовал своими рассказами «развитию в мальчике любви к боевой жизни и военным подвигам». (Висковатый, стр. 29).

# 18

Очевидно, Пожогин-Отрашкевич запамятовал: кроме него никто о французе Жако не упоминает. Был француз Жандро, взятый Арсеньевой уже в Москве, после смерти Капэ.

# 19

Письмо писано вскоре по переезде в Москву, когда Лермонтов готовился в Благородный пансион.

# 20

Еким (Аким) и Катюша — дети Марии Акимовны Шан-Гирей. Через год Аким был взят Арсеньевой в Москву.

# 21

«Невидимка» — опера «Князь Невидимка» (в шести действиях, слова Лофанова, музыка Кавоса, на петербургской сцене впервые поставлена 5 мая 1805 года) или «Мнимая Невидимка» (слова А. Шеллера, впервые поставлена в 1813 году).

## 22

Братцы — Аким, Алексей и Николай Шан-Гирей, сверстники поэта.

# 23

Не дошедшая до нас «Индианка», как свидетельствует П. А. Висковатый, была писана, но, кажется не закончена, после, — по прочтении романа Шатобриана «Атала», который Лермонтов думал драматизировать, а потом написал поэму (Висковатый, стр. 46).

## 24

Журнал «Утренняя заря» издавался в Благородном пансионе, и в нем, по-видимому, была помещена «Индианка».

# 25

Лермонтов был принят сразу в четвертый класс.

# 26

Марья Акимовна Шан-Гирей, урожденная Хастатова, дочь Екатерины Алексеевны, родной сестры Елизаветы Алексеевны Арсеньевен, бабушки поэта.

# 27

Александр Степанович Солоницкий — преподаватель Благородного пансиона.

# 28

Дмитрий Никитич Дубенской — преподаватель Благородного пансиона.

# 29

Михаил Григорьевич Павлов — инспектор Благородного пансиона.

# 30

Я себя чувствую как всегда… Хорошо!

# 31

Болезни тела происходят от недомогания души (духа).

## 32

«Дяденька» — муж Марии Акимовны — П. Шан-Гирей. Апалиха — имение Шан-Гиреев в Чембарском уезде Пензенской губ., по соседству с Тарханами.

4 — означает высшую степень, а 0 — низшую.

# 34

Переводная драма «Le joueur» или мелодрама Зорова «Тридцать лет, или Жизнь игрока».

## 35

Жандро — гувернер Лермонтова, о нем см. выше.

# 36

Дети Марии Акимовны Шан-Гирей, за исключением одной из Катюш, — дочери Анны Акимовны (Петровой), впоследствии Екатерины Павловны Веселовской.

Арсеньева с Лермонтовым и Акимом Шан-Гирей жила на Малой Молчановке в доме Чернова.

## 38

Александра Михайловна Верещагина (впоследствии баронесса Гюгель, жена вюртембергского дипломата) — кузина и приятельница Лермонтова.

## 39

А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях протестует: «Мишель не был косолап, и глаза его были вовсе не красные, а скорее прекрасные» («Русское Обозрение», 1890 г., кн. 8, стр. 729).

*Возвращайтесь же скорее,*
*Вы получите конфекты.*

## 41

П. А. Висковатый предполагает, что эта запись, сделанная уже в пансионе, относится ко второй любви двенадцатилетнего Лермонтова, когда он гостил в Ефремовской деревне отца (Висковатый, стр. 91–96)

## 42

Вероятнее всего в самом начале 1830 года, так как «Северные Цветы», в которых был помещен «Зимний вечер» Пушкина, вышли в 20-х числах декабря 1829 года.

## 43

Сабуров — друг детства и юности Лермонтова, доставивший ему немало разных огорчений. О Сабурове подробнее см. Висковатый, стр. 50–51.

# 44

«В уме своем я создал мир иной» (см. Акад. изд., т. I, стр. 57–58, 1829 г.).

# 45

Раич Семен Егорович (1792–1855) — литератор и педагог. Учитель Лермонтова по Благородному пансиону; основатель Общества молодых любителей литературы; издатель альманаха «Новые Аониды» (1823), «Северная Лира» (1827) и журнала «Галатея»; стихотворец и переводчик «Освобожденного Иерусалима», «Неистового Орланда», «Георгик» Виргилия и т. д.

## 46

Эта запись, сделанная около стихотворения «К N.N.» («Ты не хотел! Но скоро волю рока»), обращенного к Сабурову, относится также к 1829 г. В этом стихотворении есть такие заключительные строки:

*Я оттолкну униженную руку,*
*Я вспомню дружбу нашу, как во сне;*
*Никто со мной делить не будет скуку, —*
*Таких друзей не надо больше мне.*
*Ты хладен был, когда я зрел несчастье*
*Или удар печальной клеветы;*
*Но придет час, и будешь в горе ты,*
*И не пробудится в душе моей участье!*
*[Лермонтов. Акад. изд., т. I, стр. 62]*

# 47

Печатается с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском доме. Впервые было опубликовано П. А. Висковатым в «Приложениях» к биографии Лермонтова.

# 48

Средниково, или Середниково, — подмосковное имение брата Е. А. Арсеньевой, — Дмитрия Алексеевича Столыпина — замечательно умного и образованного человека. Середниково лежит в 20 верстах от Москвы, по дороге в Ильинское, в прекрасной местности, и принадлежало тогда уже вдове Дмитрия Алексеевича — Екатерине Апраксеевне Столыпиной.

То же самое вспоминает и М. Меликов в своих «Заметках и воспоминаниях художника-живописца» («Русская Старина», 1896 г., кн. 6, стр. 644): «Помню характерную черту Лермонтова: он был ужасно прожорлив и ел всё, что подавалось. Это вызывало насмешки и шутки окружающих, особенно барышень, к которым Лермонтов вообще был неравнодушен. Однажды нарочно испекли ему пирог с опилками; он, не разбирая, начал его есть, а потом страшно рассердился на эту злую шутку».

# 50

В Академическом издании (т. I, стр. 138) это стихотворение напечатано со значительными разночтениями в последней законченной редакции. Так напр., в последней редакции устранено несоответствие стиха 2-го «твой волшебный взор» и 15-го «блеском Ваших чудных глаз» (читается: «этих чудных глаз»). Автограф впервые воспроизведен в записках Сушковой, изд. «Academia», между стр. 112–113.

# 51

В Академическом издании (т. I, стр. 149) это стихотворение напечатано с иной пунктуацией и очень незначительными разночтениями. Стих 16-й читается так: «О пусть холодность мне твой взор покажет». Автограф неизвестен.

## 52

В Академическом издании (т. I, стр. 167) этот стих читается: «Обмануты навек тобою». Других разночтений нет. Судя по тексту «Записок» Сушковой, это стихотворение было написано 17 августа 1830 года.

# 53

«Фее — длинный нос, Фее — короткий нос». П. А. Висковатый (стр. 128) говорит, что он в 80-х годах отыскал в Москве г. Фея — товарища Лермонтова, но он «мог сообщить немного».

# 54

Строфы эти, впервые опубликованные в «Одесском альманахе на 1840 г.», сохранились в ранней своей редакции в альбоме А. М. Верещагиной, через которую, вероятно, и стали известны Е. А. Сушковой. В прежних изданиях ее записок воспроизводилась лишь первая строка «Ангела», весь текст которого по авторизованной копии Пушкинского дома (тетрадь XV, стр. 3) был дан Ю. Г. Оксманом в последнем издании записок Сушковой (изд. Academia), которым мы и пользуемся для нашей работы. Следует отметить, что сама Сушкова указывала на своеобразие ей принадлежащей редакции этих стихов: «Последняя строфа начинается иначе, нежели в печатном, а именно: „С тех пор, неизвестным желаньем полна, страдала, томилась она“» («Русский Вестник», 1857 г., т. XI, стр. 401–402).

## 55

В подлиннике: «s'occupait de tourner la tête à une cousine à moi» — «свернуть голову» в смысле «вскружить». Кузина — Е. А. Сушкова.

# 56

Е. П. Ростопчина, урожд. Сушкова (1811–1858) — известная русская поэтесса. Два тома ее сочинений уже после смерти переизданы вторым изданием С. Сушковым в 1890 году (СПб.), а биография написана Е. Некрасовой («Вестник Европы», 1885 г., кн. 3, а также дополнения: «Русск. Архив», 1885 г., кн. 3; «Исторический Вестник», 1885 г., стр. 495–496 и «Вестник Европы» 1888 г., кн. 5).

# 57

Полный перевод письма Ростопчиной к А. Дюма впервые был напечатан в «Русской Старине», 1882 г., кн. 9, стр. 610–620, а затем был воспроизведен в дополнениях к «Запискам» Сушковой, изд. «Academia», 1928, стр. 343–354.

В юношеской драме «Menschen und Leidenschaften», носящей несомненно автобиографический характер, герой — Юрий, между прочим, говорит: «У моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадает» (Акад. изд., т. III, стр. 97–98.) Мы не приводим большого количества подобных сопоставлений потому, что сам Висковатый в значительной степени излагает всю историю отношений между бабушкой и отцом, пользуясь автобиографическими драмами: «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек». Конечно, реконструировать действительность по художественным произведениям — очень сомнительный метод в тех случаях, когда у нас нет иных исторических свидетельств, подтверждающих поэтические показания, но тем не менее нам, к сожалению, приходится пользоваться висковатовской реконструкцией, так как никаких других материалов в нашем распоряжении больше не было, а загромождать книгу отрывками из драм, понятными только в общем контексте, не казалось удобным.

Юрий Петрович умер в 1832 году (см. Ревизскую сказку за 1834 г. в делах Исторического музея. Инв. № 26275). Лермонтов в это время еще был в Москве, последние месяцы в Московском университете (о пребывании его в университете см. следующие страницы).

# 60

Кропотово (Тульской губ., Ефремовского уезда) было приобретено дедом поэта, Петром Юриевичем, в обмен на село Измайлово, Костромской губернии, считавшееся с незапамятных времен лермонтовским родовым. В Кропотове постоянно жили отец и родные тетки поэта.

# 61

Приводимая ниже «Эпитафия» помещена проф. Д. И. Абрамовичем в академическом издании Лермонтова под 1830 годом (т. I, стр. 108). В примечаниях (стр. 375) Д. И. Абрамович говорит: «Стихотворение вызвано смертью отца». Вместе с тем тот же Д. И. Абрамович в «Хронологической канве для биографии М. Ю. Лермонтова» (т. V, стр. 10) под 1832 годом указывает: «Умер Юрий Петрович Лермонтов, отец поэта». Таким образом, возникает вопрос о правильности датировки. Очевидно, «Эпитафия» написана позднее, а не за два года до смерти отца и только находится в тетрадях 30 года. Возможно также, что «Эпитафия» никакого отношения к отцу не имеет; но как тогда понять стих 5-й? В нашу задачу не входит окончательное разрешение этого вопроса.

Гончаров, бывший в университете одновременно с Лермонтовым, несомненно идеализирует Московский университет; это объясняется, может быть, тем, что он вспоминает главным образом последние годы своего пребывания. По указанию других современников преподавание шло вообще плохо (см. ниже свидетельства Герцена и Костенецкого). Возрождение Московского университета началось только со второй половины 30-х годов.

# 63

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском доме. Это прошение впервые было опубликовано П. А. Висковатым в «Приложениях» к биографии Лермонтова.

И. А. Гончаров вместе с братом своим поступал в Московский университет через год после Лермонтова — в 1831 году в августе, но условия экзамена в общем за это время не изменились. Впоследствии Гончаров учился с Лермонтовым на одном курсе, так как «1830 год был холерный, и лекций не было. Бывшим уже в университете студентам не зачли этого года» [И. А. Гончаров, там же, стр. 10.].

П. Ф.Вистенгоф — однокурсник Лермонтова.

# 66

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском доме. Впервые было опубликовано П. А. Висковатым в «Приложениях» к биографии Лермонтова.

## 67

Ошибка: Лермонтов поступил в университет в 1830 году.

«Демон» начат еще в Пансионе.

# 69

Сожжения.

## 70

Генерал-лейтенант Николай Алексеевич Столыпин погиб не «вместе с Грибоедовым», а в дни холерного бунта в Севастополе 31 мая — 3 июня 1830 года (см. «Русь», 1880 г., № 3: «Русский Архив», 1867 г., стр. 1375–1384).

# 71

Тетка Е. К. Сушковой.

## 72

Известное четверостишие Пушкина, печатающееся с 1826 года во всех изданиях его сочинений.

# 73

Строки из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина.

## 74

«Вы — Жан, вы — Жак, вы — рыжий, вы — глупый — и все же вы не Жан Жак Руссо» — старинный французский каламбур, построенный на непереводимой игре созвучных слов: «roux, sot» и «Rousseau».

Подладчикова (см. «Исторический Вестник», 1898 г., март, стр. 910–911).

До сих пор эпиграмма признается за лермонтовскую и печатается всюду по тексту записок Е. А. Сушковой.

## 77

Впервые напечатано по неизвестному нам автографу в «Отечественных Записках» (1843 г., кн. 12, стр. 318). Вариантов, сравнительно с текстом Е. А. Сушковой, нет.

# 78

Впервые опубликовано с заглавием «К Е. А.» в «Библиотеке для Чтения» (1844 г., № 6, стр. 129). В Акад. изд. (т. I, стр. 277) есть значительное разночтение: первый и третий стих переставлены один на место другого.

## 79

Пестель Александр Иванович, поручик кавалергардского полка, младший брат знаменитого декабриста.

# 80

Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения», 1844 г., № 5, стр. 7–8. В тексте как этом, так и позднейших записок явный пропуск 17-го стиха, который был восстановлен Ю. Г. Оксманом по сохранившемуся автографу. В этом автографе произведение озаглавлено: «Стансы», разбито на три строфы и имеет дату «26 августа 1830 года».

# 81

Впервые напечатано Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике» 1857 года, т. XI, стр. 405. Других текстов этого произведения до нас не дошло.

# 82

Строки эти, впервые опубликованные Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике» (1857 г., т. XI, стр. 405–406), представляют собою очень неисправную редакцию известных с 1859 года стихов «К. Л. (подражание Байрону)». Очевидно, А. Верещагина сознательно мистифицировала Сушкову, прислав ей стихи, посвященные в действительности В. А. Лопухиной, и дав тем самым повод к позднейшим неосновательным обвинениям мемуаристки в том, что она иногда «относит к себе» не ей адресованные вещи (см., напр., замечание П. А. Висковатого в «Русском Вестнике», 1882 г., кн. 3, стр. 335).

# 83

Сестра Е. А. Сушковой — Е. А. Ладыженская в своих «Замечаниях» на «Воспоминания» Е. А. Хвостовой (ур. Сушковой) говорит: «М. Ю. Лермонтов никак не мог перелезть через забор и нарвать в саду Сушковых желтого шиповника по тем причинам, что при доме Сушковых никакого сада не было, а был пустырь без всяких кустов и дорожек, в одном углу которого стояла, кажется, баня, в другом же, противоположном, расстилалось не то божье дерево, не то заглохший куст смородины; да и шиповники, какого бы они цвета ни были, цветут весной, а не осенью» («Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 661).

# 84

Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике», 1857 г., т. XI, стр. 406. Других текстов этих строк неизвестно.

# 85

Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике», 1857 г., т. XI, стр. 407. Других текстов этого произведения до нас не дошло.

# 86

Е. А. Ладыженская в своих «Замечаниях» на «Записки» говорит: «Отец мой, приехавший погостить в Москву, провел в ней едва несколько дней и поспешил в обратный путь, взяв с собой свою старшую дочь, лишь только разнесся слух о холере, грянувшей на Белокаменную прямо из Саратова. Он поступал так не из страха эпидемии, но чтобы не подвергнуться карантинной скуке и неволе… Отъезд его, сколько мне помнится, по жарам и яркому солнцу, состоялся в августе или в самых первых числах сентября… Если же в этом случае память мне не изменяет… то я не понимаю, почему проворный и неистощимый импровизатор М. Ю. Лермонтов воскликнул: „Свершилось!“… только 1 октября.

Или… Но этого быть не может — стихотворение написано к другой, и отрок-поэт успел в столь короткое время найти новый предмет для своих похвал и вдохновений?» («Русский Вестник», 1872, кн. 2, стр. 650).

# 87

Опубликовано впервые Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения», 1844 г, № 6, стр. 129.

## 88

Неверно: Лермонтов поступил в университет в 1830 году, но Костенецкий не заметил его, так как учебный год был сведен на нет холерной эпидемией.

Эта книга ныне хранится в одной из лермонтовских витрин Пушкинского дома. Приводим дальше несколько эпиграмм.

# 90

Бухарина Вера Ивановна (1812–1902), дочь рязанского губернатора, впоследствии сенатора Ивана Яковлевича Бухарина, ученица Капниста (автора «Ябеды»), воспитанница Смольного монастыря — с 1830 г. жила в Москве, где и встречался с ней Лермонтов; знакома была также с Пушкиным, кн. Вяземским, посвятившим ей стихотворение «Вера и София», а позднее с Загоскиным, гр. Сологубом, Кукольником, гр. А. К. Толстым, Тютчевым, Хомяковым, многими учеными и артистами. Одна из образованнейших женщин эпохи 1830—50 гг., Бухарина в 1832 г. вышла замуж за Ник. Ник. Анненкова, впоследствии члена Госуд. Совета (ум. 1865 г.). Она оставила после себя очень интересные записки, которые еще не изданы (о ней см. «Нов. Время», 1902 г. № 9435; «Историч. Вестник», 1902 г., X; «Остафьевск. архив кн. Вяземских», т. III, 727–729).

# 91

Алябьева Александра Васильевна (1812–1891), известная московская красавица того времени, вышедшая замуж (в 1832 г.) за Алексея Николаевича Киреева (ум. 1849 г.); ее «блеск», «чудо красоты» и заветная любовь к «родной славянской стороне» воспеты Пушкиным («К вельможе») и Н. М. Языковым (см. «Остаф. арх. кн. Вяземск.», т. III, 677–678). Портрет Алябьевой в «Художеств. сокровищах России», 1907 г., № 6.

# 92

Мартынова Наталья Соломоновна, сестра убийцы поэта, очень нравилась Лермонтову, и сама была к нему неравнодушна; впоследствии вышла замуж за гр. Альфреда де-ла-Турдонне (А. Н. Нарцов. Матер. для истории тамб., пенз. и сарат. дворянства. Тамб., 1904 г.; «Русск. Обозр.», 1898, т. 1, стр. 315–316).

## 93

Додо Евдокия Петровна Сушкова, впоследствии графиня Ростопчина, известная поэтесса (1811–1858); ей посвящены также стихотворения «В теснине Кавказа» и «Я верю: под одной звездою». Воспоминания гр. Ростопчиной о Лермонтове, присланные Александру Дюма — в «Русск. Стар.» 1882 г., сент., и также в извлечениях в нашей книге; библиография уже была указана выше.

## 94

Башилов Александр Александрович (1808–1854) — известный московский весельчак, писавший стихи, сын московского сенатора, устроителя увеселительного вокзала в Петровском [М. Н. Лонгинов. «Заметки и воспомин.», СПб., 1873 г., стр. 13).

# 95

Выпускаем ссылки на ряд сцен из «Гамлета».

## 96

Эта запись относится к Варваре Александровне Лопухиной (1814–1851), к которой Лермонтов был глубоко привязан всю жизнь и которой посвящено множество лирических стихотворений. П. А. Висковатый не без основания видит в образе Веры («Княжна Мери») черты Вареньки Лопухиной, в 1835 году вышедшей замуж за Бахметева. Подробнее об от ношении Лермонтова к Лопухиной см. у Висковатого, стр. 148–155 и 271–293, а также ниже в нашей книге.

# 97

Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения», 1844 г., № 6, стр. 130. Обычно печатается ныне не по этому тексту, а по малоавторитетному списку в одной из лермонтовских тетрадей Пушкинского дома (тетр. XX, стр. 1).

# 98

Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения» 1844 г., № 6, стр. 132. В сохранившемся автографе стих 6-й: «Я всё забыть его не мог». Произведение это в 1832 г. переработано Лермонтовым в «Расстались мы, но твой портрет».

## 99

Впервые опубликовано в «Библиотеке для Чтения», 1844 г., № 5, стр. 6–7, в цикле стихов «Из альбома Е. А. Сушковой». Сохранившийся автограф стихотворений озаглавлен: «В альбом» и разделен на две строфы.

# 100

Почести изменяют нравы.

# 101

16 марта 1831 года.

Лермонтов в маловской истории участие принимал, но за нее не пострадал.

# 103

Университетское начальство.

# 104

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлинникам, хранящимся в собраниях Пушкинского дома. Оба прошения писаны чужою рукой. Почерк Лермонтова означен курсивом. Впервые было опубликовано Висковатым в «Приложениях» к биографии Лермонтова.

# 105

Как уже сказано выше, Лермонтов принимал участие в маловской истории, но за нее не пострадал и исключен не был. Это подтверждают и вышеприведенные прошения Лермонтова, в которых он сам просит исключить его из числа студентов Московского университета. Лермонтов переехал с бабушкой в Петербург не в конце года, но ранней осенью.

# 106

Письмо писано с дороги во время переезда из Москвы в Петербург.

# 107

Так называл Лермонтов Софью Александровну Бахметеву — воспитанницу бабушки, Елизаветы Алексеевны. По рассказам А. П. Шан-Гирея, Лермонтов называл С. А. «легкой, легкой, как пух!». Взяв пушинку в присутствии С. А., он дул на нее, говоря: «Это вы — ваше Атмосфераторство!» (Висковатый, стр. 270).

# 108

Александра Михайловна Верещагина, двоюродная сестра поэта.

# 109

Александра Михайловна Верещагина и Елизавета Александровна Лопухина, сестра Марьи Александровны и Алексея Александровича Лопухиных, впоследствии бывшая замужем за Ник. Ник. Трубецким.

# 110

См. примечание к следующему письму.

# 111

«Bande joyeuse» («Веселая шайка») — кличка, данная С. А. Бахметевой Лермонтову и его приятелям. Ср. в «Княгине Лиговской»: «Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были все молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам… Печорин с товарищами являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет, к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их „la bande joyeuse“».

## 112

Павел — Павел Александрович Евреинов — внук старшей сестры бабушки поэта.

## 113

Очевидно, речь идет о повести «Вадим», которая так и осталась неоконченной (см. Акад. изд., т. IV, стр. 1—96).

# 114

До нас не дошел целый ряд писем Лермонтова и к Лермонтову. Поиски Висковатого оказались безуспешными. «Нам пришлось убедиться, — пишет биограф, — что Марья Александровна [Лопухина] действительно сожгла их, — слух, которому сначала мы отказывались верить… Причиною сожжения были некоторые семейные тайны, а может быть, и просто вспышка неудовольствия на то, что часть писем попала в печать против воли Марьи Александровны» (Висковатый, стр. 213). Вот почему отдельные места лермонтовских писем остаются для нас не совсем ясными и почти не могут быть реально комментированы. Так и в данном случае — нам ничего неизвестно о предполагавшемся, но расстроившемся браке Марии Александровны Лопухиной.

# 115

Этот задранный кверху нос был годен только на то, чтобы вынюхивать жаворонков.

# 116

В Акад. издании как предыдущее, так и это стихотворение, но со значительными разночтениями, помещено в т. II, стр. 16–17, а примечания на стр. 447–448.

## 117

Наталья Алексеевна Столыпина (1786–1851), родная сестра бабушки поэта. Ее муж — Григорий Данилович Столыпин (однофамилец) — пензенский губернский предводитель дворянства.

# 118

Анна Григорьевна Столыпина, двоюродная сестра матери поэта; Лермонтов был ею увлечен еще в отрочестве (см. Висковатый, стр. 91–96). Может быть, она-то и была предметом второй любви двенадцатилетнего Лермонтова (см. часть первую). Анна Григорьевна вышла замуж за Алексея Илларионовича Философова, впоследствии генерал-адъютанта.

## 119

«Знаменитая голова» — рисунок углем, сделанный Лермонтовым на стене в доме Лопухиных. Об этом подробнее см. следующие два отрывка.

А. М. Верещагина (Сашенька).

# 121

Об этой картине, но иначе, рассказывает Бильдерлинг со слов сына Алексея Александровича Лопухина. Оба рассказа, при всем своем несходстве, в основе своей имеют несомненно какой-то достоверный случай.

# 122

Висковатый пишет: «В материалах Хохрякова находится обрывок письма А. А. Лопухина к Лермонтову от 25 февраля 1833 года, где говорится: „Очень, очень тебе благодарен за твою голову: она меня восхищает и между тем иногда грусть наводит, когда я в ипохондрии“». (Висковатый, стр.57).

# 123

Это письмо до нас не дошло.

## 124

Здесь, вероятно, начинается ответ на запрос М. Ю. Лермонтова о Вареньке Лопухиной.

# 125

По-французски это письмо было впервые опубликовано А. П. Шан-Гиреем в его воспоминаниях о Лермонтове («Русское Обозрение», 1890 г., кн. 8.).

Анна Григорьевна Столыпина — о ней было выше.

# 127

Алексей Александрович Лопухин.

# 128

В первых строках письма Лермонтов, объясняя причины своего поступления в Юнкерскую школу, говорит о том, что ему был разрешен переход в Петербургский университет только под условием сдачи нового вступительного экзамена на 1-й курс (см. начало этой части).

С. А. Бахметеву.

# 130

О Дашеньке Е. Сушкова пишет: «Я давно знала Дашеньку; она была двумя годами старше меня; я любила ее за ее доброту и наивность. Много ей, бывало, доставалось от нас; она уже раз была помолвлена за какого-то соседа по деревне и была с ним в переписке, а когда Катенька К., Додо [Е. П. Сушкова-Ростопчина] и я просили ее показать нам ее письма к жениху и научить нас, как пишутся такие письма, она очень откровенно призналась, что мать ее их сочиняет, а она только старается их без ошибок переписывать. Свадьба эта расстроилась, и теперь Дашенька была замужем за человеком почти втрое старше ее и очень гордилась многочисленными взрослыми племянниками и племянницами, дарованными ей неравным браком. Она требовала от них предупредительности, почтения, лобызания ручек, а они, и я с ними, без милосердия над нею подсмеивались» (Сушкова, стр. 120).

# 131

А. М. Верещагина (Сашенька).

Алексею Александровичу Лопухину.

# 133

Софья Александровна Бахметева.

## 134

С изменениями это стихотворение потом вошло в «Сашку» и «Памяти кн. А. И. Одоевского».

# 135

Печатаем в извлечении из «Приказов по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров» (из собраний Пушкинского дома).

# 136

В это помещение школа перешла из казарм лейб-гвардии Измайловского полка (на углу 1-й роты) 10 августа 1825 года. Для нового помещения был куплен дом у графа Чернышева.

## 137

Андрей Михайлович Миклашевский так же, как и Лермонтов, принадлежал к десятому выпуску школы (1834); приказом от 22 ноября 1834 г. он был выпущен в лейб-гвардии Егерский полк.

# 138

Генерал-майор, барон Константин Антонович Шлиппенбах был начальником школы с 1831 по 1843 год.

# 139

С 1831 по 1841.

# 140

С 1832 по 1840.

# 141

С 1813 по 1850.

# 142

Печатаем в извлечении из «Приказов по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров», без сохранения особенностей орфографии.

# 143

О глазах Печорина Лермонтов говорит: «Они не смеялись, когда он смеялся… Это признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душенного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый — оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно-спокоен» (Акад. изд., т. IV, стр. 189).

# 144

Не в 1831, а в 1832, осенью.

# 145

Лермонтов поступил в школу 10 ноября 1832 года.

# 146

В то время юнкера, находившиеся в школе, считались в полках и носили, каждый своего полка, мундир.

# 147

Александр Меринский был выпущен из школы в лейб-гвардии Уланский полк 31 августа 1835 года (одиннадцатый выпуск школы).

## 148

Речь, очевидно, идет о кн. Ник. Ник. Трубецком, который женился на Елене Александровне Лопухиной, сестре Марьи Александровны.

# 149

Молодежь должна перебеситься.

# 150

Холодные пироги, страсбургские пироги.

Вонлярлярский — о нем см. выше.

# 152

Граф Петр Павлович Тизенгаузен, юнкер Кавалергардского полка, выпущенный в 1834 году (22 ноября) корнетом в тот же полк; потом служил в других полках, будучи в 1837–1842 гг. на Кавказе, участвовал в сражениях с горцами.

# 153

Андрей Леонтьевич и Александр Леонтьевич Череповы, выпущенные вместе с Лермонтовым 22 ноября 1834 г. в л. — гв. Гусарский полк.

# 154

Василий Васильевич Энгельгардт (1814–1868), сын известного приятеля Пушкина, В. В. Энгельгардта, и жены его Ольги Михайловны, рожд. Кусовниковой; впоследствии был генерал-майором. Он был выпущен 16 сент. 1836 г. в л. — гв. Гусарский полк.

# 155

Автор рассказа — Василий Васильевич Боборыкин (дядя известного писателя и академика П. Д. Боборыкина) — род. 11 апреля 1817 г. в селе Павловке, Лебедянского уезда Тамб. губ.; учился сперва дома, имея швейцарца-гувернера и швейцарку же гувернантку, потом два года провел в Горном кадетском корпусе (1828–1830), который покинул по желанию отца; после его смерти, в 1832 году, поступил в один из московских пансионов, а затем в 1834 году перешел в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, будучи зачислен юнкером в л. — гв. Кирасирский его величества полк; здесь Боборыкин познакомился с Лермонтовым, который, однако, в ноябре того же 1834 года произведен был уже в офицеры и покинул школу. Боборыкин в сентябре 1836 года был выпущен в Кирасирский полк, но еще до производства в офицеры был замечен в компании со штаб-ротмистром своего полка И. А. Седморадским и лейб-гусаром гр. Ф. Д. Алопеусом в буйном поведении на улице после кутежа, был судим за это и 23 июля 1837 года переведен прапорщиком в 6-й Линейный батальон на Кавказ. Здесь он во второй раз встретился с Лермонтовым. Об этом см. дальше.

Впоследствии этот экспромт, с изменением первого стиха, был отнесен к кн. М. А. Щербатовой и, возможно, стал одной из причин дуэли между Лермонтовым и Барантом.

## 157

Варенька — Варвара Александровна Лопухина. О ней см. выше.

## 158

Под «Алехой» разумеется Алексей Степанович Стунеев, командир юнкерского эскадрона (с 1832 по 1840), гвардии ротмистр, впоследствии полковник. Юнкера его очень любили.

# 159

В Акад. Издании (II, 91) эти стихи читаются иначе:
Алехин глаз
Как можно реже
Тревожит нас.

# 160

В Акад. Издании (II, 91) этот стих читается: «прошу принять».

# 161

В Акад. Издании (II, 91) после этих стихов есть еще заключительное четырехстишие:

Я, Царь Всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем.

# 162

Повести «Вадим».

# 163

Здесь явная ошибка в пагинации: следует 289–290.

# 164

Печатается впервые с подлинника, хранящегося в собраниях Пушкинского дома с сохранением особенностей орфографии. «Портфёль» работы Е. А. Арсеньевой ныне находится в Пушкинском доме.

# 165

Печатаем в извлечении из текста «Высочайших приказов» в собраниях Пушкинского дома.

# 166

Печатаем в извлечении из текста «Приказов по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров».

# 167

Лермонтов был произведен в офицеры 22 ноября 1834 года.

# 168

О литературной истории самого типа «Mayeux» см. работу П. Н. Сакулина в «Известиях II отделения Акад. Наук», т. XV, кн. 2, стр. 71–72.

# 169

«Мунго», или, вернее, «Монго», — прозвище, навсегда утвердившееся за А. А. Столыпиным (р. 14 ноября 1816 г. — ум. 10 октября 1858 г.), было дано ему Лермонтовым, который выкроил эту кличку из заголовка французского романа «Похождения Монгопарка». По воспоминаниям М. Н. Лонгинова, прозвище «Монго» дано было Столыпину от клички принадлежавшей ему собаки, которая постоянно прибегала на плац, где происходило ученье, лаяла, хватала за хвост лошадь полкового командира Хомутова и иногда даже способствовала скорейшему окончанию учения («Русск. Стар.», 1873 г., кн. 7, стр. 382).

## 170

М. Г. Хомутов (род. в 1795 г. — ум. 14 июля 1864 г.) — впоследствии первый наказный атаман войска Донского из лиц не донского происхождения, у которого, будучи проездом в Новочеркасске, в 1840 году останавливался Лермонтов.

## 171

Опера «Фенелла», или «Немая из Портичи» (Muette de Portici), написана в 1828 году знаменитым французским композитором Обером (Daniel-Francois-Esprit Auber, 1782–1871), известным главным образом своими комическими операми. «Фенелла» упоминается в начале второй главы «Княгини Лиговской»: «Давали „Фенеллу“ (четвертое представление)».

# 172

Дмитрий Аркадьевич Столыпин, брат Алексея Аркадьевича (Монго). Их отец, Аркадий Алексеевич Столыпин (1777–1825), женатый на Мордвиновой, приходился родным братом Е. А. Арсеньевой.

# 173

Достоверность всех этих рассказов несколько сомнительна.

## 174

Андрей, камердинер Лермонтова, из тарханских крепостных крестьян. Кроме него в Царском Селе при Лермонтове находились: «повар, два кучера, несколько лошадей и экипажи». Арсеньева давала внуку на личные расходы не менее десяти тысяч в год (см. ниже письмо ее к Лермонтову).

# 175

Песня, что из груди, вырывается,
Есть награда, которая щедро награждает.

# 176

Алексей Александрович Лопухин (род. 29 сентября 1813 г. — ум. 9 дек. 1872 г.) ухаживал в то время за Сушковой (об этом см. Сушкова, стр. 145–168). Е. А. считала его уже своим женихом. А. А. — брат Марии, Варвары и Елизаветы Лопухиных и кузен А. М. Верещагиной. Он был камер-юнкер, служил в московской Синодальной конторе. Впоследствии женился на княжне Варваре Алекс. Оболенской. В 50-х годах служил в должности чиновника за прокурорским столом, а с начала 60-х годов был прокурором Синодальной конторы и и. д. управляющего синодальной типографией.

# 177

Сестра Е. А. Сушковой — Ладыженская. Она в своих «Замечаниях» на «Воспоминания» Сушковой по поводу этого места говорит следующее «Не „сестра Лиза“, а сама Лизина сестра отыскала байбака (как непочтительно называла будущего певца „Мцыри“ тетушка Пр. Вас. Сушкова). Старые знакомые очень обрадовались нежданной встрече, много танцевали и разговаривали между собою в этот вечер. Михаил Юрьевич тут же был представлен Беклешовым, которые благосклонно приняли юношу» («Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 650).

По поводу этого места воспоминаний Сушковой и ряда следующих Ладыженская замечает:

«Лермонтов стал к нам часто ездить запросто по вечерам. Легкий доступ в наш строго-разборчивый дом открылся ему не ради его значения, а по многим другим причинам: мы обе были знакомы с ним по Москве, он был сверстник и сотоварищ (по бывшему моск. Благ. унив. пансиону) наших двоюродных братьев Серг и Дм. Петровичей Сушковых, такой же неоперившийся юноша, как с десяток подрастающих или выросших мальчиков на глазах и на попечении Беклешовых. Притом был некоторый повод думать, что в эту зиму приедет в Петербург родственник юного гусара, богатый молодой человек, постоянно живший в Москве и остававшийся, как предполагалось, неравнодушным к Екатерине Александровне.

В такие вечера, с работой в руках, сидели мы или втроем с Лермонтовым, или в обществе других молодых людей у одного стола, у одной лампы, в той же большой гостиной, где тетенька играла в вист. В другой, более уютной маленькой гостиной, где мы сиживали с братьями или с более давними знакомыми, служившими по большей части в комитете для принятия прошений, где дядя Беклешов был директором, я Мих[аила] Юр[ьевича] не помню. На званых и на положенных вечерах наших знакомых, немедленно сделавшихся и знакомыми Лермонтова, он постоянно танцевал с сестрой мазурку. Такая милость, оказываемая Ек. Ал. незначащему, только что выпущенному офицерику, наверное, не была бы обойдена без замечаний со стороны тетеньки, если б он не казался всем нам звеном соединения между сестрой и ожидаемым приезжим.

После одной из таких мазурок, кажется на святках, я еще теперь вижу тот уголок у камина в зале тогдашнего генерал-губернатора графа Эссена, где они приютились на этот продолжительный танец; сестра, необыкновенно оживленная, пожала мне руку, а дома поведала, что Лермонтов, достав (без всякого сомнения, из кармана) крест, произнес клятву в жгучей любви. Теперь, из последовавших происшествий, я заключаю, что он обязал какою-то клятвой и ее, но что она, к чести ее будь сказано, произнесла свою гораздо искреннее. Этой подробности она не вверила моей дружбе, и мне остался неизвестен подарок кольца, может статься — обмен двух колец… Форма присяги верного юного поэта, верно, была красноречива, и в те мои годы я очень могла воскликнуть: „О, как он тебя любит!“

Решительно не могу припомнить, совпали ли эти клятвы с прибытием г-на Л[опухи]на в Петербург, или он приехал в скорости, даже его; самого едва помню в нашем доме, где он побывал раза два-три не запросто, а с утренним визитом, и на танцовальном вечере» («Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 650–651).

## 179

Как указал уже П. А. Висковатый, «бедность» Лермонтова понятие очень относительное.

## 180

Михаил Лукьянович Яковлев (1798–1868), лицейский товарищ Пушкина, талантливый дилетант-композитор и певец, о шумных успехах выступлений которого в петербургских гостиных тридцатых годов сохранились рассказы многих современников (см. Н. А. Гастфрейнд «Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею», т. II, СПб., 1912 г., стр. 234–258).

# 181

Романс А. А. Алябьева на слова известного стихотворения Пушкина, напечатанного впервые в «Северных Цветах» за 1830 год.

# 182

Александр Семенович Шишков (1754–1841), президент Российской Академии, известный государственный деятель и литератор начала XIX в., автор «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», один из вождей «архаистов» в их борьбе с эпигонами Карамзина и Жуковского.

Лопухин.

# 184

«Бал продолжался, но праздника уже не было» — цитата из сборника стихов графа Рессечье (1788–1862).

# 185

Некоторые детали этой мелодраматической ситуации использованы были Лермонтовым для пьесы «Два брата», над которой он работал в 1836 г. Ср. общие соображения об этом П. А. Висковатого (стр. 234–235 и 283), подхваченные в очерках М. А. Яковлева («Лермонтов как драматург». Л., 1924, стр. 162–164). Однако попытки последнего автора опереться в своих заключениях на некоторые текстуальные совпадения «Двух братьев» и «Записок» Е. А. Сушковой не выдерживают никакой критики: в пору работ над своими воспоминаниями Е. А. была уже знакома с публикацией «Юношеских произведений Лермонтова» в «Русском Вестнике» за 1857 г., т. IX, стр. 336–342, откуда явно заимствовала и некоторые смутившие Мих. Яковлева тирады (примеч. Ю. Г. Оксмана. Сушкова, стр. 190).

Почти портретную характеристику Е. А. Сушковой в лице Лизаветы Николаевны и историю своего «романа» с ней Лермонтов дал, как известно, в неоконченной повести «Княгиня Лиговская», опубликованной лишь в 1882 году, т. е. много лет спустя после смерти мемуаристки. Вот одна из таких портретных характеристик.

Лизавета Николаевна была недурна и очень интересна: бледность и худоба интересны… потому что француженки бледны, а англичанки худощавы… Надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существует только в дамском воображении и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармности».

При первом вступлении Лизаветы Николаевны на паркет гостиных у нее нашлись поклонники… Это все были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице или чтобы кольнуть самолюбие жестокой красоты. После этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николаевна приобрела навык светского разговора и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна… Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки, но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной… К тому же они все были прескучные. Им отказали… Один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились… Между тем время шло. Она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора, и вокруг нее стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия. Увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних. Она с досадою и вместе с тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия, — и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина. Вздыхающий рой разлетался в разные стороны… И, наконец, для Лизаветы Николаевны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины…

Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не

совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять, шутя, в глубокой страсти, чтобы после, так, для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу… уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться… говорить ей нежности шепотом, а вслух колкости… Бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия, старается удержать шалуна как можно долее у ног своих… Напрасно! она более и более запутывается. Наконец… увы… за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже… одни мечты (Лермонтов. «Княгиня Лиговская». Акад изд., т. IV, стр. 113–114).

# 187

В лермонтовской биографической литературе нет никаких упоминаний о женщинах, имена и фамилии которых соответствовали бы этим инициалам. Впрочем, Е. А. могла нарочно прикрыть в печати ложными буквенными обозначениями подлинные имена «жертв» поэта.

# 188

Ты ангел.

# 189

М. С. Багговут — приятельница Сушковой. Для нее в 1836–1837 гг. Е. А. Сушкова писала свою интимную девическую исповедь, текст которой впоследствии, после смерти М. С. Багговут, лег в основу печатных «Записок» Сушковой (Хвостовой). В этом месте Сушкова прямо обращается к своей подруге, но мы, для большей связности, переводим весь отрывок со второго лица на третье.

# 190

По поводу этого места «Записок» Сушковой Хвощинская-Зайончковская в 1880 году писала Н. К. Михайловскому, явно путая, впрочем, переданные ей факты:

«Если бы вы знали г-жу Хвостову, писавшую о нем совсем не то, что *она сама* же мне рассказывала! Какой он был славный, Лермонтов, и как его не понимали эти барыни и барышни, которые только и думали, что об амуре и женихах! И хорошо они его ценили! Ведь этой самой Хвостовой он написал свое *„Когда я унесу в чужбину“*, а умирая, „как сестре“, послал, сняв с своей руки, кольцо, я его видела — широкое, плоское. Она подарила это кольцо некоему гусару, сосланному сто раз поделом на Кавказ за сотню подвигов. При мне это было. Я кричала: „Помилуйте, да лучше бы вы мне отдали!“ — „Mais il n'est donc pas un gage d'amour, et puis, déjà quinze ansi“… [„Но ведь это же не залог любви, и к тому же уже прошло 15 лет“.] Видите, какой резон. А потом пишут свои мемуары, да себя в них раскрашивают» («Русская Мысль», 1890 г., кн. 11, стр. 100–101).

# 191

Большой пасьянс.

# 192

Приводим ниже рассказ Е. А. Ладыженской, сестры Е. А. Сушковой. Ладыженская повествует об истории с письмом несколько иначе, чем Сушкова.

# 193

Ср. письмо к «Княгине Лиговской»: «Наскучив пробегать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг приметила письмо с адресом на ее имя и со штемпелем городской почты. Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло: конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракуля, очень похожая на пятна, видимые в луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова: „Милостивая Государыня. Вы меня не знаете, я вас знаю, мы встречаемся часто. История вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и при том я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело. Мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились. Он с вами пошутил. Он недостоин вас; он любит другую. Все ваши старания послужат только к вашей гибели. Свет и так указывает на вас пальцами. Скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы, и чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего имени. Вследствие чего остаюсь ваш покорнейший слуга Каракуля“» (Лермонтов. «Княгиня Лиговская». Акад. изд., т. IV, стр. 117).

# 194

Е. А. Ладыженская замечает: «Екатерину Александровну, конечно, порядком пожурили, но ни опалы, ни заключения, ни отвержения *не было. В тот же самый вечер,* дабы „злой свет“ не проник в наши беспримерные в летописях мира переполохи, мы *танцевали* и на званом вечере у С. Это был день рождения хозяйки дома, которую тетенька особенно уважала. Присутствие же сестры на этом вечере мне чрезвычайно памятно, потому что, — простодушно опасаясь, чтобы в силу утренней угрозы нас не отправили к дедушке в Пензу („в глушь, в Саратов“) — ее в наказание за причиненное огорчение, а меня, так себе, ради компании, — она объявила мне, что займется в этот вечер выдачей замуж *меня* за единственного кавалера, знакомого мне в этом доме и нимало мне не любезного» («Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 655).

# 195

А. С. Сушкова, невестка Марии Васильевны Сушковой.

# 196

Любить более, чем быть любимым, — несчастие! Любить менее, чем быть любимым, — отвратительно! Что выбрать!!!

## 197

Боже мой, как же вас любить? Вы будете недовольны всякой любовью. Однако можно любить столько, сколько быть любимым.

# 198

Голова мертвого — единственная, которая не лжет.

# 199

«Глаза, полные звезд»… как ваши, — я воспользуюсь этим сравнением.

# 200

Вероятно, этот загадочный отрывок о неизвестной нам «жертве» Лермонтова относится к 1837–1838 гг.

# 201

Ненависть, презрение и месть.

# 202

Прощение, преданность, смирение.

Лопухина.

# 204

Александра Михайловна Верещагина (впоследствии баронесса Гюгель, жена вюртембергского дипломата).

# 205

Ср. эти строки лермонтовского письма со следующим отрывком из повести «Княгиня Лиговская»: «Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек довольно новый. Ему надобно было, чтобы себя поддержать, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, то есть прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается. Несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который, он бы мог заставить толпу взглянуть на себя. Сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился. И потому он избрал своим орудием Лизавету Николаевну, которая не была ни то, ни другое. Как быть?.. В нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций — значит почти: он выиграл столько-то сражений» (Лермонтов «Княгиня Лиговская». Акад. изд., т. IV, стр. 114).

# 206

Герцог Ларошфуко (La Rochefoucaud) (1613–1680) известен в литературе своей книжечкой «правил» (Maximes et réflexions morales), которую здесь имеет в виду Лермонтов. В молодости Ларошфуко принимал большое участие в политической жизни Франции. Конец жизни провел при дворе.

М. А. Лопухина.

# 208

Е. А. Арсеньева из Петербурга переехала на короткое время в с. Тарханы.

## 209

Варвара Александровна Лопухина вскоре после того вышла замуж за Николая Федоровича Бахметева. А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях рассказывает несколько иначе о том, как Лермонтов узнал об этой свадьбе (см. ниже).

# 210

Н. А. Столыпина, родная сестра Е. А. Арсеньевой, бабушки поэта. О ней было выше.

# 211

Елена Андреевна Ган (1814–1842), писательница-романистка (писала под псевдонимом Зин. Р-вой). Первое собрание сочинений вышло в 1843 г. (4 выпуска); второе — в 1905. Биографический очерк написан Е. Некрасовой («Русская Старина»), 1886 г., кн. 8 и 9).

Е. А. Ган.

# 213

Сушкова скрывала истинные имена. Под именем «князя Мишель» в «Исповеди» был выведен А. А. Лопухин.

А. М. Верещагина.

## 215

Слова, приписываемые Лермонтову, даем в переводе с французского.

# 216

То же.

# 217

Господи, как вы изменились! Какое горе стерло ваши чудесные краски!

# 218

Хотите ли оставить за мной мазурку, мне нужно с вами поговорить!

# 219

Скажите, не влюблены ли вы случайно, но в кого же? не в….?

Хронология здесь спутана: поездка Е. А. Сушковой в Москву весною 1833 г. объединена с материалом о позднейших встречах с А. М. Верещагиной.

# 221

В подлиннике письмо цитируется по-французски. Мы даем его в переводе.

Эти подозрения о материальной заинтересованности А. М. Верещагиной и ее матери в разрыве А. А. Лопухина с Е. А. Сушковой были лишены всякого основания и немедленно вызвали в печати протестующее разъяснение Е. Бакуниной. («Русская Старина», 1887 г., кн. 8, стр. 430).

# 223

Печатается впервые по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома. Сохраняем особенности орфографии.

«Фенелла» — о ней было выше.

# 225

А. Ф. Смирдин был издателем «Библиотеки для Чтения», редактировал ее Сенковский. Вероятнее всего, Н. Д. Юрьев отнес рукопись «Хаджи Абрека» не к Смирдину, а к Сенковскому, как об этом и рассказывает А. П. Шан-Гирей (см. ниже).

1835 г., № 11, стр. 81–94.

«Маскарад».

## 228

Никита Васильевич Арсеньев (1775–1847), родной брат деда Лермонтова и двоюродный дядя моей бабушки; Лермонтов был поручен его попечениям (примеч. Лонгинова).

# 229

Письмо Арсеньевой к Лермонтову печатаем по точной копии с подлинника, хранящейся в собраниях Пушкинского дома. Мы воспроизводим в данном случае, в виде исключения, наиболее характерные отступления от орфографии и пунктуации. Эти особенности правописания только увеличивают историческую ценность этого бытового документа. Со значительными разночтениями настоящее письмо было воспроизведено П. А. Висковатым в его биографии Лермонтова в «Приложениях».

# 230

Речь идет об отпуске из полка в Тарханы.

# 231

Афанасий Алексеевич Столыпин (1788–1866), дядя Лермонтова, по уверению Лонгинова, особенно любимый и почитаемый поэтом. А. А. Столыпин был саратовским предводителем дворянства, женат на Устиновой. Памятен в Москве своим хлебосольством.

Шан-Гирей.

## 233

Вероятно, речь идет о поэме «Хаджи Абрек», первом печатном произведении Лермонтова, появившемся в «Библиотеке для Чтения» за 1835 г., № 11, стр. 81–94.

«Маскарад», пьеса окончена в 1835 году.

# 235

Лакей, отправленный к Лермонтову из Тархан.

# 236

«Купи чего-нибудь для Дарьи, она мне служит с большой преданностью». Дарья — ключница в Тарханах, имевшая большое влияние на Арсеньеву и выведенная в «Menschen und Leidenschaften».

# 237

Печатаем в извлечении из текста «Приказов по отдельному гвардейскому корпусу» по экземпляру, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома.

# 238

Здесь пробыл Лермонтов с 20 декабря 1835 г. по 14 марта 1836 г.

## 239

Речь идет о драме «Два брата».

## 240

Речь идет о второй редакции «Маскарада».

Шан-Гирей (о ней смотри выше).

## 242

Вероятно, Лермонтов пишет о покупке у М. Г. Хомутова своего знаменитого коня «Парадёра» (об этой лошади см. выше).

## 243

Дочь Аркадия Алексеевича Столыпина, брата Е. А. Арсеньевой.

## 244

Родная сестра бабушки поэта, вышедшая замуж за Григ. Данил. Столыпина, пензенского предводителя дворянства.

# 245

Толстые пахитосы в маисовой соломе.

Так звали в школе кн. Иосифа Шаховского.

# 247

«Уланша», полностью неудобная для печати, написана Лермонтовым еще в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1834 году и была помещена им за подписью «Гр. Диарбекир» в рукописном журнале «Школьная Заря» (№ 4). В этой стихотворной повести описывается ночлег эскадрона юнкеров-улан в деревне Ижорке, близ Стрельны, при переходе из Петербурга в Петергоф. Героиня повести — Танюша, изнасилованная всем эскадроном, была прозвана «Уланшей». В журнале «Школьная Заря» были помещены еще два порнографических стихотворения Лермонтова: «Ода к нужнику» (за подписью «Жрец нужника инвалид Николай Иванович») и «К Тизенгаузену» (за подписью «Гр. Диарбекир»). Оба эти произведения свидетельствуют о том, что в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров педерастия была обычным бытовым явлением.

# 248

Это сильнее его!

# 249

К. Булгаков, служивший в л. — гв. Московском полку, был знаменит очень остроумными выходками, почему и был в милости у великого князя Михаила Павловича.

# 250

Любимец женщин.

# 251

Между нами будь сказано.

Рассказы Васильева в передаче Мартьянова носят легендарный характер.

# 253

День именин Николая I.

Никаких точных данных, позволяющих утверждать, что Лермонтов был знаком с Пушкиным, у нас нет. Шан-Гирей определенно заявляет: «Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным» (см. ниже). Однако не исключена возможность того, что поэты встречались несколько раз в литературный салонах и кружках.

## 255

«Аквилон» появился в печати 2 января 1837 г, позднее, но еще до смерти Пушкина, вышло в свет третье издание «Евгения Онегина» — это последнее произведение Пушкина, напечатанное при его жизни.

# 256

Стихотворение «Смерть поэта» ходило по рукам с разными заглавиями. В том числе одним из наиболее распространенных заглавий было: «На смерть Пушкина».

# 257

27 января 1837 г. в 5 часов вечера.

Дантес, незначительно раненный Пушкиным, был посажен на гауптвахту, а затем, после суда над ним, был выслан за границу.

## 259

Об этом см. П. Е. Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина», Гиз., 1928.

Теперь в этом доме находится музей «Квартира Пушкина».

Более десяти тысяч перебывало у гроба поэта.

# 262

Печатаем по тексту «Дела о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтовым» (Пушкинский дом, Лермонтовский музей). В этом списке есть разночтения сравнительно с каноническим текстом (ср. Акад. изд., т. II, стр. 211–213).

# 263

Эпиграф взят из трагикомедии Rotrou «Venceslas» (acte IV, scene VI).

# 264

Жорж-Шарль Дантес (1812–1895) после июльской революции 1830 года, как приверженец Карла X, должен был эмигрировать из Франции. 8 октября 1833 года он прибыл в Петербург, где, пользуясь протекцией барона Геккерена, в течение нескольких лет сделал головокружительную карьеру.

Ленский.

Стихотворение Лермонтова вполне характеризовало общий взгляд на дело дуэли Пушкина. Так, Хомяков вскоре после смерти Пушкина писал Языкову: «Сам Пушкин не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной его чудному уму. Страсть никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые его приняли из милости» («Русский Архив», 1884 г., т. III, стр. 202).

## 267

Последние 16 стихов были приписаны позднее, и стихотворение ходило по рукам в двух редакциях: с прибавлением и без прибавления.

# 268

Точность хронологической даты на копии при «Деле» оспаривают, так как Пушкин, раненный на дуэли 27 января, скончался 29-го. Так, например, Н. О. Лернер датирует «Смерть поэта» 30 января (Н. О. Лернер «Труды и дни Пушкина». 2-е изд., стр. 390). Но возможно, что стихотворение написано после того, как «разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина, обезображенная разными прибавлениями» («Вестник Европы», 1887 г., № 1, стр. 340). Слух, о том что Пушкин убит, а не смертельно ранен, — разнесся тотчас же после дуэли.

Mouchard — сыщик, шпион.

Неверно: Раевский, по выдержании на гауптвахте в течение одного месяца, был выслан в Олонецкую губ., на службу по усмотрению тамошнего губернатора.

# 271

Александр Николаевич Мордвинов (1792–1869), управляющий III Отделением е.в. канцелярии.

Бенкендорф, граф Александр Христофорович (1783–1844), шеф жандармов, командующий имп. главною квартирой и главный начальник III Отделения собств. его велич. канцелярии.

Здесь какая-то ошибка, ибо флигель-адъютанта Столыпина в эти годы не было.

Начальник штаба гвардии Петр Федорович Веймарн.

# 275

Дубельт Леонтий Васильевич (р. 1792 г. — ум. 27 апр. 1862 г.).

# 276

Святослав Афанасьевич Раевский был арестован по распоряжению графа Петра Андреевича Клейнмихеля 21 февраля 1837.

# 277

Настоящий приказ издан после того, как начальник штаба Веймарн, посланный в Царское Село сделать обыск в квартире Лермонтова, нашел его комнаты нетопленными, ящики стола и комодов пустыми, а самого Лермонтова разыскал в столице у бабки его Е. А. Арсеньевой.

# 278

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту копии, хранящейся в Пушкинском доме.

По утверждению Висковатого, Лермонтов был подвергнут только домашнему аресту.

# 280

Андрей, камердинер Лермонтова, крепостной из села Тарханы.

# 281

Черновая показаний Раевского, писанная карандашом 21 февраля 1837 г.

# 282

Афанасий Алексеевич Столыпин (1788–1866), брат Е. А. Арсеньевой, особенно любимый и почитаемый Лермонтовым; сам был очень привязан к поэту.

# 283

Доставку этого пакета Раевский препоручил одному из сторожей. Пакет был перехвачен и значительно увеличил вину Раевского.

# 284

Печатаем с сохранением особенностей орфографии. Эта записка впервые была опубликована П. А. Висковатым в «Вестнике Европы» за 1887 г., № 1, стр. 337, а затем в его биографии Лермонтова (1891), на стр. 247.

# 285

Печатаем без сохранения особенностей орфографии по тексту «Дела о непозволительных стихах и т. д.» (Пушкинский дом, Лермонтовский музей, отд. IV, № 11). Впервые было напечатано Висковатым в «Вестнике Европы», 1887 г., кн. 1, стр. 337–340, а потом перепечатано им в «Приложениях» к биографии Лермонтова (1891 г.).

# 286

Печатаем без сохранения особенностей орфографии и пунктуации по тексту «Дела о непозволительных стихах и т. д.» (Пушкинский дом, Лермонтовский музей, отд. IV, № 11). Впервые было опубликовано П. А. Висковатым в «Вестнике Европы», 1887 г., № 1, стр. 340–342, и затем с его биографии Лермонтова на стр. 248–249.

## 287

Это письмо было написано Лермонтовым уже по окончании суда над ним и хронологически, так же как и следующее письмо Раевского к Шан-Гирею, не следует за показаниями Раевского и Лермонтова, но из соображений чисто композиционных мы иногда нарушаем хронологическую последовательность в расположении материала. Здесь Лермонтов говорит о том, что, только вернувшись домой, он узнал истинное положение Раевского, ставшее еще более серьезным после того, как его записка к камердинеру Лермонтова — Андрею была перехвачена.

Дубельт сочувственно относился к Е. А. Арсеньевой. Граф Петр Андреевич Клейнмихель, генерал-адъютант, дежурный генерал Главного Штаба, директор Департамента военных поселений, в котором с 1836 года служил С. А. Раевский

# 289

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту «Дела о непозволительных стихах и т. д.» (Лермонтовский музей, отдел IV, № 11). Впервые этот документ был опубликован П. А. Ефремовым («Русская Старина», 1880 г., т. 28, стр. 535). На этом «высочайшем повелении» Бенкендорф сделал пометку: «убрать».

# 290

Андрей Александрович Краевский, редактор «Литературных Прибавлений к „Русскому Инвалиду“» и «Отечественных Записок», где Лермонтов помещал свои произведения.

# 291

Брат бабушки, Столыпин, саратовский предводитель дворянства, о нем было выше.

# 292

Великие имена делаются на Востоке.

# 293

Нижегородский драгунский полк стоял в это время на Кавказе.

Печатаем без сохранения особенностей орфографии по тексту экземпляра «Высочайших приказов», который хранится в Пушкинском доме.

Николая Петровича, штаб-ротмистра харьковского Белого уланского полка, в котором служил и упоминавшийся выше В. С. Глинка.

Заключительный вечер сезона.

# 297

Беклемишев, хозяин дома.

Это показание не может быть отнесено к числу достоверных, так же как и весь рассказ Бурнашева, очень яркий, но не всегда несомненный.

# 299

Этот незрелый поэт принесет в будущем богатые плоды.

# 300

Человек, который живет изворотливостью и плутовством.

# 301

Арендт Николай Федорович (1785–1859), известный врач, преимущественно хирург, состоявший тогда по Главному штабу при особе его величества. Имея большую практику среди высшей аристократии, он не отказывался лечить и бедняков, помогал им лекарствами и деньгами. Во время предсмертной болезни Пушкина Арендт неоднократно приезжал к нему; между прочим, он привез Пушкину известную записку Николая I с призывом «умереть христианином» и с обещанием позаботиться о его семействе.

# 302

Николай Аркадьевич Столыпин, камер-юнкер, брат Монго Столыпина.

# 303

Честь обязывает.

# 304

Поэзия разрешается от бремени.

# 305

Но ведь он просто бешеный.

## 306

«Проказа общества» — Анна Михайловна Хитрово, сестра корреспондентки Пушкина Е. М. Хитрово.

# 307

Сливки дворянства.

Вся русская аристократия.

# 309

Бурнашев ошибается. У А. М. Хитрово была племянница гр. Фикельмон, Дарья Федоровна, дочь Е. М. Хитрово от брака с Тизенгаузеном.

# 310

Слуга Лермонтова, несколько моложе его, всегда находившийся с ним, даже в школе, и носивший форму денщика.

# 311

Ротмистр, эскадронный командир конногвардейского полка, дежурный в этот день по полку и зашедший к Синицыну поужинать.

# 312

Хочет не хочет.

# 313

Дезертира (беглеца).

Бряцанием оружия.

# 315

Павел Александрович Гвоздев в 1835 году из подпрапорщиков л. — гв. Егерского полка был переведен в армию юнкеров на Кавказ.

# 316

Красные гусары, синие уланы, белые кавалергарды, великолепные гренадеры, ловкие стрелки.

# 317

Марс, Парис, Аполлон, Генрих IV, Людовик XIV, божественная Наташа, сладостная Лизетта, сочная Жоржетта.

## 318

Обращение к императору, как известно, было не в самом тексте стихотворения, но в эпиграфе («Отмщенье, государь, отмщенье» и т. д.).

# 319

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику.

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику.

# 321

По дороге на Кавказ, в Кахетию, где в это время стоял Нижегородский драгунский полк, Лермонтов простудился, схватил ревматизм и вынужден был остановиться на довольно продолжительное время в Пятигорске.

# 322

Алексей Александрович Лопухин, брат Марии Александровны, о нем было выше.

# 323

М. Н. Сатин учился вместе с Лермонтовым в Москве. О первой разлуке с ним Сатин так рассказывает в своих воспоминаниях («Почин», 1895 г., стр. 238–239): «На пороге школьной жизни мы расстались с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге. Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать: „пристанет, так не отстанет“, говорили об нем. Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его и к последней трагической дуэли!».

# 324

Сатин пишет (стр. 237): «Летом 1837 года я жил в Пятигорске, больной, почти без движения от ревматических болей в ногах».

«Княжна Мери» вышла отдельным изданием в 1840 г.

# 326

В романе — Вернер.

# 327

Ничтожный человек, ничтожный талант!

# 328

«Роза Кавказа». С Эмилией Александровной Лермонтов познакомился, как утверждает Висковатый, только в 1841 г. Миклашевский, по всей вероятности, ошибается.

# 329

Сатин не был прежде знаком с Белинским. Белинский приехал на Кавказ с письмом к Сатину от Николая Христофоровича Кетчера, общего знакомого по герценовскому кружку. В Пятигорске В. Г. Белинский и Сатин тесно сблизились и встречались почти ежедневно.

Сатин не совсем точен: Лермонтов родился в Москве, а Белинский в Свеаборге, где в 1810 году стоял Флотский экипаж, в котором отец Белинского служил врачом; но детские воспоминания обоих действительно связаны с Чембарским уездом, и оба имели все основания считать этот уезд своим родным краем.

# 331

В «Княжне Мери» Лермонтов от имени Печорина пишет: «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя».

# 332

Слова Чацкого из «Горе от ума» (Действие III, явл. 3).

## 333

Барон Григорий Владимирович Розен — генерал-адъютант, командир Отдельного кавказского корпуса.

## 334

Алексей Александрович Вельяминов — генерал-лейтенант, командующий войсками на Кавказской линии и Черноморье.

## 335

Начальник штаба командующего войсками на Кавказе, родственник Лермонтова (стихотворение в альбом его сыну Аркадию см. во II томе акад. изд., стр. 222).

Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго).

# 337

Павел Александрович Гвоздев (1815–1851) юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, поэт; за одно из своих сатирических стихотворений был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ. Еще будучи в школе, он написал ответ Лермонтову на стихотворение «Смерть поэта».

# 338

В «Русском Архиве» явная опечатка: «и мать сестры его»; мы исправляем эту ошибку.

## 339

П. Бартенев имеет в виду следующее место из новеллы «Тамань»: «Я возвратился домой… Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля, — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой» (Акад. изд., т. IV, стр. 203).

## 340

Лермонтов был в Тамани весною 1837 года. Определить дату его пребывания здесь точнее не представляется возможным, так как имеющиеся у нас хронологические данные 1837 года крайне противоречивы и требуют специального расследования.

# 341

М. Цейдлер был в Тамани через год после Лермонтова и останавливался у той самой Царицихи, хата которой описана в журнале Печорина («Тамань»).

# 342

Лермонтов почти всю зиму провел в Ставрополе, куда в то время переселились из Пятигорска Сатин и Майер. Через них Лермонтов познакомился с декабристами: кн. В. М. Голицыным, С. И. Кривцовым, В. М. Лихаревым, Н. И. Лорером, М. А. Назимовым, М. М. Нарышкиным, кн. Александром Ивановичем Одоевским и бароном Андр. Евг. Розеном.

# 343

Хвастовство пороками.

Так назывался унтер-офицер, приставленный к дому, взятому для офицеров и проезжих (примеч. В. Б.).

# 345

Мне, мне жизнь, мне жизнь, мне свобода.

# 346

Наброски.

## 347

Это свидание относится, очевидно, к осени 1837 года, т. е. ко времени первой ссылки Лермонтова на Кавказ. Описывая в письме к Раевскому свои скитания по Кавказу в течение лета и осени 1837 года, Лермонтов писал ему: «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию».

Ссылкой Лермонтова на Кавказ.

# 349

Печатаем без сохранения особенностей орфографии по тексту «Высочайших приказов» с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.

Эта загадочная запись, по-видимому, носит автобиографический характер. Возможно также, что мы имеем набросок невыполненного замысла, записанный от первого лица. Это тем более вероятно, что в Лермонтовских материалах и литературе мы не встречаем больше упоминаний, относящихся к этой записи. Любопытно сопоставить запись Лермонтова с его стихотворением «Свидание» (1840 г.).

# 351

А. А. Лопухин женат был впоследствии на княжне Варваре Алексеевне Оболенской.

# 352

Писано из Петербурга.

# 353

«Казначейша» была напечатана в «Современнике», т. XI, № 3, стр. 149–178.

## 354

Лермонтов прибыл в Гродненский гусарский полк 26 февраля 1838 г. Явившись к князю Багратиону, он получил назначение состоять в четвертом эскадроне и на другой же день, 27 числа, дежурил по второй половине полка. В полку Лермонтов пробыл всего только полтора месяца и 9 апреля 1838 года был уже переведен обратно в свой прежний лейб-гвардии Гусарский полк (см. Ю. Елец. «История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка». СПб., 1898 г., т. 1, стр. 205–208).

Эти картины находятся теперь в Пушкинском доме.

# 356

Михаил Иванович Цейдлер (1816–1892) был влюблен в девушку, носившую фамилию Сталь.

# 357

Оба документа печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту «Дела о переводе корнета л. — гв. Гродненского гусарского полка Лермонтова, л. — гв. в Гусарский полк» по копиям, хранящимся в рукописных собраниях Пушкинского дома.

# 358

Печатаем по тексту «Высочайших приказов», с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.

## 359

Владимир Федорович Одоевский (1803–1869), поэт и писатель. См. работу о нем: П. Сакулин. Из истории русского идеализма. Кн. В. Одоевский. М., 1913.

# 360

Варвара Александровна Бахметева, урожденная Лопухина.

# 361

В 1851 году, как установил П. А. Висковатый.

Когда это место «послесловия» М. И. Семевского прочитано было кузену и приятелю Лермонтова А. П. Шан-Гирею, тот, по словам П. А. Висковатого, «расхохотался и сообщил, что он в церкви был вместе с Лермонтовым и не только не видал его плачущим, но напротив, в весьма веселом настроении» («Русский Вестник», 1882, кн. 3, стр. 338).

# 363

Я препоручаю себя, сударыня, вашей доброте.

# 364

Святослав (Святополк) Афанасьевич Раевский (1808–1876), друг детства Лермонтова, крестник его бабушки, по окончании курса в Московском университете (в 1828 г.) служил сначала в Министерстве финансов, а потом (в 1836 г.) в Департаменте военных поселений; за распространение стихов Лермонтова на смерть Пушкина был сослан в Олонецкую губ., где пробыл до 7 декабря 1838 года.

# 365

29 мая 1838 г. Раевскому дан был отпуск «в Петербург и к водам морским в Эстляндии».

«Княгиня Лиговская».

## 367

Николай Дмитриевич Юрьев, родственник Лермонтова и товарищ по юнкерской школе, выпущенный в л. — гв. Драгунский полк и в 1838 г. вышедший в отставку с чином штабс-капитана.

# 368

Рождение сына.

# 369

Индижестия (indigestion) — несварение желудка.

# 370

Для детей.

## 371

Я хотел бы, чтоб предмет этих стихов не был бы дурным предметом (игра слов — mauvais sujet значит негодяй).

Н. М. Сатин на это замечает: «Ив. Ив. Панаев в своих „Литературных Воспоминаниях“ говорит, что Белинский и Лермонтов познакомились в Петербурге, у г. Краевского, в то время, когда Белинский принимал деятельное участие в издании Отеч[ественных] Записок, т. е. в 1839 или 1840 году. Это несправедливо. Они познакомились в 1837 г. в Пятигорске у меня. Сошлись и разошлись они тогда вовсе не симпатично. Белинский, впоследствии столь высоко ценивший Лермонтова, не раз подсмеивался сам над собой, говоря, что он тогда не раскусил Лермонтова» («Почин», 1895 г., стр. 237–238).

# 373

Из Царского Села.

## 374

Печатаем в извлечении из текста «Высочайших приказов» с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.

Так наз. «Патент» с сохранением особенностей орфографии печатаем с подлинника, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.

И. С. Тургенев ссылается на издание 1870 г., стр. 280.

## 377

И. С. Тургенев цитирует здесь стихотворение Лермонтова «Первое января» (1840).

# 378

Анекдот этот, опубликованный М. И. Семевским в «Вестнике Европы», исключен был им из текста «Приложений» к отдельному изданию «Записок» Е. А. Хвостовой (Сушковой) на том будто бы основании, что «Е. А. в этом случае основывалась на слухах совершенно неверных». Мы помещаем этот анекдот в ряду других, но предупреждаем, что все сообщения Семевского малодостоверны и носят большею частью легендарный характер.

Лермонтов всегда расчетливый и загадочный.

Сын французского посланника Эрнест Барант.

# 381

16 февраля 1840 года на бале у графини Лаваль.

# 382

Печатаем с сохранением особенностей орфографии подлинника по тексту «Военно-Судного Дела» (Пушкинский дом).

«Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена». — «Это ничего не значит, я весь к вашим услугам».

Бал у графини Лаваль, на котором произошло это объяснение, был 16 февраля 1840 г.

Шан-Гирей жил вместе с Лермонтовым у бабушки его Е. А. Арсеньевой и учился в Артиллерийском училище. У Лермонтова со Столыпиным была еще квартира в Царском Селе (об этом было выше), но он почти все время проводил в Петербурге.

Пистолеты.

# 387

Дуэль с Барантом.

## 388

Оммер де Гелль в одном из своих писем к подруге, которые мы цитируем ниже, писала: «Лермонтов был в близких отношениях с княгиней Щ[ербатовой]; а дуэль вышла из-за сплетни, переданной г-жею Бахарах» (курс. наш). Очень возможно, что и Шан-Гирей в данном случае имеет в виду ту же Бахарах, только приписывая ей другую роль. Оммер де Гелль охарактеризовала Бахарах как очень «элегантную и пребойкую женщину».

# 389

Николай Федорович Плаутин (1794–1866), которому адресовано это письмо, как непосредственное начальство Лермонтова (командир л. — гв. Гусарского е. в. полка и 2-й бригады 1-й легкой гвардейской кавалерийской дивизии), узнав о дуэли Лермонтова с Барантом, потребовал от М. Ю. письменного объяснения.

Секундантом Баранта был д'Англес, имя которого было хорошо знакомо Лермонтову, но он предпочел скрыть от начальства и суда не только имя виновницы дуэли — кн. М. А. Щербатовой, но и секундантов обеих сторон.

## 391

Печатаем по тексту «Приказов по Отдельному Гвардейскому корпусу», с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.

# 392

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту «Военно-Судного дела произведенного в Комиссии Военного Суда, учрежденной при Кавалергардском ее величества полку над поручиком л. — гв. Гусарского полка Лермонтовым», находящемся в собраниях Пушкинского дома.

# 393

Воспроизводим с сохранением особенностей орфографии с подлинника, находящегося в «Военно-Судном Деле» (Пушкинский дом).

# 394

Печатаем с сохранением особенностей орфографии и пунктуации по подлиннику, который был уже литографически воспроизведен в V томе Акад. издания на вкладном листе. Впервые опубликовано П. А. Висковатым в приложениях к биографии Лермонтова.

# 395

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту «Военно-Судного Дела» (Пушкинский дом).

## 396

В подлиннике фамилия старательно вымарана. Вероятно — Щербатова.

Императрицы Александры Федоровны — 23 апреля.

Если бы непростительной неосторожностью он не усилил свою первоначальную вину.

# 399

Только сострадание уменьшает порицание.

Карамзина, дочь историографа.

# 401

Печатаем с подлинника, находящегося за № 7 в «Военно-Судном деле произведенном в комиссии Военного Суда…. над поручиком Лермонтовым» (Пушкинский дом). Сохраняем особенности орфографии. Впервые это письмо было опубликовано П. А. Висковатым в примечаниях к биографии Лермонтова на стр. 323–324.

# 402

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлинному тексту «Военно-Судного Дела».

# 403

Петербургский плац-майор флигель-адъютант барон Зальц.

# 404

Хорошенькая дочка унтер-офицера.

## 405

«Под липами», произведение французского сатирического писателя Альфонса Карра (1808–1890).

## 406

Ср. юношескую запись Лермонтова: «Эпитафия плодовитого писаки. Здесь покоится человек, который никогда (не мог видеть) не видал перед собою белой бумаги» (из VII тетр. автогр. Лерм. муз., л. 1).

# 407

Мария Алексеевна Щербатова.

# 408

Сударь, слухи, которые дошли до вас, не точны, и я должен сказать, что считаю себя совершенно удовлетворенным.

# 409

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту «Военно-Судного Дела». Впервые было опубликовано П. А. Висковатым в «Приложениях» к биографии Лермонтова (1891 г.).

# 410

Как этот, так и следующие документы печатаем с сохранением особенностей орфографии и пунктуации по тексту «Военно-Судного Дела» (Пушкинский дом).

Кроме того Барант оцарапал Лермонтову руку; об этой царапине говорят Шан-Гирей и Панаев — см. выше (подробнее у Висковатого на стр. 322).

# 412

Резолюция Николая I — «перевесть в Тенгинский Пехотный полк… исполнить сегодниже» — противоречит этому месту «Сентенции». Благодаря этому вышла задержка, так как не знали, надо ли выдерживать Лермонтова под арестом в крепости. Затем последовало высочайшее разъяснение, что переводом на Кавказ наказание ограничивается.

# 413

Печатаем с сохранением особенностей орфографии и пунктуации по тексту «Военно-Судного Дела» (Пушкинский дом). Эта аудиторская сентенция использована Любавским: «Русские Уголовные Процессы», т. 1, стр. 556–560.

# 414

Печатаем в извлечении из текста «Высочайших приказов» с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.

## 415

К этому времени Бенкендорф переменился в своем отношении к Лермонтову. Этим письмом он хотел окончательно уронить Лермонтова в мнении света и сделать его положение очень тяжелым. Вот почему Лермонтов опять решился обратиться к защите вел. кн. Михаила Павловича. Об этом см. Висковатый, стр. 337–338.

Печатаем с сохранением некоторых особенностей орфографии.

## 417

Это было в последний приезд Лермонтова в Петербург в начале 1841 года. Сологуб был женат на графине Софье Михайловне Виельгорской.

## 418

«Большой свет» — пасквиль на Лермонтова, выведенного под именем Леонина.

# 419

Под Сафьевым Сологуб подразумевал Монго-Столыпина.

## 420

«Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая 1840 года, следовательно, авторские экземпляры могли быть у Лермонтова еще в конце апреля, до отъезда на юг.

# 421

Графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, дочь выборгского губернатора Карла-Иоганна Шернваль, отличалась выдающейся красотой (1810–1846). В одном из писем кн. Вяземского к А. И. Тургеневу читаем: «В Москве все по-старому, кроме двух новых финляндских звезд: Пушкиной и сестры ее Авроры, воспетой Баратынским и мною. Сказывают, что все светила побледнели перед ними, и московский Ришелье Норов все так и норовит, чтобы быть при них. В самом деле, они замечательно милы внутренне и внешне» («Остафьевский Архив». III, стр. 229–230).

# 422

Сологуб цитирует только первые два стиха, при чем во втором стихе есть разночтение: «прекрасна, как лилия». Мы даем текст по Академическому изданию, т, II, стр. 74.

Сологуб ошибается: Лермонтов на этом вечере читал стихотворение «Тучи» (см. ниже свидетельство Висковатого).

Это из Пушкина.

Нет, это из Лермонтова, и это стоит Пушкина!

# 426

Неверно: Лермонтов приезжал в отпуск в начале 1841 г.

# 427

В 1840 году Лермонтов мог только ехать на Кавказ.

# 428

У Лермонтова: «Его грядущее иль пусто, иль темно».

# 429

По поводу этого места «Воспоминаний» кн. А. В. Мещерского Ал. Маркевич («Русский Архив», 1900 г., кн. 12, стр. 622) замечает: «Верстах в 7 от моего родного села Смоши находится значительное местечко Переволочно (Полтавской губ., Прилуцкого уезда) на р. Удае. Почти при самом выезде в местечко, по Роменской дороге, расположена прекрасная усадьба, в которой дом, впрочем, построен или перестроен позднейшим владельцем и сохранился весьма старинный тенистый сад. Усадьба эта, а также известное число крестьян и десятин земли, принадлежала Арсеньевым, и я хорошо помню рассказы, что сюда наезжала некогда очень важная старая барыня, Арсеньева же, и это относится к 30–40 годам. Весьма соблазнительно думать, что именно здесь было имение, о котором упоминает князь А. В. Мещерский, не Лермонтова, конечно, а его бабушки, которой он был единственным прямым наследником».

# 430

В 1837 году.

# 431

Лошадь, купленная у Хомутова, — «Парадёр», о ней было выше.

# 432

В Ставрополь Лермонтов приехал 10 июня 1840 г. 11 числа он был прикомандирован к левофланговому «Чеченскому отряду» генерал-лейтенанта Галафеева.

# 433

Поздней весной 1840 г.

# 434

«Подражание Христу», религиозно-нравоучительная книга.

# 435

«Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая 1840 года («Северная Пчела», 1840, № 98).

# 436

Граф Карл Карлович Ламберт (1815–1865) — поручик Кавалергардского ее величества полка, только что приехавший на Кавказ, где состоял в отряде генерала Галафеева на левом фланге Кавказской линии. 11 июля 1840 г. он, вместе с Лермонтовым, участвовал в деле на р. Валерике. Впоследствии генерал-адъютант, наместник Царства Польского.

## 437

Генерал Михаил Григорьевич Хомутов (1795–1864) был раньше командиром лейб-гв. Гусарского полка, в котором служил Лермонтов; с 1839 г. он был начальником штаба войска Донского, а потом первым атаманом не казачьего происхождения.

# 438

Со второй половины августа до середины сентября и в конце октября 1840 года Лермонтов не мог вести журнала военных действий, так как участия в боях не принимал и даже не находился в отряде, но с 6 по 14 июля он участвовал «в делах» и за эти числа мог вести запись в упомянутом журнале — эти записи как раз нами и использованы с некоторыми сокращениями.

Все выдержки из журнала военных действий печатаем по копии, хранящейся в рукописных собраниях Пушкинского дома (Лермонтовский музей, отдел IV, № 20).

Журнал велся от имени начальника отряда — ген. — лейт. Галафеева.

# 441

Отрывок из «Журнала военных действий» за 11 июля был напечатан в «Русской Старине», 1891 г., № 8, стр. 358–363.

Первоначально Галафеев испрашивал Лермонтову орден св. Владимира 4-й степени с бантом, но, согласно мнению начальника штаба и отметки корпусного командира, испрашиваемая награда была снижена до ордена св. Станислава 3-й степени.

Впоследствии командующий войсками на Кавказской линии и Черномории генерал-адъютант Граббе в рапорте от 3 февраля 1841 года за № 76 снова представил Лермонтова «к золотой полусабле». Но и в этой награде, уже после смерти Лермонтова, было отказано.

# 443

Печатаем по копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома.

# 444

Сборник повестей Евдокии Петровны Ростопчиной (1811–1858) — «Очерки большого света».

А. П. Шан-Гирей — о нем было выше.

# 446

Нина Алексеевна Реброва (по мужу Юрьева) — дочь помещика, о заслугах которого по насаждению шелковичного производства и виноградников Омэр де Гелль написала статью «Владимировка на Куме» в «Одесском Журнале» 1840 г., № 34. Об Омэр де Гелль см. ниже.

По поводу этого места Э. А. Шан-Гирей писала: «Положительно могу сказать, что все написанное г-жею Оммер де Гелль по поводу девицы Р. есть чистая выдумка. Я современница Нины Алексеевны и была с ней знакома в продолжение многих лет; она всегда слыла за самую благоразумную, весьма скромную и солидную особу, а в 1840 году была уже мать семейства» («Русский Архив», 1887, т. III, кн. 11, стр. 438).

# 448

Оммер де Гелль во время своего путешествия, возвращаясь из киргизских степей в 1839 году, познакомилась с семейством Ребровых, остановившись проездом во Владимировке.

# 449

Эмилия Шан-Гирей в своих возражениях на письма Оммер де Гелль писала, смешивая бал в день коронации (22 августа) с неофициальным балом 26 августа, о котором говорит Омэр де Гелль: «Вспомнила я и бал в Кисловодске. В то время в торжественные дни все военные должны были быть в мундирах; а так как молодежь, отпускаемая из экспедиции на самое короткое время отдохнуть на воды, мундиров не имела, то и участвовать в парадном балу не могла, что и случилось именно 22 августа (день коронации) 1840 г. Молодые люди, в числе которых был и Лермонтов, стояли на балконе у окна, стараясь установить свои головы так, чтобы вышла пирамида; а как Лермонтов но росту был ниже всей компании, то голова его пришлась в первом ряду, совсем на подоконнике, и его большие выразительные глаза выглядывали там насмешливо. Это всех очень забавляло, а знакомые подходили с ним разговаривать. В конце же вечера, во время мазурки, один из не имевших права входа на бал, именно князь Тр[убецкой], храбро вошел и, торжественно пройдя всю залу, пригласил девицу *** сделать с ним один тур мазурки, на что она охотно согласилась; затем, доведя ее до места, он так же промаршировал обратно и был встречен аплодисментом товарищей за свой геройский подвиг, и дверь снова затворилась. Много смеялись этой смелой выходке, и только; а кн. Тр[убецкой] (тот самый, который был в 1841 г. во время дуэли Лермонтова) мог бы поплатиться и гауптвахтой» [Эмилия Шан-Гирей. «Русский Архив», 1887 г., кн. 11, стр. 438].

Висковатый сравнивает это место письма Оммер де Гелль со сценой ночного нападения в «Княжне Мери», но не надо забывать того, что «Герой нашего времени» тогда был уже напечатан. Впрочем, Лермонтов мог воспроизвести некоторые положения романа в жизни.

# 451

Свидание.

# 452

Hommaire-de-Hell, Ignace-Xavier (род. в 1812 г., ум. в Персии в 1848 г.) геолог и путешественник. О русских его впечатлениях см. его письмо от 28 сентября 1833 г. к А. М. Фадееву («Старина и Новизна», кн. 9. СПб., 1905 г., стр. 324–325).

## 453

Это французское стихотворение до нас не дошло.

Приводим соответственные строки французского подлинника:

LE ROSSIGNOL
à L…e
Le souffle d'un amant a glissé dans ta voix,
Oiseau mystérieux qui chantes dans les bois;
Tu sais tout emprunter à son délire extrême,
Larmes, désirs confus, soupir qui dit: je t'aime…
Tes accents sont l'écho des vagues voluptés:
Qu'il entrevoit au fond de ces anxiétés:
En accords douloureux tu redis ses tristesses,
En notes de plaisirs ses ardentes tendresses:
L'amour t'a révélé ses secrets les plus doux,
Et devant toi, Bulbul, tout poète est jaloux.
. . . . . .
Oui, Bulbul, oui, c'est toi, c'est ta douée magie
Qui dans mon coeur troublé versa la poésie,
Qui fit éclore en moi l'ange mélodieux
Dont la voix est si pure et le front si joyeux!
Oh! merci, mon poète! à toi tout ce que l'âme
Dans ses secrets replis peut renfermer de flamme!
A toi l'attrait si doux des lointains souvenirs
Et les rêves de gloire ou tendent mes désirs!
A toi tout ce que sort de ma lyre ignorée,
Tout ce qui peut flatter ma jeunesse enivrée,
Tout ce que ma pensée a d'éclat, de fraîcheur;
Tout ce que l'hannonie éveille dans mon coeur
Adèle Hommaire.

## 455

Речь идет о битве при р. Валерике — 11 июля 1840.

# 456

А. Зиссерман («Русский Архив», 1885 г., № 2, стр. 80) указал на преувеличения, которыми страдает настоящее письмо: «рукопашный бой никогда не мог продолжаться 6 часов сряду», а «потери в 600 человек в одном деле, вообще для горцев, случились за все время кавказской войны может быть два-три раза… при Валерике мы отступили и считать оставшиеся на месте трупы физически не могли».

Такое же преувеличение, по мнению А. Зиссермана, как и предыдущее.

В. А. Бахметева, ур. Лопухина — сестра А. А. Лопухина.

## 459

На обороте адрес: «Его высокоблагородию, милостивому государю, Алексею Александровичу Лопухину. В Москве на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного».

# 460

На настоящем наградном списке есть помета, сделанная рукою генерал-лейтенанта Галафеева: «Перевод в гвардию тем же чином с отданием старшинства». Означенный наградной список приложен к рапорту начальника 20-й пехотной дивизии ген. — лейт. Галафеева от 9 декабря 1840 г. за № 3337.

# 461

В прошлом столетии между новым и старым стилями разница была в 12 дней. Висковатый (стр. 355–356) и все последующие биографы Лермонтова, вплоть до Д. И. Абрамовича, не принимали во внимание того, что Оммер де Гелль датировала свои письма по новому стилю (29 октября согласно календарям 1840 года совпадает с четвергом только по новому стилю). Благодаря этому упущению до сих пор не устранена из Лермонтовской биографии большая хронологическая путаница в осени 1840 года. По мнению Д. И. Абрамовича (Акад. изд., т. V, Хронологическая канва), второй наградной список (Ракович, приложения, стр. 33) — не заслуживает доверия только потому, что даты пребывания Лермонтова в отряде противоречиво совпадают с датами писем Оммер де Гелль о пребывании Лермонтова в Крыму. С приведением всех датировок к одному стилю — недоразумение устраняется. Таким образом, с 29 сентября по 15 октября Лермонтов находился в отряде, где 10 октября получил команду от Дорохова, затем в три дня он доскакал до Крыма и провел там неделю с 17 по 24 октября (старого стиля) вместе с Оммер де Гелль. 24 октября он отправился обратно в отряд и с 27 октября по 6 ноября, согласно одному из наградных списков, принимал участие в экспедиции в Малую Чечню. [Настоящее соображение о датировках в разных стилях и все вытекающие отсюда выводы в области хронологии биографии Лермонтова принадлежат В. А. Мануйлову.]

# 462

Генерал-лейтенант в отставке Андрей Михайлович Бороздин, один из старейших колонизаторов Крыма, устроитель Кучук-Ламбада.

# 463

Тебу-де-Мариньи (Taitbout de Marigny), голландский генеральный консул, путешественник по Кавказу и автор многих работ по гидрографии Черного моря. Его шхуной «Юлия» пользовались супруги Оммер де Гелль во время своих странствий вдоль побережий Черного моря в 1840 году.

Рифлар (riflard) — большой дождевой зонт.

# 465

В тетради Толя (архив Якушкиных) сохранился рассказ, несколько напоминающий это место: «Безобразов, дивизионный генерал, рассказывал о Лермонтове, что г-жа Х. очень желала, чтобы говорили, что он влюблен в нее. Однажды он сидел у нее: она вышивала в пяльцах у открытого на бульвар окна. Гуляющих на бульваре было много. Вдруг послышались в соседней комнате шаги мужа г-жи Х. Лермонтов схватил фуражку и выскочил из окна. „Qu'est ce que vous faites?“ [Что это вы делаете?] — воскликнула удивленная Х. — „Je me sauve de m-r votre mari“ [Я спасаюсь от вашего мужа], — отвечал Лермонтов» («Декабристы на поселении», 1926 г., стр. 135).

# 466

Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, жена Новороссийского генерал-губернатора, вдохновительница «Ангела» и «Талисмана» Пушкина.

## 467

Вероятно, княгиня Мария Андреевна Гагарина, урожденная Бороздина; бывшая жена декабриста И. В. Поджио.

Вот это стихотворение в подлиннике:
A MADAME HOMMAIRE DE HELL
Près d'un bouleau qui balance
Son tronc desséché et luisant,
Tout dénudé par les vents d'autan,
Je m'assois, fatigué, sur la route.
Attentif, longuement, j'écoute
La grande voix du silence.
De loin je vois blanchir une ombre,
Une ombre qui vient doucement,
Son tiède parfum distillant.
Elle vient à moi en courant;
Puis disparait subitement,
Et se perd dans la nuit sombre.
C'est la poussière qui poudroie,
Un tas de feuilles, qui tournoie;
La chaude bouffee qu'exhalait
Le vent parfumé de la nuit,
En s'avançant à petit bruit,
Un serpent glissait sur les galets.
Rempli d'une amère tristesse,
Je me couche dans l'herbe épaisse.
Las d'attendre, je m'endors soudain.
Tout à coup, tremblant, je m'éveille.
Sa voix me parlait à l'oreille,
Son pied effleurait le mien.
Mischor. 28 Octobre 1840.

## 469

Дата по новому стилю. В переводе на старый — 24 октября. Хронология писем Оммер де Гелль, как это ни странно, не совпадает с текстом ее «Путешествий». Это несоответствие, а также ряд других вопросов Лермонтовской биографии, находящихся в связи с Оммер де Гелль, требует специального расследования.

Лермонтов, по-видимому, мотивировал свою отлучку с Кавказа необходимостью ехать в Петербург и боялся, что эта уловка откроется и вызовет неприятности.

# 471

Отец Эрнеста Баранта — противника Лермонтова на последней дуэли.

Русские береговые власти, по-видимому, справедливо подозревали, что голландский генеральный консул Тет-Бу-де-Мариньи, прикрываясь привилегиями своего и английского консульства, отправлял оружие и порох враждебным России горским племенам на своей шхуне «Юлия», на которой Оммер де Гелль с мужем совершала в это время путешествие вдоль берегов Крыма.

В этом отряде находился Лермонтов, только что вернувшийся из Крыма. Он «первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащу леса…» (см. наградной список, помещенный ниже).

В этой сотне находился Лермонтов, который, согласно наградному списку, действовал «с отличною храбростью и знанием военного дела».

Лермонтов отличился и в этом деле. См. ниже наградной список.

Журнал подписан генерал-адъютантом П. Х. Граббе.

# 477

Печатаем по копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома.

# 478

Печатаем в извлечении из копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома (Лермонтовский музей. Отд. IV, № 20, стр. 104–105).

Уже после смерти Лермонтова в Ставрополе было получено официальное уведомление о том, что «государь император… не изволил… изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду».

# 480

На настоящем наградном списке есть помета, сделанная рукою полковника кн. Голицына, командовавшего всей кавалерией на левом фланге: «К золотой сабле с надписью за храбрость». Означенный наградной список приложен к рапорту от 24 декабря 1840 года за № 139.

# 481

Командир Отдельного Кавказского корпуса ген. Е. А. Головин.

# 482

Печатаем без сохранения особенностей орфографии по копии, хранящейся в собраниях Пушкинского дома (Лермонтовский музей, отд. IV, № 20, стр. 109–110). Ср. «Русск. Архив», 1911 г., № 9, стр. 159.

# 483

Руфин Иванович Дорохов (ум. 18 янв. 1852) — сын Героя Отечественной войны Ив. Семен. Дорохова; воспитывался в Пажеском корпусе; служил в Учебном карабинерном, Нижегородском драгунском и Навагинском пехотном полках и в линейном казачьем войске (на Кавказе); за разные шалости и буйства был несколько раз разжалован в рядовые. В Дорохове видят прототип Долохова из «Войны и мира» Л. Толстого (см. В. Л. Модзалевский. Архив Раевских, т. II, стр. 241–242).

А. А. Лопухин был женат на княжне Варв. Алекс. Оболенской.

## 485

На обороте адрес: «В Москве, на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного. Его Высокоблагородию, Милостивому Государю Алексею Александровичу Лопухину».

Начальник всех войск на северной стороне кавказских гор генерал-адъютант Граббе.

# 487

Брат поэта.

Есаков мог встречаться в Ставрополе с Лермонтовым в конце 1840 г., по возвращении поэта из Крыма, когда тот ждал отпуска в Петербург.

# 489

Цвет молодежи.

## 490

Дмитрий Аркадьевич, брат Алексея Столыпина, в 1839 году выпущенный из юнкерской школы в офицеры конной гвардии. А. Есаков в скобках ошибочно называет Д. А. Столыпина Монго: это прозвище относится к его брату.

# 491

Брат поэта.

Назовем еще Уланского полка штаб-ротмистра Шейна, поручика барона Фридерикса и лейб-гв. Гусарского полка кн. Долгорукова 2-го.

# 493

Тон насмешки.

## 494

Лермонтов мог быть в Анапе в конце 1840 года. В начале 1841 он уже был на пути в Петербург. Настоящий рассказ носит легендарный характер. Никаких других свидетельств о пребывании Лермонтова в Анапе в конце 1840 года у нас нет.

Костенецкий ошибается. Встреча с Лермонтовым вернее всего происходила в самом конце 1840 года.

Е. А. Арсеньевой.

## 497

Фаддей Бенедиктович Булгарин (1789–1859) сотрудник III отделения, журналист, издававший с 1825 по 1857 год журнал «Северная Пчела».

Статьи Булгарина были помещены в «Северной Пчеле» за 1840 год в №№ 246, 271, 284 и 285. Сам Булгарин рассказывает эту историю иначе: к нему приходил человек «положительный, как червонец» и просил написать статью о готовящейся книге молодого писателя. В этом ему было отказано, но, когда Булгарин прочел в «Маяке» (за 1840 г., ч. IV, V и IX) невозможную критику Бурачка, он решился прочесть «Героя нашего времени» и «в течение 20 лет впервые прочел русский роман дважды сряду». На самом деле, вероятнее всего, статья вызвана стараниями книгоиздателя Глазунова, впоследствии обогатившегося неполными и небрежными изданиями сочинений Лермонтова. Несмотря на хорошие отзывы Белинского в «Отечественных Записках» (1840 г., т. X–XI) издание не расходилось. Тогда издатель Глазунов обратился к Булгарину с просьбой напечатать в газете его одобрительный отзыв о «Герое нашего времени». Как только такой отзыв появился в «Северной Пчеле», издание раскупили нарасхват, и в 1841 году тот же Глазунов уже выпустил второе издание.

Шан-Гирей (см. ниже) противоречит Ростопчиной, утверждая, что бабушка приехала вместе с внуком.

## 500

Шан-Гирей ошибается: «Герой нашего времени» уже поступил в продажу 3 мая 1840 г.

# 501

Дмитрий Сергеевич Бибиков — поручик Кирасирского его величества полка, герой «Петергофского праздника»; с 1836 по 1848 г. служил в штабе Отдельного Кавказского корпуса.

# 502

Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1819–1856). В. А. Сологуб в своих «Воспоминаниях» (стр. 126) так характеризует гр. Воронцову-Дашкову: «Много случалось мне встречать на моем веку женщин, гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встретил я ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружающее. Много женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем та была в действительности».

А. К. Воронцовой-Дашковой посвящено стихотворение Лермонтова «К портрету» («Как мальчик кудрявый, резва…»). Акад. Изд., т. II, стр. 302.

# 503

За геройское участие в битве при Валерике Лермонтов представлен был к ордену св. Владимира 4-й степени, но это представление не было уважено.

# 504

Под «Лафатером и Галем» разумеются сочинения знаменитых френологов Jean-Gaspard Lavater'a: L'Art de connaître les hommes par la physionomie… Paris 1820 и Franz-Joseph Gall'я: Anatomic et physiologic du système nerveux en général et du cerveau en particulier. Paris. 1810—18.

# 505

См. Акад. изд., т. II, стр. 222.

# 506

Призрак.

## 507

Очевидно, вдова поэта — Наталья Николаевна. О встречах с ней Лермонтова см. ниже.

См. Акад. изд., т. IV, стр. 284–296.

# 509

Оммер де Гелль.

# 510

Лермонтов приехал в Петербург в начале февраля 1841 г.

# 511

Великосветские сплетники, действительно, старались не раз распространять слухи о недружелюбных отношениях Столыпина к поэту. Говорили, что Лермонтов надоедает ему своей навязчивостью, что он надоел Столыпину вечным преследованием его: «он прицепился ко льву гостиных и на хвосте его проникает в высший круг» — словом то, что выразил гр. Сологуб в своей повести «Большой свет». Вероятно, молодой князь Вяземский был введен в заблуждение этими толками. Ничто не дает права думать, чтобы что-либо нарушило дружеские отношения Монго Столыпина к поэту.

## 512

Речь идет об альбоме на 29 листах картонной бумаги. Два наброска «Сосны» находятся на л.л. 3 и 15.

# 513

За несколько дней до отъезда Лермонтова на Кавказ — 20 апреля 1841 года гр. В. П. Ростопчина подарила ему только что вышедший сборник своих стихотворений с надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому». Этот экземпляр находится ныне в одной из Лермонтовских витрин Пушкинского дома.

# 514

Аврора Карловна Демидова, урожденная Шернваль, одна из трех красавиц сестер, дочерей выборгского губернатора.

# 515

Записная книжка кн. Вл. Ф. Одоевского на 27 + 12 листах в восьмую долю листа, в кожаном переплете, ныне хранится в Ленинградской Публичной библиотеке. В этой книжке Лермонтовым были записаны стихотворения: «Спор», «Сон», «Тамара», «Свиданье», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Утес», «Они любили друг друга», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк» и др.

Здесь же целый ряд евангельских цитат и запись Одоевского (л.л. 2 об. 3): «Эти выписки имели отношение к религиозным спорам, которые часто подымались между Лермонтовым и мною».

В конце книги запись: «Сия книга покойного Лермонтова возвращена мне Екимом Екимовичем Хостаковым 30-го Декабря 1843 года. Кн. В. Одоевский».

Вы знаете, Лермонтов, что мой муж не любит вашу манеру пристально всматриваться, зачем же вы доставляете мне эту неприятность?

# 517

Монго-Столыпин.

# 518

Николай Николаевич Анненков (ум. 1865 г.) — генерал-майор свиты его величества, командир Измайловского полка, впоследствии член Государственного Совета.

## 519

«Сашенькина свадьба» — по всей вероятности, свадьба Алекс. Мих. Верещагиной, которая вышла замуж за барона Гюгель, вюртембергского дипломата.

Боденштедт был дружен с Павлом Олсуфьевым.

## 521

Вероятно, князь А. И. Васильчиков, один из секундантов на последней дуэли Лермонтова. О нем см. ниже.

# 522

Французское остроумие.

# 523

Фридрих Боденштедт род. 22 апр. 1819 г. в Пейне (Ганновер). В 1840 году он прибыл в Москву в качестве воспитателя молодого князя Голицына. Боденштедт известен как немецкий поэт, путешественник и образцовый переводчик Пушкина, Лермонтова, малороссийских народных песен и повестей Тургенева, а также произведений английской (гл. обр. Шекспира) и персидской литератур.

# 524

Лонгинов писал: «Боденштедт называет Лермонтова белокурым; это неверно». («Русская Старина», 1873 г., кн. 3, стр. 391.) На самом деле у Лермонтова посреди темени был клок более светлых волос, почему некоторые считали его блондином. Волосы Лермонтова были темно-каштановые, почти черные. Вот почему другие называют его брюнетом (см. Висковатый, стр. 380).

Характеристика Лермонтова, сделанная Боденштедтом, очень напоминает известный портрет Печорина в новелле «Максим Максимыч»; сходство настолько значительно, что можно предположить влияние страниц «Героя нашего времени» на воспоминания Боденштедта, писанные позднее.

# 526

Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого.

## 527

В Темир-Хан-Шуру Лермонтов не поехал, а отправился прямо в Пятигорск. Об этом подробнее см. воспоминания Магденки, которые помещены ниже.

И. Арсеньев («Нива», 1885, № 27, стр. 647) по этому поводу замечает: «Уверение г. Пирожкова, что Мартынов был человеком с сильным энергическим характером, едва ли верно: Мартынов, наоборот, был довольно бесхарактерный и всегда находился под чьим-либо посторонним влиянием».

# 529

Эмилия Александровна Шан-Гирей в своих возражениях на воспоминания Раевского по этому поводу писала: «Калмыцкие ванны находятся в Железноводске, а не в Пятигорске. Какой-то калмыцкий князь (это очень давно) нашел источник, раскопал его, поставил свою кибитку и купался в нем, никого не допуская, так как ванны в то время были бесплатные. Впоследствии вместо войлочной кибитки поставили деревянную постройку, придав ей форму кибитки, и причислили источник этот к прочим группам ванн, сохранив ему название „Калмыцкого“» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 643). Э. А. Шан-Гирей права. Калмыцкие ванны находятся в Железноводске на западном углу Конторской площадки.

Э. А. Шан-Гирей по этому поводу писала: «Жила я в Пятигорске с 1826 года постоянно и никогда не слыхала о существовании общего бассейна, где бы купались без различия общественного положения, лет и пола. Этого не было» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 643).

# 531

8 июля 1841 года.

# 532

Э. А. Шан-Гирей замечает: «Сабанеевские ванны в Пятигорске стоят на склоне горы, далеко от Елисаветинской галереи, по дороге к Провалу, а красивое здание против цветника и бульвара — это Николаевские ванны, тут же вблизи и грот Дианы (названный так еще при генерале Эмануэле). „Эолова арфа“ была, и звуки ее далеко разносились в воздухе (а когда была настроена, то и довольно гармоничные; сняли же ее вследствие присущей нашим туристам привычки увековечивать свои имена нелепыми надписями» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 643).

# 533

Э. А. Шан-Гирей, защищая пятигорских барышень, писала: «В 1830-х и 40-х годах жили в Пятигорске и веселее и проще, но не в той степени, чтобы дарили барышням платьица (!), да еще термаламу, материю вовсе не пригодную для лета; бедненькие редко где бывали. Вообще же на туалеты тогда в Пятигорске не разорялись и одевались хоть просто, но всегда мило и элегантно. Конфузиться нам тоже не приходилось перед приезжими…» («Нива», 1885, № 27, стр. 643).

# 534

П. А. Висковатый (стр. 388–390) пишет: «Тотчас по приезде Лермонтов стал изыскивать средства получить разрешение остаться в Пятигорске. Он обратился к услужливому и „на все руки ловкому“ Найтаки, и тот привел к нему писаря из Пятигорского комендантского управления Карпова, который заведывал полицейскою частью (в управлении тогда сосредоточивались полицейские дела) и списками вновь прибывающих в Пятигорск путешественников и больных… Он составил рапорт на имя пятигорского коменданта, в котором Лермонтов сказывался больным. Комендант Ильяшенков распорядился об освидетельствовании Михаила Юрьевича в комиссии врачей при Пятигорском госпитале. „Я уже раньше, — рассказывал нам г. Карпов, — обделал дельце с главным нашим лекарем, титулярным советником Барклай-де-Толли“. Лермонтов и Столыпин были признаны больными и подлежащими лечению минеральными ваннами».

По сообщении Траскину этого рапорта никакого ответа не последовало.

Рассказы Чиляева, которым Мартьянов придавал такое большое значение, носят едва ли не легендарный характер. Это тот Чиляев, который пригласил священника заново освятить комнаты своего домика, потому что их «осквернил» живший там перед дуэлью Лермонтов.

Георгиевск.

## 537

Сергей Васильевич Трубецкой (1814–1859), сын ген. — ад. В. С. Трубецкого.

Напоминаем, что «записи» Чиляева так же как и его рассказы, недостоверны и принимать их во внимание как биографический материал можно только с большими оговорками. Особенно сомнительны «лермонтовские экспромты».

# 539

На другое утро, как рассказывал Мартьянову Чиляев, камердинер Лермонтова Иван Соколов поднял бумажник и принес Лермонтову, но тот подарил его Соколову, у которого после смерти Лермонтова и купил этот бумажник В. И. Чиляев. Чиляев передал бумажник Мартьянову в том же виде, как он был вышвырнут Лермонтовым. Теперь этот бумажник находится в одной из Лермонтовских витрин в Пушкинском доме.

# 540

Надя — Надежда Петровна Верзилина, за которой ухаживал Глебов.

## 541

Эти эпиграммы в передаче, вероятно, сильно искажены, но вместе с тем у нас есть все основания предполагать, что в основе их лежит подлинно лермонтовский, не дошедший до нас текст. Во второй эпиграмме особенно интересны переносные и внутренние рифмы, а также строфическое строение ее, свидетельствующее о большом мастерстве автора.

Дмитревский незадолго до этого был назначен вице-губернатором Кавказской области. «К сожалению, он недолго пользовался, — пишет Лорер, — благами жизни и скоро скончался. Я был с ним некоторое время в переписке и теперь еще храню автограф „Карих глаз“».

# 543

Воспоминания Э. А. Шан-Гирей (падчерицы Верзилина, урожд. Клингенберг) не всегда объективны. Многие из современников совершенно неосновательно видели в ней прототип княжны Мери, другие считали ее виновницей ссоры между Лермонтовым и Мартыновым. Как бы там ни было, но ближайшее участие Эмилии Александровны в событиях, предшествовавших смерти поэта, увеличивая интерес и значение ее показаний, заставляет в то же время с большой осторожностью относиться к той части их, в которой мемуаристка характеризует свои отношения к Лермонтову.

Меня дразнить.

# 545

На что угодно.

Сын шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа.

Раевский рассказывает будто бы ей пришлось самой распоряжаться действиями крепостной артиллерии, и она сумела повести дело так, что горцы рассеялись прежде, чем прибыла казачья помощь. За этот подвиг Николай I прислал ей бриллиантовый браслет и фермуар с георгиевскими крестами. На это Э. А. Шан-Гирей замечает: «Теперь несколько слов о Катерине Ивановне Мерлини. Она известна была своей оригинальностью, звали ее все просто: генеральша. Я знала ее с самого детства. Муж ее, генерал-лейтенант, считался по армии и жил в собственном доме в Пятигорске, никогда и не был комендантом Кисловодской крепости. Ее храбрая распорядительность в Кисловодске легендарна, но утвердительно могу заявить, что никогда и ни за какие дела не получала она императорских бриллиантов, ни подарков с георгиевскими крестами. Она была отличная наездница, ездила на мужском английском седле и в мужском платье (привычку эту приобрела она за Кавказом). Лошади у нее были свои, прекрасные — в 41-м году в кавалькадах не участвовала, да и вообще, сколько я помню, предпочитала ездить одна» («Нива», 1885, № 27, стр. 643).

Э. А. Шан-Гирей замечает: «Сашенька Озерская, очень хорошенькая и миленькая девушка, жила с матерью скромно, и нигде не бывала. Варинька, лет 14, дочь казачьего офицера, жила в станице и единственная дочь доктора Лебединского была уже замужем» («Нива», 1885, № 27, стр. 646).

## 549

Об этом альбоме Э. А. Шан-Гирей писала: «альбом, в котором рисовал Лермонтов, сам, один, карикатуры на всех знакомых, а больше всего на Мартынова, достался Глебову, он показывал мне его» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646).

# 550

Бледные красавицы.

# 551

Лягушки в обмороке.

# 552

Прекрасная брюнетка.

# 553

Э. А. Шан-Гирей замечает: «M-lle Быховец жила у двоюродной сестры своей, М. А. Прянишниковой, имение которой, Тарумовка, — около Кизляра. Прозвали ее креолкой за бронзовый цвет лица и большие черные глаза. Молодые люди бывали у них редко и никакой милости не добивались у нее ни Мартынов, ни другие. Она давно замужем и живет теперь в Москве» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646).

Последнее не совсем верно. Есть данные, позволяющие предполагать, что Катей Быховец были несколько увлечены и Мартынов, и Лермонтов.

# 554

Эмилия Шан-Гирей пропускает следующий, четвертый, стих экспромпта:

«И букли назад».

# 555

Это стих, который хромает.

И тут, кажется, Раевский ошибается. Сопоставляя ряд других свидетельств, с наибольшим вероятием можно предположить, что бал в гроте состоялся за неделю до дуэли, в ночь с 8 на 9 июля 1841 года.

# 557

Э. А. Шан-Гирей так характеризует князя Голицына: «Князь Владимир Сергеевич Голицын, умевший хорошо устраивать празднества, любил доставлять удовольствия молодежи. Однажды он вздумал сделать сюрприз такого рода: устроил помост над провалом (тогда тоннеля не было), такой прочный и обширный, что на нем без страха танцевали в шесть пар кадриль. Этот висячий мост держался долго. Любопытные спускались на блоке до самой воды. Спускались Веригин и английской службы полковник Камертон; был ли этот англичанин известным игроком [как об этом писал Раевский] не знаю. Верно то, что ни прежде, ни после он в Пятигорске не был» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 643).

# 558

Э. А. Шан-Гирей замечает: «Точно, биржевых дрожек было мало, но почти все имели свой экипаж» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646). О самом же вечере она рассказывает так: «В начале июля Лермонтов и комп[ания] устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы, против Николаевских ванн. Грот внутри премило был убран шалями и персидскими шелковыми материями в виде персидской палатки, пол устлан коврами, а площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и цветов; украшенная дубовыми листьями и цветами люстра освещала грот, придавая окружающему волшебно-фантастический характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки. И странное дело! Никому это не мешало, и больные даже не жаловались на беспокойство» («Русский Архив», 1889, кн. 6, стр. 316).

# 559

Очаровательная кузина.

# 560

Лермонтов называл Эмилию Александровну Шан-Гирей (урожд. Клингенберг) «Верзилией», соединив в этом прозвище начало фамилии ее отчима и конец ее имени.

# 561

Эмилия Александровна, прошу вас один только тур вальса, последний раз в моей жизни.

Лев Сергеевич Пушкин, майор, брат поэта.

# 563

Взапуски

# 564

Горец с большим кинжалом.

Это ничего; завтра мы будем добрыми друзьями.

# 566

О последней ссоре Лермонтова с Мартыновым рассказывает А. П. Шан-Гирей, не бывший очевидцем, со слов жены своей Эмилии Александровны. Шан-Гирей ошибочно относит этот вечер к 14 июля: вернее всего, последняя ссора Лермонтова с Мартыновым произошла 13 июля.

«Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга, между ними Мартынов, очень красивый собой, ходивший всегда в черкеске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов, по старой привычке трунить над школьным товарищем, выдумал ему прозванье Montagnard au grand poignard; оно бы кажется и ничего, но когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля, вечером, собралось много в доме Верзилиных: общество было оживленное и шумное; князь С. Трубецкой играл на фортепьяно, Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома, в комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: „M-lle Emille, prenez garde, voici que s'approche le farouche montagnard“ [Эмилия Александровна, берегитесь, вот приближается дикий горец]. Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя было бы расслышать и в двух шагах; но по несчастию князь Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде умолкло, и слова le farouche montagnard раздались по комнате. Когда стали расходиться, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему:

— M. Lermontoff, je vous ai bien des fois prié de retenir vos plaisanteries sur mon compte, au moins devant les femmes. [Ã-н Лермонтов, я много раз просил вас удерживаться от насмешек на мой счет, хотя бы при дамах].

— Allons donc, — отвечал Лермонтов, allez vous vous fâcher sérieusement et me provoquer? [Уж не собираетесь ли вы рассердиться серьезно и вызвать меня?].

— Oui, je vous provoque [Да, я вас вызываю], — сказал Мартынов и вышел» [А. П. Шан-Гирей. «Русское Обозрение» 1890 г., кн. 8, стр. 753].

# 567

Г-н кинжал и дикарь.

# 568

П. Бартенев пишет: «Покойный Н. С. Мартынов передавал, что незадолго до поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков и говорил ему, что приехал отвести с ним душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске. Тут же Лермонтов много рисовал. По словам Мартынова, талант к живописи был у него необыкновенный. Н. С. Мартынов получил прекрасное образование, был человек весьма начитанный и, как видно из кратких его Записок, владел пером. Он писал и стихи с ранней молодости, но, кажется, не печатал их» (П. Бартенев. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 604). Стихи Мартынова помещены в «Сборнике биографий кавалергардов», составленном С. Панчулидзевым, СПБ., 1908, на стр. 103–106. А также: Нарцов «Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых». Тамбов, 1904, стр. 111–140.

# 569

У Верзилиных

В другой черновой рукописи написано и перечеркнуто вместо этого нижеследующее: «Вследствие этих слов Лермонтова: „Вместо пустых угроз“, и проч., которые уже были некоторым образом вызов, я на другой день требовал от него формального удовлетворения. Васильчиков и Глебов старались всеми силами помирить меня с ним; но так как они не могли сказать мне ничего от его имени, а только хотели [сбоку приписано: „а только хотели проверить меня“] уговорить меня взять назад мой вызов, я не мог на это согласиться. Я отвечал им, что я уже сделал шаг к сохранению мира, прося его оставить свои шутки, и что он пренебрег этим, и что сверх того теперь уже было поздно, когда сам он надоумил меня в том, что мне нужно было делать. В особенности я сильно упирался на совет, который он мне дал накануне, и доказывал им, что этот совет был не что иное, как вызов. После еще нескольких попыток с их стороны, они убедились, что уговорить меня взять назад вызов есть дело невозможное».

## 571

В тексте неясно: «через четыре дня» после чего? Если после вызова на дуэль, то здесь ошибка, ибо Лермонтов был убит на третий день после вызова (датируем столкновение у Верзилиных 13 июля). По всей вероятности, Лермонтов отправился в Железноводск 14 июля.

## 572

Вице-губернатор Кавказской области, приехавший на лето 1841 г. в Пятигорск, поэт, друг сосланных на Кавказ декабристов.

Бенкендорф, А. А., юнкер, сын гр. А. Х. Бенкендорфа, шефа жандармов и начальника III отделения соб. е. в. канцелярии.

Колония Каррас, или Шотландка.

Эмилия Шан-Гирей об этом пишет так: «M-lle Быховец носила на голове золотой ободок, называвшийся по тогдашней моде bandeau. Когда она с кузиной своей ехала в Железноводск, то встретилась случайно в колонии Каррас с Лермонтовым и Столыпиным, обедали вместе, и М. Ю. выпросил у Быховец ободок и, положив его в боковой карман сюртука, обещал доставить его на другой день. Этот ободок был найден в кармане и подавал повод некоторым думать, что дуэль была за нее. Простившись, Быховец с Прянишниковой поехали в Железноводск, а Лермонтов и Столыпин в Пятигорск, но, свернув с дороги, неподалеку от кладбища встречены были Мартыновым, Глебовым и Васильчиковым и, выбрав удобное место в лесу, стрелялись» («Нива» 1885 г. № 27, стр. 646).

То есть любовь к В. А. Бахметевой (урожд. Лопухиной).

Почти то же самое рассказывает Пирожков со слов Мартынова: «По словам Мартынова, дело было так. Отец Мартынова с двумя дочерьми постоянно жил в Петербурге. В этой семье Лермонтов был всегда хорошо принят. Случилось, что когда Мартынов был на Кавказе, Лермонтов также готовился туда отправиться. При последнем прощальном посещении Лермонтова сестры Н. С. Мартынова поручили ему передать брату их работы и дневники, а отец, со своей стороны, вручает ему пакет на имя сына, не говоря ничего о его содержимом. Является Лермонтов на Кавказ и при свидании с Мартыновым рассказывает, что с ним в дороге случилась неприятность: его обокрали на одной станции, и в числе украденных вещей, к сожалению его, находились также посылки и дневник сестер Мартынова и пакет от его отца — с деньгами 300 руб. Деньги Лермонтов передал Мартынову. Как ни грустно было Мартынову услышать весть о пропаже писем и дневника сестер, но что же делать?

Это, конечно, не повредило их хороших отношений. Затем Мартынов пишет к отцу, что дневники сестер и пакет с деньгами у Лермонтова украдены на дороге. Почтовые сообщения в те времена с Кавказом были очень медленны, и потому ответ со стороны отца последовал не так-то скоро. Но вот получено письмо от отца Мартынова, который задает в нем сыну довольно странный вопрос: почему Лермонтов мог знать, что в пакете были деньги? Вручая ему пакет, он ни слова не сказал об них. Вышел разговор, и очевидно, не пустые остроты играют роль побудителей к тяжелой развязке. Мартынову было тяжело вообразить, как дерзко, как, скажем, нагло было попрано доверие сестер, отца, оказанное товарищу… Что за несчастное побуждение влекло Лермонтова к такому просто непонятному поступку? Ведь он, конечно, понимал, что рано или поздно, оно во всяком случае должно было выйти наружу? Но как оно случилось?.. Само собой, для Мартынова с того момента пропажа представилась уже совершенно в другом свете. Это обстоятельство он, быть может, резко высказал Лермонтову, и тогда уже роковое столкновение явилось само собой, как неизбежное последствие.

„Вот, собственно, причина, которая поставила нас на барьер, — заключил свой рассказ покойный Мартынов, — и она дает мне право считать себя вовсе не так виновным, как представляют меня вообще“» (Пирожков, «Нива», 1885 г., № 20, стр. 474).

По нашему обоюдному согласию был назначен барьер в 15 шагов. Хотя и было положено между нами считать осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было. Остальное же все было предоставлено нами секундантам.

*[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного пятигорского суда, данные 15 сентября 1841 г. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 604]*

## 578

Сознательная ошибка для того, чтобы скрыть имена причастных к дуэли.

Каррас, или Шотландка.

Черновики ответов Мартынова сохранились. Там этот ответ изложен так: «Условия дуэли были: 1-е — каждый имеет право стрелять, когда ему угодно, стоя на месте или подходя к барьеру, 2-е — осечки должны были считаться за выстрел, 3-е — после первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер, 4-е — более трех выстрелов не было допущено по условию. Я сделал первый выстрел с барьера».

# 581

Каррас, или Шотландка.

Эмилия Шан-Гирей рассказывает об этом несколько иначе: «Глебов рассказывал мне, какие мучительные часы провел он, оставшись один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на коленях; темно, кони привязанные ржат, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром беспрерывно; необъяснимо страшно стало! И Глебов хотел осторожно спустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим и так пробыл, пока приехали дрожки, на которых и привезли бедного Лермонтова на его квартиру» («Русский Архив», 1889 г., т. II, кн. 6, стр. 320).

Эмилия Шан-Гирей по этому поводу пишет: «Внезапность этого известия и растерянный вид Зельмица нас всех сильно поразили и перепугали, но матушка моя на полу не валялась, а просила г. Дмитревского, бывшего в то время у нас, пойти узнать суть дела» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646).

Эмилия Шан-Гирей замечает: «В Пятигорске грунт земли каменистый, и никогда не бывает такой грязи, чтобы экипажи вязли, и не было надобности нанимать телегу» (там же).

## 585

Саникидзе, слуга Лермонтова, рассказывал Мартьянову о том, что этот сюртук он сжег. («Исторический Вестник», 1895 г., т. I, стр. 600).

# 586

Екатерина Ивановна Кнольт, «дочь вызванного из-за границы врача, в числе прочих врачей, для устройства не очень давно открывшихся минеральных источников в Пятигорске. Кнольт, доктор медицины и хирургии, по прибытии назначен был директором минеральных вод, женился там, и от этого брака родилась моя мать… Спустя некоторое время мой дедушка [Кнольт], а потом и бабушка умерли; осталась моя мать сиротой; к ней назначена была опекуншей генеральша Верзилина»…Так пишет в своих рукописных воспоминаниях Леонид Ангелиевич Сидери (р. 1843 г.).

# 587

Подробность, не сохраненная в других источниках, говорящих о Надежде Петровне.

# 588

Поручик Ангелий Георгиевич Сидери — плац-адъютант при пятигорском комендантском управлении, был ранен в Турецкую кампанию 1828 г., под Баязетом. В 1841 г. часто бывал, согласно свидетельству сына, в доме П. С. Верзилина, где встречался с Лермонтовым и Мартыновым.

Вероятно, ошибка: других свидетельств, подтверждающих это, мы не имеем.

# 590

Рукопись принадлежит Д. С. Усову, который получил ее от автора в октябре 1924 г. Рукопись помечена 22 сентября 1924 г. Написана на 4 страницах белой писчей бумаги без линеек и водяных знаков лиловыми чернилами. Текст сообщения Сидери был оглашен Д. С. Усовым 21 ноября 1924 г. в заседании подсекции истории русской литературы Литературной Секции Госуд. Академии Художественных Наук в докладе под заглавием «Новые детали дуэли Лермонтова» (см. «Отчет ГАХН. 1921–1925». М., 1926, стр. 28 и 129). Рукопись сообщается в печати впервые и была любезно предоставлена для нашей книги Д. С. Усовым.

# 591

15 июля вечером Голицын давал бал по случаю своих именин — Лермонтову и Столыпину были посланы приглашения. Мартынов приглашен не был.

# 592

«В черновой рукописи зачеркнуто: „Простившись с ним, я тотчас уехал домой и уже несколько временя спустя послал своего человека Илью в помощь другим и велел ему также привезти мою черкеску“».

# 593

Портрет этот, ныне находящийся в Пушкинском доме, написал художник Шведе. Слуга Лермонтова Христофор Саникидзе рассказывал Мартьянову: «Для снятия портрета тело подняли и посадили на подушках к стене — будто живой сидит и дремлет» (Исторический Вестник, 1895 г., № 1, стр. 600).

# 594

Священник Василий Эрастов отказался отпевать Лермонтова и донес на протоиерея пятигорской скорбященской церкви П. Александровского о том, что тот проводил тело Лермонтова до могилы.

Не Васильчикова, а, как свидетельствуют разыскания П. К. Мартьянова, Столыпина. Настоящего отпевания произведено не было; священник и хор только сопровождали тело от квартиры до могилы. Все это произошло 17 июля 1841 г.

# 596

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома.

# 597

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома.

# 598

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома.

«п. к. м.», вероятно, — по крайней мере.

# 600

Васильчиков для своего письма взял листок, на обороте которого было начато другое письмо, и продолжал писать на нем.

# 601

«Нас перевели» зачеркнуто.

## 602

Жерве — капитан драгунского Нижегородского полка, из гвардейских гусар.

«м. б.» — может быть.

«м. т.» — между тем.

# 605

Эмилия, Надежда, Аграфена — дочери Верзилиной.

Ребровы — обыватели Кисловодска; Нина Алексеевна Реброва — поклонница Лермонтова. О ней см. выше.

## 607

Долгорукий, вероятно, Александр Николаевич Долгорукий, знакомый Лермонтова.

# 608

Юлий Константинович Арсеньев, сын известного профессора К. Ив. Арсеньева, историка и статистика, сам по образованию лицеист, служил при Александре II губернатором последовательно в трех губерниях. На настоящем письме, хранящемся ныне в собраниях Пушкинского дома, имеется следующий адрес: «Его Высокоблагородию Юлию Константиновичу Арсеньеву. В Петербурге. В собственном доме у церкви Знаменья».

## 609

Ошибочно переписчиком коменданта слуги Лермонтова приписаны Мартынову и наоборот.

# 610

Мария Алексеевна, по мужу Бабина, дочь Алексея Андреевича Кикина. Кикин, по общественному положению своему, принадлежал к так называемой — «Грибоедовской Москве» и состоял в родстве с такими родовитыми фамилиями, как Трубецкие и Волконские.

# 611

Ср. слова Печорина в «Княжне Мери»: «Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу: это чувство было зависть; я говорю смело „зависть“, потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно».

# 612

Тело Лермонтова было перевезено из Пятигорска в село Тарханы в свинцовом ящике и вторично погребено 23 апреля 1842 года на фамильном кладбище Арсеньевых рядом с могилой матери.

# 613

Печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту «Высочайших приказов» с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома.